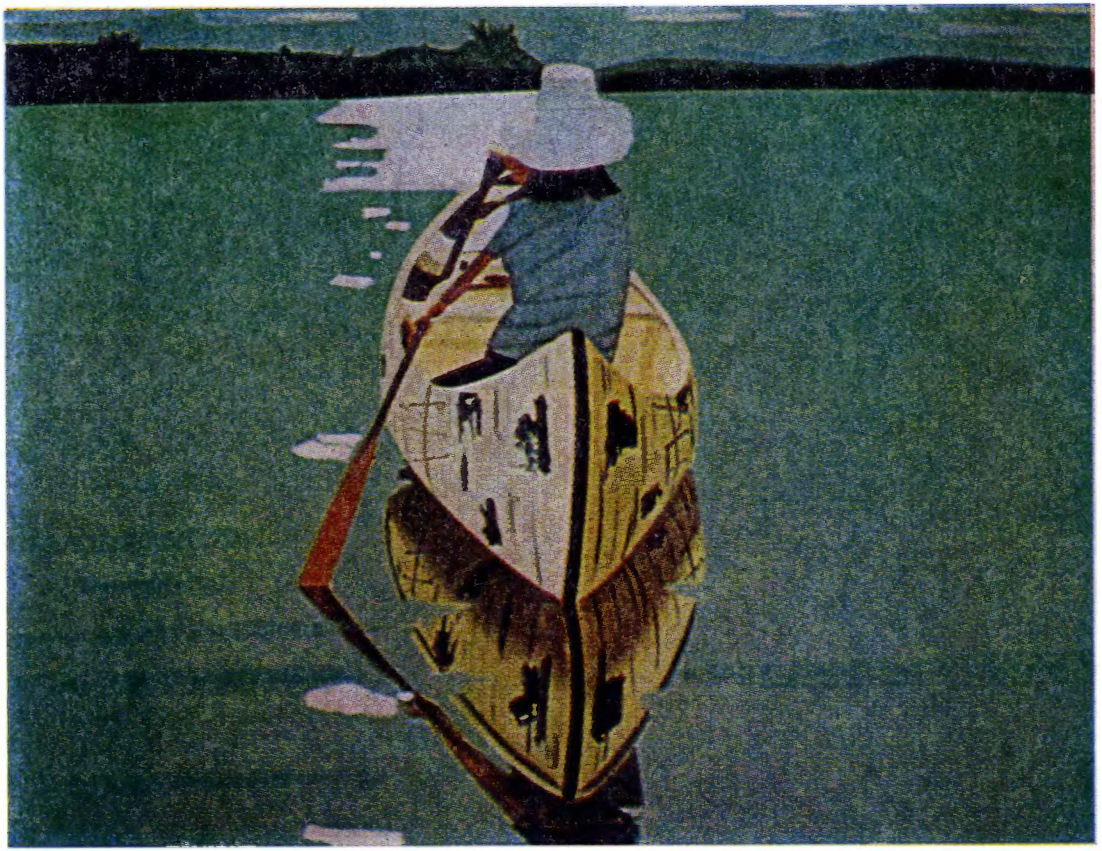
ISSN 0130 – 6545

6. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Луиза Маттиасдоттир «Домики. Ирландская деревушка»

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Алекс Кэту «Добрый день 2»
Алекс Кэту «Лицо поэта»

Цветные иллюстрации номера — работы современных американских художников.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

июнь

6

1988

Содержание

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Правосудие *(Роман. Перевод с немецкого С. Фридляянд. Послесловие Н. Павловой)* 3

ЭРНЕСТО САБАТО — Туннель *(Повесть. Вступление Валерия Земскова. Перевод с испанского И. Глущенко)* 106

В. С. КХАНДЕКАР — Король Яяти *(Роман. Продолжение. Перевод с хинди М. Салганик)* 160

Литературное наследие

«Арфа царя Давида» *(У истоков древнейшей лирической традиции. Вступление и перевод с древнееврейского Сергея Аверинцева)* 189

Публицистика

ДЮЛА ФЕКЕТЕ — Ограбление будущего *(Размышления о новой форме эксплуатации. Окончание. Перевод с венгерского Ю. Гусева)* 195

ЭЛЕМЕР ХАНКИШ — В кривом зеркале? *(О воздействии венгерских и американских телепрограмм. Перевод с венгерского П. Бондаровского)* 214

Критика

Наши публикации

ДЁРДЬ ЛУКАЧ — Великий Октябрь 1917-го и современная литература *(Перевод с немецкого М. Левиной)* 220

Отклики, встречи, впечатления

ГЕННАДИЙ МУРАВИН — Эльви Синерво: «Я так люблю смотреть на облака...» 229

Среди книг

Издано в СССР

Е. Любимова — Манавака, которой нет на карте *(Маргарет Лоренс. Кудесники)* ◆ М. В. Толмачев — Перечитывая Пруста *(В поисках утраченного времени: По направлению к Свану; Под сенью девушек в цвету; У Германтов; Содом и Гоморра)* ◆ М. Вольпе — Черный Орфей теряет голос? 235

Издано за рубежом

М. Генн — «Американский рейс» Антти Туури ◆ Морис Ваксмахер — История странная и таинственная *(Тахар Бен Джеллун. Священная ночь)* 241

Советская литература за рубежом 213, 234

Из месяца в месяц 244

Авторы этого номера 253

Информация о планах журнала на 1989 год 254

© «Иностранная литература», 1988

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Правосудие

РОМАН

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Этот роман не основан на фактах. Имена, лица, место, действие выдуманы автором. Возможное сходство с истинными событиями, местами или лицами, все равно — живыми или мертвыми, носит чисто случайный характер.

I

Спору нет, я пишу этот отчет для порядка, из своего рода педантизма, чтобы приобщить его к делу. Я хочу заставить себя еще раз пересмотреть весь ход событий, которые привели к оправданию убийцы и к гибели невиновного. Я хочу еще раз продумать шаги, на которые меня толкнули, меры, которые я принял, возможности, которые были мной упущены. Я хочу еще раз добросовестно взвесить все шансы, которыми предположительно еще располагает юстиция. Но главным образом я пишу этот отчет потому, что в запасе у меня есть время, много времени, месяца два, как минимум. Я только что вернулся прямиком из аэропорта (те бары, куда я заглядывал на обратном пути, в счет не идут, мое теперешнее состояние тоже не имеет значения. Я пьян в стельку, но до утра я снова протрезвею).

Когда я выскочил из своего «фольксвагена», сняв револьвер с предохранителя, гигантская машина, уносящая доктора г. к. Исаака Колера, с ревом и воем взмыла в ночное небо и взяла курс на Австралию. Старик проделал один из своих гениальных трюков, позвонив мне перед отлетом; ему, без сомнения, было известно, что́ я задумал, так же как всем было известно, что у меня нет денег, чтобы за ним последовать.

Поэтому мне ничего другого не остается, кроме как ждать, пока он вернется, когда-нибудь в июне, а может, в июле, напиваться, часто или изредка, смотря по состоянию моих финансов, и писать, писать — единственное занятие, которое еще подобает окончательно прогоревшему адвокату.

Но в одном кантональный советник просчитался: время не загладит совершенное им преступление, мое ожидание его не уменьшит, мое пьянство его не зальет, мои записи его не оправдают. Рассказывая всю правду, я тем самым запечатлеваю ее глубоко в памяти, я вызываю в себе способность, однажды, в июне, как я уже говорил, или в июле, словом, когда бы он ни вернулся (а он непременно вернется), все равно, буду я пьян или трезв, совершить в здравом уме и твердой памяти то, что я намеревался совершить в состоянии аффекта. Мой

© Diogenes Verlag, 1985

отчет не только обоснование, но и подготовка убийства. Справедливого убийства.

Снова протрезвясь, у себя в кабинете: справедливость теперь можно восстановить только с помощью преступления. И не покончить после этого с собой нельзя. Я отнюдь не собираюсь таким путем избежать ответственности, напротив, лишь таким путем я отвечу за свой поступок, пусть даже не с юридической, зато, по крайней мере, с человеческой точки зрения. Я знаю всю правду и не могу ее доказать. У меня нет свидетелей для главного момента. Благодаря моему добровольному уходу из жизни им будет проще поверить мне и без свидетелей. Я иду на смерть не как ученый, который, поставив опыт на самом себе, убивает себя во имя науки, нет, я умираю, потому что продумал свое дело до логического конца.

Место преступления (оно особенно важно): ресторан «Театральный» с фасадом в стиле рококо — один из немногих архитектурных памятников, сохранившихся в нашем безнадежно застроенном городе. Ресторан занимает три этажа, что известно далеко не каждому, большинство знает только про два. На первом этаже в нескончаемо долгие утра — у нас рано встают — можно найти заспанных студентов, впрочем и деловых людей тоже, последние часто засиживаются до обеда, а то и позже, затем, после кофе с вишневым ликером все стихает, официантки прячутся, и лишь часов около четырех прибывают истомленные учителя, заявляются усталые чиновники. Но основной вал накатывает к ужину и потом еще раз, после половины одиннадцатого: наряду с политическими деятелями, менеджерами и финансовыми воротилами — прочие представители свободных и сверхсвободных профессий, но одновременно и слегка робеющие иностранцы, ибо наш город любит выдавать себя за международный центр. Поэтому на втором этаже все до ужаса изысканно. До ужаса, иначе не скажешь: в двух низких, с красными обоями залах стоит тропическая жара, но гости терпят, дамы — в вечерних туалетах, мужчины нередко в смокингах. Воздух пропитан потом, духами и, сообразно с профилем заведения, ароматом кулинарных изысков нашего города — телячьи медальоны с помфри и тому подобное. Здесь встречаются (собственно, то же самое общество, что и этажом ниже, только в парадном обличье) после премьер и после крупных сделок, однако не затем, чтобы провернуть дело, а затем, чтобы отпраздновать уже провернутое. На третьем этаже характер «Театрального» снова меняется, и ты с удивлением отмечаешь известный налет распущенности. Здесь правит бал бесцеремонность. Залы третьего этажа, высокие, светлые и большие, смахивают на залы дешевого питейного заведения — обычные деревянные стулья, на столах клетчатые скатерти, всюду подставки для пивных кружек, у самой лестницы — полупустое кабаре с второразрядными фокусниками и третьеразрядным стриптизом. Гости играют в карты и в бильярд. В этом зале собираются городские зеленщики, строительные подрядчики, владельцы универсальных магазинов, хозяева больших гаражей, специалисты по сносу домов, они порой сидят часами, ставки здесь фантастические, а вокруг игроков шныряют подлипалы, нелепые и подозрительные личности, проститутки тоже сидят и ждут, иногда их три, иногда четыре, все время за одним и тем же столом у окна, их не просто терпят, нет, они являются частью обстановки по доступной цене. Относительно доступной. Люди и в самом деле богатые считают и пересчитывают каждый грош.

Первый раз я встретил кантонального советника, когда сам только что сдал государственный экзамен, написал диссертацию, получил звание доктора и патент на адвокатскую практику, но продолжал работать, как и в студенческие годы, у Штюсси-Лойпина в роли мальчика на побегушках, хоть и рангом повыше. Мой принципал успел к тому времени снискать известность далеко за пределами нашей стра-

ны благодаря оправдательному приговору, которого сумел добиться для обвиняемых в убийстве братьев Этти, Роза, Пик, Дойбальбайс и Амслер, и благодаря сделанному им сравнению между Вспомогательными мастерскими Трёг и Соединенными Штатами Америки (причем очень и очень в пользу трёгенцев). Мне пришлось приносить Штюсси-Лойпину в «Театральный» заключение по поводу одного из тех сомнительных дел, которым он отдавал явное предпочтение. Я застал прима-адвоката на третьем этаже, за бильярдным столом, где он только что завершил партию с кантональным советником, а за другим столом играл доктор Бенно с профессором Винтером, и лишь теперь, когда я все записываю, мне задним числом становится ясно, что там собрались все главные персонажи предстоящего действия, словно в некоем Прологе. На дворе стоял холод, был не то ноябрь, не то декабрь, точную дату установить нетрудно, и я замерз, так как по привычке ходил без пальто, а мой «фольксваген» мне пришлось оставить в нескольких кварталах от «Театрального».

— Закажите-ка себе грогу, молодой человек,— обратился ко мне кантональный советник. Он пристально оглядел меня и подозвал кельнера. Я невольно повиновался, тем более что мне все равно следовало ожидать распоряжений от Штюсси-Лойпина, который отошел с моим заключением в сторону и теперь листал его за одним из столиков.

В передней части зала играли зеленщики, темными силуэтами выступали они на фоне окон. С улицы доносился приглушенный грохот трамвая. Кантональный советник все еще разглядывал меня, не пряча взгляда и без тени смущения. На вид ему было под семьдесят. Он, единственный из всех, не снял пиджак, но и потеть не потел. Я, наконец, назвал себя, смутно догадываясь, что имею дело с человеком высокопоставленным, но имя его мне в голову не приходило.

— Вы не родственник ли полковнику Шпету? — спросил он, но себя не назвал, то ли не придавая этому значения, то ли предполагая, что он мне и без того знаком. (Полковник Шпет, марциальный аграрий, ныне федеральный советник. Сторонник наращивания атомных вооружений.)

— Едва ли,— ответил я. (Чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом: я родился в 1930 году. Свою мать, Анну Шпет, я никогда не знал, отец вообще неизвестен. Я вырос в сиротском приюте, о котором вспоминаю с удовольствием, особенно — необозримый лес, к нему примыкавший. Дирекция и педагогический состав были там выше всяких похвал, детство — счастливое, иметь родителей — это не всегда к лучшему. Мои несчастья начались с доктора г. к. Исаака Колера, до того у меня хоть и бывали затруднения, но не безнадежные.)

— Вы собираетесь стать компаньоном Штюсси-Лойпина? — спросил он.

Я удивленно взглянул на него.

— И не думал.

— Он высоко вас ценит.

— Мне он этого до сих пор не показывал.

— Штюсси-Лойпин никогда ничего не показывает,— сухо заметил старик.

— Его проблема,— беззаботно отвечал я.— Мне хочется самостоятельности.

— Вам трудно придется.

— Возможно.

Старик засмеялся:

— Вы еще натерпитесь всякого. В нашей стране без поддержки трудно пробиться наверх. В бильярд играете? — вдруг спросил он без всякого перехода.

Я ответил отрицательно.

— Напрасно,— сказал он и снова задумчиво уставился на меня с глубоким удивлением в серых глазах, но не насмешливо, как мне ка-

залось, а без юмора, сурово, после чего подвел меня ко второму столу, где играли доктор Бенно и профессор Винтер, этих я знал: профессора — по университету, он был ректором, когда я туда поступал, доктора Бенно — из мира ночной жизни, процветавшей в нашем городе, правда, в те времена не долее чем до полуночи, но зато весьма интенсивно. Бенно был человеком неопределенного рода занятий. Когда-то он был олимпийским чемпионом в фехтовании, за что и получил прозвище Хайнц-Олимпиец, когда-то он стал чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета, а известным игроком в гольф он пребывал до сих пор, еще он содержал когда-то картинную галерею, которая не окупалась, теперь же, если верить слухам, он преимущественно управлял чужими капиталами.

Я поздоровался, они кивнули.

— Винтер всю жизнь останется в бильярде новичком,— сказал доктор г. к. Колер.

Я засмеялся:

— Зато вы, наверное, мастер.

— Разумеется,— спокойно ответил он.— Бильярд — моя страсть. Дайте-ка сюда кий, профессор, все равно такой удар вам не осилить.

Профессор Адольф Винтер передал ему кий. Винтер был мужчина лет шестидесяти, грузный, но небольшого роста, сверкающая лысина, золотые очки без оправы, ухоженная черная с проседью бородка, которую он любил с достоинством поглаживать, всегда тщательно одет, хотя и консервативно, однако не без изящества, словом, один из тех гуманитарных краснобаев, которыми кишмя кишит наш университет, член ПЕН-клуба и Фонда Устери, автор двухтомного кирпича под названием «Карл Шпиттелер и Гесиод, или Швейцария и Эллада. Сравнение». Издательство «Артемис», 1940 (мне, как юристу, философский факультет всегда действовал на нервы).

Кантональный советник старательно натирал мелом кожаную нашлепку. У него были спокойные, уверенные движения, и как бы резко ни звучали его слова, это не казалось высокомерным, скорей продуманным и выдержанным, все в нем свидетельствовало о силе и неколебимости. Чуть наклонив голову, он окинул взглядом бильярдное поле и ударил, быстро и решительно.

Я провожал глазами движение белых шаров, их столкновение, откат.

— От борта дуплетом — вот как можно справиться с Бенно,— промолвил кантональный советник, возвращая кий профессору.— Усвоили, молодой человек?

— Я в этом ничего не смыслю,— ответил я и занялся своим грогом, который кельнер тем временем поставил на столик.

— Ничего, когда-нибудь поймете,— захохотал доктор г. к. Исаак Колер и, сняв со стены скатанную газетную подшивку, удалился.

Убийство. То, что произошло три года спустя, общеизвестно, об этом можно рассказать в двух словах (причем для этого мне совсем не обязательно быть трезвым). Доктор г. к. Исаак Колер отказался от мандата, хотя колеровская партия выдвинула его кандидатуру на пост правительственного советника (правительственного, а не федерального, как о том писали некоторые зарубежные газеты), вообще отошел от политики (свою адвокатскую практику он забросил много раньше), возглавил кирпичный трест, который приобретал все больший международный размах, попутно отправлял обязанности президента в ряде правлений, подвизался также в одной из подкомиссий ЮНЕСКО и порой месяцами не показывался в нашем городе вплоть до того не по сезону теплого дня, в марте 1955 года, когда он провез через наш город английского министра Б. Визит министра носил сугубо частный характер, в одной из частных же клиник нашего города его пользовали от язвы желудка, теперь он сидел рядом с бывшим

кантональным советником в «роллс-ройсе» последнего и безо всякого интереса знакомился напоследок с нашим городом; месяц подряд он категорически отказывался от этого знакомства, чтобы под конец все-таки сдаться, зевая, глядел он на проплывающие мимо достопримечательности, технический институт, университет, Мюнстер, романский стиль (кантональный советник подбрасывал по мере надобности короткие реплики), река трепетала сквозь мягкий воздух (как раз садилось солнце), набережная была полна людей. Министр, еще храня на губах привкус бесчисленных картофельных пюре и овсяных каш с сухофруктами, которыми его пичкали в частной клинике, но мечтая о неразбавленном виски, слышал голос советника как бы издалека, а шум транспорта как шум еще более отдаленный, и под этот шум он задремал; им овладела свинцовая усталость, а может быть, и предчувствие, что язвы — вещь отнюдь не безобидная.

— Just a moment,— произнес доктор г. к. Исаак Колер, после чего приказал шоферу Францу остановиться перед «Театральным», вылез, велел подождать минуту, успел еще машинально указать зонтиком на фасад «восемнадцатого века», но министр Б. никак не реагировал, он дремал и видел сны. Кантональный советник направился в ресторан, проник через вращающуюся дверь в большой зал, где был почтительнейше встречен метрдотелем. Время шло к семи, все столики были заняты, гости ужинали, мешанина голосов, чавканье, звяканье вилок и ножей. Бывший советник огляделся по сторонам, затем решительно проследовал к центру зала, где за маленьким столиком сидел профессор Винтер, всецело занятый вырезкой а-ля Россини и бутылкой шамбертена, достал револьвер и пристрелил члена ПЕН-клуба, не преминув для начала приветливо с ним поздороваться (вообще все свершилось самым благопристойным образом), после чего столь же невозмутимо проследовал мимо остолбеневшего метрдотеля, который молча таращился на него, мимо растерянных, до смерти напуганных официанток, через вращающуюся дверь под теплое мартовское небо, снова сел в свой «роллс-ройс», к дремлющему министру, который так ничего и не заметил, который даже не осознал, что машина останавливалась, который просто дремал, просто видел сны, то ли о виски, то ли о политике (кстати, его и в самом деле смыла волна Суэцкого кризиса), то ли о некоем предчувствии по части своей язвы (на прошлой неделе газеты опубликовали сообщение о его смерти, с очень скупым комментарием, причем большинство газет ухитрилось переврать его имя).

— В аэропорт, Франц,— приказал доктор г. к. Исаак Колер.

Интермеццо его ареста. Без злорадства об этом рассказывать трудно. Через несколько столиков от убитого сидел за трапезой комендант кантональной полиции вместе со своим старым другом, скульптором по имени Мокк. Погруженный в себя, да вдобавок глухой, Мокк вообще не воспринял ничего из происходящего ни раньше, ни потом. Оба ели potaufeu — отварное мясо с приправами и к нему бульон с овощами. Мокк — не без удовольствия: комендант, отнюдь не поклонник «Театрального», лишь изредка здесь бывавший,— не без отвращения. В этом блюде решительно все было ему не по вкусу: бульон слишком холодный, мясо слишком волокнистое, брусника слишком сладкая. Когда раздался выстрел, комендант не поднял глаз, что вполне возможно, во всяком случае так рассказывают, поскольку он как раз в эту минуту по всем правилам работал над мозговой косточкой, потом, наконец, встал, даже опрокинув при этом стул, как человек порядка, снова его поднял и подошел к Винтеру, но тот уже лежал на своей вырезке а-ля Россини, все еще сжимая рукой бокал с шамбертеном.

— Это был Колер? — справился комендант у по-прежнему невменяемого, бледного метрдотеля, который в ужасе на него воззрился.

— Так точно. Совершенно верно,— пробормотал метрдотель.

Комендант задумчиво разглядывал убитого германиста, затем перевел мрачный взгляд на тарелку с жареным картофелем и бобами, скользнул по миске с нежной зеленью салата, помидорами и редиской.

— Тут больше ничего не поделаешь,— изрек он.

— Так точно. Совершенно верно.

Гости, поначалу окаменевшие, вскочили со своих мест. Из-за стойки глазел повар и прочий кухонный персонал. Только Мокк невозмутимо продолжал есть. Вперед протиснулся худой человек.

— Я врач.

— Ничего не трогайте,— спокойно распорядился комендант.— Нам его сперва надо сфотографировать.

Врач наклонился к профессору, но приказа не нарушил.

— Действительно,— констатировал он.— Убит.

— То-то и оно,— спокойно ответил комендант.— Вернитесь на свое место.

Затем он взял со стола бутылку шамбертена.

— А это мы конфискуем,— сказал он и протянул бутылку метрдотелю.

— Так точно. Совершенно верно,— пробормотал тот.

Затем комендант отправился звонить.

Вернувшись, он застал над трупом прокурора Уныллера. Прокурор был одет в парадный темный костюм. Он собирался на симфонический концерт и, когда раздался выстрел, доедал на втором этаже французского ресторана омлет «Сюрприз» на сладкое. Уныллера в городе не любили, и о том времени, когда он уйдет на покой, мечтали все — шлюхи и конкуренты из другого лагеря, воры и взломщики, ненадежные прокуристы, деловые люди, оказавшиеся в затруднении, но также и юридический аппарат — от полиции до адвоката, мало того, собственные коллеги, и те его не жаловали. Все изощрялись в шутках по адресу Уныллера: мол, не диво, если дела в городе идут так уныло с тех пор, как Уныллер занял свой пост, или: в правосудии царит такое уныние, что дальше некуда, ну и тому подобное. Прокурор занимал безнадежную позицию, авторитет его был давным-давно подорван, присяжные все чаще открыто ему перечили, а с ними заодно и судьи, но больше всего страданий причинял ему комендант: молва утверждала, будто комендант считает так называемую уголовную часть нашего населения его лучшей частью. Впрочем, Уныллер был юрист высокой пробы, он отнюдь не всегда терпел поражение, его запросов и реплик боялись, его бескомпромиссность внушала уважение в такой же мере, в какой возбуждала ненависть. Он являл собой образец прокурора старой закваски, для которого каждый оправдательный приговор есть личное оскорбление, который одинаково несправедлив и по отношению к бедным, и по отношению к богатым. Уныллер был холост, недоступен искушениям, никогда в жизни не прикоснулся ни к одной женщине. Что и составляло его профессиональные недостатки. Преступники были для него чем-то непонятным, почти демоническим, они повергали его в ярость, которая подобала героям Ветхого завета, он был пережитком несгибаемой, но зато и неподкупной морали, доледниковый валун в «болоте юстиции, которая готова все оправдать», говорил он столь же пламенно, сколь и желчно. Вот и теперь он был чрезвычайно возбужден, тем более что лично знал и убитого и убийцу.

— Комендант,— негодующе вскричал он, все еще держа салфетку в руке,— говорят, будто убийство совершил доктор Исаак Колер!

— Правильно говорят,— буркнул комендант.

— Но это же просто невозможно.

— Колер, верно, спятил,— ответил комендант, сел на стул возле покойника и раскурил одну из своих неизменных бахианос. Уныллер промакнул салфеткой пот на лбу, подтащил стул от соседнего стола и тоже сел, так что грузный мертвец лежал головой в тарелке как раз

между обоими крупными и массивными представителями закона. Они сидели и ждали. В ресторане стояла мертвая тишина. Никто больше не ел. Все смотрели на зловещую троицу. Лишь когда в зал ворвалась ватага студентов, возникло некоторое замешательство. Студенты начали с пением разбредаться по залу, не сразу сообразили, что к чему, продолжали драть глотку и лишь потом замолкли смущенно. Наконец заявился лейтенант Херрен с другими членами комиссии по расследованию убийств. Полицейский фотографировал, судебный медик стоял без всякого дела рядом, а пришедший с комиссией окружной прокурор извинился перед Уныллером за свой приход. Тихие приказы, распоряжения. Потом мертвеца подняли, на лице — подливка, борода в гусиной печенке и зеленых бобах, уложили на носилки и перенесли в санитарную машину. А золотые очки Элла обнаружила, только когда ей позволили убрать со стола, в жареной картошке. После чего окружной прокурор приступил к допросу первых свидетелей.

Возможный вариант первого разговора. Когда официантки вышли из оцепенения, когда гости медленно и нерешительно заняли прежние места, а некоторые снова начали есть, когда прибыли первые журналисты, прокурор вместе с комендантом удалились для обсуждения в кладовую возле кухни, куда их проводили. Прокурор хотел какое-то время побыть наедине с комендантом, без свидетелей. Предстояло организовать и провести открытый процесс. Краткое обсуждение среди полок с хлебом, консервами, мешками муки, бутылками масла прошло неудачно. Согласно докладу, с которым комендант впоследствии выступил перед парламентом, прокурор потребовал широко задействовать силы полиции.

— Это еще зачем? — спросил комендант.— Кто ведет себя как Колер, тот бежать не собирается. Мы спокойно можем арестовать его дома.

Уныллер разгорячился:

— Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете обращаться с Колером как с любым другим преступником?

Комендант промолчал.

— Этот человек — один из самых богатых и самых известных жителей нашего города,— продолжал Уныллер.— Наш священный долг (одно из его любимых выражений) — действовать с сугубой строгостью. Мы должны избегнуть даже тени подозрения, что мы ему попустительствуем.

— Наш священный долг,— спокойно возражал комендант,— обойтись без ненужных расходов.

— Значит, тревогу номер один объявлять не будете?

— И не подумаю.

Федеральный прокурор воззрился на хлеборезную машину, возле которой стоял.

— Вы дружны с Колером,— наконец изрек он, даже и не сердито, а холодно, как бы по долгу службы.— Вам не кажется, что это обстоятельство может повлиять на вашу объективность?

Молчание.

— Дело Колера будет вести лейтенант Херрен,— невозмутимо отвечал комендант.

Так начался скандал.

Херрен был человеком действия, честолюбивым, а потому с самого начала проявил неуемную поспешность. Ему удалось всего за несколько минут не только поднять по тревоге всю полицию, но и встревожить все население, поскольку он пропихнул на радио, перед программой новостей в семь тридцать, экстренное сообщение кантональной полиции. Буча поднялась страшная. Вилла Колера оказалась пустой (Колер был вдовец, его дочь, стюардесса компании «Свиссэйр»,

находилась в полете, кухарка ушла в кино). Можно было заподозрить попытку скрыться. Патрульные машины прочесывали город, пограничники были предупреждены, Интерпол поставлен в известность. С точки зрения чисто технической это заслуживало высокой похвалы, вот только упускалась возможность, которую предвидел комендант: разыскивали человека, и не думавшего скрываться. Несчастье уже произошло, когда в начале девятого из аэропорта поступило сообщение, что Колер проводил до самолета одного английского министра, потом преспокойно уселся в свой «роллс-ройс» и приказал везти себя обратно в город. Тяжелей других пострадал на этом деле федеральный прокурор. Успокоенный безупречным функционированием могучего государственного механизма, еще торжествуя свою победу над треклятым комендантом, он как раз изготовился слушать увертюру Моцарта к «Похищению из сераля», и в предвкушении удовольствия уже погладил аккуратную седую бородку и откинулся в креслах, а Мондшайн уже поднял дирижерскую палочку, когда по проходу большого концертного зала в сопровождении одной из самых богатых и самых простодушных вдов нашего города мимо заполненных слушателями рядов проследовал к первым рядам разыскиваемый полицией с применением новейших технических средств доктор г. к., спокойный и уверенный, как обычно, с невинным выражением лица, будто ровным счетом ничего не случилось. Доктор г. к. занял место подле Уныллера и даже потряс остолбеневшему прокурору руку. Возбуждение, шепот, и — увы! — хихиканье трудно было не заметить, увертюра явно не удалась, поскольку и оркестранты прекрасно видели все происходящее, один гобоист даже привстал от любопытства, Мондшайну пришлось начинать дважды, прокурор же пребывал в таком смятении, что сидел будто окаменевший не только во время увертюры, но и во время последовавшего за ней Второго фортепьянного концерта Иоганнеса Брамса. Правда, он сумел оценить ситуацию к тому времени, когда начал свою партию пианист, но прерывать Брамса не рискнул, слишком велик был его пиетет перед культурой, он страдал от сознания, что надо бы вмешаться, но теперь было слишком поздно, приходилось ждать антракта. Зато в антракте он начал действовать, протиснулся сквозь толпу, с любопытством обступившую кантонального советника, стремглав помчался к автоматам, принужден был вернуться и попросить у гардеробщицы мелочь, позвонил в полицейское управление, связался с Херреном и организовал сбор всех частей. Меж тем Колер разыгрывал святую невинность, отправился в бар, где угощал вдову шампанским, этому подлецу вдобавок до того везло, что даже второе отделение концерта началось за несколько секунд до прибытия полиции. Вот и пришлось Уныллеру вместе с Херреном торчать перед закрытыми дверями, покуда в зале бесконечно тянулась Седьмая Брукнера. Прокурор возбужденно метался взад и вперед, так что капельдинерам несколько раз пришлось его призывать к порядку, и вообще с ним обращались как с дикарем. Он проклинал на чем свет стоит всю романтику, проклинал Брукнера, за дверью до сих пор тянули адажио, и когда, наконец, после финала раздались аплодисменты (которые, кстати сказать, тоже никак не хотели кончаться), а публика между шпалерами полицейских начала покидать зал, доктор г. к. оттуда вообще не вышел. Он исчез. Комендант провел его через служебный выход к своей машине и отвез в полицейское управление.

Возможный вариант второго разговора. В управлении комендант провел д-ра г. к. в свой кабинет. По дороге они не обменялись ни единым словом, теперь комендант шел первым по пустому, плохо освещенному коридору. В кабинете он молча указал на покойное кожаное кресло, запер дверь и скинул пиджак.

— Располагайтесь со всеми удобствами.

— Спасибо, я уже расположился,— ответствовал советник, который тем временем успел сесть.

Комендант выставил два бокала на стол, разделявший оба кресла, и достал из шкафа бутылку красного вина.

— Шамбертен Винтера,— пояснил он, разлил вино по бокалам, тоже сел, некоторое время смотрел прямо перед собой, потом вдруг начал усердно вытирать пот со лба и с шеи.

— Дорогой Исаак,— наконец заговорил он,— скажи мне ради бога, зачем ты пристрелил этого старого осла?

— Ты подразумеваешь...— как-то неуверенно начал кантональный советник.

— Ты вообще-то соображаешь, что натворил? — перебил его комендант.

Советник не без удовольствия отхлебнул из своего стакана, но отвечать сразу не стал, а вместо того с некоторым удивлением, хотя и не без легкой насмешки поглядел на коменданта.

— Ясное дело,— ответил он наконец,— ясное дело соображаю.

— А почему ты пристрелил Винтера?

— Ах, ты вот про что,— протянул кантональный советник и вроде бы задумался, потом со смехом: — Ах, вот ты про что, недурно, недурно.

— Что недурно-то?

— Да все.

Комендант решительно не знал, как на это реагировать, был сбит с толку и рассержен. Убийца же, напротив, явно развеселился, несколько раз издавал тихий смешок, его непонятным образом что-то забавляло.

— Ну, хватит. Почему ты убил профессора? — снова упорно и настойчиво подступил к нему комендант, а сам вытер пот со лба и с шеи.

— Без всякой причины,— признался кантональный советник.

Теперь комендант с великим удивлением воззрился на него, подумав даже, что ослышался, потом допил свой бокал, налил еще раз, но расплескал вино.

— Без всякой?

— Без всякой.

— Но это же бред, уж, верно, какая-нибудь причина у тебя была,— в нетерпении вскричал комендант.— Это бред.

— Прошу тебя, делай то, что велит тебе твой долг,— сказал Колер и допил вино.

— Мой долг велит мне арестовать тебя.

— Вот и действуй.

Комендант пришел в совершенное отчаяние. Как трезвый и рассудительный человек, он любил ясность в делах. Убийство для него было своего рода несчастным случаем, который не подлежит моральному суду. Но, как человеку порядка, ему требовалась видимая причина. Убийство без причины с точки зрения коменданта попирало не законы нравственности, а законы логики. А этого быть не должно.

— Всего бы лучше упрятать тебя в сумасшедший дом для обследования,— яростно выпалил он,— так не бывает, чтоб человек без всякой причины совершил убийство.

— Я абсолютно нормален,— спокойно парировал Колер.

— Может, позвонить Штюсси-Лойпину? — предложил комендант.

— Зачем?

— Вот голова садовая! Тебе же нужен защитник. Самый лучший из всех. А Штюсси-Лойпин у нас самый лучший.

— С меня хватит и назначенного.

Комендант сдался. Он расстегнул воротник и глубоко вздохнул.

— На тебя, видно, нашло помрачение ума,— прохрипел он.— Дай сюда револьвер.

— Какой такой револьвер?

— Из которого ты застрелил профессора.

— Вот чего нет, того нет,— изрек доктор г. к. и встал с места.

— Исаак! — взмолился комендант.— Надеюсь, ты избавишь нас от необходимости тебя обыскивать.

Он хотел снова подлить себе вина, но в бутылке уже ничего не осталось.

— Этот проклятый Винтер слишком много выпил,— буркнул комендант.

— Прикажи, наконец, увести меня,— предложил убийца.

— Будь по-твоему,— отвечал комендант,— но тогда и мы тебя ни от чего не избавим.

Он тоже встал, снял с дверей цепочку и позвонил.

— Уведите этого человека,— приказал он.— Он арестован.

Запоздалое подозрение. Если я пытаюсь воссоздать эти разговоры — их возможные варианты, поскольку лично при них не присутствовал, то отнюдь не с намерением написать роман, а из необходимости точно, насколько удастся, воспроизвести события, впрочем это отнюдь не самое трудное. Хотя юстиция действует главным образом за кулисами, но и за кулисами размываются с виду столь резко очерченные сферы компетенции, меняются либо подвергаются новому распределению роли, происходят разговоры между действующими лицами, которые в глазах общественности числятся заклятыми врагами и вообще господствует совсем другой тон. Не все бывает зафиксировано и приобщено к делу. Информацию можно сделать достоянием гласности, а можно и утаить. Так вот, при мне комендант всегда был очень словоохотлив и откровенен, он по доброй воле все рассказывал, давал ознакомиться с важными документами, нарушая порой ради меня инструкцию, да и вообще до сих пор ко мне расположен. Мало того, сам Штюсси-Лойпин был по отношению ко мне воплощение предупредительности, даже когда я уже давным-давно находился в другом лагере, ветер переменился только теперь, да и то по совершенно другой причине. Вот почему мне незачем выдумывать эти разговоры, достаточно их реконструировать. В крайнем случае я могу их вычислить.

Нет, мои «сочинительские» затруднения совсем иного рода. Хотя я отчетливо сознаю, что даже задуманное мною убийство и самоубийство не способны послужить окончательным доказательством моей правоты, меня, пока я описываю события, время от времени осеняет безумная надежда это доказательство предоставить: ну, например, выяснив, куда девался револьвер Колера. Орудие убийства так никогда и не нашли. Обстоятельство, казалось бы, второстепенное. На ход процесса оно никак не повлияло. Убийца был известен, свидетелей хватало с лихвой — персонал и посетители «Театрального». И если комендант в начале следствия бросил все силы на то, чтобы отыскать револьвер, то отнюдь не из желания добыть еще одну улику против Колера — в том не было ни малейшей надобности,— а единственно из любви к порядку, в согласии со своими криминалистическими установками. Однако, как ни странно, усилия коменданта ни к чему не привели. Путь, проделанный доктором г. к. Исааком Колером из «Театрального» до концертного зала был всем известен и хронометрирован с точностью до минуты. После выстрела в поглощающего вырезку а-ля Россини профессора Колер, как нам известно, сразу же сел в свой «роллс-ройс» подле министра, грезящего о виски. В аэропорту убийца и министр вместе вышли из машины, причем шофер (который еще ни о чем не знал) не заметил никакого револьвера,

равно как не заметил его и директор фирмы «Свиссэйр», подскочивший с приветствием. В зале аэропорта поболтали о том о сем, далее были вслух высказаны непременные восторги по поводу здания, вернее, по поводу его внутреннего устройства, после чего Колер с министром нога в ногу проследовали к самолету, причем Колер слегка поддерживал министра под локоток. Церемония торжественного прощания, возвращение вместе с директором в зал, еще один беглый взгляд на убегающую по взлетной полосе машину, приобретение в киоске «Нойе цюрхер» и «Националь-цайтунг», проход через весь зал, по-прежнему в сопровождении директора, хотя на сей раз без восторгов по поводу интерьера, далее — в ожидающую машину, из аэропорта на Цолликерштрассе, двойной сигнал перед домом простодушной вдовы, которая тотчас вышла (времени было в обрез) и с Цолликерштрассе — прямиком в концертный зал. Никаких признаков оружия, вдова тоже ничего не заметила. Револьвер бесследно исчез. Комендант приказал тщательнейшим образом обыскать «роллс-ройс», затем прочесать маршрут, которым следовал Колер, далее — виллу Колера, комнату кухарки, жилище шофера на Фрайештрассе. Ничего. Комендант еще несколько раз подступался к Колеру, даже накричал на него и устроил ему длительный допрос. Тщетно. Доктор г. к. перенес это с легкостью, зато Хорнуссер, следователь, который продолжил допрос вслед за комендантом, под конец рухнул без сил. Тут был внесен протест со стороны федерального прокурора в том смысле, чтобы полиция и следователи не проявляли чрезмерного педантизма, есть ли револьвер, нет ли револьвера, не стоит отводить его наличию слишком важную роль, искать и дальше — значит выбрасывать на ветер деньги налогоплательщиков, короче, пусть комендант и следователь приостановят поиски; исчезнувшее оружие приобрело значение лишь позднее, стараниями Штюсси-Лойпина. Если в последние дни револьвер пробуждает во мне новую надежду, это уже совсем другая история, которая составляет одну из трудностей моего предприятия. В роли рыцаря справедливости я произвожу весьма жалкое впечатление, я ни на что больше не способен, кроме как писать; едва передо мной забрезжит возможность повлиять на ход событий другим способом, действовать по-другому, я бросаю свою портативную «Гермесбэби», бегу к своей машине (это опять «фольксваген»), даю газ и мчусь, как, например, вчера утром к заместителю по кадрам компании «Свиссэйр». У меня возникла одна идея, одно гениальное решение. Я ехал словно в чаду и только чудом прибыл в аэропорт живой и невредимый, и все встречные тоже остались живыми и невредимыми. Но кадровик не пожелал дать мне необходимую справку, он и принять-то меня отказался. Возвращение происходило в более чем умеренном темпе, на перекрестке один постовой даже заорал на меня, уж не намерен ли я по-черепашьи плестись через весь город. Я снова ощутил себя битой картой. Еще раз поручить розыск частному детективу, то есть Линхарду, я не могу, он и берет слишком дорого, и вдобавок при сложившемся положении вещей едва ли заинтересован в моем поручении; какой дурак захочет по доброй воле рубить сук, на котором сидит? Поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как самому выйти на Елену. Я звоню. «Нет дома». «В городе». Тогда я отправляюсь наугад, пешком. Думаю прочесать несколько ресторанов или книжных лавок и нахожу, прямо-таки натыкаюсь на нее, но-увы! — она сидит со Штюсси-Лойпином, перед «Селектом», за кофе со взбитыми сливками. Я углядел обоих только в последнюю секунду, когда сам уже стоял перед ними, растерянный, потому что искал только ее, и кипя от злости, потому что с ней сидел Штюсси-Лойпин, впрочем, это ничего не меняло по существу, они, надо думать, и без того давным-давно спят друг с другом, дочурка убийцы и спаситель ее папеньки, она — в прошлом моя возлюбленная, он — в прошлом мой шеф.

— Прошу прощения, фройляйн Колер,— начал я,— мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут. Наедине.

Штюсси-Лойпин предложил ей сигарету, сунул себе в рот другую, дал огня.

— Ты не против, Елена? — спросил он.

Я мог бы убить этого прима-адвоката на месте.

— Против,— отвечала она, не поднимая на меня глаз, хотя и отложив сигарету.— Впрочем, пусть говорит.

— Ладно,— сказал я, придвинув стул и заказав себе черный кофе.

— Итак, чего же вам угодно от нас, почтеннейший гений юриспруденции? — благодушно спросил Штюсси-Лойпин.

— Фройляйн Колер,— начал я, с трудом скрывая волнение.— Я должен задать вам один вопрос.

— Слушаю.— Она снова закурила.

— Задавайте,— изрек Штюсси-Лойпин.

— Когда ваш отец провожал английского министра к самолету, вы еще служили стюардессой?

— Разумеется.

— И в том самолете, на котором министр возвращался в Англию, тоже летели?

Она загасила сигарету.

— Вполне возможно.

— Благодарю вас, фройляйн Колер,— сказал я, затем поднялся с места, откланялся, оставил недопитый кофе и ушел.

Теперь я знал, куда могло исчезнуть орудие убийства. Все проще простого. До смешного просто. Старик сунул револьвер министру в карман пальто, когда сидел рядом с ним в «роллс-ройсе», а его дочь Елена вынула револьвер из кармана во время полета. Для стюардессы это не составляет труда. Но теперь, обладая этим знанием, я вдруг почувствовал усталость и пустоту и долго, бесконечно долго брел по набережной, так что дурацкое озеро со своими лебедями и парусниками все время оставалось справа от меня. Если мои рассуждения верны — а они должны быть верны,— Елена знала о преступлении. И виновна так же, как ее отец. Но тогда она меня предала, тогда ей известно, что я прав, тогда ее отец одержал победу. Он оказался сильней, чем я. А борьба с Еленой не имела никакого смысла, потому что Елена уже приняла решение, потому что исход борьбы уже был предрешен. Я не мог заставить ее выдать родного отца. Во имя чего я стал бы взывать к ней? Во имя идеалов? Каких идеалов? Во имя правды? Она ее скрыла. Во имя любви? Она меня предала. Во имя справедливости? Вот тут она могла бы спросить: справедливости, а ради кого? Ради деятеля культуры местного значения? Пепел не ропщет. Ради бесхарактерного, изолгавшегося бабника? Он тоже кремирован. Ради меня, наконец? Не стоит труда. Справедливость — не чье-то личное дело. И еще она могла бы спросить меня: справедливость, а зачем? Ради нашего общества? Одним скандалом, одной темой для разговоров больше, а послезавтра новая повестка дня все равно выдвинет другие вопросы. Вывод из логического упражнения: польза от справедливости не перевешивает в глазах Елены ее папочку. Для юриста — вывод трагический. Может, ввести в игру самого бога? Это, вне всякого сомнения, очень доброжелательный, но малоизвестный господин с сомнительными источниками существования. И еще: у него и без меня хватает дел (диаметр Вселенной, согласно Ситтеру — устаревшие данные по самым скромным подсчетам в сантиметрах,— единица и двадцать восемь нулей). Но надо было выстоять, собраться с духом, придушить философию, продолжить борьбу против общества, против Колера, против Штюсси-Лойпина и начать борьбу против Елены. Склонность к размышлениям — черта нигилистическая, она ставит под сомнение признанные ценности, вот почему я снова лихо обратился к действительной жиз-

ни, приободрясь и имея на сей раз озеро, лебедей и парусники с левой стороны, вернулся в Старый город, мимо пенсионеров и мимо парочек, к своему великому удовольствию озаренный как бы космическими лучами заходящего солнца, потом весь вечер без остановки пил клевнер (который вообще не переношу), и когда около часа ночи в сопровождении одной дамы, хоть и с неважной репутацией, но зато с отменным телосложением, приблизился к ее дому, в подъезде меня поджидал Штубер из полиции нравов, он записал все адреса и любезно поклонился, поклон был задуман как едкая ирония, как жаровня углей, высыпанная на голову спившегося адвоката. В общем, получился прокол. Да, прокол. (Зато дама оказалась выше всех похвал, она даже сказала, что, поскольку для нее это большая честь, заплатить я могу и в другой раз, в чем я усомнился, откровенно признавшись, что до следующего раза навряд ли стану богаче, затем я назвал ей свою профессию, после чего она меня пригласила к себе в поверенные.)

Страна и люди. Без кой-каких сведений нам не обойтись. Для убийства потребно как непосредственное, так и отдаленное окружение, средняя годовая температура, средний процент землетрясений и человеческий климат. Здесь все сопряжено одно с другим. Предприятие, которое порой выступает под названием «наше государство», а порой — «наше отечество», было в грубом исчислении учреждено более двадцати поколений тому назад. Место: сперва все происходило главным образом среди мела, гранита и молассы, позднее к этому присоединились третичные отложения. Климат: так себе. Эпоха: сперва не очень, утверждалась доморощенная власть габсбургов, избыток кулачного права, раз надо брать силой, будем брать силой, взламывали рыцарей, монастыри и замки как несгораемые шкафы, грандиозные грабежи, добыча, пленных не брали, перед битвой — молебен, после драки — повальное пьянство, война себя вполне окупала, потом, к сожалению, изобрели порох, великодержавная политика натолкнулась на растущее сопротивление, любителей размахивать алебардой либо кистенем утихомирили, адептов ближнего боя прихлопнули на расстоянии, и восьми поколений не минуло, как уже свершилось приснопамятное отступление, далее еще семь поколений относительной дикости, в течение которых отчасти убивали друг дружку, угнетали крестьян (свободу здесь никогда не воспринимали слишком уж буквально) и вели битвы из-за религии, отчасти же на широкую ногу культивировали ландскнехтство, продавали свою кровь тому, кто больше заплатит, защищали князей от горожан, всю Европу — от свободы. Потом наконец грянули громовые раскаты французской революции, в Париже перестреляли ненавистную гвардию, которая стойко защищала обреченную позицию на службе у прогнившей системы, что правила милостью божьей, а тем временем один из гвардейских офицеров, аристократического рода, между прочим, сидя в мансарде и тем самым в безопасности, сочинял свою «Осеннюю песню». «Рощи запестрели, нивы пожелтели, осень началась». Немного спустя Наполеон окончательно сокрушил страны рабов и господ. Поражения, однако, пошли нашей стране на пользу. Проклюнулись первые ростки демократии и новые идеи: Песталоцци, бедный, оборванный и пламенный, бродил по стране от одного несчастья к другому. Намечался крутой поворот к бизнесу и ремеслу, задрапированный в соответствующие идеалы. Начала расти промышленность, прокладывались железные дороги. Правда, земля была скудна полезными ископаемыми, уголь и руды приходилось ввозить и перерабатывать, но повсюду ревностное прилежание, растущее богатство без расточительства, хотя, к сожалению, и без блеска. Бережливость утверждалась как высшая добродетель, основывались банки, поначалу робко, долги считались чем-то постыдным, и если некогда

важную статью вывоза составляли ландскнехты, то ныне это стали банкроты: кто разорялся у нас, мог попытать счастья по ту сторону океана. Все должно было окупаться, и все окупалось, даже необозримые груды камней, даже галька, языки глетчеров и обрывистые склоны, ибо с тех пор, как была открыта природа, и любой лоботряс получил возможность испытать прилив возвышенных чувств в горном уединении, стало возможным и создание индустрии туризма: идеалы страны всегда имели практическую основу. В остальном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгодней не соваться, аморальная по сути, но здоровая жизненная установка, свидетельствовавшая если не о величии, то по крайней мере о политическом благоразумии. Так вот и приспосабливались, благополучно пройдя через две мировые войны, маневрировали между хищниками, но всякий раз выходили целыми и невредимыми. На сцену явилось наше поколение.

Наше время (1957 год после Рождества Христова). Значительная часть населения живет почти беззаботно, беспечно и обеспеченно, церковь, учебные заведения и клиники всегда готовы к услугам по доступной цене, кремация же в случае надобности производится бесплатно. Жизнь движется по накатанной колее, но прошлое раскачивает постройку и сотрясает фундамент. Кто многим владеет, тому страшно многое потерять. Тот замертво падает с лошади, когда опасность осталась позади, как упал всадник, проскакав по льду Боденского озера; духу не хватает, чтобы признать необходимость собственного благоразумия, человек не готов и дальше мириться с тем, что никогда не был героем, что был просто наделен здравым рассудком, он протискивается в ряды героев, оживает предание об отцах-воителях, героические мифы грозят коротким замыканием, память живет доисторическими битвами, и вот уже иной сам возводит себя в борцы Сопротивления, а дальше приступают к делу генштабисты, они заклинаниями вызывают из небытия мир нибелунгов, грезят о ядерном оружии, о героической борьбе не на жизнь, а на смерть в случае агрессии, ибо гибель армии должна тупо и неотвратимо привести к гибели нации, тогда как народы, давным-давно угнетенные и порабощенные то храбростью, а то и хитростью, умеют избегать этой участи. Но предполагаемая гибель может нагрянуть в другом, более изощренном виде. Землю, которую нация собиралась защищать до последней капли крови, скупают иностранцы, чужие руки содействуют процветанию хозяйства, свои же в лучшем случае осуществляют общее руководство, хотя едва ли правят, граждане государства образуют верхний слой, а под ним, скучившись в жилищах, сдаваемых за бешеные деньги, ютятся бедные и работящие итальянцы, греки, испанцы, португальцы и турки, нередко презираемые, зачастую неграмотные, илоты, на взгляд многих хозяев — существа низшего сорта, которые, пополнив ряды сознательного пролетариата и обладая превосходством как результатом привычки к умеренности, могут заявить о своих правах, вдруг осознав, что фирма, именующая себя нашим государством и уже наполовину перекупленная иностранным капиталом, зависит от них целиком и полностью. Как мы смутно о том догадываемся, протирая глаза в немом изумлении, наше маленькое государство на самом-то деле ушло с исторической арены, едва оно присоединилось к большому бизнесу.

Реакция общественности. Вот на каком фоне резко выделяется убийство, совершенное доктором г. к. Колером. Результат можно было предвидеть заранее: коль скоро мы деполитизировали политику — вот где мы устремлены в будущее, вот где мы вполне современны, вот где проявляется наш новаторский дух; миру суждено либо погиб-

нуть, либо полностью «ошвейцариться»; итак, коль скоро от политики нечего больше ожидать ни чудес, ни новой жизни, разве что — да и то лишь изредка — дорог с еще лучшим покрытием, коль скоро сама страна с точки зрения биологической ведет себя вполне прилично и не слишком усердствует в деторождении (то, что мы малочисленны, составляет наше великое преимущество, а то, что благодаря иностранным рабочим наша раса мало-помалу улучшается — преимущество величайшее), любое нарушение повседневной суеты вызывает взрыв благодарности, любое разнообразие желанно, благо ежегодное торжественное шествие гильдий с его закостенелым церемониалом никак не способно возместить отсутствие карнавала. Поэтому действия доктора г. к. Исаака Колера внесли некоторое разнообразие, люди получили возможность неофициально посмеяться над тем, чем официально возмущались, и уже вечером того дня, когда скончался Винтер, из уст в уста переходили слова, приписываемые не то одному высокому должностному лицу, не то и вовсе городскому голове, что, мол, Колер вторично заслужил звание доктора гонорис кауза, поскольку воспрепятствовал профессору Винтеру произнести первого августа свою очередную речь. Да и неумелые действия полиции едва ли способствовали росту гражданского негодования, уж слишком велико было всеобщее злорадство: отношения жителей с полицией у нас весьма напряженные, и вообще наш город давно уже не соответствует своей репутации. Сделавшись неожиданно для себя городом-гигантом, он тем не менее тщится сохранить патриархальные черты — задушевность, добродетельность, мещанское прилежание, которые всегда себе приписывал и продолжает приписывать до сих пор, тщится сохранить собственное лицо в нагрянувшей безликости, связанный традицией, которая давным-давно перестала быть таковой. Время оказалось сильней, чем наш город со всем его прилежанием; время делает с городом все, что вздумает. Вот почему мы не такие, какими были некогда, но и не такие, какими должны быть, мы не в ладах с настоящим, мы не желаем того, к чему принуждены обстоятельствами, из духа противоречия не делаем до конца то, что необходимо, а делаем лишь наполовину, да и то против воли. Ярким выражением этого убожества служит непомерное разрастание прерогатив полиции, ибо всякий, кто не ладит с настоящим, должен вводить ограничения. Наша общность по сути своей обернулась полицейским государством, которое сует свой нос решительно во все, в нравственность и в транспорт (причем и то и другое находится в хаотическом состоянии). Полицейский не является более символом защиты, скорей уж символом преследований. Кончаю. Пьян в дым. Вдобавок та самая дама из меблированных комнат заявилась в мою контору (это по-прежнему мансарда на Шпигельгассе), ей понадобилась юридическая защита. Я посоветую ей завести собаку. Тогда она сможет на законном основании выводить ее, а вместе с ней и себя два раза за ночь. (Рекомендация Общества защиты животных, со скрежетом зубовным принятая к сведению государственным прокурором Уныллером.)

Итак, государственный прокурор Уныллер. Он ненавидел кантонального советника. Бесшабашность последнего действовала ему на нервы. Он не мог простить, что Колер ухитрился в Концертном зале пожать ему руку. Он до такой степени ненавидел Колера, что раздваивался от собственной ненависти. Вопиющее противоречие между его ненавистью и его чувством справедливости достигло пределов, для него невыносимых. Он то взвешивал возможность выступить с самоотводом, сославшись на свою пристрастность, то бездействовал, надеясь, что кантональный советник сам даст ему отвод. Вконец запутавшись, он поделился своими тревогами с кантональным судьей Егерленером. Егерленер прозондировал почву у следователя, тот в

свою очередь — у коменданта, а комендант с тяжелым вздохом велел препроводить кантонального советника из окружной тюрьмы к себе в кабинет, чтобы создать непринужденную обстановку. Доктор г. к. был в отменном расположении духа. Виски «Белая лошадь» — выше всех похвал. Комендант снова завел речь о Штюсси-Лойпине, поскольку назначенный защитник никуда не годится. Колер ответил, что это не имеет значения. Тогда, наконец, комендант поведал о терзаниях Уныллера. В ответ кантональный советник заверил, что просто представить себе не может более нелицеприятного обвинителя. Эти слова, доведенные до сведения Уныллера, исторгли у последнего яростный выкрик, что теперь-то он проучит кантонального советника и упечет его пожизненно, после чего судья совсем было собрался своей властью отстранить Уныллера, но передумал, боясь, как бы прокурора от злости не хватил удар, со здоровьем у того дело обстояло не лучшим образом.

Процесс. Кантональный суд в составе судейской коллегии из пяти судей состоялся довольно скоро по нашим понятиям, со скоростью звука, можно сказать, спустя всего лишь год после убийства, то есть снова в марте. Преступление произошло у всех на глазах, не было также надобности выяснять, кто убийца. Вот только установить мотивы преступления суд так и не сумел. Получалось, будто их вообще нет. Из кантонального советника ничего выудить не удалось. Суд оказался перед неразрешимой загадкой. Тщательный допрос обвиняемого судьями не дал ни малейшей зацепки. Отношения между убитым и убийцей были настолько корректными, насколько это можно себе представить. Деловых связей между ними не существовало, ревность исключалась полностью, даже догадок в данном направлении никто не строил. Перед лицом этого более чем загадочного факта возникали два толкования: либо доктор г. к. Исаак Колер — душевнобольной, либо — безнравственное чудовище, убийца из любви к убийству. Первую точку зрения представлял официальный защитник Люти, вторую — государственный прокурор Уныллер. Против первой свидетельствовал сам вид Колера: Колер производил вполне нормальное впечатление, против второй — славное прошлое Колера, ибо быть политическим деятелем и предпринимателем уже само по себе подразумевает высочайшую нравственность. Вдобавок общественное мнение с незапамятных времен прославляло социальные (не социалистические!) амбиции Колера. Но ни один процесс не задевал в такой степени честолюбивые струны Уныллера. Ненависть, поношение, остроты, в которых люди изощрялись по его адресу, поистине окрыляли старого законника, до его победительного вдохновения остальные попросту не доросли, бесцветный Люти не возымел действия. Тезис Уныллера о том, что мы имеем дело с нелюдью по имени Колер, ко всеобщему изумлению, восторжествовал. Пять судей сочли своим долгом заклеймить Колера в назидание остальным, и даже Егерленер прислушался к их мнению. Снова — и в который раз! — было предпринято все возможное, чтобы спасти хотя бы фасад морали. Народ, как гласило обоснование приговора, вправе не только требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие — с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни, но и вправе своими глазами наблюдать его. Кантонального советника приговорили к двадцати годам исправительной тюрьмы, то есть хотя и не пожизненно, но практически все равно выходило пожизненно.

Поведение Колера. Любой мог заметить достоинство, с которым держался изобличенный преступник. Появляясь в зале заседаний, он поражал всех свежим видом, недаром же он отсиживал срок предва-

рительного следствия главным образом в психиатрической лечебнице на берегу Боденского озера, хотя и обязанный соблюдать, весьма, впрочем, милостивые, предписания полиции, но зато под надзором профессора Хаберзака, близкого своего друга. В пределах лечебницы он мог позволять себе все виды движения, его партнером по гольфу был деревенский полицейский. Наконец, представ перед лицом суда, Колер наотрез отказался от каких бы то ни было поблажек и потребовал, чтобы к нему отнеслись как «к человеку из народа». Примечательным было уже само начало процесса. Доктор г. к. прихворнул, грипп, столбик термометра добрался до тридцати девяти, но он все-таки настоял, чтобы слушание не откладывали и даже отказался на время разбирательства воспользоваться больничным креслом. Пяти судьям он заявил (выдержка из протокола): «Я нахожусь здесь затем, чтобы вы, сообразуясь со своей совестью и с законом, по праву судили меня. Вам известно, в чем меня обвиняют. Отлично. Теперь ваше дело — судить, а мое — подчиниться вашему приговору. Каким бы он ни был, я сочту его справедливым». Когда приговор был вынесен, Колер от всей души поблагодарил высокий суд, особенно упирая на человечность, с какой к нему отнеслись, не забыл он поблагодарить и Уныллера. Публика слушала этот поток слов, скорее забавляясь, чем растроганно, у всех сложилось впечатление, что в лице доктора Исаака Колера юстиции удалось заполучить уникальный экземпляр, и когда его увели, всем показалось, будто наконец-то опущен занавес над делом, хоть и не до конца ясным, но уж во всяком случае недвусмысленным.

Теперь обо мне, тогдашнем и теперешнем. Такова в общих чертах предыстория, она может разочаровать; я понимаю, это событие, порожденное злобой дня, событие, странное лишь для непосредственных участников и для более посвященных, повод для сплетен, для острот более или менее плоских и для некоторых моральных сентенций о кризисе Запада и демократии, уголовное дело, добросовестно освещенное судебными репортерами и прокомментированное главным редактором нашей всемирно известной городской газеты (между прочим, тоже другом Колера) с обычным для нашей страны достоинством, на несколько дней тема для разговоров, едва ли далеко перешагнувших границы нашего города, скандал провинциального масштаба, который по праву был бы забыт в самом недалеком будущем, не скрывайся за ним один вполне определенный замысел. Если же мне предстояло сыграть в этом замысле решающую роль, это уж моя личная беда, хотя, должен признаться, я с самого начала чуял недоброе. Впрочем, здесь необходимо немного осветить мои обстоятельства после колеровского процесса. Они уже тогда оставляли желать лучшего. Я попытался как-то встать на ноги; на Шпигельгассе, над молитвенным залом благочестивой секты «Святые Ютли» я открыл собственную практику, помещение со скошенной внешней стеной, о трех окнах, с несколькими креслами, сгруппированными вокруг письменного стола от Пфистера, с цветными расклейками из «Беобахтера» на стенах, причем о качестве покрывавших стены обоев я предпочел бы умолчать, и с покамест бездействующим телефоном — закуток, возникший благодаря тому, что хозяин дома приказал снять стенку между двумя мансардами и соответственно заколотить вторую дверь. В третьей мансарде обитал проповедник, он же основатель секты, Симон Бергер, внешне смахивающий на св. Николая Флюенского, с ним у нас была общая уборная. Расположение у моей конторы было, правда, чрезвычайно романтическое, неподалеку жили в свое время Бюхнер и Ленин, вид на трубы и телеантенны Старого города пробуждал восхищение, доверительность, уютное чувство родного угла и желание разводить кактусы, но для адвоката оно решительно не

годилось, и не только из-за неудобств с транспортом, до него и вообще было нелегко добраться: лифта нет, крутые скрипучие лестницы, хаотическое сплетение коридоров. (Добавлю: это раньше моя контора была неудачно расположена, когда у меня еще сохранялись какие-то амбиции, когда я еще хотел твердо встать на ноги, чего-то достичь, заделаться исправным бюргером, а для спившегося ходатая по делам девиц легкого поведения, каким я в результате стал, мой закуток подходит как нельзя лучше, хотя теснота из-за размещения в нем кушетки приняла размеры поистине угрожающие: здесь я сплю один или с кем придется, здесь живу и даже иногда стряпаю, а ночью «Святые Ютли» у меня за стеной горланят псалмы, вроде «Мы ждем тебя, наш друг и брат, тебе здесь каждый будет рад», во всяком случае Лакки, покровитель и защитник той самой дамы с примечательным телосложением и неопределенной профессией, который частью из любопытства, частью из делового интереса имел со мной беседу и вообще зондировал почву, казался всем этим вполне удовлетворен и даже по-приятельски заметил, что только здесь и можно свободно вздохнуть.) Словом, клиенты и раньше меня не жаловали, я был почти безработный адвокат, кроме нескольких мелких лавочных краж, взысканий по исполнительному листу да уставов спортивного общества арестантов (по поручению департамента юстиции) мне было в общем-то нечем заниматься, я проводил время либо на зеленых скамьях вдоль набережной, либо перед кафе «Селект», играя в шахматы (с Лессером, причем оба мы упорно разыгрывали испанский дебют, так что в общем и целом это все время была одна и та же партия, и кончалась она одинаково, патом), в столовых женского ферейна я поглощал блюда, хотя и лишенные фантазии, зато весьма полезные. При таких обстоятельствах я навряд ли мог отвергнуть письменное приглашение Колера навестить его в тюрьме в Р; мысль, что в приглашении старика есть какая-то странность, поскольку решительно нельзя понять, зачем ему понадобился неизвестный, еще ничем себя не прославивший адвокат, и вдобавок страх перед его превосходством — словом, все свои смутные предчувствия я отогнал, просто не мог не отогнать. Во имя нравственности, которая есть продукт нашей трудовой морали. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. На бога уповай, а без дела не бывай. Короче, я поехал в Р. (Тогда еще на «фольксвагене».)

Наше исправительное заведение. На машине можно доехать минут за двадцать. Плоское дно долины, пригородная деревня, унылая, много бетона, несколько фабрик, на горизонте — леса. Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что наша тюрьма известна каждому жителю нашего города, ибо четыреста арестантов составляют от силы ноль целых одну десятую процента его населения. Впрочем, это заведение должно быть известно любителям воскресных прогулок, даже в том случае, если многие принимают ее за пивоварню либо за сумасшедший дом. Тому же, кто прошел через охраняемые ворота и стоит перед главным зданием, вполне может показаться, будто перед ним неудачная по архитектурному замыслу церковь либо часовня из красного кирпича. Это смутное ощущение религиозной причастности никоим образом не нарушает фигура охранника: приветливые, набожные физиономии, ни дать ни взять — Армия спасения, повсюду тишина, благодатная для нервов, в прохладном полумраке на человека невольно нападает зевота, к которой, однако, примешивается душевная скорбь. Здесь правосудие являет миру заспанный лик, что и неудивительно, учитывая завязанные глаза этой богини. Есть и другие приметы доброхотности и забот о спасении души, тебе навстречу выходит бородатый капеллан, ревностный, неутомимый, потом тюремный пастор, далее дама-психолог в очках,

во всем угадывается желание спасать, укреплять, наставлять души, лишь в самом конце довольно, впрочем, безотрадного коридора просвечивает мир, таящий угрозу, хотя через зарешеченные стеклянные двери невозможно разглядеть подробности, да и два человека в штатском, что сидят на скамье перед кабинетом директора и ждут, преданно и мрачно, пробуждают какое-то легкое недоверие, какое-то неприятное чувство. Но тот, перед кем открывают стеклянную дверь, кто перешагивает таинственный порог и проникает внутрь, не важно, в каком качестве — то ли слегка растерянного члена некой комиссии, то ли арестанта, поставленного стараниями правосудия, оказывается, к своему удивлению, в царстве по-отечески строгого, но отнюдь не бесчеловечного порядка, короче говоря, перед тремя мощными галереями в пять этажей, которые все просматриваются с одного определенного места, в царстве совсем не мрачном, а напротив, пронизанном светом сверху донизу, в царстве решеток и клеток, не лишенном, однако, ни собственного лица, ни приветливости, ибо здесь через раскрытую дверь камеры можно углядеть потолок небесно-голубого цвета и нежную зелень комнатной липы, там — приветливые, довольные физиономии заключенных в коричневых тюремных робах; состояние здоровья подопечных выше всех похвал, монашеский, размеренный образ жизни, раннее выключение света, простая пища поистине творят чудеса, библиотека содержит наряду с описаниями путешествий, наряду с душеспасительным чтением для арестантов обоих вероисповеданий, пусть даже не новейшую литературу, зато классику, от дирекции раз в неделю — киносеанс, на этой неделе — «Мы, вундеркинды», посещаемость воскресной проповеди заметно превосходит в процентном отношении таковую же по ту сторону тюремной стены, жизнь разматывается медленно и равномерно, людей увлекают и развлекают, они получают оценки. Здесь примерное поведение имеет смысл, оно облегчает положение, речь идет, разумеется, лишь о тех, кому предстоит отсидеть лет десять или того меньше, тут воспитательные меры уместны. Напротив, там, где надежды нет, от пожизненно приговоренных никто не требует исправления из благодарности за представляемые послабления, недаром же они — гордость заведения, к примеру, Дроссель и Цертлих, которые на воле своими злодеяниями повергали в трепет мирных граждан; охранники к ним относятся с робким подобострастием, они — звезды местного контингента и ведут себя соответственно. Нельзя замалчивать то обстоятельство, что у обычных уголовников это порой вызывает зависть, и они дают себе слово в следующий раз подойти к делу основательнее, точно так же и медаль, заслуженная нашей тюрьмой, имеет свою оборотную сторону, но если рассматривать вопрос в совокупности: кто не захотел бы при таких условиях вступить на стезю добродетели; лишенные постов и должностей чиновники обретают новую надежду, убийцы обращаются к антропософии, извращенцы и кровосмесители ищут духовных благ, тут клеют пакеты, плетут корзины, переплетают книги, печатают брошюры, и даже правительственные советники заказывают себе костюмы в местной портновской мастерской, вдобавок — здание пронизано запахом теплого хлеба, здешняя пекарня славится, ее булочки для бутербродов внушают изумление (колбасу надо заказывать), волнистых попугайчиков, голубей, приемники можно заслужить прилежанием и вежливостью, для желающих продолжать образование есть вечерние школы, и не без тайной зависти невольно закрадывается мысль, а ей на смену приходит твердая уверенность, что этот мир в полном порядке, именно этот, а не наш.

Беседа с директором исправительного заведения. К великому моему удивлению, я был приглашен к директору Целлеру. Он принял ме-

ня в своем кабинете — комнате с внушительным столом для заседаний, телефоном, папками. На стенах — таблицы, черные доски со множеством бумажек, почерк почти всюду каллиграфический, среди преступников, как, к сожалению, почти везде в этой стране, немало учителей. Окно незарешечено, вид на тюремную стену и небольшой газон, причем и это скорей напоминало бы школьный двор, не цари здесь абсолютная тишина. Ни автомобильных сигналов, ни шороха, как в доме для престарелых.

Директор приветствовал меня холодно и сдержанно, после чего мы сели.

— Господин Шпет,— начал он нашу беседу,— заключенный Исаак Колер пожелал, чтобы вы его посетили. Я разрешил ваше посещение, вы будете беседовать с Колером в присутствии охранника.

От Штюсси-Лойпина я слышал, что тот может беседовать со своими клиентами без свидетелей.

— Штюсси-Лойпин пользуется нашим доверием,— ответил директор на мой вопрос.— Не хочу сказать, что вы им не пользуетесь, просто мы вас еще не знаем.

— Понятно.

— И еще одно, господин Шпет,— продолжал директор уже более приветливым тоном.— Прежде чем вы начнете говорить с Колером, я хотел бы рассказать вам, какого я мнения об этом заключенном. Возможно, это вам пригодится. Не поймите меня превратно. В мои обязанности не входит выяснять, почему люди, порученные моему надзору, оказались здесь. Это меня не касается. Мое дело — исполнение приговора. И ничего более. Вот почему я не намерен рассуждать и о преступлении Колера, но, признаюсь вам честно, этот человек приводит меня в недоумение.

— В каком смысле?

Директор слегка замялся, потом сказал:

— Он кажется абсолютно счастливым.

— Можно только радоваться,— заметил я.

— Не знаю, не знаю,— ответил директор.

— В конце концов, у вас действительно образцовое заведение.

— Стараюсь, как могу,— вздохнул директор.— И все-таки согласитесь, если мультимиллионер счастлив, отбывая срок, в этом есть какое-то неприличие.

По тюремной ограде прогуливался крупный, жирный дрозд, привлеченный пением, щебетом и свистом благоденствующих в своих клетках птичек, чьи голоса порой с необычайной силой доносились из зарешеченных окон, и питающий, должно быть, тайную надежду, что ему тоже позволят здесь остаться. День был жаркий, судя по всему, снова воротилось лето, над дальними лесами собирались облачка, а из деревни доносился бой церковных часов. Ровно девять.

Я раскурил парижанку. Директор придвинул мне пепельницу.

— Господин Шпет,— продолжал он,— вообразите заключенного, который смеет прямо с порога заявить вам в лицо, что у вас превосходное заведение, усердные охранники, что сам он вполне счастлив и ничего не желает. В голове не укладывается. У меня это вызвало отвращение.

— Почему же?— удивился я.— Разве у вас и в самом деле не усердные охранники?

— Ну, разумеется, усердные,— ответил директор,— но судить об этом надлежит мне, а не арестанту. Коль на то пошло, в аду не ликуют.

— Разумеется,— поддакнул я.

— Я тогда совершенно вышел из себя, потребовал строжайшего соблюдения всех правил внутреннего распорядка, хотя, согласно указанию департамента юстиции, должен был отнестись к нему с предельной мягкостью и хотя нигде на свете правилами тюремного рас-

порядка заключенному не возбраняется чувствовать себя совершенно счастливым. Но я ощущал полнейшую растерянность, чисто эмоциональную. Господин Шпет, вы должны меня понять. Колер получил обычную одиночку со строгим режимом, без освещения — вообще-то говоря, это запрещено,— однако уже спустя несколько дней я замечаю, что охранники его любят, я бы даже сказал — почитают.

— А теперь?

— А теперь я с ним смирился,— буркнул директор.

— И тоже его почитаете?

Директор задумчиво поглядел на меня.

— Видите ли, господин Шпет, когда я сижу у Колера в камере и слушаю, как он рассказывает, от него, черт побери, исходит какая-то сила, я бы сказал, надежда, впору самому уверовать в человечество и во все доброе и прекрасное, он и нашего пастора увлекает своими речами, это поистине какая-то липучая зараза. Но, благодарение богу, я трезвый реалист и не верю, что бывают абсолютно счастливые люди. И тем паче — что они бывают в тюрьмах, как мы ни стараемся облегчить жизнь наших поднадзорных. Мы не звери, в конце концов. Но преступники — они и есть преступники. Вот почему я еще раз говорю вам: этот человек может быть очень опасным, должен быть очень опасным. Вы делаете только первые шаги на своем поприще, поэтому будьте вдвойне осторожны, чтобы не угодить в его ловушку, а всего бы лучше для вас вообще с ним не связываться. Разумеется, я просто советую, не более того; в конце концов, вы сами адвокат, вам и решать. Если б только человека не дергали до такой степени в разные стороны. Этот Колер либо святой, либо дьявол, я счел своим долгом предостеречь вас, что и сделал.

— Большое вам спасибо, господин директор,— сказал я.

— Ладно, я распоряжусь, чтобы к вам привели Колера,— вздохнул директор тюрьмы.

Поручение. Беседа с абсолютно счастливым человеком происходила в соседней комнате. Та же обстановка, тот же вид из окна. Я встал, когда охранник ввел доктора г. к. Исаака Колера. Старик был в коричневой арестантской робе, его охранник — в черной форме и смахивал на почтальона.

— Садитесь, Шпет,— сказал доктор г. к. Исаак Колер. Он вообще держался как хозяин, непринужденно и покровительственно. Я в некотором смятении поблагодарил и сел. После чего я предложил арестанту парижьенку, но тот отказался.

— Я бросил курить,— пояснил он,— я решил не упускать возможности сочетать приятное с полезным.

— Это вы тюрьму считаете приятной, господин Колер?— спросил я.

Он удивленно поглядел на меня.

— А вы не считаете?

— Я в ней не сижу.

Он прямо засиял.

— По-моему, здесь прекрасно. Это спокойствие! Эта тишина! Я, надобно сказать, вел крайне рассеянный образ жизни, раньше. Из-за своего треста.

— Могу себе представить,— согласился я.

— Телефона тут нет,— продолжал Колер.— Здоровье у меня заметно улучшилось. Вот поглядите.— И он сделал несколько приседаний.— Месяц назад я бы так не сумел,— гордо пояснил он,— кстати, у нас здесь есть спортивный клуб.

— Знаю,— сказал я.

За окном все так же, полный надежд, прогуливался жирный дрозд, но, возможно, это был уже другой. Абсолютно счастливый человек разглядывал меня с довольным видом.

— Мы с вами встречались.

— Знаю.

— В ресторане «Театральный», который занимает известное место в моей жизни. Вы, помнится, наблюдали, как я играю в бильярд.

— Я ничего не смыслю в бильярде.

— До сих пор?

— До сих пор, господин Колер.

Арестант засмеялся и, поворотясь к охраннику, сказал:

— Мёзер, не будете ли вы так добры, дать нашему молодому другу огня?

Охранник вскочил и вернулся с зажигалкой.

— Конечно, господин кантональный советник, само собой, господин кантональный советник.

Охранник тоже сиял во все лицо.

Потом он снова сел, а я закурил. Доброжелательность обоих порядком меня изматывала. Я бы с удовольствием распахнул большое незарешеченное окно, но в тюрьме это, должно быть, не принято.

— Видите ли, Шпет,— заговорил Колер,— я ничем не примечательный заключенный, только и всего, а Мёзер — один из моих охранников. Превосходный человек. Он посвящает меня в тайны пчеловодства. Я уже сам почти ощущаю себя пасечником, охранник Бруннер — с ним вам тоже не мешало бы познакомиться — обучает меня эсперанто. Мы объясняемся исключительно на этом языке. Можете сами убедиться: бодрость духа, домашняя обстановка, сердечность, мир и покой. Я стал абсолютно счастливым человеком. А раньше? Господи!.. Я читаю Платона в оригинале, я плету корзины, кстати, Шпет, вам не нужна корзина?

— К сожалению, нет.

— Корзины господина кантонального советника — верх совершенства,— гордо подтвердил охранник из своего угла.— Это я научил его плести корзины, и он уже оставил далеко позади всех наших плетельщиков. Ей-богу, я не преувеличиваю.

Я снова выразил сожаление:

— Увы, мне не нужна корзина.

— Жалко, а то я с удовольствием преподнес бы вам корзину.

— Очень любезно с вашей стороны.

— На память.

— Не могу помочь.

— Жалко. Прямо до слез.

Я начал выходить из себя.

— Не могу ли я узнать, зачем меня сюда вызвали? — спросил я.

— Разумеется, можете,— ответил он. — Без сомнения, можете. У меня как-то из головы вылетело, что вы приехали с воли, что вы спешите, что вы заняты. Хорошо, перейдем к делу: тогда, в «Театральном», вы, помнится, рассказывали, что намерены стать самостоятельным.

— Я и стал.

— Да, мне докладывали. Ну и как успехи?

— Господин Колер,— сказал я,— здесь об этом едва ли уместно говорить.

— Значит, плохо,— кивнул он,— так я и думал. А расположена ваша контора в мансарде на Шпигельгассе, верно? Тоже плохо. Еще того хуже.

Это переполнило чашу. Я встал.

— Либо вы скажете мне, чего вам от меня угодно, господин Колер, либо я уйду,— грубо сказал я.

Абсолютно счастливый человек тоже встал, вдруг прямо у меня на глазах сделался могучим, необоримым и вдавил меня обратно в кресло обеими руками, опустив их, словно гири, на мои плечи.

— Не уходите,— сказал он угрожающе, почти злобно.

У меня не осталось другого выхода, кроме как повиноваться.

— Хорошо,— сказал я и притих. Охранник тоже.

Колер снова сел.

— Вам нужны деньги,— констатировал он.

— Это мы здесь обсуждать не будем,— ответил я.

— У меня есть для вас поручение.

— Слушаю.

— Я желаю, чтобы вы заново расследовали мое дело.

Я растерялся.

— Другими словами, господин Колер, вы хотите добиться пересмотра?

Он помотал головой.

— Если бы я хотел добиться пересмотра, это означало бы, что вынесенный мне приговор несправедлив. Но он более чем справедлив. Жизнь моя завершена и подшита к делу. Я знаю, здешний директор считает меня лицемером, и вы, Шпет, сдается мне, тоже. Могу понять. Но я не святой и не дьявол, я просто-напросто человек, пришедший к выводу, что для жизни достаточно тюремной камеры, а для смерти вообще достаточно койки, позднее — гроба, ибо назначение человека — мыслить, а не действовать. Действовать может любой бугай.

— Хорошо,— сказал я,— чрезвычайно похвальные принципы. Но теперь я должен за вас действовать. Еще раз расследовать ваше дело. Позволительно ли будет бугаю спросить, что вы затеяли?

— Я ничего не затеял,— кротко ответствовал доктор г. к. Исаак Колер. — Я просто размышляю. О мире. О людях. Возможно, и о боге. Но для размышлений мне нужен материал, не то мои мысли начинают кружиться в пустоте. И от вас мне не требуется ничего, кроме небольшой помощи в моих занятиях, которые вы спокойно можете рассматривать как хобби миллионера. Кстати, вы не единственный, кого я прошу о незначительных услугах. Вы знаете старину Кнульпе?

— Профессора?

— Его самого.

— Я у него учился.

— Вот видите. Теперь он вышел на пенсию, и чтобы он у меня не завял окончательно, я и ему дал поручение. Он теперь занят исследованием: итоги одного убийства. Он выясняет последствия, которые возымело и еще будет иметь несколько насильственное прекращение жизни одного коллеги. В высшей степени интересно. Он вне себя от восторга. Задача состоит в том, чтобы, исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка. А ваша задача, любезнейший, будет другого рода, и в некоторой степени она противоположна тому, что делает Кнульпе.

— Каким же образом?

— Вы должны заново рассмотреть мой случай, исходя из допущения, что убийцей был не я.

— Не понял.

— Вам надо составить фиктивное предположение, только и всего.

— Но раз вы убийца, все мои предположения не имеют смысла,— возразил я.

— Нет, только так они и приобретают смысл,— отвечал Колер,— кстати, вас никто и не заставляет исследовать действительность, этим занимается наш славный Кнульпе, вам надо рассмотреть одну из возможностей, которые таит в себе действительность. Видите ли, дорогой Шпет, действительность нам и без того известна, за нее-то я и сижу здесь и плету корзины, а вот о возможном нам известно очень мало. И это естественно. Возможное почти беспредельно, тогда как действительное строго ограничено, потому что лишь одной из возможностей дано воплотиться в действительность. Действительное — это просто особый случай возможного. А потому его нетрудно пред-

ставить и другим. Из чего вытекает, что нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного.

Я засмеялся:

— Не совсем обычный ход рассуждений, господин Колер.

— Да, в здешних местах принято размышлять,— ответил Колер. — Видите ли, господин Шпет, по ночам, глядя на звезды между прутьями оконной решетки, я часто задаюсь вопросом: как бы выглядела действительность, будь убийцей не я, а кто-нибудь другой. Кем бы оказался тогда этот другой? Вот на какой вопрос я и хотел бы получить от вас ответ. Я назначу вам тридцать тысяч гонорара, из них пятнадцать в качестве аванса.

Я промолчал.

— Итак? — спросил он.

— Похоже на договор с дьяволом,— ответил я.

— Я же не требую от вас душу.

— Почем знать.

— Вы ничем не рискуете.

— Возможно. Но я не вижу смысла в вашей затее.

Он покачал головой, рассмеялся:

— Хватит с вас и того, что я вижу. Остальное вас не должно волновать. От вас требуется всего лишь принять предложение, которое никоим образом не нарушает закон и которое необходимо мне для исследования сферы возможного. Все издержки я, разумеется, беру на себя. Свяжитесь с каким-нибудь частным детективом, всего лучше с Линхардом, заплатите ему сколько он попросит, денег хватит на все, и вообще действуйте по своему усмотрению.

Я еще раз обдумал это странное предложение. Оно мне не понравилось, я смутно чуял ловушку, хотя и не мог сообразить, где она.

— А почему вы обратились именно ко мне? — спросил я.

— Потому что вы ничего не смыслите в бильярде,— спокойно отвечал он.

И тут я принял решение.

— Господин Колер,— сказал я,— ваше поручение представляется мне слишком загадочным.

— Ответ можете сообщить моей дочери,— сказал Колер и встал.

— А мне не нужно время для раздумий, я отказываюсь,— ответил я и тоже встал.

Колер спокойно взглянул на меня, сияющий, счастливый, розовый.

— Вы возьметесь за это поручение, мой юный друг,— сказал он,— я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете: шанс — это и есть шанс, а вам он нужен. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. А теперь Мёзер, вернемся к нашим корзинам.

И оба удалились, под ручку, не сойти мне с этого места, а я был рад, что смогу, наконец, покинуть обитель абсолютного счастья и по возможности скорее. Я слинял в прямом смысле слова. Исполненный твердой решимости не ввязываться в это дело и никогда больше не видеть Колера.

Но я согласился. Хотя даже наутро все еще хотел отказаться. Я чувствовал, что на карту поставлена моя адвокатская репутация, пусть даже репутации как таковой у меня еще не было. Но предложение Колера не имело смысла, какой-то фокус, ниже достоинства моей профессии, откровенная возможность дуриком заработать много денег, против чего восставала моя гордость. В те времена я еще хотел оставаться незапятнанным, мечтал о настоящих процессах, о возможности приносить людям пользу. Я написал кантональному советнику письмо, где вторично сообщал о своем решении. На этом

дело для меня было закончено. С письмом в кармане я вышел из своей комнаты на Фрайештрассе, как выходил каждое утро, в девять ноль-ноль, намереваясь по обыкновению для начала посетить «Селект», позднее наведаться в свою контору (мансарда на Шпигельгассе), а еще позднее — прогуляться по набережной. В дверях я раскланялся со своей квартирной хозяйкой, зажмурился от яркого света, глядя на желтый почтовый ящик возле дверей магазина, через дорогу от меня, несколько шагов, говорить не о чем, но поскольку жизнь порой напоминает действие плохого романа, я в это гнетущее, тяжелое, из-за того, что дул фён, то есть типичное для нашего города заурядное утро между девятью и десятью часами, как уже было сказано, встретил, и вдобавок подряд, одного за другим а) старого Кнульпе, б) архитектора Фридли, в) частного детектива Линхарда.

а) Старина Кнульпе. Он заступил мне дорогу у почтового ящика. Я только было собрался сунуть в щель письмо с отказом, как он обошел меня с целой стопкой писем и начал аккуратно, одно за другим, опускать их. Как и обычно, старину сопровождала жена. Профессор Карл Кнульпе имел рост около двух метров, вид у него был изможденный: кожа да кости, напоминал он сразу и проповедника Симона Бергера и св. Николая Флюенского, только без бороды, был неухоженный и грязный, зимой и летом носил пелерину и берет. Супруга его тоже вымахала метра на два, была такая же изможденная, такая же неухоженная, тоже круглый год не снимала пелерины и берета, так что многие полагали, будто она не жена Кнульпе, а его брат-близнец. Оба были социологи и достигли известных степеней в своей области. Но хотя в жизни супруги были, что называется, водой не разольешь, в науке они враждовали не на жизнь, а на смерть и порой обрушивались в печати со злобными нападками друг на друга, он был великий либерал («Капитализм как духовная авантюра», издательство «Франке», 1938), она — страстная марксистка, снискавшая известность под именем Мозес Штелин («Марксистский гуманизм реальной жизни», издательство «Ойропа-ферлаг», 1939), у обоих политическое развитие привело к одинаковым последствиям. Карл Кнульпе не получил въездной визы в США, Мозес Штелин — в СССР, он позволил себе слишком резкие высказывания против «инстинктивных марксистских тенденций» Соединенных Штатов, она высказывалась еще беспощаднее против «мелкобуржуазного предательства» со стороны Советского Союза. Он позволил, она высказалась. К сожалению, здесь можно употреблять только прошедшее время: недели две назад грузовик Штюрцелеровской конторы по сносу старых зданий задавил обоих, его предали земле, ее кремировали согласно завещанию, которое не на шутку осложнило похороны.

— День добрый! — дал я знать о себе, все еще держа в руках письмо Колеру.

Профессор Карл Кнульпе не ответил на мое приветствие, только, недоверчиво опустив взгляд, заморгал сквозь запыленные очки без оправы, жена его (в аналогичных очках) тоже промолчала.

— Не знаю, помните ли вы меня, господин профессор,— сказал я, малость обескураженный.

— А как же,— ответил Кнульпе. — Помню. Вы изучали юриспруденцию и болтались у меня в социологическом семинаре. У вас и сейчас вид как у вечного студента. Экзамены сдали?

— Давно, господин профессор.

— Адвокатом стали?

— Так точно, господин профессор.

— Молодцом. Социалист небось?

— Отчасти, господин профессор.

— Исправный раб капитала? — осведомилась супруга Карла Кнульпе.

— Отчасти, госпожа профессор.

— У вас, должно быть, что-то есть на сердце,— установил Карл Кнульпе.

— Отчасти, господин профессор.

— Проводите нас,— сказала она.

Я их проводил. Мы прошли мимо «Павлина», письмо я так и не бросил, из внезапной забывчивости, впрочем почтовых ящиков у нас хватает.

— Выкладывайте,— приказал он.

— Я был в тюрьме, господин профессор, у доктора г. к. Исаака Колера.

— Так-так, значит, вы были у него, у нашего добродетельного убийцы. Ай-ай! Значит, вас он тоже вызвал?

— Так точно.

Вопросы сыпались вперемежку: то он спрашивал, то она.

— Он все еще счастлив?

— Еще как!

— И все еще сияет?

— А то!

Мы прошли мимо очередного почтового ящика. Собственно говоря, я хотел здесь остановиться, опустить свое письмо с отказом, но супруги Кнульпе безмятежно двигались дальше, размашистыми, торопливыми шагами. Чтобы не отстать, мне пришлось перейти на бег.

— Колер рассказывал мне, что вы взялись выполнить одно не совсем обычное поручение, господин профессор.

— Не совсем обычное? Это почему же?

— Господин профессор! Положа руку на сердце: если Колер поручает расследовать им же совершенное убийство с точки зрения его последствий, это ведь не лезет ни в какие ворота. Человек средь бела дня, без всякого повода, ни с того ни с сего совершает убийство, а потом заказывает социологические изыскания на данную тему под предлогом, что лишь так можно исчерпывающим образом рассмотреть действительность.

— Она и будет рассмотрена самым исчерпывающим образом, молодой человек. До бездонных глубин.

— Но ведь за этим что-то должно скрываться, какая-то чертовщина! — вскричал я.

Чета Кнульпе остановилась. Я пыхтел от гонки. Кнульпе протер свои очки без оправы и вплотную подступил ко мне, так что теперь я мог смотреть на него только снизу вверх, а он на меня — только сверху вниз. Он снова насадил очки, глаза его вонзились в меня.

Жена Кнульпе тоже на меня уставилась в неподдельном возмущении и подошла поближе к своему супругу, а тем самым и ко мне.

— За этим скрывается наука, молодой человек, одна только наука, и ничего больше. Впервые открывается возможность с методической доскональностью исследовать и самым исчерпывающим образом представить последствия убийства в гражданской среде! Благодаря нашему тароватому убийце! Уникальный шанс! Открываются такие взаимосвязи! Родственные, профессиональные, политические, финансовые, культурные! Чему не следует удивляться. В этом мире все взаимосвязано, равно как и в нашем дорогом городе, один опирается на другого, один протежирует другому, и когда один падает, слетают многие, вот и сейчас многие слетели. Лично я с головой ушел в изображение последствий на примере нашей почтенной альма-матер. А ведь это только начало!

— Простите, машина...

Я оттащил обоих на безопасное место. От возбуждения супруги сошли с тротуара на мостовую, такси резко затормозило. Оно было битком набито, пожилая дама в шляпе, утыканной искусственными

цветами, стукнулась лбом о ветровое стекло, шофер выкрикнул в окно что-то ужасно грубое. А супруги, те даже не побледнели.

— Несущественно,— сказал он,— с точки зрения статистики, несущественно, переедут нас или не переедут. Важна только задача, только статистика.

Но госпожа Кнульпе с ним не согласилась.

— Почему несущественно, обо мне можно бы и пожалеть,— заявила она.

Такси уехало, а Кнульпе снова повел речь о своем социологическом изыскании.

— Не спорю, убийство есть убийство, но для человека науки убийство — это феномен, который подлежит исследованию, как все феномены. До сих пор ограничивались изучением причин, мотивов, истоков, окружающей среды. Мне же предстоит изучать последствия. И тут я возьму на себя смелость сказать: это убийство — благо для нашей альма-матер, великое благо для всего университета, прямо так и чешутся руки самому кого-нибудь убить. Конечно, не спорю, убийство — явление прискорбное, такое преступление, знаете ли, но через брешь, неожиданно возникшую со смертью Винтера, стал возможен приток кислорода, приток нового духа. Выясняются самые потрясающие обстоятельства, наш дорогой покойник был досадной песчинкой в механизме, отсталым элементом, уже и Шекспир сказал по этому поводу: «Зима тревоги нашей миновала», но я не хочу ни грешить, ни изощряться в бездарных остротах, я просто отображаю, сопоставляю факты, молодой человек, факты, и ничего больше.

Мы дошли до «Павлина».

— Ну, в добрый час, господин адвокат,— сказали мне супруги на прощанье. — У меня важное свидание с человеком из ФТИ,— добавил Кнульпе. — Хочу произвести раскопки и на этой территории. Влияние Винтера на школьную комиссию — это уже само по себе целая глава, я предвижу сенсацию. Прелюбопытно может получиться.

У входа в ресторан оба снова обернулись ко мне, каждый воздев указующий перст.

— Мыслить научно, молодой человек, научно мыслить. Вам необходимо этому выучиться. В частности, как адвокату,— завершила госпожа профессор Кнульпе, она же Мозес Штелин.

Они исчезли, а письмо свое я все еще не опустил.

б) Архитектор Фридли. Малость погодя я уже сидел рядом с ним в «Селекте», и письмо все так же лежало у меня в кармане. «Селект» — кафе, где сидят и не уходят целую вечность, с незапамятных времен, или скажем по-другому: миллионы лет назад, когда вниз по реке еще трюхали бронтозавры, перед «Селектом» уже сидели люди. Фридли я знаю со своей штюсси-лойпиновской поры, ибо у него время от времени случались неприятности из-за земельных спекуляций, но сдержать Фридли ничто не могло, он был и остается той лавиной жира, которая сметает с лица земли отдельные части нашего города, после чего там, где прошла лавина, возникают административные здания, меблированные квартиры и доходные дома, только все — более дорогое, чем раньше, по соответственно более жирным ценам. Рассмотрим это грозное явление природы пристальнее: явлению пятьдесят лет, во все стороны прут огромные, мокрые от пота, сальные подушки, глаза у лавины маленькие, сверкающие, кое-как воткнутые в лицо, носик крохотный, уши тоже, а все остальное — огромное, селфмейдмен [1], дитя Лангштрассе (моя мамаша, дорогой Шпет, ходила по людям стирать, мой папаша спился до смерти, я сам вылил на его похоронах бутылку пива в могилу), не только меценат велосипедного спорта, без особых призов которого немыслима ни одна шес-

[1] Self made man — дословно: человек сам себя сделавший (англ.).

тидневная гонка, когда сам он восседает посреди крытого стадиона, поглощая немыслимые количества сен-галленской колбасы и сосисок, мало того, он еще и покровитель музыкального искусства, это благодаря Фридли наш симфонический оркестр и оперный театр не скатываются окончательно до уровня посредственности, это Фридли ухитряется заманить на наши подмостки дирижеров Клемперера, Бруно Вальтера и даже Караяна, а теперь покровительствует Мондшайну; тем самым он хотя бы в сфере искусства возвышает наш город, его же радениями безнадежно изуродованный.

Меня он узнал сразу. Утро, о чем я уже говорил, было теплое, дул фён, люди чувствовали себя как дома, сидели словно парализованные и проклятые из-за этого обессиливающего климата, жались друг к другу, лично я прилип к Фридли, тот был в отменном расположении духа, макал в свой кофе с молоком одну плюшку за другой, сверх всякой меры чавкал, причмокивал, кофе бежал коричневыми струйками по его шелковому галстуку и белой сорочке.

Бурное ликование Фридли объяснялось помещенным в нашей всемирно известной городской газете объявлением о смерти. Господу богу вздумалось с помощью трагического случая «призвать к себе нашего незабвенного супруга, отца, сына, брата, дядю, зятя и шурина Отто Эриха Куглера. Вся его жизнь была — любовь».

— Ваш враг? — спросил я.

— Мой друг.

Я выразил соболезнование.

— Угораздило же его под Шамом врезаться в дерево, нашего дорогого, славного и доброго старину Куглера,— прокомментировал Фридли, сияя, звучно прихлебывая, макая и заглатывая плюшки,— прямиком угодил в царствие небесное.

— Сочувствую,— пробормотал я.

— Чем сочувствовать, поглядели бы на его «фиат», просто жестяная лепешка.

— Какой ужас!

— Судьба такая. Все там будем.

— Пожалуй.

— Приятель,— сказал он,— вы, верно, и не подозреваете, что означает этот удар судьбы для моей ничтожной особы?

Я не подозревал. Раздутая ничтожная особа приветливо уставилась на меня.

— Куглер оставил вдову,— объяснил он.— Женщина на все сто.

Тут только я начал кое-что смекать.

— И на этой женщине вы теперь намерены жениться?

Архитектор Фридли колыхнул той частью своего жира, в которой, по моим расчетам, помещалась голова.

— Нет, молодой человек, я хочу жениться не на вдове, а на жене ее любовника. Тоже женщина на все сто. Усекли? Господи, это же проще простого: если любовник женится на вдове, ему придется перед этим развестись со своей женой, и тогда на ней женюсь я.

— Высшая светская математика,— сказал я.

— Стало быть, усекли.

— Но тогда вам тоже надо развестись,— напомнил ему я, смутно надеясь, что мне поручат вести бракоразводный процесс.

— А я и развелся. Неделю назад. Мой пятый развод.

Опять мимо.

Официант принес новую партию плюшек. Класс женской гимназии перебежал через площадь, девочки, некоторые с косичками, другие уже выглядели как молодые женщины, стайка остановилась, разглядывая рекламные снимки перед кинотеатром. Фридли покосился в их сторону.

— Не вы ли тот занятный адвокат, у которого хватает наглости

держать контору на Шпигельгассе, да еще в мансарде? — спросил он, не сводя глаз с девочек.

Пришлось ответить утвердительно.

— Сейчас половина десятого,— констатировал он и, осклабясь, снова обратился ко мне: — Не хочу быть бестактным, Шпет, потому что, вообще-то говоря, я человек вежливый, но я сильно подозреваю, что сегодня вы еще не заглядывали к себе в контору.

— В точку,— сказал я,— ваше сильное подозрение оправдано. Но я предполагаю не далее как через час или самое позднее после обеда туда наведаться.

— Так-так, предполагаете наведаться.— Он зорко глянул на меня.— Дорогой Шпет, вы сами во всем виноваты. Сегодня я с семи утра до без десяти девять проторчал на строительной площадке,— скромно сказал он.— Я заколачиваю миллионы. Чистая правда. На строительстве, на земельных спекуляциях. Тоже правда. Но за этим скрывается работа. И дисциплина, черт побери. Я пью как бочка, не спорю, но зато я каждое утро сам себя поднимаю за шиворот.

Сальная туша по-отечески обняла меня за плечи.

— Дорогой мой Шпет,— нежным голосом продолжал он, огромная сальная нежность, сияющая от кофейного пара, от сдобных крошек на лице и на руках,— дорогой мой Шпет, я хочу без обиняков поговорить с вами. У вас явные стартовые затруднения, можете не втирать мне очки. Из чего следует: для серьезных людей вас все равно что нет. Адвокат, который к половине десятого еще не сидит за своим столом, для порядочного бизнесмена не существует. Я не хочу глубже залезать вам в душу, на лежебоку вы как-то не очень похожи, но, с другой стороны, вы до сих пор не могли собраться с духом, чтобы совершить настоящее сальто-мортале прямо в гущу жизни. А знаете почему? Да потому, что вы ни черта не смыслите в репрезентативности, потому что у вас нет ни осанки, ни живота. Закончить университет — это, разумеется, весьма изысканно, но хорошие отметки производят впечатление только на ваших учителей. Одного письменного стола мало. Можете восседать за ним сколько угодно, клиенты косяком не пойдут. И правильно сделают, на кой ляд вы им сдались. Нет, мой дружочек, ваше разочарование неуместно, «фольксваген» и мансарда — это не только социальный, это отчасти и духовный признак бедности, уж вы на меня не сердитесь. Ничего не скажу против честности и скромности, но адвокат должен вышагивать так, чтоб под ним земля дрожала. И прежде всего вам нужно приличное помещение для конторы, с вашей голубятней вы толку не добьетесь, туда ни один человек не полезет, люди, в конце концов, собрались вести процесс, а не улучшать свою спортивную форму. Короче говоря, дальше так дело не пойдет. И я хочу дать вам шанс. Приходите завтра к семи утра, принесите мне четыре штуки, и мы подкинем вам несколько приличных комнатенок на Цельтвеге.

(Что за этим последовало? Длительные рассуждения о гигантской земельной спекуляции, далее — поглощение очередной партии плюшек и опять кофе с молоком; рассуждения иронически-сардонического характера, подкрепленные твердым убеждением, что в этой стране самые крупные махинации можно и должно провертывать только в открытую, с махинаций он перепрыгнул на фестиваль Стравинского и Онеггеровский цикл, а когда я встал, он еще успел заметить, что хаос на дорогах происходит оттого, что наш городской голова любит ходить пешком.)

в) Частный детектив Фреди Линхард одного со мной года рождения. Тощий и черноволосый, человек на редкость молчаливый и скупой на слова. Единственный сын разведенных родителей. Когда он был еще гимназистом, его заподозрили в убийстве родной матери и ее

любовника, обоих обнаружили нагишом в мамочкиной спальне, оба лежали аккуратно вытянувшись, она — на кровати, он, психиатр из Кюснахта,— на полу перед кроватью, все равно как коврик. Линхарда взяли прямо с экзамена на аттестат зрелости, он был как раз занят переводом Тацита, когда полиция схватила его, положение Линхарда казалось безнадежным, подозревать больше было некого, только он в ночь убийства находился дома, хотя, если верить его словам, мирно сидел у себя в своей гимназической келье, в мансарде, набитой классиками и книгами по зоологии. Прибавьте к этому и еще одну незадачу: ему как раз минуло восемнадцать, тем самым он попадал не под ферулу прокурора по делам несовершеннолетних, а в гораздо более беспощадные руки Уныллера. Допросы во время предварительного заключения и позднее, перед судом присяжных, протекали более чем свирепо. Уныллер атаковал гимназиста по всем правилам искусства, но Линхард держался блестяще, даже обнаруживая известное превосходство, и тогда вдруг неопровержимые улики запестрели серьезными противоречиями, а под конец у правосудия не осталось иного выхода, кроме как вынести оправдательный приговор. Улик не хватило даже для того, чтобы назначить опеку. Уныллер рвал и метал, именно в ходе этого разбирательства у него впервые случился нервный криз, он неоднократно еще пытался, без всякого, впрочем, успеха, внести протест в федеральный суд с требованием нового пересмотра, тем более что Линхард приступил к отмщению. На этого подозреваемого неожиданно свалились деньги, бешеные суммы, умопомрачительное богатство, разведенный папенька оставил сыну все свое состояние. К этому прибавились капиталы отнюдь не бедной маменьки, и вообще презренный металл катился, стекался, слетался со всех сторон, накапливался, множился, приносил проценты, одно наследство следовало за другим, и все это в самые сжатые сроки, деды и бабки, тетки и дядья пачками, так сказать, спешили переселиться в лучший мир, а за ними следовали потенциальные наследники, казалось, будто земля и небо задействовали все имеющиеся в их распоряжении виды смертей, дабы благословить Линхарда земными дарами. И Линхард был щедро благословлен. Едва выскользнув из объятий разъяренного Уныллера и едва достигнув двадцати лет, он предстал перед изумленной публикой мультимиллионером. Это было поистине сказочное везение, и счастье играло здесь большую роль, нежели расчет, хотя, впрочем, и расчет наличествовал изрядный. Ибо действия Линхарда против прокурора были столь же просты, сколь и последовательны: он неизменно держался поблизости. Уныллер мог направить свои стопы куда угодно, по дороге ему непременно встречался Линхард. Где бы он ни держал обвинительную речь, ему неизменно во весь рот улыбался Линхард. Если ему случалось обедать в ресторане, за соседним столиком непременно обедал Линхард. Линхард всегда был рядом. Где бы Уныллер ни проживал, в соседнем доме обязательно проживал Линхард; если Уныллер, клокоча от ярости, переезжал на новую квартиру, этажом выше снимал квартиру Линхард. Уныллер решительно не знал, что ему делать. Вид Линхарда был для него невыносим. Он уже несколько раз был готов наброситься на Линхарда и перейти к действию и однажды даже приобрел револьвер. Он кочевал с одной улицы на другую, переезжал из одного района в другой, с Хинтербергштрассе на К. Ф. Майерштрассе, из Воллисхофена в Швамендинген, и когда наконец, оставив цивилизацию далеко позади, он начал строить виллу на Катценшванцштрассе у Витикона, через забор от него тоже возникла какая-то стройка. Уныллер заподозрил неладное, и то обстоятельство, что в качестве будущего соседа ему назвали прокуриста одного из цюрихских банков, успокоило его лишь отчасти. Он оказался прав. Когда весной, закатав рукава, он первый раз вышел поливать молодой газон, Линхард бойко сделал ему ручкой, тотчас заговорил,

будто со старым знакомым (да так оно, в сущности, и было) и представился как новый сосед. Мифический банковский прокурист был всего лишь подставным лицом. Уныллер, шатаясь, побрел к дому, но дойти сумел лишь до веранды. Второй нервный криз, а вдобавок — инфаркт. Врачи не знали, куда его поместить, то ли в психиатрию, то ли в кардиологию. Уныллер остался дома, лежал пластом, желтый как воск, и считалось, что его песенка спета. Впрочем, он устоял. Он снова поднялся на ноги, хотя и опустошенный внутренне. По отношению к Линхарду — безмолвное смирение. Они так и остались жить друг подле друга. На лесной опушке. С видом на Витикон. Уныллер больше не рисковал поднимать голову. Тем более что он был бессилен против нового рода занятий Линхарда. Линхард занялся частным детективом и вел свои дела с большим размахом. В одном из средневековых зданий в Талаккере он снял несколько помещений, сразу целый этаж, чтобы можно было без помех переходить из комнаты в комнату. За вполне современными письменными столами сидели, хотя и отрастившие пивной животик, но вполне довольные жизнью, коротко подстриженные плечистые господа, сплошь бывшие спортсмены, и курили сигары, далее там сидели бывшие полицейские, которых он просто-напросто перекупил, ибо то, что Линхард мог предложить в смысле вознаграждения, значительно превышало возможности нашего города. Но отнюдь не перекупка блюстителей порядка выводила Уныллера из себя, бизнес он и есть бизнес, с этим, к сожалению, спорить трудно. Терзали его душу другие приобретения Линхарда. Он не мог не видеть, что старинные залы в Талаккере заполняют сомнительные субъекты, которых он, Уныллер, в свое время преследовал, бывшие арестанты и бандиты, которых здесь после их возвращения на стезю добродетели употребляли как специалистов. Кстати, «уголовное отделение» Линхарда пользовалось в нашем городе сногсшибательным успехом, несмотря на умопомрачительные гонорары, которые он назначал, и непомерные накладные расходы, которые он обычно ставил в счет, ибо «Частная информационная контора Линхарда» — так официально именовал он свое заведение — поставляла доказательства измен, равно как и верности заподозренных супругов, находила отцов, коль скоро последние не желали по доброй воле удовлетворять требования матерей, добывала информацию по личным, равно как и производственным проблемам, вела надзор, преследование, розыск, выполняла щекотливые поручения, и к ее помощи нередко прибегали официальные защитники, чтобы воспрепятствовать намерениям Уныллера добыть контраргументы либо вообще заполучить что-нибудь новенькое. Немало процессов благодаря конторе Линхарда кончалось вопреки всем сжиданиям благоприятно для обвиняемого, в Талаккере неофициально встречались адвокаты, Линхард как гостеприимный хозяин был выше всех похвал, да и политические противники нередко сходились у него за столом и обменивались сведениями.

Таково краткое вступление. Наша с ним встреча состоялась непосредственно перед «Селектом», в самом начале одиннадцатого. Фридли наконец убрался восвояси, и я тоже встал с места, чтобы отправить все-таки письмо Колеру, но я уже не был исполнен такой же твердой решимости, как в начале, и тут явился, вернее, подъехал Линхард. На «порше». Притормозил. Меня он помнил со времен моего студенчества, он тоже изучал право, хотя и не дольше одного семестра, в свое время он и мне предлагал у него работать, но я отказался.

— Эй, адвокат,— сказал он, сидя за рулем своей открытой машины и не глядя на меня.— Есть ко мне дело?

— Возможно,— отвечал я.

— Садись,— скомандовал он.

Я повиновался.

— Быстро бегает,— отметил я.

— Пять тысяч,— ответил Линхард, желая этим сказать, что готов за такую сумму уступить свой «порш». У него было много машин, иногда казалось даже, что он каждый день их меняет.

После чего я рассказал ему о своей встрече со старым Колером. Линхард вел машину по берегу озера, это у него вошло в привычку, самые важные дела обделывались в машине. «Чтоб без свидетелей»,— однажды пояснил он. Он вел машину все время на одной скорости, очень аккуратно и при этом внимательно меня слушал. Когда я кончил свой рассказ, он притормозил. В Ютиконе. Перед телефоном-автоматом.

— Выгодно,— заявил он.— Я понадоблюсь?

Я кивнул.

— Если я соглашусь.

Он зашел в телефонную будку, а вернувшись назад, заявил:

— Его дочь сейчас дома.

После чего мы поехали на Вайнбергштрассе и остановились перед виллой Колера.

— Ступай,— скомандовал Линхард.

Я замялся.

— Мне следует принять предложение?

— Само собой.

— Слишком туманно,— выразил я свои опасения.

Он раскурил сигарету.

— Не согласитесь вы, согласится другой,— ответил он, что для него равнялось целой речи.

Я вылез из машины. Рядом с величественным порталом к литой чугунной решетке был прикреплен почтовый ящик. Ящик сверкал желтизной. Напоминал. Письмо с отказом все еще лежало у меня в кармане. Я сознавал свой долг. Хотя, вообще-то говоря, чего ради отказываться от поручения и разыгрывать из себя человека с характером? Нужны мне деньги? Нужны. И точка. А деньги, они на улице не валяются, тут надо не упустить свой шанс, и вот вам, пожалуйста, этот шанс. Мне не обойтись без представительности, если, конечно, я хочу добиться успеха как адвокат. Архитектор Фридли вполне прав, я действительно хочу добиться успеха. И потом, если вникнуть: поручение Колера, оно ведь и впрямь безобидное, скорее научное исследование, благо Колер может себе позволить подобную экстравагантность.

— Вы, кажется, хотели за свой «порш» пять тысяч?

— Четыре,— отвечал Линхард.

— Какое великодушие!

— Зависит от того, получу я это задание или нет.

— На кой оно вам?

— Занятно.

— Тогда мне надо сперва переговорить с дочерью Колера,— сказал я.

— Я подожду,— отвечал Линхард.

Обращение к федеральному прокурору. Дольше тянуть нельзя. Я просто обязан рассказать про свою первую встречу с Еленой. Мучительное мероприятие, пойти на него можно с большой осмотрительностью, избежать вообще невозможно. Даже если в моем изложении всплывут сугубо личные мотивы. Наконец-то личные, ибо вы с особым интересом прочитаете и подчеркнете эту часть. «Вы» — я не оговорился, я подразумеваю именно вас, господин федеральный прокурор Иоахим Фойзер. Вздрагивайте, вздрагивайте. Почему бы мне и не перейти на личности, коль скоро вы как преемник Уныллера вторым, после коменданта, будете читать эти строчки, точнее ска-

зать, уже читаете, и в данную минуту я испытываю адскую радость — адскую, быть может, в двойном смысле этого слова — поприветствовать вас с того света. Начистоту: вы весьма педантичный экземпляр своей разновидности, пусть даже в отличие от покойного Уныллера изображаете из себя человека прогрессивных взглядов и не пропускаете ни одного психологического симпозиума. Вы обожаете вещественные доказательства. Только что порядка ради вы осмотрели мой труп в анатомическом театре, на вас был светлый плащ, шляпу вы из уважения к обители мертвых держали в руке и скорчили профессионально скорбную мину; самоубийство проведено так, что не подкопаешься, уж признайтесь, но ведь и с Колером я обошелся по всем правилам искусства, у него очень торжественный вид, когда мы так покоимся рядышком, один подле другого. Однако вернемся из вашего настоящего, которое для меня лежит в будущем, в мое настоящее, для вас уже миновавшее. Времена смещаются. Усекли? Не думаю. Разве что разгневались. Я очень тщательно подготовился.

Во-первых, исторически, архитектонически и философски то, что важно для внутренней жизни, требует четких рамок. Так же и в историческом смысле. Поэтому я собрал самые точные сведения о колеровской вилле. Я даже порылся в материалах городской библиотеки. Выяснилось, что это бывшая резиденция Никодемуса Мольха. Никодемус Мольх, мыслитель занимающегося двадцатого столетия, европеец с бородой как у Моисея, неизвестного происхождения и неизвестной национальности (по одной версии — законный сын австралийской певицы от Александра Третьего, по другой — ранее судимый за растление малолетних учитель второй ступени Якоб Хегер из Бургдорфа), возглавлял субсидируемую богатыми вдовами и тяготеющими к прекрасному полковниками независимую академию, состоял в переписке со старым Толстым, средних лет Рабиндранатом Тагором и молодым Клагесом, затевал космическое движение обновителей, провозгласил всемирное вегетарианское правительство, чьих декретов, к сожалению, никто не выполнял (не то, возможно, удалось бы избежать первой мировой войны, избежать Гитлера — хоть и вегетарианца,— второй мировой, а также всех последующих напастей), издавал журналы, частью — оккультного, частью — изысканно порнографического содержания, писал драмы-мистерии, позднее обратился к буддизму, чтобы еще позднее, когда повсюду уже были разосланы письма с описанием его примет, запутавшись в бесчисленном множестве банкротств и исков о признании отцовства, кончить в качестве секретаря далай-ламы — по непроверенным слухам, ибо некоторые из наших сограждан, члены киноэкспедиции, вроде бы опознали его в тапере одного из шанхайских баров в тридцатых годах.

Расположение виллы. Для выросшего в бедных или, точнее, в никаких условиях адвоката, который только что принял решение совершить сальто-мортале (цитирую Фридли) в сладкую жизнь, дорога от машины Линхарда к дверям доктора г. к. Исаака Колера оказалась весьма приятной, она вела через парк, где даже сама природа дышала богатством. И флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья как на подбор величественные и до сих пор в летнем наряде. Даже фён — и тот здесь не ощущался, даже по этому вопросу явно был подписан договор с какими-то неведомыми инстанциями, богатым людям многое по плечу. (Для непосвященных: под фёном в нашем городе подразумевают такую метеорологическую ситуацию, которая вызывает головную боль, самоубийства, супружеские измены, дорожные происшествия и акты насилия.) Я шел по заботливо усыпанным гравием дорожкам, выполотым и расчищенным. Вообще это был парк не из современных. Скорей на старинный лад «культивированный». Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Зам-

шелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. И это при том, что парк лежал в центре города, что даже любой квадратный метр земли стоил здесь астрономических сумм. Вокруг него грохотали трамваи и лился поток автомашин, транспорт, словно океанский прибой, разбивался о чугунную решетку с позолоченными остриями, бушевал, трезвонил и сигналил, но в парке у Колера царила тишина. Может, звуковым волнам запретили сюда вторгаться. Слышны были лишь птичьи голоса.

Само здание. Вообще оно когда-то выглядело просто чудовищно с архитектурной точки зрения, наш западный мыслитель сам набросал его проект. И как удалось кантональному советнику сделать из этого нечто вполне жилое и человечное, составляет одну из его тайн. Наверняка пришлось отбить множество куполов, башенок, эркеров, ангелочков и зодиакальных фигур (Никодемус Мольх в числе прочего баловался и астрологией), прежде чем из архитектурного монструма вылупилась вилла, хотя и по-прежнему с фронтоном, но оттого еще более приглядная, обвитая диким виноградом, плющом, жимолостью и розами, большая и просторная; такой же она оказалась и внутри, после того как я, бросив последний взгляд на «порш», видневшийся отсюда лишь красным пятном, переступил ее порог. Архитекторы потрудились на славу, они повыламывали стены, обтянули полы ковровым покрытием и так далее, все здесь было удобным и легким. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства, на стенах — знаменитые импрессионисты, дальше — поздние фламандцы (меня вела по дому горничная). Меня оставили дожидаться в кабинете господина советника, кабинет был просторный, вызолоченный солнцем. Распахнутая дверь вела в парк, два окна по обеим сторонам двери доходили почти до пола. Драгоценный паркет, необъятный письменный стол, глубокие кожаные кресла, на стенах ни одной картины, сплошь книги до самого потолка, естественные науки и математика, солидная библиотека, с которой как-то не вязался бильярд. Стоял он в объемистой нише. На зеленом поле еще лежали три шара, у стены выстроилась целая коллекция бильярдных киев. Много старинных, с надписями. Кий Оноре де Бальзака, кий Готфрида Келлера, генерала Дюфура, Бисмарка, а одним предположительно пользовался некогда Наполеон. Я оглянулся по сторонам в некотором смущении. Присутствие старого доктора г. к. ощущалось решительно во всем так, будто он в любую минуту мог войти из парка, будто я слышал его смех, будто на мне остановился его внимательный взгляд.

Видение. Тут произошло нечто удивительное, я бы даже сказал — из мира привидений. Внезапно я постиг кантонального советника. Неожидано для себя. Это постижение как бы снизошло на меня. Я угадал причину его поступка. Я угадывал ее в драгоценных предметах обстановки, в книгах, в бильярдном столе. Я углядел их во взаимосвязи между строжайшей логикой и игрой, которая наложила свой отпечаток на эту комнату. Я проник в его тайну и ясно увидел: Колер убил не потому, что был игрок. Нет. Колер не был азартным человеком. Ставки его не привлекали. А привлекала его сама игра как таковая, разбег шаров по зеленому полю, расчеты, их осуществление, возможности, заложенные в каждой партии. Удача ничего для него не значила (потому он и мог полагать себя абсолютно счастливым человеком, не кривя при этом душой). Он просто гордился тем, что в его власти — определять условия игры, любил наблюдать за становлением некоей необходимости, им же самим созданной. В чем и заключался его юмор. Конечно же, для этого тоже были свои причины. Возможно, утонченная жажда власти, желание поиграть не только шарами, но и людьми, соблазн поставить себя вровень с богом. Очень возможно. Но несущественно. Мне, как юристу, надле-

жит оставаться на поверхности, а не забираться в дебри психологии и уж тем паче не лезть в философию или теологию. Совершив убийство, Колер просто начал новую партию, и только. Теперь все шло по его плану. Я же был не более как одним из шаров, приведенных в движение его ударом. Он действовал вполне логично. Суду он не назвал причину потому, что и не мог бы ее назвать.

Убийцы обычно действуют по вполне конкретным мотивам. От голода. Или от любви. Духовные мотивы встречаются реже, да и то в искажении, которое им сообщила политика. Мотивы религиозные почти не встречаются и ведут убийцу прямиком в психиатрическую лечебницу. Кантональный же советник действовал из умозрительных соображений. Это звучит абсурдно, но он был мыслитель. И мотивы у него были не конкретные, а абстрактные. Вот на этом его и можно было подловить. Он любил бильярд не как игру, а потому, что бильярд служил для него моделью действительности. Одним из возможных ее упрощений (модель действительности — здесь я употребляю излюбленное выражение Мокка, ваятеля, который много занимается физикой, мало лепит и вообще неисправимый фантазер, в его ателье я последнее время часто засиживаюсь,— где еще прикажете после двенадцати искать выпивку в такой стране, как наша? — разговор с ним из-за его глухоты крайне затруднителен, хотя идей он мне подал немало). По той же причине Колер занимался естественными науками и математикой. Они точно так же поставляли ему «модели действительности». Но под конец эти модели перестали его удовлетворять и ему пришлось совершить убийство, чтобы создать себе очередную модель. Он экспериментировал над преступлением, и смерть для него была не более как метод. Отсюда поручение Кнульпе установить последствия убийства, отсюда и абсурдное задание подыскать другого «возможного» убийцу. Лишь теперь, в его кабинете, наедине с предметами, которыми занимался старик, я понял смысл нашего с ним разговора в тюрьме. «Исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка», и «нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного». Доктор г. к. открыл свои карты, но тогда я не понял его игру. Лишь приняв игру всерьез, можно было отыскать мотив убийства: он убил, чтобы наблюдать, он лишил кого-то жизни, чтобы исследовать законы, на которых основано человеческое общество. Впрочем, приведи он этот мотив на суде, его сочли бы пустой отговоркой. С юридической точки зрения он был слишком абстрактный. А научное мышление устроено именно так. Его абстрактность служит ему защитой. Однако, единожды вырвавшись из своего укрытия, оно может натворить бед. И мы окажемся бессильны перед ним. Не подлежит сомнению, что именно это и произошло с экспериментом Колера: духу науки потребовалось убийство. Тем самым ни советник не оправдан, ни наука не осуждена. Чем духовнее мотив какого-нибудь акта насилия, тем злее само насилие, чем осознаннее, тем меньше ему есть оправданий. Оно принимает черты бесчеловечности. Святотатства. В этом смысле я рассуждал правильно, и мое видение подтвердилось. Оно предохранило меня от восторгов по адресу Колера, помешало мне хоть на минуту уверовать в его невиновность. Оно помогло мне сохранить к нему отвращение. Уверенность в том, что убил именно он, с этой минуты уже никогда меня не покидала. Беда в том, что тогда я не распознал всю опасность партии, которую Колер вознамерился с моей помощью разыгрывать дальше. Я полагал, будто мое участие — это всего лишь безобидная техническая деталь, не могущая иметь последствий. Я вообразил, будто партия будет далее протекать в безвоздушном пространстве, исключительно в мыслях этого богохульника. Игра его началась с убийства. Как же я мог не догадаться, что ход ее неизбежно приведет ко второму убийству, к убийству, которое на сей раз придется совершить уже не доктору

г. к., а нам, представителям юстиции, с которой старик затеял свою игру?

Во-вторых, духовно. Великая встреча требует не только четких рамок, она претендует также и на то, чтобы о ней было поведано в подобающих ей выражениях. Следствие — пьянка без просыпу и девки. Выпил я сперва литр-другой яблочного вина, нарушение стиля, сам понимаю (вопрос цены), но пил я только для того, чтобы привести себя в должное расположение духа; когда ко мне присоединилась барышня, я перешел на коньяк. Не волнуйтесь, желудок у меня всегда был луженый. Кстати, о барышнях — на сей раз это была не Гизела (ну та, с выдающейся фигурой), а Моника (или Мария, или Марианна, какое-то «М» там во всяком случае было), дело у нас шло с большим размахом, позднее она исполнила мне уйму народных песен из немецких фильмов, под ее пение я уснул, а еще позднее она смылась со всей моей наличностью. Я тем временем, перейдя на грушевку, обнаружил ее в одном из кафе, где не подавали спиртных напитков, неподалеку от Бельвю. Застал я ее не одну, а с Гизелой и с покровителем Гизелы (упоминавшимся ранее Лакки), который, как выяснилось, был и ее покровителем. Я призвал ее к ответу, а он наигуманнейшим образом урегулировал финансовый вопрос, и Марлене (или Монике, или Магдалине) пришлось выкладывать денежки. Вообще все происходило очень человечно. Я бы даже сказал — благородно: так официантка, к примеру, закрыла глаза на то, что я принес с собой бутылку виллиамина, и мы выпили вчетвером. Потом пришла Елена, более чем неожиданно, более чем внезапно, прямо видение из другого мира. Из худшего. Увидев ее с Штюсси-Лойпином,— когда это, между прочим, было, два месяца назад, три месяца назад, полгода? — я больше не думал о ней, хотя нет, еще раз, в какую-то ночь, под утро, когда надо мной словно Будда, раскачивалась Гизела, но уж после этого не думал, наверняка не думал, разве что бегло вспомнил, переходя через мокрую после дождя улицу возле Бельвю, но это не в счет, просто резкие перемены погоды действуют на психику,— и вот она возникла передо мной, ей, видите ли, понадобилось разыскивать меня в кафе. Я невольно засмеялся, все засмеялись. Елена сохранила спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда, ну, словом, все, что требуется по части безупречной выдержки. В том и был ужас, что она всегда собой владела, всегда сохраняла спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда. Я мог убить, зарезать, придушить, изнасиловать ее, сделать шлюхой, последнее бы охотней всего.

— Мне надо поговорить с вами, господин Шпет,— сказала Елена, просительно взглянув на меня.

— Это что за барышня такая? — полюбопытствовала Гизела.

— Это очень благородная барышня,— ответил я,— барышня из хорошего дома, дочурка одного убийцы.

— А с кем она спит? — захотела узнать Марианна (или Магдалина, или Мадлен).

— Она связалась с одним суперадвокатом,— объяснил я,— с главным светилом из всех юридических светил, с хорошо обученным висельником, с великим адвокатом на все руки по имени Штюсси-Лойпин. И акт у них бывает не половой, а юридический.

— Господин Шпет,— проговорила Елена.

— Присядьте же, прошу вас,— отвечал я.— Угодно ли вам будет сидеть на коленях у покровителя этих двух барышень, достойного господина по имени Лакки, чьим поверенным я имею честь являться, или, быть может, вы предпочтете кресло?

— Кресло,— тихо сказала Елена.

Лакки придвинул ей кресло, любезно, изысканно, с головы до

ног наш светский Лакки, усики черные, лицо прямо с косметической рекламы, кареглазый апостольский взгляд, он даже поклонился, придвигая кресло и на сто миль окрест благоухая туалетной водой и сигаретами «Кэмел». Елена нерешительно села.

— Я, собственно, хотела поговорить с вами наедине,— сказала Елена.

— Вот уж ни к чему,— засмеялся я,— у нас у четверых нет секретов друг от друга. С фройляйн Гизелой я уже несколько недель как сплю, с добродетельной Моникой или Марианной, черт ее знает, как на самом деле, спал прошлую ночь. Как видите, у нас все вполне публично. Словом, выкладывайте.

У Елены на глазах появились слезы.

— Вы меня однажды о чем-то спрашивали.

— Спрашивал.

— Когда мы с господином Штюсси-Лойпином пили кофе...

— Мне совершенно ясно, о чем вы говорите,— перебил я,— не надо только перед именем этого подонка употреблять слово «господин».

— Я в тот раз не совсем поняла смысл вашего вопроса,— тихо сказала она.

И вокруг нас тоже стало тихо. Гизела соскользнула с моих коленей, начала освежать макияж. Я осатанел от злости, я разлил виллиамин по рюмкам и вдруг заметил, что волосы у меня слиплись, лицо залито потом, что глаза жжет, что я не брит, что от меня скверно пахнет, внезапное смущение девушек страшно меня разозлило, казалось, будто они застыдились перед Еленой, будто среди нас повеяло духом Армии спасения, я готов был разнести все вдребезги, мир был устроен шиворот-навыворот. Это Елене надо бы ползать на брюхе перед этими девушками, она у меня и поползает. Я все больше подливал себе, не говоря ни слова, я просто молча смотрел в тихое лицо с большими темными глазами.

— Фройляйн Елена Колер,— пробормотал я заплетавшимся языком и поднялся, с трудом, шатаясь, но поднялся,— фройляйн Колер, я хочу сделать вам только одно заявление, одно, но основополагающее — да, да, сделать заявление, это точное выражение. Я застал вас тогда с вашим бугаем Штюсси-Лойпином — без паники, любезные дамы,— я застал вас, Елена Колер, с вашим бугаем Штюсси-Лойпином. Верно. Я спросил вас, летали вы в день убийства или нет, причем именно тем рейсом, который должен был доставить английского министра на его паршивый остров. Верно, верно и еще раз верно. Вы ответили на мой вопрос утвердительно. А теперь я хочу швырнуть вам в лицо самое главное, да-да, Елена Колер, швырнуть изо всех сил. Револьвер лежал в пальто у министра, вы его достали оттуда, что для стюардессы не составляет труда, и это был именно тот револьвер, который послужил орудием для вашего дражайшего папеньки, так никогда и не найденным впоследствии орудием убийства, о чем вы и без меня прекрасно знаете. Вы соучастница, Елена Колер, вы не просто дочь убийцы, вы и сами убийца. Вы ненавистны мне, Елена Колер, я вас теперь на дух не переношу, от вас, как и от вашего поганого папеньки, разит убийством, а не водкой и распутством, как от меня. Желаю вам сгнить заживо, Елена Колер, желаю вам заполучить рак в вашу драгоценную матку, потому что, если вам удастся произвести на свет маленького Штюсси-Лойпина, нашей земле придет конец, уж слишком она хрупкая, чтобы носить на себе такое чудище. Мне же будет от души жаль нашу бедную землю, несмотря на все ее грехи, жаль из-за этих чудесных потаскух, которым вы, любезнейшая, в подметки не годитесь, которые занимаются честным ремеслом, а не убийствами, моя нежно любимая, а теперь сгиньте с глаз моих, топайте отсюда. И можете с ходу лечь под своего суперадвоката...

Она ушла. Что было дальше, я помню смутно. Я вроде бы упал, во всяком случае я лежал ничком на полу, не исключено, что вместе со мной упал и столик, а из бутылки вытекли остатки содержимого (это я помню точно), какой-то гость в очках и со лбом мыслителя пожаловался, на жалобу приплыла хозяйка, типичная бандерша. Лакки, благородный Лакки, отвел меня в туалет, я вдруг понял, что меня раздражают его усики, начал с ним драться, Лакки в прошлом был боксером-любителем, не обошлось без крови, я рухнул головой в писсуар, было очень неприятно, прежде всего потому, что на всем лежал толстый, как штукатурка, слой символики, будто в плохом фильме. Потом вдруг заявилась полиция, вахмистр Штубер и с ним еще двое. Несколько часов они продержали меня в участке, допрос, протокол и т. п.

Послесловие. Приходится с чисто технической точки зрения констатировать, что попытка рассказать про мою первую встречу с Еленой пошла насмарку. Я рассказал про последнюю встречу, из чего следует, что на будущее надо принять известные меры предосторожности. Записи, совершенные в подпитии, требуют сугубой осторожности. Короткие предложения, только короткие. Придаточные чреваты опасностью. Синтаксис порождает сумятицу. А теперь нужно дописать эпилог (только что получил от Колера очередную открытку, на сей раз из Рио-де-Жанейро, с пламенным приветом, оттуда он вылетает в Сан-Франциско, а из Сан-Франциско на Гавайские острова, потом на Самоа, короче, время у меня есть). Дело в том, что мне нанес визит комендант кантональной полиции. Визит был очень важный. Это я вполне сознаю. Кстати, этим, вероятно, и можно объяснить, что сейчас я трезв как стеклышко. Доказать покамест ничего нельзя, но, как я подозреваю, комендант догадывается, что́ я затеял. Ужасно, если это так. С другой стороны, тогда он забрал бы у меня револьвер. Пришел он ко мне без всякого предупреждения, часов около десяти, спустя два дня после той злополучной сцены в кафе. На улице была снежная мокреть. И тут он вдруг возник у меня в мансарде. Внизу ликующе завывала секта:

Готовься, брат мой во Христе,
Настанет Страшный суд,
И кто погрязнет в суете,
Те душу не спасут.

Комендант был несколько обескуражен. Он смущенно покосился на мой письменный стол, заваленный густо исписанными листками.

— Вы, никак, писателем решили заделаться,— буркнул он.

— А почему бы и нет, господин комендант. Когда человеку есть о чем рассказать,— сказал я.

— Смахивает на угрозу.

— Понимайте как хотите.

Зажав под мышкой бутылку, он огляделся по сторонам. К сожалению, на кушетке у меня лежала девица, которую я совершенно не знал, она просто увязалась за мной, возможно, это был подарок от Лакки, она явно уже разделась и легла, вдохновляемая ложным представлением о своих служебных обязанностях (добросовестное отношение к труду чувствуется у нас решительно во всем. Но мне до нее не было дела, я работал, я разбирал свои записи).

— Одевайся,— приказал комендант,— не то простудишься. А потом мне надо побеседовать с адвокатом.

Он поставил бутылку на стол.

— Коньяк,— сказал он,— «Аде», редкая марка. От друга из Западной Швейцарии. Давайте-ка попробуем. А вы, Шпет, принесите два стакана. Она сегодня больше пить не будет.

— Слушаюсь, господин комендант,— отвечала девица.
— Ты пойдешь домой. На сегодня хватит.
— Сушаюсь, господин комендант.
Она почти успела одеться за это время. Он спокойно оглядел ее.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи, господин комендант.
И она ушла. Мы слышали, как она сбежала вниз по лестнице.
— Вы ее знаете?..— спросил я.
— Я ее знаю,— ответил комендант.
Этажом ниже секта все еще наяривала свой хорал:

Исчезнет солнце, шар земной
Утратит твердь свою,
Но коль душа твоя с тобой,
То будешь ты в раю.

Комендант разлил коньяк по рюмкам.
— Ваше здоровье.
— Ваше.
— У вас револьвер есть? — спросил он.
Отрицать не имело смысла. Я достал револьвер из ящика письменного стола. Он внимательно осмотрел его, затем вернул мне.
— Вы все еще считаете, что виноват Колер?
— А вы разве нет?
— Возможно,— ответил он и пересел на кушетку.
— Тогда почему же вы выходите из игры? — спросил я.
Он взглянул на меня.
— А вы еще надеетесь ее выиграть?
— На свой лад.
Он поглядел на револьвер. Я поставил его на предохранитель.
— Дело ваше,— сказал он и снова разлил коньяк по рюмкам.— Как вам мой «Аде»?
— Великолепен.
— Я оставлю вам бутылку.
— Очень любезно с вашей стороны.
Снизу теперь доносилась не то проповедь, не то молитва.
— Видите ли, Шпет,— заговорил комендант,— вы угодили в скверную ситуацию. Не хочу сказать ничего дурного о достопочтенном господине Лакки и тем более о бедном создании, которое я у вас застал. В том, что подобные типы существуют, их вины в общем-то нет, но вот чего достигнете вы, будучи правозаступником шлюх, это уже другой вопрос, и о том, что коллегия адвокатов в самом непродолжительном будущем должна будет принять меры, вы, я думаю, и сами догадываетесь. Коллегия отнюдь не против ходатая по делам шлюх, если тот хорошо зарабатывает, но решительно против, если тот ничего не зарабатывает. Тут уж задета ее сословная честь.
— Ну и что?
— Послушайте, Шпет, вы меня давеча спросили, почему я вышел из игры,— продолжал комендант, раскуривая одну из своих толстых бахианос, причем руки у него нисколько не дрожали.— Вам я честно скажу, что тоже считаю старика Колера виноватым, а все случившееся — комедией, которую я охотно предотвратил бы. Но у меня нет доказательств. А вы продвинулись в своем расследовании?
— Нет,— сказал я.
— В самом деле нет? — повторил он свой вопрос.
И я второй раз ответил отрицательно.
— Вы не доверяете мне? — спросил он.
— Я никому не доверяю.
— Ладно,— сказал он,— будь по-вашему. Для меня история с Колером закончена, и закончилась она моим поражением. Это уже не

первое дело, которое закончилось моим поражением. Очень печально, но человеку моей профессии приходится сносить и такое. Да и человеку вашей профессии, я думаю, тоже. Вам надо взять себя в руки, Шпет. И начать все сначала.

— Уже нельзя,— ответил я.

Внизу под нами снова радостно завыла секта:

Когда ж сомкнется ада пасть,
Оставив смрад и дым,
Тогда, о червь, тебе пропасть
С неверием твоим.

У меня вдруг мелькнуло подозрение.

— Комендант, вы что-то от меня скрываете?

Он затянулся, глянул на меня, еще раз затянулся, встал.

— Жаль,— сказал он, протягивая мне руку,— всего вам доброго. Мне, возможно, придется вызвать вас к себе.

— И вам всего доброго, господин комендант,— ответил я.

Зачин любви. Тут я снова начинаю спотыкаться. Я знаю, что увиливать больше нельзя. Я должен наконец рассказать про свою первую встречу с Еленой. Я должен признаться, что любил ее. И должен также добавить: с самого начала. Другими словами: с нашей первой встречи. Признание — вообще штука нелегкая, я только теперь оказался к нему способен. Но эта любовь не состоялась, и потому мне придется рассказывать о любви, которую я сам от себя скрывал в ту пору, когда она еще могла как-то состояться, и которая теперь состояться не может. Задача не из легких. Теперь мне, разумеется, известно, что Елена была не такой, какой она мне казалась. Лишь теперь я вижу ее такой, как она есть. Она соучастница Колера. Вообще-то я ее понимаю. По-человечески можно понять, что она покрывает своего бесчеловечного отца. Нелепо требовать от нее, чтобы она его выдала. Только ее признание могло бы сокрушить кантонального советника. Но этого признания она никогда не сделает. Я в достаточной мере профессионал, чтобы не предъявлять к ней таких требований. Мне предстоит идти своим путем, а она пусть идет своим. Но я не могу отречься от того представления о ней, которое однажды у меня сложилось. В том, что Елена не соответствует моему представлению и никогда не соответствовала, ее вины нет. Я сожалею о своих грубых словах. Я понимаю, что вел себя как мальчишка. А мои пьянки, мои девки! Она имеет право быть такой, как она есть, а я присвоил себе право рано или поздно убить ее отца.

Успей я тогда отловить ее отца в аэропорту, он бы уже давно был мертв, и я заодно. Все было бы в полном порядке, и мир уже давно занялся бы другими делами. Вся моя теперешняя жизнь имеет только один смысл: рассчитаться с Колером. Расчет будет простой. Хватит одного выстрела. Но пока надо ждать. Чего я не предусмотрел. Как не предусмотрел и расхода нервов на ожидание. Одно дело — восстановить справедливость, другое — жить, дожидаясь, когда ее можно будет восстановить. Я словно в каком-то исступлении. И пью я так много из-за абсурдности своего положения, я словно бы упиваюсь справедливостью. Сознание, что я прав, уничтожает меня. Нет ничего ужаснее, чем это сознание. Я казню себя, потому что не могу казнить старого Колера. Вот в этом исступлении я вижу себя и Елену, оглядываюсь на первую нашу встречу. Я знаю, что потерял все. Счастье ничем не заменишь. Даже если это счастье на поверку обернется безумием, а мое нынешнее безумие в действительности есть трезвость. Беспощадное осознание действительности. Вот почему я с грустью оглядываюсь назад. Я хотел бы забыть, но не способен к этому. Все так отчетливо запечатлелось в моем мозгу, будто только вчера произошло. Я еще слышу звук ее голоса, вижу ее взгляд, ее движения,

ее платье. И себя тоже. Мы были молоды, оба. Не растрачены. С тех пор прошло от силы полтора года, но я уже старый, очень старый. Мы с доверием отнеслись друг к другу, хотя было бы вполне естественно, если б она мне не доверяла. Она неизбежно видела во мне просто адвоката, который хочет заработать. И все-таки доверилась мне с самого начала. Я это сразу почувствовал и тоже доверился ей. Я был готов ей помочь. Все было чудесно. Даже если мы просто сидели друг против друга, даже если мы разговаривали только по делу. Ну, конечно же, я понимаю, что, по правде говоря, все было совсем не так, что все было мираж, иллюзия, заблуждение или — того хуже — подлая интрига, которую Елена затеяла против меня, но пока я этого не знал, не подозревал даже, я был счастлив.

— Садитесь, господин Шпет,— сказала она. Я поблагодарил. Она села в глубокое кожаное кресло. Я сел напротив. Тоже в глубокое кожаное кресло. Все было как-то странно, эта девушка лет примерно двадцати двух, смуглая, улыбающаяся, раскованная и в то же время робкая, множество книг, массивный письменный стол, на заднем плане — бильярд с шарами, лучи падающего солнца, парк за приоткрытой стеклянной дверью, через которую вошла Елена в сопровождении пожилого господина по имени Фёрдер. Фёрдер был безукоризненно одет, мне представили его как личного секретаря Колера, он молча и с видом почти угрожающим начал меня разглядывать. После чего удалился снова, не попрощавшись и вообще не проронив ни звука. Мы остались вдвоем. Елена была смущена. Я тоже. Мысли о ее отце сковывали меня, лишали дара речи. Мне было жаль ее. Я понял, что она никогда не сможет понять своего отца и страдает от непостижимости его поступков.

— Господин Шпет,— начала она,— отец мне всегда много про вас рассказывал.

Это было для меня неожиданностью. Я удивленно поглядел на нее:

— Всегда?

— С тех пор как встретил вас в «Театральном».

— И что же он вам рассказывал?

— Он беспокоился насчет вашей адвокатской практики.

— Не было у меня тогда никакой практики.

— Зато сейчас есть,— констатировала она.

— Не сказать, чтоб процветающая,— сознался я.

— Он информировал меня о деле, которое намерен вам поручить,— продолжала Елена.

— Знаю.

— Вы возьметесь за него?

— Решил взяться.

— Мне известны условия,— сказала она.— Вот вам чек. Это аванс. Пятнадцать тысяч. Плюс еще десять. На издержки по делу.

Елена протянула мне чек. Я взял его и сложил пополам.

— Ваш отец не поскупился,— сказал я.

— Он очень заинтересован в том, чтобы вы взялись за его поручение,— объяснила она.

— Приложу все усилия.

Я сунул чек в бумажник. Мы оба помолчали. Она больше не улыбалась. Я почувствовал, как она подыскивает слова.

— Господин Шпет,— наконец проговорила она с запинкой,— я отдаю себе отчет в том, что поручение отца не совсем обычное.

— Очень даже.

— Господин Фёрдер того же мнения.

— Охотно верю.

— Но тем не менее его надо выполнить,— сказала она решительно, почти с жаром.

— Чего ради?

Она умоляюще взглянула на меня.

— Господин Шпет, я могу видеться с папá раз в месяц. Он дает мне указания. Дела у папá крайне запутанные, но его осведомленность потрясает. Он приказывает, я выполняю. Он отец, я дочь. Вам ведь понятно, что я его слушаюсь.

— Разумеется.

Елена разгорячилась. Ее гнев был неподдельным.

— Личный секретарь и адвокаты хотят назначить над ним опеку,— вымолвила она.— В мою пользу, как они утверждают. Но я точно знаю, что мой отец не сошел с ума. А тут еще поручение, за которое вы взялись. Для личного секретаря это очередное доказательство. Поручение лишено всякого смысла, говорит он. Но я твердо убеждена, что не лишено.

Мы снова помолчали.

— Даже если я не могу его понять,— тихо добавила она.

— Фройляйн Колер,— ответил я,— для юриста поручение расследовать убийство профессора Винтера, исходя из допущения, что убийцей был не ваш отец, имеет юридический смысл лишь в том случае, если убийца не ваш отец. Но такое допущение невозможно. И тем самым поручение лишено всякого смысла. С юридической точки зрения. Из чего, однако, не следует, что оно бессмысленно и с научной точки зрения.

Она удивленно взглянула на меня:

— Как мне вас понимать, господин Шпет?

— Я внимательно осмотрел эту комнату, фройляйн Колер. Ваш отец любил свой бильярд и свои книги по естествознанию...

— Да, и больше ничего,— сказала она уверенно.

— В том-то и дело...

Она не дала мне договорить:

— Именно по этой причине он и не способен совершить убийство. Его каким-то чудовищным способом принудили...

Я промолчал. Я сознавал, что было бы неприлично как из пушки выстрелить в нее правдой. Я не мог вдолбить в нее нелепую, дикую истину, что ее отец убил именно потому, что не любил ничего на свете, кроме своего бильярда и своих книг. И нелепо было рассказывать ей о своем прозрении, это была только интуиция, а не доказуемый факт.

— Видите ли, фройляйн Колер, мне ничего не известно о мотивах поступка, из-за которого ваш отец был осужден,— осторожно начал я,— и речь у нас шла о другом О том, что могло бы объяснить не его поступок, а поручение, которое он мне намерен дать. На основе этого поручения ваш отец хочет исследовать границы возможного. Он утверждает, будто такова его научная цель. Мое дело — строго придерживаться этого утверждения.

— Но в это же нельзя поверить,— взволнованно воскликнула Елена.

Я не согласился.

— Лично я обязан верить,— объяснил я Елене,— обязан, потому что принял его поручение. Для меня это игра, которую ваш отец может себе позволить. Другие держат скаковых лошадей. Я как юрист считаю игру вашего отца куда более занимательной.

Она задумалась.

— Не сомневаюсь,— наконец как-то нерешительно сказала она,— что вы найдете истинного убийцу, найдете кого-то, кто вынудил папá к убийству. Я верю в своего отца...

Ее отчаяние огорчило меня. Я бы с радостью ей помог, но это было не в моих силах.

— Фройляйн Колер,— ответил я ей.— буду с вами предельно откровенен. Я не думаю, что мне удастся обнаружить этого «кого-то». По той простой причине, что его нет на свете. Ваш отец никому не позволит себя принуждать.

— Вы очень со мной откровенны,— тихо сказала она.

— Хотелось бы, чтобы вы мне доверяли.

Она вперила в меня внимательный и мрачный взгляд. Я не отвел глаза.

— Я вам доверяю,— сказала она.

— Могу помочь вам лишь в том случае, если вы оставите всякую надежду,— сказал я.— Ваш отец — убийца. Вы сможете понять его лишь в том случае, если не направите свой поиск по ложному следу. Мотивы преступления вашего отца надо искать в нем самом, а не в ком-то другом. И не думайте больше о его поручении. Теперь это мое дело.

Я встал. Она тоже поднялась.

— А почему тогда вы согласились?

— Потому что мне нужны деньги, фройляйн Колер. Не стройте никаких иллюзий на мой счет. Пусть даже ваш отец видит в своем поручении научную ценность, для меня это не более как возможность сдвинуть с мертвой точки свою адвокатскую практику. Так что не питайте ложных надежд.

— Понимаю,— сказала она.

— Я не могу себе позволить действовать иначе, чем я действую, я должен выполнить желание вашего отца. Но хочу, чтобы вы знали, кому доверяете.

— Именно вы и поможете мне,— сказала Елена и протянула мне руку,— я была счастлива с вами познакомиться.

За оградой меня все еще дожидался Линхард в своем «порше», только теперь он сидел не на месте водителя, а рядом и курил сигареты, с отсутствующим видом, погруженный в себя.

— Все в порядке,— сказал я.— Поручение принято.

— А чек? — спросил он.

— Тоже.

— Чудненько,— сказал Линхард.

Я сел за руль. Линхард предложил мне сигарету, дал огня. Я курил, положив обе руки на баранку, вспоминал Елену и был счастлив. Я радовался своему будущему.

— Как же? — спросил Линхард.

Я раздумывал, я еще не включил зажигание.

— Существует только одна возможность,— ответил я.— Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать.

— Согласен.

— Допросите свидетелей еще раз,— продолжал я.— Изучите прошлое Винтера, врагов, знакомых.

— Займемся доктором Бенно,— ответил он.

— Олимпийцем? — удивился я.

— Другом Винтера,— пояснил Линхард.— И Моникой Штайерман.

Моника Штайерман была единственной наследницей Вспомогательных мастерских АО Трёг.

— Почему? — спросил я.

— Приятельница Бенно.

— Нет, ее мы лучше припутывать не будем,— задумчиво сказал я.

— О'кей,— сказал Линхард.

Что-то здесь было не так.

— Странно все-таки,— сказал я.

— Что именно? — полюбопытствовал Линхард.

— Вас порекомендовал мне Колер.

— Чистая случайность.

Я включил зажигание и осторожно взял с места. Еще ни разу мне не доводилось сидеть за рулем «порша». На виадуке Линхард меня спросил:

— Шпет, а вы знакомы с Моникой Штайерман?
— Я ее всего один раз видел.
— Странно,— сказал и Линхард.

В Талаккере я его высадил и поехал прочь из города. Куда глаза глядят. Бездумно поехал в осень. Как я ни сопротивлялся, лицо Моники Штайерман выдвигалось на передний план, заслоняя лицо Елены Колер.

II

Начало расследования. Лучшая часть моей жизни началась с размахом. Уже на другой день я окончательно вступил во владение новой адвокатской конторой и «поршем»; правда, при ближайшем рассмотрении «порш» оказался много старше, чем я предполагал, и находился в таком состоянии, что цена, назначенная за него Линхардом, представлялась уже далеко не столь божеской. А контора раньше принадлежала олимпийскому чемпиону по фехтованию и чемпиону Швейцарии по стрельбе из пистолета, иными словами, доктору Бенно, который давно уже катился вниз по наклонной плоскости. Красавчик олимпиец от участия в переговорах уклонился. По словам архитектора Фридли, который ни свет ни заря отвез меня туда, Бенно изъявил готовность уступить свою контору мне за две тысячи в месяц, из них четыре — вперед, сумма, про которую трудно было сказать, в чей карман она пойдет, но зато я мог немедленно въехать и получил в пользование не только обстановку Бенно, но и его секретаршу, несколько заспанного вида особу из Центральной Швейцарии с заграничным именем Ильза Фройде, секретарша смахивала на французскую барменшу, то и дело красила волосы в другой цвет, но при всем том была на редкость исполнительна; сделка более чем подозрительная, но разгадать ее я не мог. Зато приемная и кабинет на Цельтвеге с видом на неизбежные дорожные пробки вполне соответствовали своему назначению, и письменный стол внушал доверие, и кресла были вполне пристойны, на задний двор выходила кухня и комнаты, где я поместил свою кушетку с Фрайештрассе; мне не захотелось расставаться с прежней мебелью. Мои дела как-то вдруг пошли в гору. На горизонте замаячил прибыльный бракоразводный процесс, улыбалась поездка в Каракас по делам одного крупного промышленника (ему порекомендовал меня Колер), предстояло улаживать наследственные споры, защищать одного торговца мебелью, составлять выгодные налоговые декларации. Я пребывал в счастливом и потому слишком беспечном настроении, чтобы вспоминать о частном сыскном бюро, которое сам же привел в движение и без отчетов которого не мог дальше заниматься делом Колера. А ведь, казалось бы, Линхард должен усугубить мою недоверчивость: и человек-то он с двойным дном, и намерения у него загадочные, и порекомендовал мне его Колер, и сам он слишком жадно ухватился за это дело. Причем действовал с размахом. В «Театральном» он посадил Шёнбехлера, одного из лучших своих агентов, которому принадлежал хоть и старый, но весьма комфортабельный домик на Ноймаркте. На чердаке тот оборудовал жилое помещение, где размещалась его огромная дискотека. Повсюду были расставлены динамики. Шёнбехлер любил симфонии. Согласно его теории (а Шёнбехлер был нафарширован теориями), симфонии меньше всего заставляют себя слушать, под симфонии можно зевать, обедать, читать, спать, разговаривать и тому подобное, в симфониях музыка замыкается сама на себе, становится неслышной, как музыка сфер. Концертные залы он отвергал, как варварские измышления. Там делают из музыки культ. Симфония же приемлема лишь как сопровождение, утверждал Шёнбехлер, она человечна лишь как фон, в противном случае она насилие, так, например,

Девятую симфонию Бетховена он понял, когда ел мясо с овощами, Брамса он всячески рекомендовал под кроссворды или под венский шницель, Брукнера — под карты. Всего же лучше запустить две симфонии разом, что он якобы и делал весьма часто. Сознавая, какой при этом возникает адский шум, он точно рассчитал квартирную плату для остальных трех этажей своего дома. Квартира непосредственно под его дискотекой отдавалась задешево, вернее, со съемщика вообще ничего не брали, ему приходилось только терпеть музыку, много часов подряд Брукнера, потом столько же Малера, потом столько же Шостаковича. За среднюю квартиру он брал как все, а к нижней было почти не подступиться. Шёнбехлер был чувствительный человек. Во внешности — никаких особых примет, даже напротив, непосвященным он казался образцовым бюргером. Он был всегда тщательно одет, от него хорошо пахло, он никогда не напивался и вообще жил в ладу с окружающим миром. Что до национальности, то он называл себя гражданином Лихтенштейна. Это не бог весть что, добавлял он всякий раз, он и не спорит, но зато по меньшей мере ему нечего и стыдиться: Лихтенштейн практически не несет никакой вины за теперешнее международное положение, если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что он выпускает слишком много почтовых марок, и закрыть глаза на его финансовые шалости; Лихтенштейн — это самое маленькое из государств, живущих на широкую ногу. Вдобавок у лихтенштейнца не так легко развивается мания величия, побуждающая его приписывать себе совершенно небывалые достоинства по той лишь причине, что он лихтенштейнец, как это случается с американцами, русскими, немцами или французами, которые априори убеждены, что немец или француз уже сам по себе есть существо высшего порядка. Принадлежность к великой державе — а лихтенштейнец поневоле считает таковыми почти все остальные государства и даже Швейцарию — для человека, ею отмеченного, весьма неблагоприятна с психологической точки зрения, она чревата для него опасностью впасть в некое соотносительное слабоумие. И чем больше нация, тем сильней эта опасность. Свою мысль Шёнбехлер разъяснял на примере с мышами: одна мышь наедине с собой считает себя не кем иным, как мышью, среди миллионов других мышей она уже считает себя кошкой, а среди ста миллионов — слоном. Всего опасней мышиный народец в пятьдесят миллионов голов (пятьдесят миллионов как порядок величины). Подобные популяции состоят из мышей, которые хоть и считают себя кошками, но не прочь бы стать слонами. Эта непомерно разросшаяся мания величия опасна не только для таких мышей, но и для всего мышиного рода. А вот соотношение между «численностью мышей» и порожденной ею манией величия он называл «законом Шёнбехлера». Что до профессии, он выдавал себя за писателя. Это было удивительно в том смысле, что он до сих пор не опубликовал и не написал ни единой строчки. Впрочем, Шёнбехлер и не спорил. Он скромно величал себя «потенциальным писателем». Необходимость оправдывать свое «неписание» никогда не ставила его в тупик. Так, например, он при случае утверждал, что писательство начинается с «чувства слова», что это его первое, поэтическое, условие, к нему прибавляется другое, не менее важное, которое основано на любви к истине. И если хорошенько взвесить два этих основных условия, станет ясно, что, к примеру, заголовок типа «Стихи Рауля Шёнбехлера» немыслим хотя бы из-за представления, что подобная лирика должна журчать подобно красивому ручейку. Можно, разумеется, возразить, что, раз такое дело, надо сменить имя автору, но тогда придется вступить в конфликт с принципом любви к истине. Куда бы ни заходил Шёнбехлер, там сразу раздавался смех. Он был неплохой мужик, и в пивных немало народа кормилось около него. Он приказывал все записывать, счет ему присылали раз в месяц, от сложения набегала изрядная сумма. Насчет источников его существования никто толком

ничего не знал. Намеки на щедрую стипендию от государства Лихтеншейн, разумеется, не соответствовали действительности. Кое-кто утверждал, будто Шёнбехлер представляет некую фирму резиновых изделий. Трудно было также не заметить, что он много знал и по любому поводу имел четкое, обоснованное суждение. (Возможно, за его нежеланием писать скрывалась не просто обычная леность, как хотелось предположить, возможно, за ним скрывалось убеждение, что в отличие от многих, которые творят, лучше все-таки не творить.) Более всего он прославился своим искусством заводить разговор, особенно если учесть, что наши соотечественники никогда этим качеством не блистали. Зато Шёнбехлер владел им виртуозно. О нем рассказывали анекдоты, вокруг него создавались легенды. Так, например, он на пари (как упорно и неизменно утверждает комендант) до такой степени вовлек в разговор о взаимоотношениях между нашей страной и Лихтенштейном некоего федерального советника, который пил за соседним столиком свой четырехчасовой чай в обществе членов кантонального управления, что магистрат даже прозевал свой экспресс на Берн. Вполне допускаю. Хотя в общем-то от федеральных советников такого ждать трудно. В остальном Шёнбехлер считался человеком безобидным. Никому и в голову не могло прийти, что он служит у Линхарда. Когда это вскрылось, все были потрясены, Шёнбехлер покинул наш город и проживает ныне вместе со своей дискотекой на юге Франции, к великому сожалению наших сограждан, вот и на днях мне один из них погрозил кулаком, но я, по счастью, был не один, а с Лакки. Итак, этот оригинал по имени Шёнбехлер в один прекрасный день возник за столиком «Театрального», ко всеобщему удивлению, надо сказать, поскольку обычно он туда не заглядывал. Заняв столик, он провел там весь день. Заявился он и на другое утро, Так продолжалось целую неделю, он со всеми разговаривал, он подружился с метрдотелем, с официантками, а потом вдруг исчез, и снова Шёнбехлера можно было встретить в прежних, обычных его пивнушках, а неделя в «Театральном» выглядела как некое интермеццо. На деле же Шёнбехлер еще по разу допросил всех главных свидетелей. Что до дальнейшего расследования, то здесь Линхард прибег к помощи Фойхтинга, принадлежащего к числу тех сомнительных типов, которых Линхард держит в своем талаккерском сыскном бюро и которого я тогда еще не знал лично — знаю только теперь (по бару «Монако»). Фойхтинг — парень ненадежный и вообще поганый, этого никто не отрицает, даже Линхард — и тот нет, как, впрочем, и полиция, которая уже несколько раз его задерживала (наркотики), а потом снова употребляла по своим делам. Фойхтинг — шпик, который знает свое дело и знает свое место. Возможно, он видел когда-то лучшие дни, возможно, он даже учился в университете, но остальная часть Фойхтинга, та, что теперь с трудом пробирается по жизни, мошенничая и шантажируя, производит жалкое впечатление. Беда его в том, сказал он как-то (в «Монако») по этому поводу, мрачно уставясь в свою рюмку перно, что он не русский, а немец. Немец для этой страны — не профессия, разве что для Саудовской Аравии или Египта, а вот русский здесь профессия. В этом последнем случае его образ жизни не вызывал бы никаких нареканий, даже напротив, будучи русским, он был бы просто обязан быть таким, как он есть: опустившимся и вечно пьяным, но даже изображать русского здесь невозможно, потому что он, Фойхтинг, выглядит точно так, как выглядят немцы в фильмах о французском Сопротивлении. Тут, между прочим, Фойхтинг говорит чистую правду. В порядке исключения. Он действительно так выглядит. Он изучил верхи и низы общества, как никто другой, он прекрасно овладел географией баров и пивнушек. Он способен узнать что угодно, про любого завсегдатая. Но прежде чем Линхард переправил мне все, что разузнали Шёнбехлер и Фойхтинг, состоялась моя вторая встреча с Моникой Штайерман, произошло то, чего я боялся или чего

ждал — сам не знаю, как правильнее. Было бы лучше, если бы эта встреча не состоялась (ни первая, ни вторая).

Работа в Центральной библиотеке. Почему бы и не изложить на этих страницах историю штайермановского рода? До меня только что дошла очередная открытка Колера — предыдущую я получил месяц назад, игра в кошки-мышки продолжается, он решил съездить на Самоа чуть попозже, с Гаваев он отправляется сейчас в Японию на роскошном лайнере, а я здесь предстал перед наблюдательной комиссией, перед ее президентом, профессором Ойгеном Лойпингером. Известный правовед, на лице — дуэльные рубцы и шрамы, не чужд поэзии, сплошная лысина, принял меня в своем кабинете, при сем присутствовал также вице-президент Штосс, спортивного вида и вообще то самое «бодро-весело-истово». Господа держались на удивление демократично. Правда, акция «под зад коленкой» представлялась им — увы! — неизбежной, ибо в противном случае этого потребовал бы правительственный советник, так не лучше ли опередить его требование, но оба от души сожалели, скорбели, держались по-отечески, проявили — как это называется — полнейшее понимание, выражали сочувствие, отнюдь, ну никоим образом не упрекали, хотя, если по правде, между нами, мужчинами, положа руку на сердце, я должен бы и сам признать, что юристу, как никому другому, официально подобает определенный образ жизни в определенной среде; если свести эту мысль к четкой формуле, получится так: чем сомнительней она (среда), тем безупречнее должен быть он (образ жизни); к сожалению, мир — это ужасное скопище филистеров, а уж про наш милый город и говорить нечего, впору сбежать, и если бы он, Лойпингер, мог бы закрыть здесь свою лавочку, он бы тотчас подался на юг, но главное не в этом, проститутки, разумеется, тоже люди, очень даже достойные люди, бедные создания, которым лично он, в чем и признается без обиняков передо мной и перед коллегой Штоссом, многим, да-да, многим обязан, теплота, участие, понимание, в конце концов, закон существует и для панели, чтобы употребить это одиозное слово, но существует отнюдь не в том смысле, чтобы оказывать всяческое благоприятствование, я, как юрист, должен бы и сам понимать, что известные рекомендации, данные мною в свое время преступному миру и полусвету именно по причине своей юридической неуязвимости произвели сокрушительное действие, знание юридических приемов в руках известных кругов оборачивается катастрофическими последствиями, полиция в полном отчаянии, коллегия адвокатов, разумеется, ничего не предписывает, не прибегает к нравственному террору, вообще чрезвычайно либеральна, да-да, я и сам знаю, правила — они и есть правила, даже неписаные, а когда Штоссу понадобилось выйти, Лойпингер, свой в доску и вообще старый рубака, еще спросил меня, не могу ли я сообщить ему один известный телефончик, чтобы поближе познакомиться с одной известной особой, у которой такая примечательная фигура (с Гизелой), а когда выйти пришлось ему, Штосс, с головы до пят бывший чемпион, спросил меня о том же. Еще две недели спустя у меня отобрали патент. И вот я сижу, как потерпевший кораблекрушение, то в безалкогольном кафе, то в баре «Монако», живу в большей или меньшей степени милостями Лакки и Гизелы и располагаю временем, огромным количеством времени, что для меня самое невыносимое, а следовательно: почему бы и не изложить на этих страницах семейную хронику Штайерманов, в конце концов, я затем и сижу в Центральной библиотеке, правда, все пришли там в ужасное возбуждение, когда я заявился с бутылкой джина — почему бы и не проявить основательность, дотошную скрупулезность, почему бы и не вскрыть закулисную сторону, да и вообще, что осталось бы от Штайерманов без закулисной стороны, без их семей-

ной истории, без их историй. Имя обманчиво, правда, Штайерман-пращур, как и многие промышленники, однажды перекочевал в нашу страну с севера, но сделал он это уже в 1191 году, когда одного южнонемецкого герцога осенила злополучная идея — основать теперешнюю столицу нашей федерации. Идея, как известно, увенчалась успехом, поэтому Штайерманы — коренные швейцарцы. Что до самого родоначальника, до Якоба Штайермана, то он был из стаи тех висельников всех родов и сословий, которые обосновались на скале над зеленой рекой в разбойничьем вертепе (отделенном от нас в те времена четырьмя дневными переходами); был он беглый уголовник из Эльзаса, и таким манером ему удалось спасти голову от рук страсбургского палача, на новой родине он поначалу подвизался в роли ландскнехта, позднее стал оружейником, необузданный и злобный дикарь. С кровавой историей этого города на протяжении столетий неразрывно связан род Штайерманов, в качестве оружейников они ковали отечественные алебарды, которыми дубасили врага в Лаупене и Сан-Якобе, причем ковали по стандартному образцу Адриана Штайермана (1212—1255). Семейству принадлежала также письменно засвидетельствованная монополия на изготовление топоров и орудий пытки для всех южнонемецких епископств. Путь семейства круто вел наверх, кузница на Кеслергассе приобретала имя, входила в славу. Уже сын Адриана, безволосый Бертольд Штайерман Первый (уж не Бертольд ли это Шварц из легенды?), перешел к изготовлению огнестрельного оружия. Того более прославился правнук Бертольда — Якоб Третий (1470—1517). Он создал такие знаменитые пушки, как «Четыре Евангелия», «Большой псалтырь» и «Желтый Уриан». Он продолжил традицию литья пушек, с которой, правда, его сын Бертольд Четвертый круто порвал и, будучи анабаптистом, отливал лишь плуги, но уже сын последнего, Якоб Четвертый, возобновил литье пушек, изобрел даже первый снаряд, который, правда, при испытаниях разнес в клочки и пушку, и самого изобретателя. Такова, собственно, предыстория. Выпуклая, в общем и целом достойная, да и политически небезуспешная — один председатель кантонального совета, два казначея, один бургомистр. В последующие столетия из оружейной мастерской мало-помалу возникло вполне современное промышленное предприятие. Семейная история становится более запутанной, мотивы — не столь явными, нити теперь прядутся невидимые, к национальным интересам примешиваются международные интересы и связи. Конечно, при этом приходилось поступаться цветами флага, но это усиливало организацию, особенно когда в первой половине девятнадцатого века дальний потомок пра-Штайермана перекочевал на восток нашей страны. Вот этого потомка по имени Генрих Штайерман (1799—1877) и надлежит считать основателем фабрики машин и оружия, которая достигла расцвета при его первом внуке Джеймсе (1869—1909) и особенно втором — Габриэле (1871—1949). Правда, уже не как трёгская фабрика машин и оружия, а как Вспомогательные мастерские АО Трёг, недаром в 1891 году двадцатидвухлетний Джеймс Штайерман познакомился с английской сестрой милосердия Флоренс Найтингел, которой шел тогда двадцать второй год. Под ее влиянием он преобразовал фабрику в мастерскую по изготовлению протезов; после безвременной кончины Джеймса брат его, Габриэль, заметно расширил дело, начал изготавливать все мыслимые виды протезов — кисти рук, целые руки, ступни ног, целые ноги, в настоящее время мастерская снабжает мировой рынок эндопротезами (искусственные бедра, суставы и тому подобное), а также экстракорпоральными протезами (искусственная почка, легкое). Когда я говорю — мировой рынок, в этом нет преувеличения. Завоеван упорным трудом, качеством, но прежде всего целеустремленной готовностью использовать ситуацию, без зазрения совести, скупая на корню все иностранные предприятия по изготовлению протезов (по большей части мелкие заводики). Это новое поколение вмиг смекнуло, какие выгоды

предоставляет фабриканту протезов нейтральный статус нашего государства, а именно: возможность снабжать своей продукцией обе стороны — как победителей, так и побежденных в первой и второй мировых войнах, а сегодня — правительственные войска, партизан и мятежников. Девиз фирмы: «Штайерман — жертвам», хотя в правление Людевица продукция Вспомогательных мастерских весьма приблизилась по характеру к первоначальной: протез — это понятие растяжимое. Человек невольно старается закрыться от удара рукой; следовательно, щит — это как бы протез руки, а камень, который он бросает,— это протез сжатой кисти, кулак, иначе говоря. Единожды постигнув эту диалектику, можно и оружие, производством которого снова занялась вспомогательная мастерская, без колебаний причислить к протезам — танки, автоматы и минометы можно считать усовершенствованной моделью протеза руки. Как видите, род преуспевающий. Причем если мужчины рода Штайерманов были по преимуществу простой, неотесанный, примитивный народ, сплошь верные мужья, неутомимые работяги, зачастую прижимистые, относившиеся к явлениям духовной жизни с великолепным, поистине трогательным презрением, в собирании картин не заходившие далее «Острова мертвых», а в спорте признававшие исключительно футбол (да и то без особого пыла, доказательством чему — незавидное положение футбольного клуба Трёг среди команд первой лиги), то женщины рода Штайерман были совсем другого уровня. Либо великие потаскухи, либо великие богомолки, никогда и то и другое сразу, причем потаскухи были все сплошь уродины, имели торчащие скулы, длинные носы, широкие рты и вечно поджатые губы, зато богомолки — одна другой краше. Что до Моники Штайерман, которой вопреки всем ожиданиям суждено сыграть в деле доктора г. к. Колера главную, я бы даже сказал двойную, роль, то по внешнему виду ее следовало причислить к богомолкам, а по образу жизни — к великим потаскухам. После смерти родителей (Габриэль Штайерман женился в 1920 году на Стефании Людевиц), которые погибли во время перелета в Лондон (точнее сказать, пропали без вести, ибо ни родителей, ни их личный самолет впоследствии так и не удалось отыскать), и после трагической гибели брата Фрица, который, купаясь на Лазурном берегу, нырнул, но не вынырнул, она, родившаяся в 1930 году, унаследовала самое значительное состояние нашей страны, а ее дядя с материнской стороны взял на себя управление протезным концерном. Однако взять на себя управление ее образом жизни оказалось потрудней. Об этой девушке ходили самые потрясающие, а порой и самые нелепые слухи, то сгущаясь до почти уверенности, то снова рассеиваясь, их опровергали — всякий раз это делал дядя Людевиц,— причем именно опровержение заставляло тем охотнее принимать их на веру, до тех пор пока новый, еще более громкий скандал не превосходил все, что случилось раньше, после чего игра начиналась по новой. На безнравственную наследницу супермиллионов взирали хотя и неодобрительно, но с тайной гордостью: вот, мол, человек может все себе позволить, хотя и завистливо, но с благодарностью, в конце концов людей это развлекало. Штайерман стала «роковой женщиной международного класса» в городе, репутация которого, с одной стороны, поддерживается судорожными усилиями властей, церкви и благотворительных учреждений, с другой — снова и снова ставится под сомнение из-за своих проституток. Благодаря последним, равно как и благодаря своим банкам, но отнюдь не благодаря своим шлюхам, приобрел наш город свою международную репутацию. И тут публика как бы облегченно вздохнула. Двойственная репутация города, который одновременно славится как своим благочестием, так и своими педерастами, с помощью Моники Штайерман самую малость сместилась в сторону заурядного порока. Девушка приобретала все большую популярность, особенно с тех пор, как наш обер-бургомистр начал вплетать ее имя в свои пресловутые

речи-экспромты и в свои гекзаметры, которыми он любит ублажать публику на официальных торжествах ближе к концу, будь то по поводу вручения какой-нибудь литературной премии, будь то по поводу юбилея какого-нибудь частного банка. И если я тем не менее побаивался второй встречи с Моникой Штайерман, у меня были на то вполне определенные причины. Познакомился я с ней у Мокка. Еще в свои штюсси-лойпинские времена. Его мастерская неподалеку от Шафхаузерплац зимой бывала всегда чересчур жарко натоплена, железная печка раскалялась докрасна, дым от трубок, сигар и сигарет превращал воздух в боевое отравляющее вещество, прибавьте к этому невообразимую грязь, вечные мокрые тряпки на вечно незавершенных торсах, между торсами — штабеля книг, газеты, нераспечатанные письма, вино, виски, эскизы, фотографии, корейка. Я пришел к Мокку поглядеть на статую, моделью для которой послужила Моника Штайерман, мне было любопытно, поскольку Мокк рассказывал, что намерен раскрасить статую. Фигура стояла посреди космического беспорядка мастерской, до ужаса натуралистическая, но вполне реальная и в натуральную величину. Она была сделана в гипсе, раскрашена в телесный цвет, как пояснил мне Мокк. Нагая и в однозначно двусмысленной позе. Я долго разглядывал статую, восхищенный тем, что Мокк умеет и так и эдак. Вообще-то он был мастер намеков; работая под открытым небом, он несколькими ударами высекал из своих порой многотонных глыб именно то, что ему нужно. Возникал глаз, рот, иногда грудь, иногда лоно, а остальное он мог и не доделывать, фантазия зрителя сама создавала то голову циклопа, то зверя, то женщину. Даже лепя свои модели, он довольствовался лишь самым необходимым. Лепить нужно так, как делают наброски, говорил он. Тем удивительней показалась мне его манера теперь. Гипс словно дышал, прежде всего потому, что был мастерски раскрашен. Я отступил, потом снова подошел поближе. Для волос на голове и на лобке он, должно быть, использовал человеческие волосы, чтобы сделать тем полнее иллюзию, но статуя отнюдь не походила на куклу. Она излучала удивительную пластичность. И вдруг она шевельнулась, сошла с пьедестала, проследовала, не удостоив меня ни единым взглядом, в заднюю часть мастерской, отыскала там полбутылки виски и отхлебнула. Она была не из гипса. Мокк меня обманул. Это была настоящая Моника Штайерман.

— Вы уже четвертый, кто попался на эту удочку,— сказал Мокк,— но лицо у вас было самое глупое из всех четверых. И в искусстве вы тоже ничего не смыслите.

Я ушел. Настоящую статую из раскрашенного гипса, которая, как сказывается, стояла в другом конце ателье, на другой день забрали. За ней приехал уполномоченный барона фон Людевиц, то есть дяди Моники, который осуществлял управление Вспомогательными мастерскими АО Трёг.

Моника Штайерман I. Чем дальше заходит мой отчет, тем тяжелее дается мне повествование. Не только сам отчет делается все затруднительнее, но и моя роль в нем — все двусмысленней, я не могу больше сказать, действовал я самостоятельно, или кто-то приводил меня в действие, или кто-то действовал мною как инструментом. А главное, я все больше сомневаюсь в том, что Линхард по чистой случайности ввел в игру Монику Штайерман. С торговцем мебелью мне крупно не повезло: он выдал за антиквариат шкафы, изготовленные в Гагернекке и снабженные сертификатом о подлинности за подписью некоего, им же выдуманного римского эксперта, что ускользнуло от моих глаз, но отнюдь не ускользнуло от глаз Уныллера. Покамест мне по-прежнему предстояла поездка в Каракас, но во время моих к ней приготовлений Ильза Фройде доложила о приходе Фантера — это то

же один из людей Линхарда. К моему великому удивлению, толстый Фантер, куря сигару, заявился в форме городской полиции, в которой он прослужил двадцать лет.

— Вы спятили, Фантер, в каком виде вы ходите!

— Ничего, господин Шпет, это нам пригодится,— вздохнул он.— Это пригодится. Нам позвонила Моника Штайерман, ей нужен адвокат.

— Зачем? — спросил я.

— Ее избивают.

— Кто?

— Доктор Бенно,— ответил Фантер.

— За что?

— Она застукала его в постели с другой.

— Значит, она и должна бы его избить. Смешно. Вы не находите? А почему именно я ей понадобился?

— Потому что Линхард не адвокат,— ответил Фантер.

— А где она сейчас?

— Само собой, при докторе Бенно.

— Фантер, старина, давайте без подробностей. Где сейчас Бенно?

— Это вы сами требуете подробностей,— возразил Фантер.— Бенно избивает Монику в «Брайтингерхофе». Принц Куксхафенский тоже там.

— Гонщик, что ли?

— Он самый.

Я позвонил в «Брайтингерхоф» и попросил к телефону доктора Бенно. Трубку взял директор Педроли:

— Кто просит доктора Бенно?

— Шпет, адвокат.

— Он все еще бьет Монику Штайерман,— засмеялся Педроли.— Подойдите к окну, сами услышите.

— Я нахожусь на Цельтвеге.

— Не имеет значения. Слышно на весь город,— пояснил Педроли.— Гости в панике бегут из моего отеля с пятью звездочками.

Мой «порш» стоял на Шпрехерштрассе. Фантер сел рядом, и мы поехали.

— По Хегибахштрассе,— сказал Фантер.

— Это же крюк,— усомнился я.

— Плевать. Штайерманша потерпит.

Неподалеку от Клусштрассе перед знаком «стоп» Фантер вылез.

— На обратном пути проезжайте здесь,— сказал он.

Конец октября. Красные и желтые деревья. На дорогах листва. Перед «Брайтингерхофом» меня уже поджидала Моника Штайерман. На ней не было ничего, кроме черной мужской пижамы без одного рукава, без левого. Высокая. Рыжеволосая. Наглая. Красивая. Замерзшая. Левый глаз у нее затек огромным синяком. Губы разбиты до крови. Обнаженная рука исцарапана. Она помахала мне, далеко выплевывая кровь. В подъезде отеля бушевал Бенно, тоже весь в кровоподтеках и царапинах, а два носильщика удерживали его, и во всех окнах отеля виднелись лица. Вокруг Моники стояла толпа зевак, любопытствующих, ухмыляющихся, полицейский управлял движением. В белом спортивном автомобильчике мрачно сидел молодой белокурый человек, очевидно Куксхафен, юный Зигфрид, явно готовый к старту. Из отеля выкатился директор Педроли, маленький такой живчик, и накинул на плечи Штайерман меховую шубку, наверняка очень дорогую, я ничего не смыслю в мехах.

— Вы замерзнете, Моника, вы замерзнете.

— Терпеть не могу меха, ты, говнюк,— выкрикнула Моника и набросила шубку ему на голову.

Я притормозил возле нее.

— Меня прислал Линхард,— сказал я,— я Шпет, адвокат Шпет.

Она не без труда влезла в мой «порш».

— Ни одной косточки нет целой,— констатировал я.

Она кивнула. После чего глянула на меня. Я, собственно, хотел включить зажигание, но под ее взглядом растерялся.

— Мы с вами никогда не встречались? — спросила она, с трудом разлепляя губы.

— Нет,— соврал я и включил зажигание.

— За нами едет Куксхафен,— сказала она.

— Ну и пусть.

— Он гонщик.

— «Формула1».

— От него не оторвешься.

— Да еще как оторвешься. Куда?

— К Линхарду, в его квартиру.

— А Куксхафен знает, где живет Линхард?

— Он даже не знает, что на свете есть Линхард.

Перед знаком «стоп» на Хегибахштрассе я, как и положено, притормозил. На тротуаре стоял Фантер в своей форме, он подошел ко мне, потребовал предъявить документы, я повиновался, он проверил их, любезно кивнул, потом обратился к Куксхафену, который тоже был вынужден остановиться, чтобы тщательнейшим образом проверить и его документы. Затем он обошел машину Куксхафена, медленно, обстоятельно, снова и снова заглядывая в документы. Куксхафен чертыхался, как я заметил в зеркало заднего вида. Еще я успел заметить, как ему велено было выйти, как Фантер извлек свою записную книжечку, а потом я поехал по Клусштрассе в сторону озера, через Хёэнвег свернул в Биберлинштрассе и оттуда к Адлисбергу. Осторожности ради я сделал еще несколько ненужных поворотов, после чего поехали по Катценшванцштрассе к бунгало Линхарда.

Я остановил машину перед садовой калиткой. Соседнее шале, по всей вероятности, принадлежало Уныллеру. Я читал, что сегодня ему исполнилось шестьдесят, отсюда — такое обилие машин на обычно пустынной улице. Уныллер давал банкет в саду. Только что подъехал Штюсси-Лойпин. Моника в своей черной пижаме, чертыхаясь, трюхала за мной вверх по крутой лестнице. Штюсси-Лойпин вылез из машины и с любопытством глядел нам вслед, явно забавляясь. Лицо Уныллера с видом полнейшего неодобрения выглянуло поверх живой изгороди.

— Вот,— сказала Моника Штайерман и дала мне ключ.

Я отпер дверь дома, пропустил ее вперед. Переступив порог, человек сразу попадал в гостиную. Вполне современное помещение со старинной мебелью. Через открытую дверь виднелась спальня с комфортабельной кроватью. Моника села на диван и взглянула на подлинного Пикассо над старинным сундуком.

— Он меня рисовал.

— В курсе,— ответил я.

Она насмешливо взглянула на меня.

— Я вспомнила, откуда вас знаю,— сказала она.—От Мокка. Я изображала перед вами статую.

— Вполне возможно.

— Вы еще тогда до смерти напугались,— продолжала она, после чего спросила: — Неужели я настолько вам не понравилась, что вы меня даже забыли?

— Понравились, понравились,— признал я,— еще бы не понравиться.

— Значит, вы все-таки меня не забыли.

— Не совсем,— признал я.

Она засмеялась.

— Ну, раз уж вы все равно вспомнили...

Она встала, сбросила пижаму и стояла передо мной в чем мать родила, наглая и соблазнительная, нимало не заботясь о том, как хорошо видно, до чего ее изуродовал Бенно. Далее она подошла к большому окну, из которого можно было заглянуть на участок к Уныллеру. Там собрались гости, и все таращились на нее, Уныллер с биноклем, рядом Штюсси-Лойпин, он помахал рукой. Моника приняла позу той статуи, которую сделал Мокк, Штюсси-Лойпин зааплодировал. Уныллер погрозил кулаком.

— Спасибо, что вызволили меня,— сказала Штайерман, все еще сохраняя ту позу, в которой ее созерцали ее созерцатели, и тем самым — спиной ко мне.

— Чистая случайность,— ответил я.— По заданию Линхарда.

— Меня бьют все кому не лень,— задумчиво сказала она.— Сперва Бенно, потом Куксхафен. И другие меня тоже всегда били.— Она снова повернулась ко мне.

— Это как-то примиряет с вами,— сказал я.— А теперь у вас заплыл и правый глаз.

— Ну и что?

— Добыть вам мокрую тряпку?

— Ерунда какая. Но в шкафу вы можете найти коньяк и рюмки.

Я открыл старый энгадинский шкаф, нашел требуемое, разлил по рюмкам.

— Вы, верно, часто здесь бывали? — спросил я.

— Бывала иногда. Наверно, я настоящая проститутка,— констатировала она с горечью и чуть растерянно, хотя и великодушно.

Я засмеялся.

— С настоящими лучше обращаются.

Она выпила свою рюмку, потом сказала:

— Пойду-ка я приму горячую ванну.

И заковыляла в спальню. Исчезла. Я слышал, как льется в ванну вода, слышал проклятия. Потом она вернулась, потребовала еще рюмочку.

Я налил.

— А это вам не повредит?

— Вздор. Я пью как лошадь.

И она заковыляла назад.

Когда я вошел к ней, она лежала в ванне и намыливалась.

— Ну и щиплет,— пожаловалась она.

Я сел на край ванны. Она нахмурилась.

— Вы знаете, что я хочу сейчас сделать? — спросила она и, поскольку я не ответил, продолжала: — Конец. Пора завязывать.

Я никак не реагировал.

— Я не Моника Штайерман,— равнодушно сказала она.

Я с удивлением на нее воззрился.

— Я не Моника Штайерман,— повторила она и дальше, уже вполне спокойно: — Я только веду жизнь Моники Штайерман, а на самом деле мой отец был профессор Винтер.

Молчание. Я не знал, что и думать.

— А ваша мать? — спросил я и, еще не договорив, знал, что задаю дурацкий вопрос. Ну какое мне дело до ее матери?

Впрочем, она приняла мой вопрос вполне спокойно.

— Учительница,— отвечала она,— в Эмментале. Винтер ее бросил. Он всегда бросал всех учительниц.

Она констатировала это вполне беззлобно.

— Меня зовут Дафна. Дафна Мюллер.— Она вдруг засмеялась.— Нормальный человек не должен так называться.

— Но если вы не Моника Штайерман, кто же тогда Моника Штайерман? — растерялся я.— Она вообще-то существует?

— Спросите у Людевица.

Потом она вдруг начала огрызаться.

— Что это, допрос? — спросила она.

— Вы требовали адвоката. Я и есть адвокат.

— Когда вы мне понадобитесь, я вас извещу,— задумчиво ответила она с неожиданной для меня враждебностью в голосе.

Появился Линхард. Я не слышал, как он вошел. Просто он вдруг возник перед нами и набил одну из своих данхиллок.

— Вы довольны, Шпет? — спросил он.

— Не знаю,— ответил я.

— А ты, Дафна?

— Так себе.

— Я принес тебе кой-какую одежду.

— У меня ведь есть пижама Бенно.

За окном взвыла сирена «скорой помощи».

— Наверно, опять сердечный приступ у нашего Уныллера,— холодно пояснил Линхард.— Я вручил ему шестьдесят роз.

— Да еще он меня видел в голом виде,— засмеялась она.

— Ну, с тобой это часто бывает.

— Послушайте, Линхард, а откуда вы, собственно, знали, кто такая Дафна? — спросил я.

— Да так, узнал. Случайно,— отвечал он и закурил.— Эй, фройляйн Мюллер, куда мне тебя доставить?

— В Аскону.

— Я тебя отвезу

— Какой старательный,— похвалила она.

— Все будет поставлено в счет,— сказал Линхард.— А платит вот он.— И Линхард указал на меня.— Он разжился здесь бесценной информацией.

— У меня тоже есть для него поручение,— сказала Дафна.

— Какое?

Не до конца заплывший глаз Дафны ярко блеснул, левой рукой она пригладила свои красные, как киноварь, волосы.

— Пусть он передаст настоящей Монике Штайерман, этой паскудной лесбиянке, что я больше не желаю ее видеть. Если это скажет адвокат, получится более официально.

Линхард рассмеялся.

— Девочка, ты даже представить себе не можешь, какой выйдет скандал.

— Ну и плевать,— сказала она.

Данхиллка Линхарда никак не раскуривалась в парах ванной. Он еще раз зажег ее.

— Шпет,— сказал он,— мой вам совет: не впутывайтесь вы в это дело.

— Вы меня сами впутали,— отвечал я.

— Тоже верно.— засмеялся Линхард и потом, обратясь к Дафне: — Ладно, вылезай.

— Экий вы стали говорун,— сказал я и вышел.

Потом с Цельтвега я позвонил Людевицу. Тот рвал и метал. Но я уже слишком много знал. И он сник. Таким образом состоялся мой визит к настоящей Монике Штайерман.

Вторая речь, адресованная прокурору. Чем больше я пишу, тем менее правдоподобным выглядит мой отчет. Я предпринимаю творческие усилия, я даже пробую себя в лирике, я рассказываю о погоде, стараюсь быть предельно точным в смысле географии, сверяюсь с планом города, и все это лишь по той причине, господин прокурор Иоахим Фойзер (вы уж простите, что покойник, лежащий в мертвецкой, снова обращается лично к вам), что вы весьма цените

литературу, в частности поэзию, и вообще, считаете себя человеком с художественными задатками, о чем любите упоминать кстати и некстати, даже перед судом присяжных, и, следовательно, можете просто забросить в угол мою рукопись, если она будет лишена литературных завитушек. И тем не менее мой опус — не более как набор литературных штампов. Несмотря на поэзию. Очень жаль. Я сам себе вижусь сочинителем бульварного романа, где я — фанатический поборник справедливости, Линхард — цюрихский Шерлок Холмс, а Дафна Мюллер — Мессалина Золотого берега, как принято именовать правый берег нашего озера. Даже статуя с упругой грудью и в непристойной позе — которую я так и не заметил у Мокка, поскольку залюбовался живой Дафной, приняв ее за статую,— даже это чувственное изображение женщины из раскрашенного гипса (о живой статуе я уже и не говорю) куда ярче сохранилось у меня в памяти, чем девушка, которая сейчас возникнет на страницах моего отчета. Разумеется, само по себе не имеет значения, спала она с Линхардом или нет, и если да, то часто ли это случалось,— с кем она в конце концов не спала? — но для моего отчета важны внутренние мотивы и явления, важно, как в нашем запутанном мире происходит то либо иное событие и почему оно происходит. И вот, если внешне все совпадает, внутренние причины можно пусть и не вычислить с полной уверенностью, но по меньшей мере угадать, если же внешние обстоятельства не соответствуют действительности, например, кто-то с кем-то переспал, а в отчете это не указано, или наоборот, в отчете указано, а на самом деле ничего не было, рассказчик повисает в пустоте, в сфере неопределенного. Вот так же и здесь. Каким путем Линхард проник в тайну Лжемоники? Может, потому, что спал с ней? Но тогда в эту тайну проникли бы многие. Может, потому, что она его любила? Но тогда бы она ему ничего не сказала. Может, она боялась? Не исключено. Теперь взять Бенно. Хотел ли Линхард с самого начала направить подозрения на него? Была ли Дафна тому причиной? Я задаю эти вопросы, потому что на меня возлагают вину за смерть Дафны. Не надо было мне ходить к настоящей Монике. Но ведь сама Дафна меня об этом просила. Мне полагалось исследовать одну из возможностей. Коль скоро я принял поручение и получил аванс в пятнадцать тысяч франков, пусть даже я был тогда твердо убежден в невозможности этой возможности и сохраняю свое убеждение до сих пор. Ибо в том, что именно доктор г. к. Исаак Колер убил Винтера, нет ни малейших сомнений. Что Винтера мог убить и кто-нибудь другой, это всего лишь допущение, которое ничего не значит, а если в поисках данной возможности открываются не замеченные ранее факты, это объясняется самим характером допущения, будто убийца — не Колер, допущение, на которое мне пришлось пойти ради моих дальнейших изысканий. Впрочем, мое дело — писать правду и придерживаться правды, хотя, вообще-то говоря, чего стоит правда, скрытая другой правдой? Передо мной — куча предположений, я шарю вслепую. Что соответствует действительности? Что преувеличено? Что фальсифицировано? Что замалчивают? Что я должен подвергнуть сомнению? Что принять на веру? Да есть ли вообще хоть что-нибудь правдивое, надежное, верное за всеми этими событиями, за всеми этими колерами, штайерманами, штюсси-лойпинами, линхардами, еленами, бенно и т. д., которые пересекли мой путь, что-нибудь правдивое, надежное, верное за нашим городом, за нашей страной? Не правильнее ли будет предположить, что все невозвратимо заключено в футляр, безнадежно отторгнуто от законов и причин, дарующих жизнь и придающих размах остальному миру? А все, что здесь живет, любится, жрет, ловчит, мелочится, обдєлывает делишки, плодится дальше, организуется, не является ли оно захолустным, усредненно среднеевропейским, провинциальным и не-

реальным? Что мы еще собой представляем? Что воплощаем? Осталась ли хоть крупица смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе? Впрочем, может быть, ответ на вопросы, которыми я задаюсь, притаился везде, позади всех и вся, может, он нежданно-негаданно проявит себя, вырвется из любой мыслимой ситуации, будто из засады? И ответ этот будет приговором нам всем, а правда — приведением его в исполнение. Верую. Истово и страстно. Мне хочется сберечь последние остатки человечности не на благо тому изысканному обществу, в котором я прозябаю, не на пользу тем отвратительным реликтам, которые обступили меня со всех сторон, а во имя справедливости, ради которой я действую и обязан действовать. Патетически, торжественно, возвышенно, святая серьезность в сопровождении органа — вот что у меня получается, но я не стану вычеркивать и не буду исправлять, к чему исправления, на черта мне стиль, не литературные амбиции водят моей рукой, а намерение совершить убийство, между прочим, господин прокурор, я не пьян, вы ошибаетесь, ни капельки не пьян, а трезв, я полон ледяной трезвости, смертельной. Вот почему у меня нет иного выхода (ваше здоровье, господин прокурор!), кроме как пьянствовать, распутничать, писать отчет, сообщать о своих сомнениях, расставлять свои вопросительные знаки и ждать, ждать, покуда откроется правда, покуда жестокая богиня сбросит покрывало (господи, до чего ж литературно, прямо наизнанку выворачивает). Но на этих страницах правда не откроется, она не есть формула, которую можно записать, она лежит за пределами любого языкового усилия, вне любого сочинительства, лишь в наступлении суда, в этом вечном самоосуществлении справедливости правда становится реальной и ее можно ощутить. Правда явится тогда, когда однажды я буду стоять перед доктором г.к. Исааком Колером, лицом к лицу, когда я осуществлю акт справедливости и приведу в исполнение приговор. Тогда на один миг, на одно биение сердца, на одну молниеносную вечность, на хлесткую секунду выстрела правда вспыхнет ярким светом, та самая правда, которая теперь в ходе моих раздумий ускользает от меня, которая представляется теперь всего лишь причудливой, злой сказкой. Так примерно видится мне и мой визит к «настоящей» Монике Штайерман: больше наваждение, чем действительность, больше легенда, чем реальный факт.

Моника Штайерман II. Вилла «Монрепо» расположена на краю города, в таком громадном, таком запущенном парке, что само здание вот уже много лет почти скрыто из глаз и только зимою можно иногда, с трудом угадать сквозь одичалое сплетение старых деревьев на фоне Вагнербюля какие-то стены и фронтон. О приемах в «Монрепо» помнят лишь немногие. Уже отец и дедушка «настоящей» Моники справляли праздники и юбилеи в своих загородных поместьях на Цугском и Женевском озерах, а в город наезжали, только чтобы работать (их еще можно было назвать чернорабочими промышленности), приемы же устраивались на природе, тогда как дамы, наезжая в город, селились когда в «Дольдере», когда в «Baur au Lac», когда в этом самом «Брайтингерхофе». «Монрепо» мало-помалу становился легендой, особенно после того, как однажды утром трое грабителей, приехавших из Западной Германии, были обнаружены перед парковым порталом избитыми до полусмерти; полиция случившееся никак не прокомментировала. К делу явно подключился Людевиц. Казалось, кроме Дафны, которую все принимали за Монику Штайерман, в доме никто не живет, всевозможным поставщикам надлежало сгружать свой товар в пустой гараж возле того же портала, впрочем, количество сгружаемых продуктов было весьма

значительно. Сама Дафна никого на виллу не приглашала, у нее была еще квартира на Аураштрассе. Я пропустил две рюмки «тройпеля», прежде чем отправиться на Вагнерштуцвег. Резкая перемена погоды через некоторое время завершилась очередной резкой переменой, озеро походило на ручей, до того близко оказался вдруг противоположный берег. Четыре часа пополудни. Перед порталом я притормозил и поставил машину двумя колесами на тротуар. Ворота были не заперты, я вошел в парк неуверенной походкой. Все еще под воздействием тех двух рюмок. Усыпанная гравием дорожка вела наверх, там и сям на ней встречались деревянные ступеньки, но подъем был не крутой, как я ожидал, не случайно же «Stutz» означает крутизну. Парк был неухоженный, дорожки невыполотые. Фонтаны заросли мохом, между фонтанами — непроходимые дебри, и повсюду — немыслимое количество садовых гномов. Стояли они не поодиночке, а группами, семействами, белобородые, розовые, улыбающиеся идиоты, некоторые даже сидели на деревьях, словно птицы, прикрепленные к веткам, дальше гномы пошли крупнее, мрачные, я бы даже сказал — злобные, попадались и гномы женского пола, они были побольше гномов-мужчин, жутковатые гномши, карлицы с огромными головами. Мне чудилось, будто они преследуют меня, берут в кольцо, я шагал все быстрей, покуда, круто повернув за могучий старый ясень, я вдруг не угодил в чьи-то железные объятия, ощущение было такое, словно меня швырнули на стену, причем я не мог толком понять, кто принял меня на свою грудь, кто развернул в другую сторону, скорей всего это был телохранитель, и уже после этого остаток пути меня не столько вели, сколько несли. В дверях стоял второй телохранитель, до того крупногабаритный, что, казалось, заполнял собой весь дверной проем, он принял меня из рук в руки и затолкнул внутрь виллы, сперва через вестибюль, потом через залу с потрескивающим камином, там, по-моему, горело целое дерево, и, наконец, в салон или, если угодно, не в салон, а в кабинет. Здесь меня бросили в кожаное кресло, и я растерянно огляделся по сторонам. Плечи болели, спина тоже. Оба телохранителя сидели против меня в массивных креслах. Они были наголо обриты. Лица словно из обожженной глины. Глаза раскосые, скулы как кулаки. Очень продуманно одеты: темно-синие костюмы из натурального шелка, словно на дворе стоит середина лета, белые, шелковые же галстуки, но ботинки как у штангистов. Они выглядели колоссами, хотя на деле были не так уж и велики ростом. Я кивнул им. Никакого выражения на лицах. Я оглянулся. На обшитых деревом стенах были развешаны и приклеены фотографии в таких количествах, что казалось, будто вся стена покрыта фотообоями, и с тем странным испугом, который сопровождает каждое озарение, я вдруг понял, что все снимки сделаны с одной и той же особы, а именно с доктора Бенно, потом лишь я углядел у стены, что напротив зарешеченных окон, в нише, малопристойный шедевр Мокка, нагую Лже-Монику, Дафну, только на сей раз отлитую в бронзе, она поднимала руками свои груди, словно гири, и как раз в ту минуту, когда я заметил ее, отворилась двустворчатая дверь в противоположной стене, и третий бритоголовый телохранитель, более мощный и более шелковый, чем те двое в кожаных креслах, внес на руках сморщенное, скрюченное существо ростом с четырехлетнего ребенка. На тщедушном уродливом тельце было нелепое черное платье с глубоким вырезом, украшенное сверкающим сапфиром.

— Я Моника Штайерман,— заявило существо.

Я встал.

— Шпет, адвокат.

— Так-так, адвокат, значит,— заявило крохотное существо с огромной головой. Всего ужасней был голос. Словно из уродливого

тельца говорил другой человек. Говорила женщина.— Ну, и что же вам от меня надо?

Телохранитель, державший карлицу на руках, не шелохнулся.

— Моника...

— Госпожа Штайерман,— поправила меня карлица и одернула свое платье.— От Диора. Элегантно, не правда ли? — В ее голосе звучало спокойное, насмешливое превосходство.

— Госпожа Штайерман! Дафна больше не хочет к вам возвращаться.

— И вы должны мне это передать? — спросила карлица.

— Да, я должен вам это передать,— подтвердил я.

Трудно было угадать, как она восприняла мои слова.

— Виски? — спросила она.

— С удовольствием.

Хотя она не подала никакого знака, двустворчатая дверь за моей спиной отворилась, и четвертый бритоголовый телохранитель внес шотландское виски и лед.

— Чистый? — спросила она.

— Со льдом.

Четвертый налил, но не ушел. Два первых тоже поднялись с мест.

— Скажите, адвокат, как вам нравятся мои слуги? — спросила карлица, и тот, который держал ее на руках, поднес стакан к ее губам.

— Очень представительные! Я думал, что это ваши телохранители.

— Представительные, но тупые,— отвечала она.— Узбеки. Русские подобрали их где-то в Центральной Азии и направили в Красную Армию, а оттуда они попали в плен к немцам, и поскольку нацистские антропологи не сумели прийти к единому мнению насчет их расовой принадлежности, им сохранили жизнь. Мой отец купил их в Институте расовых проблем. Тогда они шли задешево. Как ни к чему не пригодные отбросы человечества. Я называю их узбеками, потому что мне нравится это слово. А гномов в саду вы видели, адвокат?

Струйки пота бежали у меня по лицу. Здесь было слишком натоплено.

— Целое войско, госпожа Штайерман.

— Я иногда становлюсь посреди гномш, и ни один человек меня не замечает, даже если я двигаюсь. Ваше здоровье!

«Узбек», который держал Монику, снова поднес стакан к ее губам. Она выпила.

— Ваше здоровье, госпожа Штайерман,— сказал я и тоже выпил.

— Сядьте-ка, адвокат Шпет,— скомандовала она.

Я сел в кожаное кресло.

«Узбек» остановился передо мной, не спуская карлицу с рук.

— Значит, Дафна не хочет ко мне возвращаться,— сказала она,— так я и знала, что настанет день, когда она больше не вернется ко мне.— Поникла огромная, почти безволосая голова, в больших глазах на маленьком морщинистом личике заблестели слезы.

Прежде чем я успел промолвить хоть слово, «узбек» пересадил карлицу ко мне на руки, сунул мне ее виски, с тремя остальными бросился на колени перед окном, и все они дружно ударились лбами об пол, вскинув кверху могучие зады. Карлица судорожно вцепилась в меня. Со стаканами в обеих руках я чувствовал себя очень беспомощно.

— Это они опять молятся. По пять раз на дню. А меня чаще всего сажают на шкаф,— сказала она, после чего скомандовала: — Виски!

Я поднес стакан к ее губам.

— Правда, Хайнц-Олимпиец у нас раскрасавчик? — спросила она без всякого перехода и лишь тогда выпила залпом свое виски.

— Ну еще бы,— ответил я и поставил пустой бокал возле кресла на ковер. При этом госпожа Штайерман чуть не свалилась у меня с колен.

— Вздор,— сказала она глубоким голосом, полным презрения к себе самой.— Бенно — опустившийся, вульгарный кобель, в которого я втрескалась. Я всегда влюбляюсь в таких вульгарных мужиков, потому что в них влюбляется Дафна.

Я ощущал сидевшую у меня на руках женщину как крохотный скелетик.

— Я дала Дафне свое имя, чтобы она вела ту жизнь, которую я хотела бы вести сама, и она вела ее,— продолжала карлица.— На ее месте я бы тоже спала со всеми подряд. А вы с ней спали? — вдруг спросила она ледяным голосом.

— Нет, госпожа Штайерман.

— Хватит молиться,— скомандовала она.

«Узбеки» поднялись с колен. Тот, что принес карлицу, снова взял ее на руки. Я тоже невольно привстал, по-прежнему держа стакан виски со льдом. Поручение, данное мне, я выполнил и теперь хотел откланяться.

— Сядьте, адвокат,— скомандовала она.

Я повиновался. Сидя на руках у «узбека», она смотрела на меня сверху вниз. Теперь в ее глазах появилось что-то угрожающее. Приговоренная к маленькому, уродливому тельцу, она могла выражать себя только глазами и голосом.

— Нож,— сказала она.

Один из «узбеков» открыл нож и протянул ей.

— К фотографиям,— сказала она.

«Узбек» поднес ее к стене, и она начала спокойно, будто делала операцию, резать доктора Бенно, когда он смеется, резать доктора Бенно, когда он ест, резать доктора Бенно, когда он сидит, когда он сияет, когда он пьет, она разрезала доктора Бенно во фраке и доктора Бенно в смокинге, в костюме от портного, в костюме для верховой езды, разрезала, разрезала, разрезала доктора Бенно, одетого маскарадным пиратом, в плавках, без плавок, разрезала доктора Бенно в фехтовальной позиции на олимпийском турнире, разрезала доктора Бенно в теннисном костюме, доктора Бенно в пижаме, доктора Бенно, доктора Бенно, мы отступали, давая дорогу, «узбеки» взяли меня в кольцо, а тот, что держал ее на руках, описывал круги в адской жаре кабинета, пол которого мало-помалу был весь усеян обрезками фотографий. Когда они были изрезаны, все до одной, мы заняли прежние места, словно ничего не произошло. Карлицу опять сунули мне на руки, и я сидел, будто отец ребенка-уродца.

— Это мне пошло на пользу,— спокойно сказала она.— А теперь пусть Дафна падает. Уж я позабочусь, чтоб она стала тем, чем была когда-то.

Карлица, сидевшая у меня на коленях, повернула голову и снизу вверх глянула на меня, и все же мне казалось, будто карлик я, а не она.

— Кланяйтесь от меня старику Колеру,— сказала она,— он часто здесь бывал, и когда я на него злилась за то, что он все хотел сделать по-своему, я карабкалась на книжные полки и швыряла в него книгами. Но он всегда умел настоять на своем. Он и сейчас ведет мои дела. Из тюрьмы. В том, что я вместо оптики и электроники перешла к производству противотанкового оружия и зенитных пушек, мортир и гаубиц, его заслуга. Думаете, Людевиц к этому способен, не говоря уже обо мне? Вы только взгляните на меня.

Карлица помолчала.

— У меня в голове одни мужики,— сказала она потом, и та насмешка, то презрение, которое испытывало это уродливое существо к себе самому, отчетливо зазвучали в ее голосе.— Унесите,— приказала она.

«Узбек» снова взял ее на руки.

— Адье, адвокат Шпет,— сказала она, и снова в ее голосе послышалось спокойное, насмешливое превосходство. Распахнулась двустворчатая дверь, и «узбек» вынес Монику Штайерман. Дверь снова затворилась. Я остался наедине с теми двумя, что меня сюда доставили. Они вплотную подступили к моему кожаному креслу. Один взял стакан у меня из рук, я хотел встать, но другой придавил меня к сиденью, потом мне плеснули из стакана в лицо, лед уже растаял. Оба рванули меня кверху, вынесли из кабинета, пронесли через вестибюль из дверей, вниз по парку, мимо гномов, распахнули ворота и швырнули меня к моему «паршу». Пожилая супружеская чета, прогуливавшаяся по тротуару, с удивлением воззрилась сперва на меня, потом на обоих «узбеков», которые тотчас исчезли в парке.

— Иностранные рабочие,— сказал я и взял штрафной талон, засунутый полицейским под «дворник». Нельзя было ставить машину перед воротами.

Отчет по поводу одного отчета по поводу отчетов. Три дня спустя после моего визита к Монике Штайерман в нашей всемирно известной городской газете было опубликовано принадлежащее перу национального советника Эшисбургера, поверенного в делах Вспомогательных мастерских АО Трёг, коммюнике следующего содержания: особа, которую десять лет назад некий пансион с Лазурного берега натравил на наше бедное общество и которая непрерывно будоражила город своими скандалами, вовсе не Моника Штайерман, за которую она себя выдавала, пользуясь благосклонным разрешением физически немощной наследницы Вспомогательных мастерских АО Трёг, а родившаяся 9.9.1930 Дафна Мюллер, внебрачная дочь Эрнестины Мюллер, учительницы в Шангнау (кантон Берн), скончавшейся 2.12.1942, и убитого 25.3.1955 года Адольфа Винтера, экстраординарного профессора местного университета. Эта бесцеремонная информация, вполне соответствовавшая характеру национального советника, вызвала именно тот скандал, на который и рассчитывал Эшисбургер. Печать, прежде более чем снисходительная, стала более чем беспощадной, даже драка в «Брайтингерхоф» была изображена наиподробнейшим образом. Педроли, к слову, сообщил, что Бенно уже три месяца не платит за стол и проживание, он, Педроли, питал надежду, что за все заплатит Моника Штайерман, а теперь выходит, что Моника вовсе и не Моника, однако и Дафна и Бенно бесследно исчезли, и толпа ринулась на меня, благо Эшисбургер дал понять, что я побывал у настоящей Моники Штайерман. Ильза Фройде отбивалась, как тигрица, однако некоторым репортерам удалось ко мне прорваться, я прятался за неопределенными, расплывчатыми оговорками, переадресовывал их к Линхарду, по неосторожности помянул Куксхафера, о котором умолчал Педроли, банда ринулась в Реймс, но малость опоздала: при испытательной поездке на новом «мазерати» произошел взрыв, и принц вместе с машиной разлетелся на составные части, тогда репортеры, снова вернувшиеся в наш город, подвергли осаде «Монрепо», целые колонны машин столпились на Вагнерштуц, в парк никто допущен не был, не говоря уже о вилле, один сорвиголова, который под покровом ночи, оснащенный всевозможной техникой, перелез через ограду, обнаружил себя поутру в луже перед воротами без одежды и без оптики, причем он даже не мог бы толком сказать, что с ним произошло: за одну ночь рух-

нула и надежда на коммюнике и на теплую погоду, ветер сорвал с деревьев ржаво-красные и желтые цвета, шагать теперь приходилось по веткам и листве, а там нагрянул дождь, а за дождем — снег, а за снегом — снова дождь, улицы города покрыло грязное месиво, и в этом месиве, дрожа от холода, стоял репортер. Но скандал не только взбудоражил прессу, он разжег фантазию. По городу циркулировали самые нелепые слухи, на которые я слишком долго не обращал внимания. Меня больше занимало мое собственное положение. Клиенты начали один за другим покидать меня, поездка в Каракас рухнула, выгодный бракоразводный процесс мне не достался, налоговому управлению я не внушил доверия. Перспективное начало на поверку оказалось бесперспективным, аванс Колера весь разошелся, я напоминал себе марафонского бегуна, который взял с места, как спринтер; теперь передо мной расстилалась бесконечная дистанция, отделявшая меня от доходной адвокатской практики. Ильза Фройде начала себе подыскивать новое место. Я решил потребовать ее к ответу.

Она сидела в приемной за письменной машинкой, поставив на клавиатуру зеркальце, и красила себе губы в карминно-красный цвет. Ее волосы, еще вчера соломенно-желтые, сегодня стали иссиня-черными, так что даже отливали зеленью. Было пять минут шестого.

— Вы за мной шпионите, господин адвокат! — возмутилась Ильза, продолжая наводить марафет.

— Кто ж виноват, что вы так громко беседуете по телефону по поводу нового места,— оборонялся я.

— Каждый человек имеет право зондировать почву,— сказала она, покончив с раскраской.— Но не тревожьтесь, сейчас, когда вас ждет такая огромная работа, я вас не покину.

— Какая еще огромная работа? — искренне удивился я.

Сперва Ильза вообще не отвечала, она водрузила на стол битком набитую сумку и небрежно забросила туда зеркальце и губную помаду.

— Господин доктор,— начала она,— хотя вы и выглядите очень безобидно, для адвоката у вас слишком добродушный вид, адвокаты должны выглядеть по-другому. Я их знаю, они либо всем своим видом внушают доверие, либо похожи на людей искусства, как пианисты, только без фрака, но вы, господин доктор...

— Вы к чему клоните? — нетерпеливо перебил я.

— Я клоню к тому, господин доктор, что вы пройдоха, каких свет не видал. Вы не похожи на адвоката, но вы адвокат. И еще вы хотите вызволить из тюрьмы ни в чем не повинного кантонального советника.

— Ильза! Что это за бред?

— А зачем вы тогда приняли от кантонального советника Колера чек на пятнадцать тысяч франков?

Я онемел.

— Вам-то это откуда известно? — рявкнул я.

— Ну, мне же приходится время от времени наводить порядок на вашем письменном столе,— зашипела она в ответ,— там же такой хаос. А вы еще на меня кричите.

Она промакнула глаза платочком.

— Но вы этого добьетесь. Вы вызволите нашего доброго советника Колера. И я вас не покину. Я обовьюсь вокруг вас как лиана. Мы вместе этого добьемся.

— Вы думаете, старик Колер ни в чем не виноват? — удивился я.

Ильза Фройде изящно поднялась, несмотря на свою респектабельную полноту, и повесила сумку на плечо.

— Это знает весь город,— ответствовала она.— И весь город знает, кто настоящий убийца.

— Вот это уже любопытно,— сказал я, и по спине у меня вдруг пробежал озноб.

— Доктор Бенно,— сказала Ильза.— Он был чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета. Об этом пишут все газеты.

Несколько позже я обедал в «Театральном». С Мокком. Мокк сам меня пригласил — поступок неслыханный для старого скупердяя. Я принял приглашение, хотя и знал, что Мокк приглашает лишь тогда, когда твердо рассчитывает на отказ. Но мне было любопытно узнать, справедливы ли слухи, что после убийства Винтера Мокк обычно сидит за его столом. Слухи оказались справедливы. К моему великому удивлению, Мокк радостно меня приветствовал, но не успел я занять место, как за наш стол подсел комендант, первый раз за все время нашего знакомства подсел к нам, выяснилось также, что нашу встречу устроил именно он, что он взял на себя расходы, и действительно, в конце он оплатил нашу трапезу. А Мокк сыграл всего лишь роль наживки. Комендант заказал суп с фрикадельками из печенки, филе а-ля Россини с помфри и бобами и, наконец, бутылку шамбертена, в память о Винтере, как он выразился, тот, правда, был невыносимый болтун, но едок хоть куда. На него было приятно смотреть, когда он ест. Я приналег. Мокк накладывал себе жаркое и пюре с сервировочного столика. В самой нашей трапезе было что-то зловещее. Мы ели в таком глубоком молчании, что Мокк напрасно положил слуховой аппарат рядом с тарелкой, дабы ничто не отвлекало его от еды. Потом комендант заказал шоколадный мусс, а я передал ему свой разговор с Ильзой Фройде.

— Вы даже представить себе не можете, Шпет, до чего прав этот уникум в юбке, который исполняет у вас обязанности секретарши. Слух родился в тюрьме. Директор и охранники в один голос клянутся, что Колер не может быть убийцей. Как старый жулик этого добился — понятия не имею. Но если одни уверуют в какую-нибудь бессмыслицу, через положенное время в нее уверуют и другие. Это все равно как снежная лавина. С горы летят все большие массы бессмысленной веры, а кончится тем, что люди из комиссии по расследованию убийства тоже в нее поверят. Вообще-то говоря, лично вас это никоим образом не касается, но лейтенанта Херрена подчиненные недолюбливают, и его команда просто ликовала бы, окажись арест Колера ошибкой, а что до прочих чинов полиции, то они завидуют комиссии, а если взять всю полицию в целом, то ее в свою очередь недолюбливают страдающие от комплекса неполноценности пожарные и служащие общественного транспорта. И вот уже лавину не удержать, она достигает широких слоев населения, а население и без того радуется каждой нашей промашке, моей — в особенности. Тем временем убийца, глядишь, и превратился в невинного агнца. Прибавьте к этому, что само убийство снискало широкую популярность, пришлось весьма на руку очень и очень многим, что правление гильдии и вообще близкое окружение Колера, все эти цеховые советники, национальные советники, правительственные советники, кантональные и городские и кто там еще повязан на этом деле, все эти генеральные директора и простые директора, боссы и шефы досадуют на активность Уныллера и на неуступчивость судей. Они не против осуждения как такового, но они рассчитывали на условный приговор либо на оправдание по причине психической недееспособности, из-за которой никто не считает политического деятеля и впрямь недееспособным. Словом, невиновность Колера пролила бы бальзам на великое множество ран.

Мокк отодвинул тарелку и засунул себе в ухо слуховой аппарат.

— Вы получили от Колера более чем странное задание, а теперь вот эти дурацкие пересуды, что Колер ни в чем не виноват и что настоящий убийца — шалопай Бенно. Только потому, что он был когда-то чемпионом по стрельбе, и это у нас в стране, где каждый

мнит себя таковым. Но какого черта этот дурень где-то скрывается? — сказал комендант и занялся своим муссом.— Вот что мне не нравится. Поручение Колера, слухи, будто он невиновен, и исчезновение Бенно как-то связаны между собой.

— Шпет угодил в ловушку,— сказал Мокк и начал рисовать грифелем на скатерти крысу, уже прихлопнутую мышеловкой, но не выпускающую из зубов сало.

На Цельтвеге в своем бюро сидел Линхард.

— Вы как сюда попали? — не удержался я.

— Это к делу не относится,— отвечал Линхард и указал на письменный стол.— Отчеты.

— Вы что, тоже думаете, будто Колер невиновен? — с досадой спросил я.

— Не думаю.

— Мокк считает, что я угодил в ловушку,— мрачно сказал я.

— Зависит от вас,— сказал Линхард.

Сто пятьдесят страниц. Густо исписанных. Телеграфный стиль. Я ожидал гипотетического изложения смутных комбинаций, а очутился лицом к лицу с фактами. Вместо загадочного незнакомца было вслух названо имя. Сами по себе отчеты имели различную ценность, и относиться к ним следовало с осторожностью. Опрос свидетелей, проведенный Шёнбехлером. Свидетельские показания обычно противоречивы, но здесь масштабы противоречий были просто устрашающие. Примеры: одна из официанток утверждает, будто Колер выкрикнул: «Гад ползучий», в то время как прокурист фирмы дамского белья, сидевший тогда за соседним столиком («на меня как раз брызнуло соусом!»), показал, что Колер обратился к Винтеру со словами: «Добрый день, старина!» Третий свидетель якобы своими глазами видел, как Колер пожимал руку профессору. Один показал, что, застрелив Винтера, Колер нос к носу столкнулся с Линхардом. Здесь стоял знак вопроса и примечание Линхарда: «Вообще там не был». И подобные противоречивые показания на более чем пятидесяти страницах. Объективных свидетелей не существует. Каждый свидетель подсознательно склонен примешивать к истинно пережитому выдуманное. Происшествие, свидетелем которого он был, разыгрывается не только вне свидетеля, но и в нем самом. Он воспринимает происшествие на свой лад, запечатлевает в памяти, память преобразует запечатленное, после чего каждая память воспроизводит свое происшествие. Особенно велика была несогласованность еще и потому, что Шёнбехлер в отличие от полиции допросил в с е х свидетелей, а чем больше свидетелей, тем, разумеется, противоречивее показания. Более пятидесяти страниц было заполнено взаимоисключающими утверждениями. И наконец, разница во времени. Само происшествие имело место год и девять месяцев тому назад. Человеческой фантазии было предоставлено достаточно времени, чтобы осуществить в памяти необходимые изменения, к этому прибавилась распространенная слабость выдавать желаемое за действительное, умничанье и тому подобное, следующие пятьдесят страниц вполне можно было бы заполнить показаниями тех, кто вообразил, будто является очевидцем убийства, хотя на самом деле там не присутствовал. Но Шёнбехлер произвел тщательнейший отбор. А теперь донесение Фойхтинга: у него метод самый простой. Задает прямые вопросы и может это себе позволить, так как во все времена задавал прямые вопросы. И когда он о чем-то спрашивал, на это никто не обращал внимания, потому что он спрашивал решительно обо всем, даже когда его вопросы были лишены смысла или выглядели таковыми. Наконец, отдельные камушки складывались воедино, хоть и не без труда, пропущенные через бесчисленное множество рюмок мартини, но все же складывались, открывая взору мозаичное панно, которое странным образом подтверждало показания различных сви-

детелей, приведенных в отчете Шёнбехлера. Так, к примеру, некоторые утверждали, что доктор Бенно тоже был в «Театральном», другие, что он еще до Колера подходил к Винтеру, третьи, что он сидел с Винтером за одним столом, а один и вовсе показал, что Бенно покинул заведение вслед за Колером, и, наконец, дама из бара сообщила, что непосредственно после убийства Бенно ворвался в бар, приплясывая от радости, бил рюмки и приговаривал: «Сдох таракан, сдох таракан!» — со всеми задирался и объявлял, что уж теперь-то на ней женится. Слушатели отнесли его слова к Монике Штайерман, желали ему счастья и принимали от него приглашения. Все это происходило в баре «Утоли моя печали», так называется из-за своих крепких напитков разбойничий вертеп неподалеку от Мюнстера, где Бенно в последнее время стал завсегдатаем. Это «последнее время» уже длилось для Бенно свыше двух лет. Из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, после успешного окончания университета, после спортивной карьеры, после блестящих деловых успехов, после обручения с Моникой Штайерман, самой богатой невестой в городе, Бенно вдруг словно споткнулся, стал другим. Люди начали избегать его. Повсюду считалось, будто Штайерман расторгла их помолвку. Далее — четыре поездки за границу, слухи, что он игрок. На первых порах он еще мог, хоть и не без труда, сохранять контакты с хорошими, богатыми домами, потом его почти перестали приглашать, а под конец и вовсе начали бойкотировать. По инерции он еще продолжал жить на широкую ногу, потом начал распродавать остатки прежней роскоши: гравюры, мебель, несколько ящиков старого бордо. Ряд предметов из тех, что он продавал, принадлежали не ему, к примеру некоторые украшения, по поводу чего были начаты сразу два процесса. (Воздержусь от точного перечисления общей суммы долгов Хайнца-Олимпийца, это была катастрофическая, можно сказать нереальная, цифра, свыше двадцати миллионов.) Странным образом факты, установленные Фойхтингом касательно Бенно, во многом совпадали с тем, что удалось выяснить об убитом Винтере (конечно, не считая долгов); частые выезды за границу на конгрессы ПЕН-клуба, которые, как оказывается, вовсе не происходили, но о которых он впоследствии долго и подробно рассказывал, слухи о частых посещениях казино. Оказывается, и Винтер, со своими вечными цитатами из Гёте, тоже околачивался в баре «Утоли моя печали», едва покинув стол для литературных завсегдатаев на третьем этаже «Театрального». Там он сидел в кругу издателей, редакторов, театральных критиков и литературно-биографических корифеев нашего города, чтобы вместе с ними не выпустить из рук господство над нашей культурой. Избранные хоть и терпели его, но подсмеиваясь, и, едва он покидал их ради нидендорфских баядерок, за глаза называли магараджей. Не подлежит сомнению, подытожил Линхард, что, если исключить Колера как убийцу, потенциальным преступником можно считать только Бенно. Бенно принимал Дафну за Монику Штайерман, потом между ним и Винтером что-то произошло. Разрыв Дафны с Бенно явился результатом именно этого инцидента, равно как и последовавшее за разрывом падение Бенно. Будучи женихом Штайерман, он мог рассчитывать на любой кредит, сам по себе — ни на малейший. Тут я насторожился. Версия Линхарда вступала в противоречие с фактами. Ведь Дафна порвала с Бенно лишь после того, как он ее избил. А Моника Штайерман отреклась от Бенно лишь после того, как с ним порвала Дафна. Далее Винтер и Людевиц знали, что Дафна — не Моника Штайерман, и не только они знали. Не так это просто, чтобы один человек выдавал себя за другого, сведя к нулю собственную личность, здесь требуются и другие посвященные. Среди представителей городской власти об этом наверняка кое-кто был осведомлен. А уж про Колера и говорить нечего. Об этом мне, кстати, рассказывала настоящая Моника Штайерман. Короче, об этом могли знать очень и

очень многие. Ловушка же, в которую я угодил по словам Мокка, могла состоять лишь в том, что я вольно или невольно усвоил эту всеобщую веру в невинность Колера, хотя сам и не разделял ее. Я просто как бы согласился поддержать ее, потому что принял его поручение. Поддавшись ложному допущению, что убийца не Колер, я неизбежно должен был выйти на другую кандидатуру: если Цезаря убил не Брут, значит, его убил Кассий, если не Кассий, то Каска. Вполне возможно. Возможно даже, что слух о невинности Колера пошел не от директора тюрьмы и не от охранников, а от меня. Откуда комендант узнал о данном мне поручении? Мёзер, охранник, присутствовал, когда Колер мне его давал, чета Кнульпе, Елена, Фёрдер, личный секретарь Колера, без сомнения, еще некоторые юристы, ну, потом Линхард, а из людей Линхарда кто? Еще об этом знала Ильза Фройде. Будет ли эта молчать? Возможно, поручение Колера давно уже стало темой общегородских пересудов, и хотя лично я был убежден, что Колер совершил убийство из чисто научного интереса, но благодаря поручению мои поиски уводили от Колера, вместо того чтобы вести к нему. Не в этом ли заключался смысл его поручения? И, поставляя ему отчеты о своих изысканиях, не сам ли я давал ход недоступному для моего ума маневру? Но положение у меня было безвыходное. Не сегодня-завтра Линхард предъявит счет. Мне нужны деньги, а их единственным источником может быть только Колер. Значит, надо пахать дальше. Несмотря на все сомнения. Или есть какой-нибудь другой выход? Мне пришла в голову мысль наведаться к моему прежнему шефу Штюсси-Лойпину и обсудить ситуацию с ним. Сперва я колебался, потом решил к Штюсси-Лойпину не ходить, отчеты не представлять, и будь что будет. А потом окончательно перестал колебаться. Доктор Бенно возник у меня в ночь с 30 ноября на 1 декабря 1956-го, с пятницы на субботу. Около полуночи. Я точно запомнил. Ибо в эту ночь решилась его судьба — и моя тоже. Я в третий раз перечитывал отчет, когда он рванул дверь бюро, ранее ему принадлежавшего, где за его письменным столом теперь сидел я. Бенно был рослый, крупный мужчина с длинными прядями черных волос, которые он зачесал так, чтобы прикрыть лысину. Он, шатаясь, приблизился к моему столу. Он производил впечатление человека, чрезмерно тяжелого для собственного скелета. Руками, которые казались почти детскими в сравнении с массивным телом, он оперся о столешницу и, наполовину освещенный светом настольной лампы, в упор поглядел на меня. Он был явно нетрезв, удручен и трогателен в своей беспомощности. Я откинулся на спинку кресла. Его черный костюм залоснился от долгой носки.

— Доктор Бенно,— спросил я,— где вы пропадали? Вас повсюду ищет пресса.

— А не все вам равно, где я пропадал? — пропыхтел он.— Шпет, не начинайте процесс, умоляю вас.

— Какой процесс, доктор Бенно? — спросил я.

— Который вы затеваете против меня,— ответил он хриплым голосом.

Я покачал головой:

— Доктор Бенно, никто не собирается затевать против вас процесс.

— Врете вы все,— закричал он,— врете! Вы пустили по моему следу Линхарда, Фантера, Шёнбехлера, Фойхтинга. Вы натравили на меня прессу. Вам известно, что у меня были причины убить Винтера.

— Но убил его Колер,— ответил я.

— Вы и сами уже в это не верите. — Он трясся всем телом.

— Напротив, в этом никто не сомневается,— пытался я его успокоить.

Бенно в упор поглядел на меня, промакнул лоб грязным носовым платком.

— Вы начнете процесс,— тихо добавил он,— а я погиб, я знаю, что погиб...

— Помилуйте, доктор Бенно,— ответил я.

Он, шатаясь, побрел к двери, медленно открыл ее и ушел, не удостоив меня больше ни единым взглядом.

Алиби. Меня опять прервали. Вмешалась судьба. На сей раз в лице Лакки. И еще одного субъекта, которого он представил как Маркиза. (Поскольку, начав писать, я отстранился от участия в роковом действии, куда ввязался как активный участник, мне надлежит теперь называть вещи своими именами. Итак, среди преступного мира я и сам заделался преступником. Не сомневаюсь, господин прокурор, что подобное признание встретит полное ваше одобрение, но я должен сделать одну оговорку: к этому преступному миру я причисляю и вас, и то общество, которое вы представляете по долгу службы, а не только Лакки, Маркиза и самого себя.) Что до этого человекоподобного субъекта, то его занесло к нам из Невшателя. Вместе с открытым «ягуаром». Во всю вывеску улыбочка, словно этот тип заявился прямиком из Ко, а манеры такие, будто он торгует высокосортным мылом. Дело было в десятом часу вечера. В воскресенье (эту часть отчета я пишу в конце июля 1958 года — слабая попытка хоть как-то упорядочить свои записи). На улице бушевала гроза, гулкие, страшные раскаты грома, дождь еще лил, но это не приносило облегчения, было по-прежнему душно и муторно. Этажом ниже гремели псалмы: «Рухни мир в объятья Христовы, к гибели страшной все мы готовы!», и еще: «Дух святой, под бури гром грешников сожги живьем!» Лакки как-то смущенно пощипывал свои усики и вообще вроде бы нервничал, да и его апостольские глаза светились задумчивым блеском, какого я никогда прежде в них не наблюдал: Лакки явно о чем-то размышлял. Оба были в плащах, но почему-то почти сухих.

— Нам нужно алиби,— наконец робко выдавил из себя Лакки.— Маркизу и мне, на последние два часа.

Маркиз заулыбался умильно.

— А до этого?

— До этого у нас такое алиби, что не подкопаешься,— сказал Лакки и пытливо на меня глянул.— До этого мы сидели с Гизелой и Мадленой в «Монако».

Маркиз утвердительно кивнул.

Я поинтересовался, не видел ли кто, как они ко мне входили. Лакки, по обыкновению, был настроен оптимистично.

— Узнать нас никто не мог,— заверил он меня.— На этот случай зонтик — незаменимая вещь.

Я задумался.

— А куда вы дели зонтики? — спросил я, потом встал из-за стола и запер в ящик свои записки.

— Внизу. Мы их поставили за дверью в подвал.

— Это ваши зонтики?

— Нет, мы их нашли.

— Где?

— Тоже в «Монако».

— Значит, два часа назад вы их взяли с собой на прогулку?

— Так ведь дождь шел.

Лакки с огорчением заметил, что его ответы меня не вдохновляют. Он с надеждой извлек из своего плаща бутылку коньяку «Наполеон», и Маркиз в свою очередь тоже наколдовал бутылочку.

— Недурно,— кивнул я,— это уже по-человечески.

После чего каждый из них выложил на стол по тысячефранковой бумажке.

— Мы народ щедрый,— сказал Лакки.

Я отрицательно замотал головой и выразил сожаление:

— Дорогой Лакки, я принципиально не намерен садиться за дачу ложных показаний.

— Усек,— сказал Лакки.

Оба подкинули еще по тысяче.

Я оставался неумолим.

— И с зонтиками у вас какая-то мура получилась,— констатировал я.

— Полиция ищет нас не из-за зонтиков,— вставил Лакки, хотя ему явно было не по себе.

— Но из-за зонтиков она могла напасть на ваш след,— выразил я свои сомнения.

— Вас понял,— сказал Лакки.

Оба пожертвовали еще по тысяче.

Я даже удивился:

— Вы, никак, миллионерами стали?

— Ну, бывают же у людей доходы,— уклончиво ответил Лакки.— Когда нам выплатят остаток, мы сразу сделаем ноги. Куда-нибудь за границу.

— Какой такой остаток?

— Остаток гонорара,— пояснил Маркиз.

— Какого гонорара? — спросил я еще более недоверчиво.

— За поручение, которое мы выполнили,— уточнил Лакки.— Как только мы будем в Ницце, я передам тебе Гизелу и Мадлену.

— Я тоже передам вам своих девочек,— заверил меня Маркиз.— Невшательки очень практичные.

Я тщательно осмотрел тысячефранковые бумажки, сложил и сунул в задний карман брюк. Лакки хотел посвятить меня в подробности, но я не дал ему договорить.

— Уговор дороже денег: я не знаю, зачем вам понадобилось алиби и знать не желаю.

— Пардон, пардон,— извинился Лакки.

— А ну выкладывайте ваши сигареты,— скомандовал я тогда.

Лакки был весь прямо нашпигован сигаретами: «Кэмел», «Данхилл», «Блек энд уайт», «Сьюпер кинг», «Пикадилли». На столе росла гора пачек.

— Одна подружка держит киоск,— объяснил он извиняющимся тоном.

— А что курит господин Маркиз?

— Вообще почти не курю,— смущенно прошептал тот.

— У тебя что, и сигарет при себе нет?

Маркиз отрицательно замотал головой.

Я снова сел за письменый стол. Пора было действовать.

— Теперь будем с вами курить полчаса подряд. Как можно больше. И скорей. Я — «Кэмел», Лакки — длинные «Сьюпер кинг», а Маркиз, господи помилуй,— «Данхилл». Курить так, чтобы можно было прочесть марку, потом гасить и все складывать в одну пепельницу. Под конец каждый прихватит с собой початую пачку.

И мы начали дымить как одержимые. Вскоре мы освоили новый метод: раскуривать по четыре сигареты сразу, а уж потом они сами догорят. За окном по новой разбушевалась гроза, этажом ниже заныли псалмопевцы: «Убей, господь, наш мерзкий род, убей, Христос, и наш приплод. Ведь мы тебя распяли. И дух святой попрали».

— По-честному я вообще не курю,— стонал Маркиз. Ему было до того плохо, что он даже начал походить на человека.

Спустя полчаса в пепельнице высилась гора окурков.

Воздух в комнате стал прямо опасным для жизни, потому что мы закрыли окна. Покинув комнату, мы побежали по лестнице и этажом ниже угодили прямо в руки полиции: впрочем, сегодня полиция явилась не ради нас, а ради «Святых Ютли». Нажаловались соседи, кото-

рые предпочитали сойти в ад без псалмов. Толстый Штубер из полиции нравов тряс дверь, два его спутника, обычные патрульные полицейские, злобно глядели на нас. Мы все трое были им хорошо известны.

— Но как же так, Штубер,— полюбопытствовал я,— вы ведь из полиции нравов. Какое вам дело до святых?

— Приглядывайте лучше за своими святыми,— буркнул Штубер, давая нам дорогу.

— Потаскуший адвокат,— еще крикнул мне вслед один из полицейских.

— Может быть, нам уж лучше тогда сразу топать в полицейское управление?! — стонал Лакки.

Встреча с полицией совершенно его деморализовала. Маркиз, по-моему, вообще начал со страху читать молитвы. Я уже чувствовал, что ввязался в очень сомнительное дело.

— Ерунда,— пытался я их приободрить.— Ничего удачнее, чем встреча с полицией, просто быть не могло.

— А зонты...

— Я их перепрячу.

Свежий воздух привел нас в чувство. Дождь прекратился. На улицах царило оживление, а на Нидердорфштрассе мы прямиком последовали в «Монако». Гизела еще была там, Мадлена ушла (теперь я по крайней мере знаю, как ее зовут), но зато там были еще Коринна и Полетта, две новенькие на службе у Лакки, только-только импортированные из Женевы, и все три в роскошном виде, сообразно с ценой, и при каждой — уже несколько кавалеров.

— До чего ж Маркиз зеленый! — замахала нам Гизела.— Что вы с ним сделали?

— Два часа резались в карты,— объяснил я,— и Маркизу пришлось курить с нами на равных. В наказание за то, что он хочет увести тебя у Лакки.

— Je m'en suis pas rendue compte [1],— сказала Полетта.

— Дела надо обделывать без шума.

— Et le resultat?[2]

— Теперь я твой адвокат,— сказал я. Полетта очень удивилась. А я повернулся к Альфонсу. У бармена была заячья губа, и он перемывал рюмки за стойкой. Я потребовал виски. Альфонс выставил нам три смеси «сикси-найн». Я залпом выпил свою, сказал бармену: «Господа заплатят» — и покинул заведение. Не успев отойти от «Монако» шагов на десять, я услышал, как позади остановилась машина. И мог издали наблюдать, как комендант вместе с тремя детективами из комиссии по расследованию убийств вошел в бар. Я юркнул за угол и свернул в первую попавшуюся забегаловку. Мне и дальше повезло (должно же хоть когда-нибудь): когда час спустя я вернулся к себе, Штубер и двое патрульных успели покинуть дом на Шпигельгассе. Все было тихо, братья Ютли, должно быть, тоже удалились. Оба зонтика я нашел за дверью в подвале и хотел уже спуститься, чтобы хорошенько их запрятать, но тут меня осенила другая идея. Я поднялся наверх. Перед обиталищем секты все было тихо, и дверь не закрыта, в противном случае я открыл бы ее собственным ключом, благо он, как это часто бывает в старых домах, подходил для всех дверей.

Я вошел в переднюю. Сюда еле-еле пробивался свет с лестничной площадки. Возле дверей стояла подставка, и в ней уже было несколько зонтов. Я сунул два своих мокрых зонтика к остальным, тщательно запер дверь и поднялся к себе. Войдя, зажег свет. Окно было распахнуто. В кресле сидел комендант.

---

[1] А я и не сообразила *(франц.)*.

[2] А результат? *(франц.)*

— Здесь много курили,— сказал он, бросая взгляд на полную окурков пепельницу. — Пришлось открыть окно.

— Ко мне заходили Лакки и Маркиз.

— Маркиз?

— Да, один тип из Невшателя.

— Настоящее имя?

— А мне ни к чему.

— Генри Цуппей,— сказал комендант.— Ну, и когда же это они у вас были?

— С семи до девяти.

— А дождь уже шел, когда они заявились? — спросил комендант.

— Они прибежали как раз до дождя,— отвечал я,— чтоб не промокнуть. А почему вы спрашиваете?

Комендант еще раз бросил взгляд на пепельницу.

— Штубер из полиции нравов видел вас, Лакки и Маркиза, когда вы в девять часов покидали свою лавочку. Куда вы потом направились?

— Я?

— Вы.

— В «Хёк». Я там выпил два виски, а Лакки и Маркиз потом перешли в «Монако».

— Это я знаю,— сказал комендант.— Я их там арестовал. Но теперь мне придется их отпустить. У них есть алиби. Они у вас курили. Два часа подряд.

Он снова перевел взгляд на пепельницу.

— Я вынужден поверить вам на слово, Шпет. Человек, озабоченный судьбами справедливости, не станет устраивать алиби двум убийцам. Это было бы слишком абсурдно.

— А кого они убили? — спросил я.

— Дафну,— ответил комендант.— Девушку, которая выдавала себя за Монику Штайерман.

Я сел за стол.

— Я знаю, вы в курсе,— продолжал комендант,— вы побывали у настоящей Моники Штайерман, которая отреклась от ложной, ну Дафне и пришлось идти на панель. Не согласовав предварительно этот вопрос ни с Лакки, ни с Цуппейем. А теперь ее нашли мертвой в «мерседесе», на стоянке у Хиршенплац. Примерно в половине девятого. Она подъехала в семь, но из машины выходить не стала. Гроза была жуткая. Ну, у Лакки и Цуппейя теперь есть алиби, а плащи не промокли. Придется мне их выпустить,— он промолчал.— На редкость красивая девушка,— сказал он потом.— Вы с ней спали?

Я не ответил.

— Впрочем, это и не важно,— сказал комендант и, раскурив неизменную свою бахианку, закашлялся.

— Вы слишком много курите, комендант.

— Я знаю, Шпет. Мы все слишком много курим.— Он снова покосился на пепельницу.— Впрочем, я вижу, вы проявляете известное участие. Ладно, я тоже проявлю к вам известное участие: такого темного человека, как вы, мне еще в жизни встречать не доводилось. Неужели у вас нет ни одного друга?

— Не люблю заводить врагов,— отвечал я.— Вы меня допросить хотите, что ли?

— Нет-нет, всего лишь проявляю любопытство,— уклончиво отвечал комендант.— Вам ведь еще нет и тридцати?

— Я просто не отлынивал от занятий, я не мог себе это позволить.

— Вы были самым молодым из наших адвокатов,— продолжал комендант.— А теперь вы вообще не адвокат.

— Да, контрольная комиссия выполнила свой долг,— подтвердил я.

— Ах, если бы я мог разгадать, что вы за человек такой, мне было бы тогда легче вас понять. Но разгадать вас я не могу. Когда я пер-

вый раз пришел к вам, на меня произвела впечатление ваша борьба за справедливость, и я сам себе показался жалким, но теперь ничто в вас мне не нравится. В алиби я, так и быть, вам еще поверю, но в то, что вас тревожат судьбы справедливости, я вам уже не поверю.

Комендант встал.

— Мне вас жалко, Шпет. Я вижу, что вас запутали в нелепую историю, и если вы сами при этом становитесь нелепым, помочь тут ничем нельзя. Думаю, именно поэтому вы уже не дорожите собой. От Колера есть какие-нибудь вести?

— Да, с Ямайки,— отвечал я.

— Давно он в отъезде?

— Больше года. Почти полтора.

— Человек так и колесит по нашему шарику. Впрочем, может, он скоро вернется.

С этим комендант ушел.

Дополнение. Спустя еще три дня. Я скрыл от коменданта, что мне довелось переспать с Дафной. Впрочем, он и не требовал ответа, для него это было не так уж важно. Я долго раздумывал, писать мне об этом или не писать. Но комендант прав: все настолько утратило смысл, что не имеет смысла что-либо скрывать. В реальность неотъемлемой частью входит и самое постыдное, а к самому постыдному относится роль, которую я сыграл в падении Дафны, пусть даже истинной причиной была месть со стороны настоящей Моники Штайерман. После разразившегося скандала Дафну почти целый год нигде нельзя было сыскать. Ни одна собака не знала, где она скрывается, даже Линхард и тот не знал, если верить его словам. Квартира ее на Аураштрассе стояла пустая, но плату вносили регулярно. Кто — установить не удалось. Потом Дафна снова вынырнула. В прежнем великолепии. Как будто ничего не произошло. Хотя и с новой свитой. И с одной разницей: теперь она профессионально занималась тем, что раньше делала с расточительным великодушием. Оставленная в беде друзьями, она теперь выезжала на промысел в своем белом «мерседесе», заламывала несусветные цены и в смысле доходов снова встала на ноги. Даже за вычетом всех налогов, коммунального, государственного, оборонного, а также эмеритального[1] страхования и обеспечения ближних. Переспать с Дафной считалось высшим шиком. Вдаваться в эпические подробности здесь не имеет смысла. Расскажу только, что однажды она появилась и у меня, постучав в два часа ночи у дверей моей квартиры на Шпигельгассе. Я слез с кушетки, на которой спал, решив, что это Лакки, зажег свет, открыл дверь, и вошла она. Войдя, оглянулась. Окно полуоткрыто. Комната выстужена (была середина февраля), на безвкусных обоях — очередные вырезки из «Беобахтера». На рабочем кресле — моя одежда, на качалке — мое пальто. Она вошла в шиншиллях — то ли люди говорили правду насчет цен, которые она заламывала, то ли «настоящая» Штайерман продолжала платить,— сняла с себя все как есть, бросила на кресло и легла на кушетку. А я лег к ней. Она была очень хороша, и вдобавок было холодно. Оставалась она недолго. Накинула свои шиншилля, положила на мой стол тысячефранковую бумажку. Когда я начал возражать, она изо всех сил ударила меня правой рукой по лицу. О таких историях люди предпочитают умалчивать, вот и я никому об этом не рассказывал, а если пишу теперь, то потому лишь, что не питаю больше никаких надежд. Сегодня утром без малого в шесть ко мне заявился Штубер из полиции нравов и сообщил, что Маркиза и Лакки извлекли под Цолликоном из озера (штайермановская вилла расположена неподалеку от того места, где их нашли). Когда сияющий Штубер ушел, я почувствовал себя несколько оскорбленным:

[1] Страховой налог для увеличения размеров последующей пенсии.

он даже вопросов мне не задавал, а уж послать ко мне человека из отдела по расследованию убийств комендант вполне мог. Лакки и Маркиз несколько затянули свой отъезд за границу. Так начался день нашего национального праздника, первое августа 1958 года, мрачно начался. Вдобавок была пятница, в этот день хоронили Дафну, судебно-медицинская экспертиза разрешила предать тело земле. В десять часов. Первого августа у нас работают, но только до обеда, в том числе и могильщики, такое маленькое государство не может размахнуться на целый нерабочий день, оно себя не переоценивает. Едва я вышел из комнаты, как громыхнул гром, да и вообще этим летом грозы стали для нас вполне обычным делом. Мой «фольксваген» был в починке (я где-то обедал в каком-то ресторанчике над каким-то озером, потом на ночь глядя отправился на своем «порше» — чтоб уж заодно сделать и это признание, господин федеральный прокурор,— и на нем вместе с Мадленой, если только это была Мадлена, свернул с дороги в какой-то бурелом, Лакки сумел уладить это дело, малышка месяца два провалялась в больнице, а я снова оказался при своем «фольксвагене». Снова оказался. Вообще-то я уже давно мог бы забрать его из ремонта, но не пользуюсь больше ни малейшим кредитом у хозяина гаража. А выставленный им счет внушает мне страх). Вот как получилось, что на похороны Дафны я поехал трамваем. Почему я, однако, нажал ручку двери в помещение секты и почему, когда дверь открылась, взял один из двух зонтиков, которые сам туда поставил шесть дней назад, установить теперь не представляется возможным. Произошло это по недомыслию или из склонности к черному юмору, сказать не могу. Пока я бежал по улицам Старого города к Бельвю, используя зонтик как тросточку, небо успело совсем почернеть, хотя была всего лишь половина десятого. Кругом царило нервное возбуждение, и я бежал со всех ног, как всегда перед грозой, тем более что гроза обещала быть совершенно ужасной, в такую-то рань. Типично для Дафны, подумал я. У Бельвю я сел в трамвай. Вообще-то говоря, надо сойти с ума, чтобы при такой погоде ездить на похороны, но тем не менее я чисто механически влез в битком набитый вагон. Время от времени солнце разрывало черную стену облаков, напоминая луч прожектора, который на миг вспыхивает и снова гаснет. У Кройцплац в трамвай вошел грузный, весь в черном господин, роста, можно сказать, маленького, со сверкающей лысиной, ухоженной окладистой черной бородкой, в которой виднелись белые нити, и в золотых очках без оправы. Сперва я невольно подумал, что это Винтер, который явился как призрак, чтобы присутствовать на похоронах собственной дочери, настолько он походил на убитого, и венок при нем был, только я не смог прочесть, что написано на ленте. На кладбище собралось немало народу. Вся знать нашего города, ибо от грустных воспоминаний ни один человек не застрахован, из новых же клиентов не явился никто. Но похороны Дафны Мюллер были не единственной причиной посетить именно в это утро наше ухоженное городское кладбище. Ибо одновременно с Дафной предавали вечности прокурора Уныллера. Его уход из жизни тоже сопровождался всеобщим сожалением, ведь если кто-то никогда больше не сможет злиться, его очень жалеешь. По счастью, к общей печали примешивалось известное злорадство. Ибо смерть Уныллера была не лишена комических черт. Уныллер, оказывается, был в сауне, куда ходил каждую неделю, и там, уже голый, увидел рядом голого Линхарда и не сумел пережить свое потрясение. Поэтому хоть и печалились, но как-то с ехидством. В совпадающих по времени похоронах есть и своя хорошая сторона. Можно одновременно участвовать в обоих. Я прикидывал, кто на какие явился, наш городской голова, прокурор Фойзер и несколько оправданных преступников, которые хотели досадить даже покойнику,— на похороны Уныллера, Линхард, Лойпингер, Штюсси-Лойпин — на те и другие, а вот Фридли, Людевиц, Монд-

шайн скорей всего только на похороны Дафны. И у каждого был при себе зонт. Пастор Зенн стоял у гроба Дафны, пастор Ваттенвиль — у гроба Уныллера. Оба — в стартовой стойке. Я ждал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Громыхнул гром. Но ни один из пасторов почему-то не начинал молитвы. Пожилой человек, которого я видел в трамвае (у гроба Дафны, кроме него, не было ни души), положил на гроб венок: «Сводной сестре Дафне от Гуго Винтера». Надо полагать, мы имели дело с учителем первой ступени Винтером. Снова рыкнул гром, на сей раз ударило очень сильно. Порыв ветра. Все превратилось в ожидание. Даже народ у соседней могилы поглядывал на нас, все чего-то ждали, а чего — я не знал, пока не понял: тощая сестра милосердия строевым шагом двигалась от кладбищенских ворот, толкая к могиле кресло-каталку, в которой сидела настоящая Моника Штайерман. Карлица ярко накрасилась, на голову она водрузила огненно-красный парик, напоминающий волосы Дафны, и от этого парика голова крохотного существа казалась еще больше, вдобавок на ней была юбка-мини, похожая на детское платьице, и нитка жемчуга, которая проходила между скрюченными ножками и свисала с кресла, а на коленях у нее лежал какой-то предмет, завернутый в черный платок. Рядом с ней шагал коренастый мужчина в темном костюме, слишком коротком и слишком тесном. Это был богатый, как Крёз, грубиян, он же национальный советник Эшисбургер. За собой Эшисбургер тащил венок. Даже городской голова, даже Фойзер, даже сами могильщики покинули могилу Уныллера и передислоцировались к могиле Дафны. Пастор Ваттенвиль остался один. Судя по всему, он бы не прочь последовать за остальными. Новые раскаты грома, новые порывы ветра.

— Черт возьми,— сказал кто-то рядом со мной. Это оказался комендант.

Сестра подвезла Монику Штайерман к открытой могиле. Эшисбургер бросил венок на гроб. «Навеки любимой Монике от ее Моники» — было написано на ленте.

Пастор Зенн выступил вперед, вздрогнул от нового громового удара, и все присутствующие подступили поближе. Меня против воли затолкали позади Штайерман, так что я очутился между сестрой милосердия и комендантом, перед комендантом стоял Эшисбургер, а перед сестрой — Штюсси-Лойпин. Гроб начали опускать в могилу. Возле соседней не осталось никого, чтобы опустить в могилу гроб Уныллера. Пастор Ваттенвиль все еще на нас поглядывал, тогда как пастор Зенн боязливо открыл Библию, объявил ко всеобщему сведению: от Иоанна, глава 8, стих с 5 по 11, но зачитать обещанный текст ему не удалось: Моника Штайерман высоко подняла предмет, который перед тем лежал у нее на коленях и с силой, которой никто от нее не ожидал, швырнула его в могилу Дафны, так что он грохнулся о крышку гроба и раскололся вдребезги. Это была бронзовая голова изваянной Мокком Лжемоники. Подбежал пастор Ваттенвиль, а пастор Зенн был до того смущен, и растерян, что чисто автоматически сказал: «Помолимся, братие».

Но тут упали первые тяжелые капли, отдельные порывы ветра сложились в целую бурю, открылись зонтики. Поскольку я стоял позади Штайерман, я решил защитить ее от дождя и тоже раскрыл свой. То есть я нажал на какую-то кнопку возле рукоятки, но, к моему изумлению, купол взмыл кверху, поднялся высоко-высоко, покружил над печальным сборищем и, поскольку буря прекратилась так же внезапно, как и началась, большой черной птицей рухнул на гроб Дафны. Многие с трудом удерживались от смеха. Я тупо уставился на рукоятку, которая осталась у меня в руке: это был стилет. Мне почудилось, будто я стою в почетном карауле над гробом убитой с орудием убийства в руках, а пастор тем временем читал «Отче наш». Тут могильщики замахали лопатами, теперь можно было предать земле и гроб Уныллe-

ра. Сестра милосердия повезла Монику Штайерман к выходу, мне пришлось отойти в сторону, чтобы дать дорогу, я все еще сжимал в руках стилет, а люди тем временем закрывали свои зонты: гроза, из почтения обойдя наше кладбище стороной, обрушилась на центр города, там до вечера продолжалось откачивание воды из подвалов, зато кое-где уже хлопали петарды. Люди праздновали. На редкость могучий поток ослепительного солнечного света залил толпу, устремившуюся к воротам, и могильщиков, работающих заступами. Пастор Зенн тоже старался уйти поскорей, а пастор Ваттенвиль растерянно озирался, потому что и городской голова, и Фойзер уже ушли. Только Линхард еще стоял у гроба Уныллера и глядел, как его засыпают землей. Когда он проходил мимо меня, я увидел, что он плачет. Он потерял врага. Я снова уставился на стилет. Острие у него было темно-бурого цвета, и желобок на узком лезвии тоже.

— Ваш зонтик никуда больше не годится,— сказал комендант, стоявший рядом, после чего он взял у меня из рук стилет с рукояткой от зонта и направился к выходу.

Продажа. Открытка от Колера из Хиросимы совершенно меня успокоила, Колер намерен оттуда поехать в Сингапур. Наконец-то у меня есть время рассказать самое главное, пусть даже это глупость, которую нельзя оправдать никакими финансовыми затруднениями. Я переслал все отчеты Штюсси-Лойпину, и два дня спустя он принял меня в гостиной своего дома, далеко за пределами города. Говоря «гостиная», я очень преуменьшаю, правильней было бы сказать: нежилая зала. Она квадратной формы, метров, по-моему, двадцать на двадцать. Три стены — из стекла, дверей нигде не видно, через одну стену открывается вид на старинный городок, который, хотя и пощадила автострада, но заливает бесконечный поток машин, в сумерках они придают местности какой-то призрачно-живой вид, цепи огней бегут по сосудам старых стен, через две другие стены видны подсвеченные валуны и многотонные эрратические глыбы, скупо обработанные резцом Мокка гранитные боги, которые правили на земле до того, как ею завладели люди, которые извлекли из глубин горные цепи, разорвали на куски континенты, каменные монолиты, которые подобно гигантским фаллосам отбрасывали тени на пустую в те времена залу, потому что кроме концертного рояля по диагонали от него там стояли только два кресла. Рояль — почти у входа, самое неподходящее место, какое только можно себе представить, возле деревянной лестницы, ведущей на антресоли, где, по всей видимости, расположено множество не очень больших комнат, недаром же с улицы, когда я подъехал на своем «порше», дом Штюсси-Лойпина показался мне одноэтажным и, если смотреть со стороны городка, напоминал бунгало. В одном из двух кресел сидел мой бывший шеф, укрытый шлафроком, сидел неподвижно, освещенный одним лишь торшером, что стоял между креслами. Я покашлял, он не шелохнулся, я прошел по разноцветным, искусно подобранным мраморным плитам, которыми был выложен пол, а Штюсси-Лойпин так и не шелохнулся. Я сел во второе кресло и утонул в кожаном океане. На полу возле своего кресла я обнаружил в плетеной корзинке открытую бутылку красного вина, хрустальную рюмку колокольчиком и вазочку с орехами, такой же набор имелся и возле кресла, метрах в четырех от меня, где сидел Штюсси-Лойпин, с той лишь разницей, что перед тем креслом на полу стоял еще телефон. Я внимательно поглядел на Штюсси-Лойпина. Он спал, я вспомнил портрет Варлена, который раньше казался мне утрированным, лишь теперь я понял, насколько гениально художник постиг адвоката: под спутанной копной грязно-белых волос угловатый, грубо высеченный череп крестьянина, нос как узловатый овощ, глубокие складки, которые спускались к словно долотом высеченному подбородку, вызывающе непокорный и в то же время мягкий рот, я разглядывал это

лицо, как разглядывают привычный и в то же время загадочный пейзаж, поскольку я мало что знал про Штюсси-Лойпина; пробыв несколько лет моим шефом, он за все это время не обменялся со мной ни единым словом не по делу; может, именно по этой причине я и ушел от него.

Я ждал. Вдруг сквозь очки без оправы на меня воззрились его удивленные детские глаза.

— Шпет, почему же вы не пьете? — спросил он вполне бодрым голосом, словно и не спал минуту назад (а может, он и в самом деле не спал?).— Наливайте, я тоже себе налью.

Мы выпили. Он наблюдал за мной, молчал и наблюдал.

Прежде чем вести речь о затруднениях, так начал Штюсси-Лойпин, глядя прямо перед собой, а он вполне может себе представить, какого они рода, мои затруднения; впрочем, это сугубо личное замечание, имеющее касательство к сомнениям, которые мной сейчас овладели и из-за которых я к нему притопал, ах ты, пардон, не притопал, а подъехал; на «порше», фу-ты ну-ты, до чего благородно.

Он хохотнул про себя, судя по всему, его что-то немыслимо забавляло, еще выпил и спросил, рассказывал ли он мне когда-нибудь историю своей жизни. Нет? Оно и понятно. Ну, хорошо. Итак, он сын шахтера, и его семейство взяло фамилию Штюсси-Лойпин только затем, чтобы их не путали со Штюсси-Бирлинами, с которыми его семейство испокон веку враждовало из-за картофельного поля, а поле это лежало на такой крутизне, что его каждый год насыпали заново, для чего приходилось таскать землю на собственном горбу, причем иногда по нескольку раз, а урожай с этого поля в лучшем случае позволял нажарить три-четыре сковороды картошки, но тем не менее из-за этого поля судились, дрались и убивали. И продолжают по сей день. Короче говоря, закончив университет, он вернулся адвокатом в родную деревню, в деревню Штюсси, ведь там не только Штюсси-Лойпины враждуют со Штюсси-Бирлинами, но и Штюсси-Моози со Штюсси-Зюттерлинами и вообще все Штюсси вдоль и поперек, но так обстояло дело только в самом начале, когда деревня была, так сказать, основана, если, конечно, допустить, что она вообще была когда-нибудь основана, сегодня же каждое семейство Штюсси просто-напросто враждует со всеми остальными. И в этом горном гнезде, слушайте, Шпет, в этом сплетении из семейных раздоров, убийств, кровосмешения, клятвопреступничества, воровства, утайки и клеветы он, Штюсси-Лойпин, провел свои годы ученья как адвокат по крестьянским делам, как ходатай, по выражению деревенских, но не затем однако, чтобы ввести в этой долине правосудие, а затем, чтобы не подпускать его и на пушечный выстрел, ведь и крестьянин, который подстроил все так, чтобы его старуха погибла вроде бы от несчастного случая и который сразу же женился на своей батрачке, или крестьянка, которая вышла замуж за батрака после того, как с помощью мышьяка спровадила своего благоверного на кладбище, у себя в усадьбе принесут все-таки больше пользы, чем за решеткой. Пустые тюрьмы обходятся государству дешевле, чем полные, зато пустые дворы и поля зарастают сорняками и почва сползает в долину.

Он снова хохотнул.

— Господи, ну и были же времена,— удивленно произнес он.— Какая меня тогда муха укусила, не знаю, но я женился на урожденной «фон», на фон Мельхиор, переехал в наш город и сделался преуспевающим адвокатом. А как на дворе?

— Фён. Для декабря слишком тепло. Как весной,— ответил я.

— Может, выйдем?

— С удовольствием.

— Выйдем — это не совсем точное слово,— сказал он и нажал какую-то кнопку в подлокотнике своего кресла, после чего необозримые стеклянные стены ушли в землю, а прожектора за валунами по-

гасли. Теперь мы сидели под свободно парящим бетонным потолком, словно на улице, освещенные лишь светом торшера.— Расточительная затея,— заметил Штюсси-Лойпин, все так же глядя перед собой. Порой он видится себе фюрером в рейхсканцелярии.— Но чего вы хотите, Шпет, суперадвокату должен быть по карману Ван дер Хойсен, хотя по доброй воле он предпочел бы фюдлибюргского Фридли. Судьба тех, кто вошел в моду. А теперь вот он сидит здесь один-одинешек. Когда-то он задавал в этом зале пиры, один за другим, но люди из городка подали жалобу, Фюдлибюргер тоже, пока... впрочем, это уже к делу не относится. Мебель после этого он всю сплавил, сплошь модерновые штучки.

Потом, наливая себе вина, он сказал:

— А теперь, Шпет, перейдем к делу.

Я рассказал о поручении, данном мне доктором г. к. Исааком Колером.

Штюсси-Лойпин не дал мне договорить, сказал, что он в курсе, выпил, добавил, что и супруги Кнульпе тоже у него побывали. А насчет задания, полученного мною, его проинформировала Елена, дочь Колера, кроме того, он проштудировал материалы Линхарда и иже с ним.

Я рассказал о своих соображениях относительно мотивов Колера, о подозрении Елены, что Колера принудили совершить убийство, поведал также о своей встрече с Дафной, о моем визите к настоящей Монике Штайерман и, наконец, о внезапном появлении Бенно в моем бюро.

— У вас в руках редкостный шанс, молодой человек! — удивился Штюсси-Лойпин, еще раз подливая себе вина.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать,— неуверенно пробормотал я.

— Еще как понимаете,— парировал он.— Иначе вы не пришли бы ко мне. Давайте на пробу примем участие в игре Колера. Если допустить, что убийца не он, нет ничего проще, чем найти другого убийцу. Им может быть только Бенно. Вот на него и напал колотун. Он промотал более двадцати миллионов с благословения Лжемоники, Винтер поставил в известность настоящую Монику, помолвка рухнула, Бенно, следовательно, разорен и пускает пулю в сидящего за столиком Винтера. Voila! Такова версия, необходимая вашему работодателю и тем самым необходимая вам.

Штюсси-Лойпин посмотрел свою рюмку на свет. Со стороны городка к нам донесся рев клаксонов, он продолжался несколько минут: если судить по неподвижным огням фар, две встречных автоколонны въехали одна в другую.

Штюсси-Лойпин засмеялся:

— Это надо же, чтобы именно такому желторотику прямо в руки приплыл интереснейший пересмотр дела из всех, какие знавало наше столетие.

— Мне никто не поручал пересмотр,— сказал я.

— Но поручение, которое вы приняли, неизбежно ведет к пересмотру дела.

— Это Колер убил Винтера,— твердо сказал я.

Штюсси-Лойпин откровенно удивился.

— Ну и что? — спросил он.— Вы это своими глазами видели?

В глубине помещения спустилась по деревянной лестнице какая-то черная фигура и захромала в нашу сторону. Когда фигура подошла ближе, я увидел, что это священник с маленькой черной сумочкой. Он остановился, не дойдя до Штюсси-Лойпина примерно три метра, покашлял, стеклянные стены тотчас заняли прежнее место, прожекторы вспыхнули, и гранитные боги бросили свои тени в снова закрытое со всех сторон помещение. Священник был очень старый, чуть кривобокий, морщинистый, и одна нога у него была короче другой.

— Ваша жена получила последнее помазание,— сказал он.

— Порядок,— сказал Штюсси-Лойпин.

— А я буду молиться,— заверил его священник.

— За кого? — спросил Штюсси-Лойпин.

— За вашу жену,— уточнил священник.

— Такая у вас профессия,— равнодушно подытожил Штюсси-Лойпин и даже не повернул голову, когда священник, что-то пробормотав, захромал к выходу, где домоправительница, та самая, что впустила и меня, распахнула перед ним дверь.

— У меня жена умирает,— вскользь заметил Штюсси-Лойпин и осушил свою рюмку.

— Но в этой ситуации...— пролепетал я, вставая с кресла.

— Господи, Шпет, до чего же вы церемонная личность,— сказал Штюсси-Лойпин.— Сядьте как сидели.

Я сел, он снова наполнил свою рюмку. Стены ушли в землю, прожектора погасли, мы снова оказались в саду.

Штюсси-Лойпин неподвижно смотрел перед собой.

— У моей жены хватает душевного величия, чтобы избавить меня от мучительной обязанности сидеть у ее смертного одра,— сказал он равнодушно,— вдобавок у ней побывал священник, а сейчас там врач и сестра. Моя жена, да будет вам известно, Шпет, не просто до чертиков жизнелюбива, до чертиков богата и до чертиков набожна, она к тому же еще была до чертиков красива. Смешно звучит, верно? Всю жизнь она меня обманывала. Врач, который сейчас у нее сидит, был ее последним любовником. Впрочем, я ее понимаю. Такой мужчина, как я, для женщины все равно что отрава.

Он снова хохотнул про себя и без перехода сменил тему.

И сообщил мне, что я дурак, раз считаю доктора Исаака Колера виновным. Вообще-то говоря, он, Штюсси-Лойпин, тоже так считает. Правда, показания свидетелей противоречивы, правда, орудие убийства так и не было найдено, правда, и мотива тоже нет, но все равно мы признали его виновным. А почему мы признали его виновным? Да потому, что убийство было совершено в переполненном ресторане. И присутствующие это как-то заметили, даже если их показания противоречат одно другому. Итак, мы хоть и знаем не наверняка, но мы наверняка в этом убеждены. Что поразило его уже в ходе разбирательства. Ни револьвером никто не интересовался, ни свидетелей не допрашивали, и судья вполне удовольствовался показаниями коменданта, который хотя и сидел поблизости в момент убийства, но ни словом не обмолвился, своими глазами он видел убийство или полагается на свидетелей, вдобавок защитник был пустое место. Уныллер же, напротив, в отличной форме. Нам стоило немалых трудов уравнять наше знание вины Колера с нашей убежденностью. Наше знание ковыляет вслед за ней — да искусный защитник уже из этого противоречия соорудил бы оправдательный приговор. Но мы должны были предоставить нашему доброму Уныллеру возможность докопаться до причин. Колер дал выгодное поручение мне, так как я ничего не смыслю в бильярде. Отсюда я сделал вывод — он явно внимательно меня выслушал,— что Колер стрелял, чтобы наблюдать, убил, чтобы исследовать законы общества, а мотив не привел лишь постольку, поскольку суд все равно бы в такой мотив не поверил. Дорогой друг, он может сказать по этому поводу только одно: мотив получился чересчур литературный, их выдумывают только писатели, хотя и он тоже убежден: у человека, подобного Колеру, и мотив должен быть какой-нибудь необычный. Необычный-то необычный, но какой именно?

Штюсси-Лойпин задумался.

— Вы сделали ошибочный вывод,— сказал он,— потому что ничего не смыслите в бильярде. Колер играл от борта дуплетом.

— Да, да, от борта,— вдруг осенило меня.— Колер однажды

именно это сказал. За бильярдом в «Театральном». От борта дуплетом. Вот как можно расправиться с Бенно.

— А как он после этого сыграл? — поинтересовался Штюсси-Лойпин.

— Толком не знаю,— я пытался вспомнить.— Он, кажется, направил шар в борт, от борта шар отскочил назад и толкнул шар Бенно.

Штюсси-Лойпин налил себе вина.

— Колер убил Винтера, чтобы таким путем разделаться с Бенно.

— Но зачем? — растерянно спросил я.

— Ну, Шпет, вы еще наивней, чем я предполагал,— не скрыл своего удивления Штюсси-Лойпин.— А ведь, казалось бы, госпожа Штайерман подбросила вам ключ к решению. Колер ведет ее дела. Даже из тюрьмы. Он там не только плетет корзины. Штайерман нужен Колер, а Колеру нужна Штайерман, Людевиц — подставная фигура. Но кто здесь хозяин и кто — слуга? В каком-то смысле дочь Колера права. Это было убийство из любезности. Почему бы и нет? Тоже своего рода шантаж. У Штайерман лежат несчетные миллионы, и те двадцать миллионов тоже ей принадлежали, тут уж, надо полагать, Колер навел справки, а потому и расправился с Бенно через Винтера. По желанию Штайерман; возможно, ей даже не пришлось высказывать свое желание вслух, возможно, он угадал его.

— Допущение еще более безумное, чем правда,— сказал я.— Штайерман любила Бенно, потому что его любила Дафна, и отреклась от него лишь тогда, когда Дафна отреклась от нее.

— Нет, допущение более реальное, чем правда. Сама же правда по большей части неправдоподобна,— возразил Штюсси-Лойпин.

— Ни один человек не поверит в ваше допущение,— сказал я.

— Нет, ни один человек не поверит в правду, ни один судья, ни один присяжный, даже Уныллер — и тот нет. Ибо правда, она разыгрывается на уровнях, недоступных правосудию. Если назначат пересмотр дела, то единственная мысль, которая возникнет у суда, будет следующая: Винтера убил доктор Бенно. Поскольку лишь у него есть конкретный мотив. Даже если на деле он невиновен.

— Даже если на деле он невиновен?

— А вас это смущает? Ведь его невиновность — это тоже допущение. И он единственный, кто мог сделать так, чтоб револьвер исчез. Друг мой, возьмите этот процесс на себя, и через несколько лет вы станете вровень со мной.

Зазвонил телефон. Он снял трубку, потом снова положил.

— Моя жена скончалась,— сказал он.

— Примите мои соболезнования,— пролепетал я.

— А, не о чем говорить.

Он хотел снова налить себе, но бутылка оказалась пуста. Я встал, налил ему и поставил свою бутылку рядом с пустой.

— Мне еще ехать,— сказал я.

— Понимаю,— отвечал он.— К тому же «порш» влетел вам в копеечку.

Садиться я больше не стал.

— Господин Штюсси-Лойпин, я не собираюсь вести этот процесс, и с поручением Колера я тоже не желаю больше иметь ничего общего. А собранные материалы я просто уничтожу.

Он посмотрел свою рюмку на свет.

— Вы сколько получили задатку?

— Пятнадцать тысяч плюс десять на издержки.

По лестнице спустился человек с чемоданчиком, явно врач, он помешкал, соображая, подходить ему к нам или нет, но тут явилась домоправительница и проводила его.

— Вам нелегко будет выплатить этот долг даже в рассрочку,— предположил Штюсси-Лойпин.— А всего сколько?

— Тридцать тысяч плюс накладные расходы.

— Предлагаю сорок, и вы отдаете мне все материалы.

Я замялся.

— Вы что, хотите взяться за пересмотр?

Он по-прежнему рассматривал на свет свою рюмку с красным тальбо.

— Мое дело. Ну как, продаете?

— Наверно, должен продать,— ответил я.

Он допил свою рюмку.

— Ничего вы не должны, вы хотите.

Затем он снова наполнил рюмку и снова посмотрел ее на свет.

— Штюсси-Лойпин,— сказал я, чувствуя, что уже становлюсь вровень с ним,— Штюсси-Лойпин, если процесс состоится, я буду защитником Бенно.

И я ушел. Когда я вступил в тень одного из валунов, Штюсси-Лойпин крикнул мне вслед:

— Вы при этом не присутствовали, Шпет, зарубите это себе на носу, вы не присутствовали, и я тоже не присутствовал.

Затем он допил свою рюмку и снова погрузился в сон.

...Доктор г. к. Исаак Колер телеграммой известил меня о своем прибытии: он должен совершить посадку послезавтра в 22 часа 15 минут рейсом из Сингапура, тогда я застрелю его, а потом застрелю себя. Поэтому у меня останется всего две ночи, чтобы довести свой отчет до конца. Телеграмма Колера застала меня врасплох, потому, должно быть, что уже я не верил в его возвращение. Признаюсь честно, я пьян. Я был в «Хёке», последнее время я регулярно бываю в «Хёке», за одним из длинных деревянных столов, рядом с такими же пьяными. Живу на средства Гизелы и других барышень, которые после смерти Маркиза перебрались к нам, не из Невшателя, а из Женевы и Берна, тогда как многие из наших в свою очередь перебрались в Женеву и Берн, происходит множество служебных перемещений, которые лично меня никак не касаются, потому что официально я не имею права ничем заниматься, а неофициально мне и нечем заниматься, кроме как ждать, когда наступит послезавтра, 22 часа 15 минут. Место Лакки занял Нольди Орхидейный, он вроде бы уроженец Солотурна, карьеру сделал во Франкфурте и весь из себя такой изысканный, его барышни все теперь ходят с орхидеями, а полиция рвет и мечет, ведь нельзя же запретить ношение орхидей, некая дама-юрист из Базеля, которая около часу ночи в районе Бельвю шла по улице с орхидеей на блузке — она возвращалась с теледискуссии об избирательном праве для женщин,— была задержана, документов у нее при себе не оказалось, скандал разразился страшный, полиция и начальник полиции — последний из-за неуклюжего официального опровержения — выставили себя на всеобщее посмешище. Нольди Орхидейный получил неограниченную власть, завел себе адвоката Вихерта, одного из весьма почтенных наших адвокатов, который из чисто социальных соображений намерен выступить в защиту этих дам, ибо они, коль на то пошло, исправно платят налоги; он даже поднял вопрос о создании салонов массажа. Лично мне Нольди Орхидейный дал понять, что я «со своим образом жизни» неприемлем более в их деле, что, однако, он не допустит моего окончательного падения, это его долг перед покойным Лакки. что он уже побеседовал со своим персоналом — собственные слова Нольди — и что мне дозволено дальнейшее пребывание в «Хёке»; комендант с тех пор тоже ни разу не докучал мне своим вниманием, судя по всему, никого уже не интересует, как погибли Лакки и Маркиз, да и нераскрытое убийство Дафны предано забвению. Таким образом, меня хоть и не содержат, но все-таки поддерживают. Если в «Хёке» гости просят у меня адресочки, которые я даю, не требуя оплаты, после чего гости — по большей ча-

сти господа в летах — платят за мое виски, это выглядит вполне благородно, ну и естественно. Вот чем я могу обосновать свое подпитие, скверный почерк и торопливость, ибо, признаюсь честно, получив телеграмму Колера, я для начала ударился в запой, потом кое-как вернулся к себе на Шпигельгассе, а вот теперь, двадцать часов спустя, сижу за своим письменным столом. По счастью, у меня при себе оказалась бутылка «Джонни Уокера», к моему, я бы сказал, великому удивлению, хотя нет, теперь я припоминаю зубного врача из Туна, который отыскал меня в «Хёке» и которого я в «Монако» познакомил с Гизелой, да, получается, я пришел не из «Хёка», как помнится, утверждал ранее, а из «Монако» — поспешность, которая необходима при моих записях, не дает мне ни перечитать написанное, ни замалчивать те либо иные обстоятельства. Итак, свой бутылек я честно заработал, на Гизелу зубной врач не произвел впечатления, напротив, он внушил ей ужас, за «Вдовой Клико» — это была вторая бутылка — он вынул изо рта свои челюсти, сперва верхнюю, потом нижнюю, обе собственного изготовления, возле зуба мудрости, что слева, наверху, он продемонстрировал нам свои инициалы Ц. В., потом он взял челюсти в руку, постучал ими и попробовал укусить ими Гизелу в грудь. У Хиндельмана за соседним столиком слезы от смеха закапали на живот, особенно когда дантист уронил челюсти, которые упали под стол, и не только под наш, но и под стол Хиндельмана, а тот сидел с Мерилин, новенькой из Ольтена, откуда, кстати, и сам Нольди Орхидейный, хотя нет, он из Солотурна,— или все-таки из Ольтена? — после чего дантист полез на четвереньках за своими челюстями, которые мало того, что никто не желал поднимать, но даже, наоборот, все заталкивали башмаками под соседний стол. Наконец, Гизела все-таки сменила гнев на милость, а мы так долго смеялись, что уже стемнело, и я получил свою бутылку «Джонни». А дурацкое ржание Хиндельмана разозлило меня потому, что в процессе Колера он оказался никудышным представителем обвинения. Это был процесс, я не оговорился, не пересмотр, а рассмотрение. Все предполагали, что Штюсси-Лойпин ведет дело к пересмотру, но он поразил всех, подав апелляцию в департамент юстиции. Доктор г. к. Исаак Колер ни разу не делал признания, что застрелил германиста, профессора Адольфа Винтера, в ресторане «Театральный». Одних свидетельских показаний недостаточно, если сам преступник оспаривает факт преступления, в конце концов свидетели могут и заблуждаться. По этой причине дело Колера подлежит не юрисдикции кантонального суда, а суду присяжных. И следовательно, надо предпринять все допустимое с точки зрения правосудия и закона, дабы аннулировать старый приговор и передать дело Колера суду присяжных, как и положено. Эта апелляция Штюсси-Лойпина, вызвавшая судорожное перетряхивание актов и протоколов, каковое (перетряхивание), к великому ужасу главы нашей юстиции Мозеса Шпрюнглина, подтвердило отсутствие признания со стороны обвиняемого, ибо за признание были ошибочно приняты философские выверты Колера, имела результатом, что глава нашей юстиции досрочно спровадил на пенсию председательствовавшего тогда судью кантонального суда Егерленера, а четырем членам судейской коллегии, равно как и государственному прокурору Уныллеру, вынес порицание, дело же Колера передал суду присяжных — с точки зрения юридической акция несколько поспешная. Яростная атака Уныллера ни к чему не привела, протест, внесенный в федеральный суд, был с такой же, можно сказать сенсационной, быстротой отвергнут — явление поистине уникальное для властей, из-за вечной перегрузки работающих обычно со скоростью улитки; словом, новый процесс состоялся уже в апреле 1957 года. Уныллер не сдавался, он хотел и здесь выступить в качестве обвинителя, но Штюсси-Лойпин отвел его кандидатуру, как лица пристрастного. Уныллер сражался, как лев, и уступил, лишь когда прослышал,

что Штюсси-Лойпин намерен привлечь Линхарда в качестве свидетеля. А со Штюсси-Лойпином не совладал бы и Фойзер, причем я только сейчас спохватился, что до сих пор ничего не рассказал о самом процессе, не рассказал, к примеру, о неприглядной роли, которую сыграл на нем комендант, показав, что не видел своими глазами, как стрелял Колер, а просто предположил это. Словом, Штюсси-Лойпин ухитрился нажать на все клавиши сразу. Спору нет, он был великолепен. Приглашенные Штюсси-Лойпином свидетели до такой степени противоречили один другому, что присяжные временами с трудом подавляли смех, а публика просто визжала от восторга; то обстоятельство, что револьвер так и не был найден, Штюсси-Лойпин разыграл словно по нотам, и если прежними судьями оно было оставлено без внимания, иными словами, оставлено без внимания отсутствие corpus delicti [1], это уже само по себе является вполне уважительной причиной, чтобы оправдать Колера за недостатком улик. Постепенно Штюсси-Лойпин стал направлять подозрение на Бенно: и к моменту убийства Бенно тоже находился в «Театральном», и как-никак он чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, и вдобавок владелец коллекции оружия, которую (если верить Линхарду) намерен продать из-за финансовых затруднений — тут по залу прошел шепоток,— далее Штюсси-Лойпин позволил себе кой-какие намеки относительно размолвки между доктором Бенно и профессором Винтером, из-за чего возникла необходимость допросить Бенно, все с нетерпением ожидали допроса, но Бенно не явился в суд. Я и сам разыскивал его уже много дней. Я принял твердое решение взять на себя защиту Бенно, о чем уже ранее уведомил Штюсси-Лойпина, для защиты мне надо было сперва получить от Бенно кой-какую информацию, чтобы далее расследовать преступление Колера, но даже в баре «Утоли моя печали» про Бенно никто ничего не знал. Фойхтинг предполагал, что Бенно скрывается у Дафны. Дафна — добрая душа и не оставляет в беде бывших любовников, некий Эмиль Э., коммивояжер фирмы деодорантов, который недавно оставил у нее на Аураштрассе свой месячный доход, сказал, что у него создалось впечатление, будто в квартире у Дафны есть кто-то еще. Найти Бенно не удавалось. Все думали, он сбежал. Поставили на ноги всю полицию, подключили Интерпол, происходило примерно то же самое, что и при аресте Исаака Колера. Затруднения возникли с Дафной, она потребовала, чтобы ей предъявили ордер прокурора на проведение обыска в ее квартире, когда же Ильза Фройде на следующее утро переступила порог моего бюро на Цельтвеге, она увидела, что лихой рапирист и меткий стрелок, свисает с люстры и при этом покачивается на сквозняке, возникшем оттого, что окна и так уже были открыты, а Ильза, входя, естественно, открыла дверь. У Бенно сохранился ключ от его бывшего бюро, он влез на мой письменный стол, который когда-то был его столом, а тем временем я с Дафной... чтобы хоть таким способом отыскать Бенно... от меня еще много дней спустя разило всевозможными эссенциями вышеупомянутого Эмиля Э... Должно быть, именно поэтому я с такой неохотой пишу о процессе: на суде непременно зашла бы речь о моих новых отношениях с Дафной, причем зашла бы в присутствии Елены, надумай Штюсси-Лойпин допросить Дафну, а он непременно бы надумал, не опереди его Бенно своим самоубийством, которое тотчас было истолковано как признание вины. Доктор г. к. Исаак Колер был с триумфом оправдан. Покидая зал, он задержался возле меня, поглядел холодными, бесстрастными глазами и сказал, что разыгравшееся здесь действо есть самое постыдное из всех возможных вариантов решения проблемы, что мои финансовые затруднения — господи ты боже мой — совершенно понятны и почему вместо того, чтобы прийти к нему, я передал резуль-

[1] Состав преступления *(лат.)*.

таты своих изысканий Штюсси-Лойпину, который и устроил этот постыдный балаган правосудия, оправдательный приговор, тьфу и еще раз тьфу, какой позор для человека — выглядеть невинной овечкой, да и где они есть, эти невинные овечки, а потом он добавил фразу, которая окончательно довела меня до белого каления и подтвердила, что убить Колера — это мой долг, поскольку должен же кто-то восстановить попранную справедливость, чтобы она окончательно не выродилась в фарс. А сказал Колер следующее: если бы я передал материалы расследования ему, вместо того чтобы продавать их Штюсси-Лойпину, Бенно и безо всякого суда болтался бы на люстре; с этими словами Колер толкнул меня, словно какого-то бродяжку, я отлетел на Мокка, который стоял позади меня, укладывая в карман свой слуховой аппарат, а когда я толкнул его, сказал: «Да-да, как же, как же». Итак, Колер покинул здание суда. Банкет победителей в Доме гильдий, «У стрекозы». Тост президента, выдержанный в гекзаметрах, оттуда Колер — прямиком в Австралию, а я со своим револьвером опаздываю к отлету. Эта история уже известна. С тех пор миновало полтора года, снова настала осень. Всегда осень. Господи, а я опять пьян, боюсь, что мой почерк станет совсем уж неразборчивым, а время одиннадцать часов — осталось еще 35 часов и 15 минут,— если пить дальше, произойдет катастрофа. Ужасно, если Елена до сих пор меня любит, для меня это было бы равносильно смертному приговору. Могу только заверить, что я ее любил, а может, люблю и до сих пор, хотя она спит с этим старым огрызком Штюсси-Лойпином, на днях я встретил ее с Фридли, он обхватил правой рукой плечи Елены, словно давно уже считает ее своей собственностью; впрочем, все это не играет роли. Писать про нашу любовь не имеет смысла, как не имеет смысла передавать предшествующий разговор с проповедником секты Бергером на лестнице — предшествующий, я еще раз наведался в «Хёк», но неудачно, с виски вышла осечка, завсегдатаи смотрели футбол и были в плохом настроении, потому что швейцары играли из рук вон, а у типов, которые обычно спрашивают адреса, настроение было и того хуже. «Монако» был закрыт. Я вышел вообще без денег, я оставил дома кошелек, мне позарез нужно было виски, я побрел в «Театральный», тоже никого, Альфредо, если, конечно, это был Альфредо, как-то странно на меня посмотрел, Элла и Клара решительно вышли откуда-то из глубины зала, кто-то произнес мое имя, Штюсси-Лойпин сидел за столом, где во времена оны сиживал Джеймс Джойс, и мановением руки пригласил меня сесть к нему. Элла и Клара надулись, но Штюсси-Лойпин — он и есть Штюсси-Лойпин. Он сказал, чтоб я не бегал с расстегнутой ширинкой, а когда я принял приглашение, сказал еще, что я пошел вразнос, и подлил вишневки в свой кофе. А мне нужна бутылка виски, невпопад отвечал я, состояние у меня было безнадежное, я понял, что без виски не могу жить, меня охватил панический страх, а вдруг я не разживусь виски, все во мне противилось мысли выпить вместо виски что-нибудь другое, вино, или, скажем, пиво, или водку, а то и вовсе прокисший сидр, который лакают клошары (отчего у них хоть и развивается цирроз печени, но зато не бывает ревматизма), остатки человеческого достоинства во мне требовали виски, только виски, во имя справедливости, которая меня доконает, но тут Элла уже поставила передо мной стакан. Долине Штюсси снова нужен адвокат, холодно начал Штюсси-Лойпин, его преемника, ходатая Штюсси-Зюттерлина, подстрелили на охоте, кто-то принял его за серну, то ли Штюсси-Бирлин, то ли Штюсси-Фойзи, не исключено, впрочем, что это был Штюсси-Моози, следователь в Флётигене положил дело в архив, отчаявшись его раскрыть, вот подходящее для меня место, деревня впервые получила бы в ходатаи одного не-Штюсси, ну а там можно как-нибудь устроить, чтобы я снова вернул себе свой патент. И это он предлагает именно мне, сказал я, залпом выпив свой стакан; именно вам, отвечал он, знаете,

Шпет, продолжал он, настало время, чтобы я из всего делал выводы. И если он, Штюсси-Лойпин, питает неуемную страсть вызволять даже виновных из пасти нашей юстиции, коль скоро у них есть хоть малейший шанс избежать этой пасти — чтоб уж оставаться в рамках заданного образа,— то отнюдь не с целью поглумиться над правосудием. Адвокат — это адвокат, а не судья, верует ли он в справедливость и в закон, основанный на идее справедливости, или не верует — его личное дело, в конце концов, это вообще чистая метафизика, как, например, вопрос о сути числа, но, будучи адвокатом, он обязан разобраться, как должна юстиция воспринимать попавшего в ее лапы субъекта — как виновного или как невиновного, независимо от того, виновен он или невиновен на самом деле. Елена рассказала ему о моем подозрении, но мое расследование не было доведено до конца. Елена хоть и была тогда стюардессой — господи, в те времена люди еще воображали, будто это бог весть какая соблазнительная профессия,— но не в том самолете, которым английский министр возвращался к себе на остров. А возвращался он на английском военном самолете, которые навряд ли обслуживаются стюардессами компании «Свиссэйр». Почему Елена так туманно ответила тогда на мой вопрос, понять немудрено, она не сразу уловила смысл моего вопроса, а что до слов, которые сказал мне Колер и которые передал ему, Штюсси-Лойпину, Мокк, то лично он их разгадать не может. Колер ведь сам хотел нового разбирательства; если же он не желает выглядеть невинной овечкой, ему бы надо признать, что он прихлопнул старого члена ПЕН-клуба, и объяснить, черт подери, куда он после этого задевал револьвер. У него, у Штюсси-Лойпина, пренеприятное чувство; вызволить старика из когтей юстиции — это был его юридический долг, теперь, однако, ему сдается, что он выпустил на свободу хищного зверя, одиночку, шатуна, которые всего опаснее, за поведением Колера скрывается мотив, но обнародовать его Колер не желает, поначалу он, Штюсси-Лойпин, полагал, будто Штайерман использует Колера для своих целей, теперь же ему кажется, что это Колер ее использует. Винтер, Бенно, Дафна, два сутенера — не слишком ли много покойников,— а в один прекрасный день, если я не уймусь, меня тоже выудят из Зиля. Да, после этой речи я получил бутылку, а уж как я добрался до Шпигельгассе, сказать не могу; покуда Штюсси-Лойпин потчевал меня своими соображениями, Элла принесла мне еще один стаканчик виски — чудо, что я вообще оказался в состоянии изложить свой разговор с ним, а сейчас половина второго ночи; должно быть, я ненадолго вздремнул, остается немногим более двадцати часов — нет, девятнадцати, я ошибся, сейчас половина третьего — и тогда Колер, доктор г. к. Исаак Колер,— а разговор с Симоном Бергером, вероятно, произошел на лестнице, когда я с бутылкой виски вернулся на Шпигельгассе. Прошло, по-моему, несколько недель с тех пор, как замолкли псалмы «Святых Ютли», они просто вдруг перестали драть глотки — Штубер из полиции нравов как раз сидел у меня и весьма недвусмысленно намекал, что начальство по-прежнему подозревает наличие связи между мной и организованной проституцией, как вдруг резко, на полуслове оборвался псалом: «О Христос, твои терзанья...» — за этим последовали крики, вопли, протесты, рыдания, шум, какого там отродясь не бывало, и топот множества ног вниз по лестнице, далее — мертвая тишина, и Штубер продолжал выкладывать свои подозрения. Вот почему мне следовало бы удивиться, когда я обнаружил этажом ниже, перед дверями молитвенного помещения, их проповедника. Он стоял неподвижно, прислонясь к дверям. Я хотел пройти мимо, но он рухнул на меня и упал бы, не подхвати я его. Отталкивая его, я увидел, что у него обожжено лицо и нет глаз. Я в ужасе хотел продолжать свой путь вверх по лестнице, к себе, но Бергер не отпускал, он вцепился в меня и кричал, что глядел на солнце, дабы увидеть там бога, а увидев бога,

прозрел. Прежде он был слеп, теперь он зрячий, зрячий, и под этот крик он дернул меня так,что оба мы упали на ступеньки, ведущие ко мне. Уж и не помню, что он мне тогда наговорил, я был слишком пьян, чтобы понимать, может, это был полный бред, что он талдычил о внутренности солнца, о полной темноте, которая там царит и неразрывно слита с сокрытостью бога, но постичь это можно, лишь позволив солнцу выжечь твои глаза, да, лишь тогда можно воспринять, как бог, словно лишенная размеров точка абсолютной тьмы, уходит в глубь солнца, с неутолимой жаждой впитывает солнце в себя, заглатывает, не становясь от этого больше, словно он бездонная дыра, бездна бездн, и по мере того как солнце пустеет внутрь, к центру, оно расширяется наружу, покамест еще ничего не заметно, но завтра, примерно в половине одиннадцатого вечера, настанет великий срок, солнце, сохранившись лишь в виде света, вспыхнет, разрастется со скоростью света и все сожжет, земля от этого непомерного сияния изойдет паром — примерно так он говорил, как пьяный пьяному, я и был тогда пьян и таким остался, только еще пьяней, почему и не могу понять, чего ради я пишу здесь об этом проповеднике, который выступил в покрывале перед своей общиной, возвестил им скорый конец света и потребовал, чтобы его приверженцы позволили солнцу выжечь себе глаза, как позволил он, затем он сорвал с головы покрывало, крики, протесты, рыдания, небывалый шум, который мне тогда довелось услышать, и топочущая вниз по лестнице община — вот каков был ответ на его слова. Я перечитал написанное. Осталось часа три до того, как мне ехать в аэропорт. Комендант уже побывал у меня с утра пораньше, примерно в половине восьмого, а может, еще и половины не было, он сидел перед моей кушеткой, я очень удивился, когда, проснувшись, увидел его перед собой, правильнее сказать, я заметил его, лишь когда меня вырвало, и я вернулся из уборной и хотел снова лечь. Комендант спросил, не сварить ли кофе, и, не дождавшись моего ответа, прошел в кухонную нишу, а я снова уснул. Когда же я проснулся, кофе был уже готов, и мы в молчании выпили его. После чего комендант спросил, известно ли мне, что я — каждый десятый; на мой же вопрос, как понимать этот странный вопрос, он ответил, что оставляет на свободе каждого десятого и я — в их числе. Не то он был бы просто обязан арестовать меня прямо у гроба Дафны; подобно мне, он был адвокатом, подобно мне — невезучим, лишь изредка его назначали официальным защитником, вот он и приземлился в полиции, как социалист, друзья по партии, которые бы в жизни не подумали к нему обратиться, возникни у них личная потребность в адвокате, сосватали его юрисконсультом в уголовный отдел городской полиции, если же он потом продвинулся вверх, а под конец даже стал комендантом, это все результат не каких-то там выдающихся заслуг, а политических интриг, они вознесли его на своей волне причем точно так же обстоит дело и на других уровнях юридического аппарата, он отнюдь не намекает на коррупцию, но притязания юстиции представлять собой нечто вполне объективное, некий стерильный инструмент, свободный от каких бы то ни было общественных соображений и предрассудков, настолько не соответствуют истинному положению дел, что он и случай с Колером воспринимает далеко не так трагически, как воспринимаю его я; спору нет, я совершил ошибку, сперва приняв поручение Колера, а затем передав Штюсси-Лойпину материалы, с помощью которых Штюсси-Лойпин сумел загнать Бенно на люстру и выиграть процесс, но виноват Колер или не виноват — а ведь всем и каждому известно, что именно господин кантональный советник пристрелил университетского профессора, он, комендант, тоже в этом уверен,— как он поглядит на меня, как подумает, куда меня завело мое бурное возмущение оправдательным приговором, хоть и уникальным с юридической точки зрения, однако безупречным и потому вполне понятным — пусть даже справедливо-

сти был здесь объявлен шах и мат,— то и увидит, что, если я и впредь намерен упражняться в справедливости, у меня не остается иного выхода, кроме как приговорить Колера, а заодно и себя самого к смертной казни и привести приговор в исполнение, достать револьвер, который я припрятал у себя под кушеткой, да и переправить сперва Колера, а потом себя на тот свет, хотя лично он, комендант, считает это пусть и логичным, но лишенным всякого смысла, ибо перед лицом справедливости, взятой в ее абсолютном значении, как идея, каковой, собственно, она и является, я выгляжу ничуть не лучше Колера, достаточно хотя бы вспомнить роль, которую я сыграл в судьбе Дафны. Перед лицом справедливости оба мы — одинаковые убийцы, что Колер, что я. А вот судья, тот отправляет вполне нормальные обязанности. Его дело — следить за тем, чтобы худо-бедно функционировал столь несовершенный институт, как юстиция, призванная заботиться о том, чтобы на этом свете соблюдались известные правила человеческой игры. Судья так же не обязан быть справедливым, как папа — верующим. Но когда отдельный человек вздумает осуществлять справедливость на свой лад, получится до чертиков бесчеловечно. Он непременно упустит из виду, что жульничество порой оказывается гуманнее, чем непогрешимость, поскольку вселенский механизм время от времени надо смазывать — занятие, которое больше других пристало нашей стране. Фанатический поборник справедливости должен быть и сам справедлив, а действительно ли я справедлив, судить мне, а не ему. Как видите, комендант, я оказался в состоянии передать с большей или меньшей точностью смысл нашего разговора, вернее, не нашего разговора, а вашей лекции, потому что лично я не проронил ни слова, лежал себе, проблевавшись, и слушал вас; не удивило меня также, что вы угадали, какое решение я принял с первого дня, может, я именно потому и не противился собственному падению, может, я именно потому и помог Лакки и Маркизу из Невшателя состряпать алиби, может, я именно потому и стал таким, каков я есть,— даже на взгляд Нольди Орхидейного слишком опустившимся, ниже достоинства тех дам, чьи интересы он представляет,— чтобы на свой лад стать не менее виновным, чем доктор г. к. Исаак Колер, но уж тогда мой приговор и приведение его в исполнение становится для меня справедливейшей акцией на свете, ибо справедливость может вершиться лишь между равновиновными, так существует лишь одно распятие Изенхаймского алтаря, где на кресте висит распятый великан, безобразный труп, под чьей непомерной тяжестью прогибаются балки, к которым он пригвожден, Христос, еще более страшный, нежели те, для кого нарисовано это распятие, нежели прокаженные; когда они видят на кресте такого бога, между ними и этим богом, по их разумению наславшим на них проказу, устанавливается справедливость: такой бог по справедливости был распят ради них. Я пишу на трезвую голову, господин прокурор Фойзер, я вполне трезв, именно поэтому я и прошу вас не обвинять коменданта в том, что он не отобрал у меня револьвер, весь наш разговор шел, вернее, весь его добропорядочный монолог был произнесен отнюдь не отеческим тоном, а эта история насчет каждого десятого, которому он дает улизнуть,— пусть в нее верит тот, кто способен верить, может он был бы рад, если бы мог поймать хоть каждого десятого, все вместе взятое было провокацией: задним числом он будет злиться, что не задержал меня тогда, на кладбище, когда зонтик улетел, а он взял у меня из рук стилет, но я его хорошо знаю, он рассуждает быстро, он понял, что тогда пришлось бы не просто заново поднять вопрос о том, кто убил бедную Дафну Мюллер, но и о том, кто убил убийц Дафны, что таким путем он угодил бы в орбиту Моники Штайерман, а кто по доброй воле захочет связываться с протезной империей, которая вознамерилась снова заняться производством оружия? Но зато, когда через два часа, точнее через два часа тринадцать минут, я вы-

стрелю в доктора г. к. Исаака Колера, комендант тотчас начнет активно действовать, даже если мои выстрелы ни к чему не приведут,— однако, господин прокурор, давайте условимся: с одной стороны, комендант пытался своим душеспасительным монологом сделать так, чтобы выстрелы, если даже я буду стрелять, не причинили вреда, но вот чего вы никак не могли заподозрить, господин комендант (я снова обращаюсь к вам): я давно заменил холостые патроны на боевые. Поэтому я ни разу не вдавался в подробности насчет мелочного торговца в нижнем этаже нашего дома. Подсознательно. Чтобы и вы не занялись им подробнее. Этот одноглазый тип — большой оригинал, у него можно купить решительно все. Можно было. Это тоже стало теперь прошлым, торговец уже три недели как выехал, помещение лавки на первом этаже и квартира на втором опустели, у «Святых Ютли» тоже царит тишина и запустение, а я вчера (или позавчера, или позапозавчера) обнаружил у себя заказное письмо, которое получил несколько месяцев назад, но не выбрался прочесть, письмо того содержания, что дом на Шпигельгассе как памятник архитектуры, находящийся под охраной государства, по причине аварийного состояния нуждается в безотлагательной реставрации усилиями Фридли, который перестроит его изнутри и соорудит в старых стенах роскошные квартиры — это новое направление его деятельности,— в связи с чем я до 1.10 должен освободить занимаемую мною площадь, а поскольку 1.10 давно миновало, мне пришлось блуждать по всему городу, чтобы организовать для себя последнюю бутылку виски, как вчера у Штюсси-Лойпина в «Театральном», не то я сумел бы добыть ее в квартире у одноглазого, пусть не виски, но, на худой конец, бутылку граппы точно так же, как я отыскал в его лавочке, в раструбе альтийского рожка, патроны, а холостые, господин комендант, которыми вы зарядили мой револьвер, ссыпал в рожок. О, мы оба, доктор г. к. Исаак Колер и я, умрем весьма благозвучно, под родные напевы. Но прежде чем я — пусть даже моя трезвость принимает все более угрожающий характер, до того угрожающий, будто передо мной восходит солнце, на которое я, как тот безумный проповедник, должен глядеть не отрываясь,— прежде чем я через час без малого выеду в аэропорт (на своем «фольксвагене», он не очень хорошо перенес ремонт, вернее, я не дал его завершить по недостатку средств), последнее обращение к вам, комендант. Я снимаю свое подозрение. Вы вели себя как порядочный человек. Вы хотели предоставить мне свободу решения, не хотели попирать мое достоинство. Мне очень жаль, что я принял другое решение, не то, на которое рассчитывали вы. А теперь еще одно, самое последнее признание. В этой игре за справедливость я проиграл не только самого себя, но и Елену, дочь убитого мною, который станет моим убийцей. Ведь мне придется застрелиться, потому что он будет застрелен мною. Futurum passivum. Снова припоминаю уроки латыни, которые давал мне в приюте старый священник, чтобы подготовить меня к поступлению в городскую гимназию. Я всегда с удовольствием вспоминаю о приюте, даже у Мокка вспоминал, хотя говорить с Мокком очень трудно. Когда один писатель рассказывал о смерти своей матери, к которой, судя по всему, был очень привязан, я начал рисовать преимущества приюта, а семью изображать как рассадник преступлений. Это ваше хваленое семейное счастье, от него же с души воротит — чем явно раздосадовал писателя. Мокк же вдруг захохотал, Мокк, про которого никогда толком не знаешь, с чем он согласен, а с чем нет — я полагаю, он умеет считывать с губ, потому что снова отложил в сторону свой слуховой аппарат, хотя лично он это отрицает (очередная хитрость),— когда я хвалюсь тем, что вырос без отца и без матери, сказал Мокк, ему это кажется ужасным, к счастью, продолжал он в своей многословной манере — писатель тем временем давно ушел,— к счастью, я стал юристом и не собираюсь заделаться политиком, хотя и это до конца не исключено, но человек, который

восхваляет сиротский приют, куда хуже, чем тот, который в молодости воевал либо со своим отцом, либо со своей матерью, либо с обоими сразу, как, например, он, Мокк, который ненавидел своих стариков пуще чумы, по его собственному выражению, хоть они и были добросердечные христиане, он их все равно ненавидел за то, что они произвели на свет восемь детей и его в придачу, не спросив ни у кого из этой нетипичной по своим размерам оравы, желает ли он (или она) быть произведенным на свет, делать детей — это преступление, не знающее себе равных, когда теперь он яростно бьет резцом по Chemp (Мокк так называет камень), он представляет себе, что таким образом по заслугам воздает своему отцу и своей матери, но в моем случае он спрашивает, что я за тип такой, пускающий слюни по поводу сиротского приюта. Пусть у него, Мокка, в печенках сидит ненависть к тем, кто его зачал, родил, а потом не утопил в помойном ведре, он высекает свою ненависть из камня, превращая ее в фигуру, придавая ей форму, которая мила его сердцу, потому что он сам ее создал, и которая, умей она чувствовать, могла бы в свою очередь ненавидеть его, как он ненавидел своих родителей, которые тоже его любили, которым он тоже причинял огорчения; все это очень человечно, круговорот ненависти и любви между творцом и творением, но когда он представит себе такого, как я, который вместо ненависти к тем, из-за кого он существует и за то, что он существует, любит учреждение, произведшее и сформировавшее его, и который с самого начала был наделен склонностью не к человеческому, а к идеологии или всего лишь к какому-нибудь принципу — к справедливости, например, когда же он вдобавок пытается представить себе, как подобная личность будет впоследствии обходиться с людьми, не соответствующими его принципу, принципу справедливости, чтоб уж не приводить другого примера,— а кто, скажите на милость, ему соответствует? — у него от страха выступает холодный пот. Его, Мокка, ненависть созидательна, моя же разрушительна, это ненависть убийцы.

— Шпет, дружище,— завершил он малопонятный ход своих рассуждений,— мне вас от души жаль. Уж больно у вас все нескладно получилось.

После этого разговора я больше ни разу не переступал порога его мастерской. А почему я рассказываю вам об этом разговоре, господин комендант? Да потому, что этот скульптор, которого недавно чествовали в Венеции, просто до чертиков прав. Я человек из реторты, я выращен в образцовой лаборатории, наставлен в соответствии с принципами воспитателей и психиатров, продуцируемых нашей страной наряду со сверхточными часами, психотропными средствами, тайной банковских вкладов и вечным нейтралитетом. Я и сам стал бы образцовым продуктом этого опытного хозяйства, но в нем недоставало бильярдного стола. Вот меня и выпустили в мир, не наделив умением разгадать его, поскольку до сих пор у меня не было с ним точек соприкосновения, поскольку я воображал, будто и здесь царят нравы детского дома, среди которых я вырос. Без всякой подготовки меня столкнули с законами хищных зверей, царящими среди людей, без всякой подготовки я увидел себя лицом к лицу с теми страстями, которые формируют эти звериные законы,— с жадностью, ненавистью, страхом, хитростью, властолюбием, но столь же беспомощным оказался я и при встрече с теми чувствами, которые придают человеческие черты звериным законам,— с достоинством, чувством меры, разумом (любовью, наконец. Человеческая действительность потащила меня за собой, как бурная река тащит не умеющего плавать, сопротивляясь грозящей гибели, я на пороге ее сам стал хищным зверем, и к этому зверю после ночного разговора со Штюсси-Лойпином, когда я продал свои материалы, призванные оправдать убийцу, явилась дочь убийцы: да, Елена поджидала меня в моей адвокатской конторе на Цельтвеге, в моей шикарной трехкомнатной квартире, доставшейся

мне от Бенно. Лишь теперь я сообразил, что она ждала меня не перед дверью, а внутри. В кресле перед моим письменным столом. И что она свободно ориентировалась в квартире. Впрочем, Бенно, Бенно — кто б устоял перед ним! И вот она пришла, потому что доверяла мне, и вот она отдалась мне, потому что я хотел ее, но не хватило у меня в ту ночь ни смелости довериться также и ей, ни убежденности, что и она хочет меня, потому что любит. Так мы и прошли мимо нашей любви. Я скрыл от нее, что никто не заставлял ее отца совершать убийство (даже если чертова лилипутка высказала такое желание), что ему просто нравилось изображать на нашей жалкой планете господа бога, что сам я дважды продался, один раз — ему, другой раз — прима-адвокату, которого тешила возможность довести до конца игру правосудия, подобно гроссмейстеру, великодушно доигрывающему партию, начатую новичком. И мы спали друг с другом в ту ночь, не разговаривая и не подозревая, что счастье без слов немыслимо. Поэтому, быть может, и существует лишь мимолетное счастье, его я испытывал в ту ночь, когда начал догадываться, кем мог бы стать, несказанные возможности, которые были во мне заложены и которые я не осуществил, а поскольку я тогда чувствовал себя счастливым целую ночь напролет, я был убежден, что стану тем, чем так и не стал. Но утром, когда мы взглянули друг на друга, нам стало ясно, что все кончено. А теперь мне пора в аэропорт.

III

Послесловие автора. Странным образом я свел случайное, если вдуматься, знакомство с некоторыми людьми, о которых лишь впоследствии узнал, что они были не просто замешаны в это многоплановое действо, но и являлись в нем главными персонажами.

Произошло это году примерно в 1984-м. В Мюнхене. Дневника я не веду, поэтому слишком полагаться на приведенные мной даты нельзя. По-моему, это было в конце мая, а всю историю я воспринял тогда как вымышленную. Удобный парк, удобная вилла, затерянный среди высоких деревьев. В парке, вдоль одной из стен виллы,— накрытые столы. Милая хозяйка. Издатели, журналисты, театр, кино — словом, разумно дозированная культурная жизнь. Я, по обыкновению, кого-то с кем-то путаю. Мне смутно кажется, что другая и есть та, про которую я думаю, что это она. Потом выясняется, что это все-таки другая. Потом и еще кто-то оказывается совершенно не тот. Потом я с перепугу сам пугаю одного главного режиссера, в театре которого я знал когда-то решительно всех, а теперь не знаю решительно никого. Я думаю, что он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу, а он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу. Какой-то актер мечется, словно король Лир, забывший свой текст, он безутешен: «Театр гибнет. Нет новых пьес». Другого актера я столько раз видел по телевизору, что теперь принимаю его за старого знакомца, а он смущен, потому что видит меня впервые. Какая-то женщина ввозит какого-то старика в кресле на колесиках. Женщина элегантна, высокомерна, красива. Лет около пятидесяти. Я знаю эту женщину, но не знаю, как ее зовут. Она сдержанно меня приветствует, но обращается ко мне на «ты» и называет меня «Макс». Она меня с кем-то спутала. Смех. Она приносит извинения. Я чувствую себя польщенным. Она переходит со мной на «вы». А кто этот старичок? Ее отец. Должно быть, ему очень много лет? Да, сто без малого. Хрупкий, бесплотный. На редкость бойкий. Кожа розовая. Редкие седые волосы, подстриженные усики, холеная бородка. Нечто среднее между окладистой и клинышком. Он имел беседу с баварским премьер-министром. О политике? Нет, об учреждении фонда эффективных наук. Не понимаю. Сегодня развелось слишком много бесполезных наук. Понимаю. Она

все еще думает, что я ее знаю, а я ее не знаю. Хозяйка беседует со старичком. Болтает с ним, часто смеется. Должно быть, старик не лишен остроумия. Сижу между незнакомой знакомой и немецкой вдовой итальянского издателя, с которой я однажды в Милане поддерживал знакомство целый день. Знакомка, имени которой я не могу вспомнить, догадалась, что я не могу вспомнить, как ее зовут. Она умолкает. Вдова рассказывает мне про одну актрису, в которую я некогда был влюблен. Актриса сбежала с пожарным. После ужина — в салон. Люди кино и театра толпятся вокруг главного режиссера. Это те, кто интересуется искусством. Другие — вокруг старика в каталке. Это те, кто интересуется действительностью. Некий искусствовед произносит краткую благодарственную речь хозяйке дома, на несколько минут соединив своей речью обе сферы. Он слишком хорошо разбирается в искусстве, чтобы не недооценивать жизнь, и слишком хорошо — в жизни, чтобы не переоценивать искусство. Потом сферы вновь распадутся. Одни спорят о Бото Штраусе, другие — о Франце-Йозефе Штраусе. А какого мнения придерживается старичок? Он — историк, а не метеоролог. Что он хочет этим сказать? Историк делает долгосрочные прогнозы. Он метафизик. Он мнит, будто овладел мировым духом. Метеоролог же позволяет себе лишь краткосрочные прогнозы. Он человек науки. И не считает, что овладел атмосферой. На деле мир непостижим. Что доступно политике? Быстрое хирургическое вмешательство, а затем — наблюдение за непредсказуемым результатом. Что он хочет этим сказать? Концерн, которому он по доброй воле помогал советами и которым не по доброй воле руководил, попал в тяжелое положение. Нет нужды подробней его описывать. Экономические взаимосвязи еще сложней, чем атмосферная оболочка, прогнозы здесь еще ненадежнее. Старец говорил легко, негромко и быстро. Лишь время от времени слышалось легкое постукивание вставных челюстей. И тогда возникла необходимость то ли убить одного человека то ли перепоручить убийство кому-нибудь еще. Общая растерянность. Смущение. Потом умиление. Словно старец надумал поведать любовную историю. Разумеется, выносить на обсуждение убийство — это же faux pas[1]. Культурная сфера тоже навострила уши. В этом уже было нечто, как если бы старичок, допустим, ел рыбу ножом. Хотя король, да вдобавок король на пороге столетия, имеет право и на это.

— Он бесподобен,— прошелестела одна актриса, которую я тоже когда-то видел, не то в телевизоре, не то в кино, или думал, что видел. Экран кино и телевизора запекает все лица в одно. Добрый десяток актеров выглядит одинаково. Старец попросил бокал шампанского. Отхлебнул. Появился один режиссер и артист, мой давний приятель. По происхождению — швейцарец. По виду — российский великий князь, привыкший иметь дело с крепостными, рослый, осанистый, но уже после утраты родовых поместий. Ухоженная бородка, продуманная небрежность в одежде. Поцеловал ручку хозяйке, заметил некоторую растерянность общества, не без удовольствия обвел всех взглядом и с присущей только ему, греющей сердце барственностью изрек: «Приветствую вас, господин советник! Приветствую тебя, Елена! — После чего, благосклонно сделав мне ручкой, продолжал:— Я вижу, господин советник начал рассказывать свою историю. Фантастическая история». Затем налил себе шампанского и сел. А старец продолжал. От него исходила какая-то властная сила, которая всех себе подчиняла. И дело было не в том, что́ он говорил, а в том как. Вот почему не представляется возможным воспроизвести эту историю так, как ее рассказывал он. Пусть хозяйка не посетует на него за то, что он без всяких там экивоков говорит об убийстве. Ему задали вопрос — примерно так продолжал он,— что́ считается

[1] *Ложный шаг (франц.).*

возможным с политической точки зрения. Политика и экономика подчиняются одним и тем же законам, а именно — политике власти. Что применимо и к войне. Это экономика прежде всего есть продолжение войны другими средствами. И как бывают войны между государствами, так бывают войны и между концернами. А гражданским войнам соответствует скрытая борьба за власть в пределах одного концерна. Повсюду снова и снова возникает необходимость либо отлучить кого-то от власти, либо быть отлученным самому. И в такой ситуации быстрое хирургическое вмешательство весьма уместно, после чего следует выждать, чтобы убедиться, принесло оно пользу или нет. В исключительных, спору нет, лишь в исключительных случаях здесь не обойтись без убийства. Само по себе убийство — метод весьма неэффективный. Терроризм оставляет лишь царапины на поверхности мировой структуры. А вот убийство, совершенное им, было необходимостью. Впрочем, не убийство как таковое составляло проблему, а убеждение, что только убийство может помочь. Разумеется, он мог передоверить убийство. На любое дело можно кого-нибудь отрядить вместо себя. Но ему без малого сто, а он до сих пор сам завязывает себе шнурки. Далее понадобилось еще несколько убийств, но уж эти не потребовали никаких усилий. При сотворении мира вмешательство бога понадобилось всего один раз. Хватило первого толчка. Вот и на него решение проблемы снизошло с быстротой молнии. Старик осклабился. Более тридцати лет назад ему пришлось сопровождать из частной клиники в аэропорт одного столь же известного в те времена, сколь и непопулярного политического деятеля. В клинике он увидел, что упомянутый деятель, уже в зимнем пальто, с растерянным видом стоит перед кроватью. Его преследуют. Введенный им налог на наследство разорил слишком многих. Он вынужден обороняться. И он достал из пальто револьвер. Вот чем он пристрелит каждого наследника, оставшегося без наследства. Сестра с воплем «На помощь!» выскочила из палаты. Тогда он снова засунул револьвер в пальто. Примчался врач с двумя санитарами. Полковник на военной службе, грубый мясник в медицине, он поставил такой диагноз: болезнь теперь добралась до мозга, ну, с медицинской точки зрения проблем нет, он еще раз накачает пациента транквилизаторами, и пусть себе катится на родину, не то отдаст концы прямо тут. Беднягу после короткой схватки, в ходе которой был нокаутирован один санитар, вытряхнули из пальто с револьвером, закатили ему в задницу — ах, пардон, пардон, при дамах — полный шприц, снова упаковали в зимнее пальто и затолкнули в «роллс-ройс». И вот он поехал с вооруженным и очумевшим государственным деятелем обратно в город. Дивный весенний вечер. Смеркается. Часов около семи. Поскольку у нас рано встают, ужинают тоже рано. Когда он вместе с дремлющим финансовым гением проехал по Рэмиштрассе и увидел людей, устремляющихся к ресторанам, у него в голове мелькнула идея, как на элегантнейший манер решить свою проблему. «Боже,— сказала немецкая вдова итальянского издателя,— как увлекательно!» Особа, от чьего влияния он должен был избавить концерн, имела обыкновение об эту пору ужинать в известном всему свету ресторане. Старец осушил второй бокал шампанского. Он велел шоферу остановиться, вынул револьвер из кармана тихо похрапывающего министра, прошел в ресторан, увидел, что его расчеты верны и упомянутая особа присутствует, застрелил ее, оттуда — снова в «роллс-ройс», засунул револьвер в пальто спящему, доставил его, почтеннейшего министра ее величества, в аэропорт, посадил в самолет, который спецрейсом переправил больного лидера партии на родимый остров, где тот, не успев толком прибыть, привел к окончательному финансовому краху некогда мировую империю. Тихое хихиканье из кружка деятелей культуры. Дочь сохраняет величественную, почти зловещую невозмутимость. Расскажи ее отец, что был комендантом концлагеря, она

и тогда не моргнула бы глазом. Мы все слушали, завороженные. Как в страшной сказке. И однако, не без удовольствия, даже забавлялись, очарованные легкостью и сарказмом, с которыми повествовал старец и которые смещали все в область абстрактного, нереального. Только один издатель растерянно спросил: «Ну, а вы?» «Друг мой»,— отвечал старец, извлекая из футляра массивную сигару (исходя из опыта, приобретенного мною за период курения, предполагаю, что это была «Топперс»), «друг мой», вы упускаете из виду два обстоятельства. Первое — в каких кругах мы с вами вращаемся, и второе — юстицию, которая, пусть даже скорей бессознательно, нежели сознательно, ориентируется на общественные круги, подлежащие ее суду, хотя порой — особенно по отношению к людям привилегированным — она любит действовать с чрезмерной суровостью, дабы избежать упрека в наличии предрассудков именно потому, что она их питает. Впрочем, чтобы не наскучить: его арестовали, кантональный суд признал его виновным, а суд присяжных впоследствии оправдал, хотя убийство было совершено у всех на глазах. По необходимости. Недоставало прямых доказательств. Показания свидетелей были противоречивы. Орудие убийства так и не было найдено. Кто станет перетряхивать пальто министра. И мотива преступления тоже не удалось выяснить. Концерн есть нечто непроницаемое для прокурора. Вдобавок, тоже случайно, там присутствовал бывший чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, но, когда его захотели допросить, он взял да и повесился. Просто надо, чтоб все так удачно сложилось, впрочем, нельзя исключить, что и чемпион мог выстрелить как раз в ту минуту, когда он, а ему было тогда семьдесят лет, собрался стрелять, единственно реальное во всей истории — это сам покойник, уронивший голову прямо в жаркое а-ля Россини с зелеными бобами, насколько он припоминает, но вот каким путем эта реальность осуществилась, по сути дела, не играет роли. Он раскурил сигару, которой до того размахивал примерно как дирижер — своей палочкой. И вдруг все общество разразилось смехом, кой-кто даже зааплодировал, один толстый журналист распахнул окно и, став перед ним, хохотал в ночь. «Неслыханное остроумие». Все были убеждены в невиновности старца. Я тоже. А почему? Из-за его обаяния? Из-за возраста? Прелестно — рассиялась немецкая вдова итальянского издателя, хозяйка высказалась в таком духе, что жизнь пишет невероятнейшие истории, дочь поглядела на меня холодно и пристально, словно хотела узнать, поверил я или нет. Старец же курил сигару, осуществляя попутно трюк, который никогда не удавался мне: выталкивал дым колечками. Он понимает, продолжал старец, что несправедливо осужденный не столь уязвим, как убийца, отсюда сердечные аплодисменты, уж такая у него судьба, что никто не желает считать его убийцей. Вот и я, вероятно, не верю — это старец уже обратился ко мне,— я, который в своих комедиях пачками препровождаю своих героев на тот свет. Новый взрыв смеха, общее оживление, подали черный кофе, коньяк. Остается единственно вопрос морали, снова начал старик, сосредоточив все внимание на пепле своей сигары, который он не сбрасывал, а тщательно наращивал. И внезапно он стал другим. Уже не столетним старцем, а человеком без возраста. Совершил он убийство на самом деле или только собирался, сказал старец, для морали важно лишь намерение, а не осуществление. Но вопрос морали есть вопрос оправдания действий, не соответствующих основным законам общества, которыми это общество якобы руководствуется. Для оправдания же потребна диалектика. С позиций диалектики можно найти оправдание решительно для всего, тем самым — и с позиций морали. Поэтому он считает всякое оправдывание излишним или, если довести эту мысль до абсурда,— всякую мораль аморальной, он мог бы заявить, что действовал в интересах концерна, который, кстати сказать, впоследствии все равно обанкротился, так что его изысканное убийство оказалось

бесполезным, независимо от того, кто его совершил, он ли сам или кто-нибудь другой, а потому он мог бы следующим образом ответить на вопрос, чего можно достичь средствами политики: если чего-то можно достичь лишь благодаря случаю и если что-то достигнуто лишь случайно, оно представляет полную противоположность тому, чего намеревались достичь на самом деле. Далее старик попросил извинения. Не будет ли высокочтимая хозяйка так добра уволить его от дальнейшего присутствия, а дочь Елена — доставить его в «Четыре времени года». Дочь выкатила старика, не удостоив меня ни единым взглядом. Я счел всю эту историю вымышленной. Ну кто, скажите на милость, так убивает? Однако нельзя было не заметить, что старик некогда обладал изрядной властью, да и теперь еще имеет немалое влияние, не то с какой стати его принимал бы Штраус. Мне он показался промышленным воротилой, у которого на совести есть немало всякой всячины, но рассказать про биржевые спекуляции куда сложней, чем про убийства, вот он и расписывает несовершенное убийство, поскольку может не сомневаться, что в его убийство все равно никто не поверит, как поверили бы в биржевые спекуляции. В такси я успел забыть его историю, размышлял только о диалектике, которую он подчинил морали, и вдруг вспомнил его имя: Колер, Исаак Колер. Однажды на банкете у своих друзей из местного театра я сидел как раз напротив него. Рядом с его дочерью. Когда-то. Много лет назад. По поводу чего устраивался банкет, уже не помню. Нескончаемо длинные речи. Колер тогда был очень бодрый и загорелый. Дочь рассказала, что он только что вернулся из кругосветного путешествия.

На другое лето или, возможно, в начале сентября умер отец одной знакомой, некоей Штюсси-Моози. Лет пятнадцать назад она служила у нас в доме. Она известила меня, что продается усадьба ее отца. Я знал эту усадьбу. Она была старая, наполовину развалившаяся. Я решил ее купить. Вид оттуда очень впечатляющий. Внизу — долина Штюсси со Штюссикофеном, еще Флётиген, Верхние Альпы. За домом круто обрывается книзу скала. Сама деревня — гнездышко, это еще не собственно Альпы. Старые дома. Часовня. Куда изредка наезжает с проповедью флётигенский пастор. Гостиница. Просто удивительно, что еще сохранились деревни, куда не заглядывают туристы. Вести переговоры мне надлежало с «ходатаем по делам», как там именуют адвокатов. Ходатай занимал комнату в гостинице «У Лойенбергера», а дела проворачивал внизу, в трактире, имея слушателями местных крестьян. Он был скорее нечто вроде сельского судьи, к моменту моего прибытия он как раз улаживал одну драку. Крестьянин с перевязанной головой, чертыхаясь, покинул залу. По прошествии стольких лет я затрудняюсь описать, как выглядел этот ходатай. Лет примерно пятьдесят. Хотя, возможно, и гораздо меньше. Хронический алкоголик. Он пил «бэци» — сорт водки, который в других местах называют плодово-ягодная. Он казался сутулым, не будучи таковым. Злобно-желчным. Лицо отечное, не лишенное одухотворенности. Водянисто-голубые глаза, налитые кровью. Чаще плутоватые, изредка мечтательные. Для начала он пытался меня надуть. Заломил цену вдвое больше той, на которую намекала наша бывшая домоправительница. Рассказывал замысловатые истории насчет трудностей, которые непременно возникнут со стороны общинного совета в Штюссикофене. Разглагольствовал о неписаных законах. Назвал усадьбу проклятой, хозяин ее Штюсси-Моози повесился. Каждый Штюсси-Моози здесь вешался. Крестьяне с наглой откровенностью слушали наш разговор, мимически изображали удушение, когда он говорил о повесившихся, задирали правую руку над головой, словно затягивая веревку, закатывали глаза, высовывали язык. Я смекнул, что ходатай вовсе не собирается меня надуть, а просто хочет воспрепятствовать сделке — зато впоследствии он лихо надул семью нашей бывшей домоправительницы. Он продал двор за бросовую цену одному из Штюсси-Зюттер-

линов. Почувствовав, что мой интерес к покупке поостыл, скорей из-за враждебного отношения крестьян, чем из-за его уловок, он стал много приветливее. Кстати сказать, он был уже пьян, хотя и не стал от этого менее симпатичным. Даже наоборот. У него появился юмор. Правда, ядовитый. Он начал рассказывать. Крестьяне сдвинулись потесней и, как умели, подзуживали рассказчика. Его истории, судя по всему, они уже знали. И слушали, как слушают сказочника. Итак, он утверждал, будто был знаменитым адвокатом в самом большом городе нашей страны. Обалденно знаменитым, как он выразился. И деньги загребал лопатой. На банках, на богатейших семействах города. Но всего милей из клиентуры были ему проститутки. «Мои шлюхи», как он выразился. Он выдал бесчисленное множество побасенок, особенно про некоего Нольди Орхидейного. Большинство из них показалось мне выдумкой, но я слушал с неослабевающим вниманием. Не столько из-за самих рассказов, сколько из-за упрятанной в них социальной критики. Эта критика носила какой-то анархический характер. Она не соответствовала действительности. Она соответствовала его уму. Он углубился в дебри истории о суде над неким убийцей. Он изображал обвиняемого и пятерых членов судейской коллегии. Крестьяне гоготали от восторга. Он, как защитник, выиграл процесс. После чего он добавил, что оправданный все-таки был убийца. Оправданный, правительственный советник, лихо одурачил и его, и пятерых членов суда. Крестьяне гоготали, теперь они тоже приналегли на «бэци». Историю эту они явно слушали не в первый раз и все не могли наслушаться. Они снова и снова требовали продолжения, а он капризничал, ему поднесли стаканчик, он указал на меня, человеку, может, вовсе и не интересно, мне тоже поднесли стаканчик, нет-нет, очень даже интересно. Ходатай начал рассказывать, как он пытался добиться пересмотра дела, но этому воспротивилось правительство кантона, а под конец и федеральный суд. Правительственный советник — он и есть правительственный советник. Каждое юридическое препятствие, каждая интрига вызывали взрыв издевательского смеха. «Вот она, ваша свободная Швейцария!» — вскричал один из крестьян и заказал еще по стаканчику. И тогда, продолжал ходатай, он начал действовать на свой страх и риск. Он дождался, покуда советник вернется из кругосветного путешествия. Из прессы он узнал время прибытия. Затем он сообщил о своих планах полицейскому коменданту. Тот приказал оцепить аэропорт. Но ходатай, переодевшись уборщицей, проник в уборочную бригаду. А в накладном искусственном бюсте упрятал свой револьвер. Один из полицейских пытался его схватить за накладной бюст, но он поднял крик, будто его хотят изнасиловать. Комендант принес свои извинения, а полицейского велел отправить в арестантскую камеру при аэропорте. Крестьяне с криками восторга хлопали себя по ляжкам. Далее ходатай поведал, как он застрелил убийцу, оправданного благодаря его же усилиям. По дороге к залу для пассажиров первого класса. После чего советник рухнул головой вперед прямо в мусорный бак. Подобно Теллю, прикончившему в том ущелье Геслера, он прикончил злодея, возликовал один крестьянин, а остальные разразились одобрительными возгласами. Дикий поднялся гвалт. Вот она, настоящая справедливость. Ходатай начал изображать в лицах историю своего задержания. Показал, как комендант сорвал с него накладной бюст. Вскарабкался на стол. Произнес защитительную речь перед пятью членами судейской коллегии, которые в свое время оправдали убитого, а теперь, соответственно, не могли не оправдать его убийцу. После чего он бросил прямо в лицо судьям: «А пропади вы пропадом с вашей юстицией!» — и стал ходатаем по делам в долине Штюсси. Тут рассказчик снова рухнул на свой стул. Один из крестьян встал с наполовину распитой бутылкой «бэци» в левой руке, похлопал рассказчика по плечу, заявил, что сам он Штюсси-Штюсси, а ходатай — единственный не Штюсси в Штюссикофене, но, несмотря

на это, он истинный швейцарец, после чего он до дна осушил свою бутылку, повалился на стол и захрапел. Остальные затянули упраздненный гимн: «Славься в веках Гельвеция! Есть у тебя еще сыновья, как их увидел Якоб Святой, всегда готовые в бой». История показалась мне странно знакомой. Я хотел выяснить кой-какие детали, но ходатай был слишком пьян, чтобы отвечать на вопросы. Некоторые крестьяне с угрожающим видом поднялись со своих мест, покуда другие уже допевали конец второй строфы: «Там, где вершины гор врагу не дадут отпор, бог наша твердь, сами встанем горой, каждый из нас герой. Мы презираем смерть». А ходатая мне было жаль. Блестящий прима-адвокат стал опустившимся провинциальным стряпчим. Он совершил убийство, он выиграл собственный процесс, но убийство, им совершенное, доконало его. Я полностью отказался от мысли купить усадьбу. Мне следовало убираться восвояси, в долине Штюсси не жалуют пришельцев из города, а так как по номеру моей машины они уже поняли, что я из Невшателя, я был для них вдвойне чужой, хоть и говорил на одном с ними языке, пусть даже не так распевно. Я покинул трактир. Вслед мне неслось громовое: «Явись поутру, господь осиянный, мы дружно тебе воспоем осанну, едва заалеют вершины гор, возносит молитвы швейцарцев хор. Своей душой благочестивой всегда отечеству верны вы».

Это крестьяне перешли к новому гимну.

Потом снова пробел в памяти. Старец в кресле-каталке, его дочь, пьяный убийца в штюссикофенском трактире среди пьяных крестьян — все ушло в подсознание, а сверху наложилась досада, что я не могу купить крестьянский двор. Между прочим, купить я его собирался не ради пустой прихоти, мне были нужны перемены. По возвращении домой я приступил к реорганизации. Был выметен весь мусор, накопившийся за сорок лет писательства. Груды необработанной корреспонденции, счета, так и не попавшие мне на глаза и, однако же, оплаченные, сметы, так и не принятые во внимание, горы корректур, бесконечное число раз переписанные рукописи, наброски, фотографии, рисунки, карикатуры, фантастический беспорядок, которому предстояло частью превратиться в порядок, частью исчезнуть. Горы нечитаных рукописей, уже много десятилетий как погребенных в потоке необработанной почты. Я наудачу заглянул в одну из них. Правосудие. Долой макулатуру. При этом я невольно бросил взгляд на первую страницу и прочел имя: доктор г. к. Исаак Колер. Я снова достал рукопись из пластикового мешка. Некий доктор Х. прислал мне ее из Цюриха, но я никогда не читаю присланные мне рукописи. Литература меня не интересует. Я сам ее произвожу. Доктор Х. Я припомнил. Хур. 1957 год. После доклада. В отеле. Я пошел в бар, чтобы выпить еще стаканчик виски. Кроме барменши — дамы не первой молодости — я застал там еще одного господина, который тотчас, едва я успел сесть, назвал себя. Это был доктор Х., бывший комендант кантональной полиции Цюриха, крупный, массивный человек, старомодно одетый, с золотой цепочкой от часов поперек жилета, как их нынче мало кто носит. Несмотря на возраст, ежик на голове у коменданта был еще безупречно черным, а усы пушистыми. Он сидел у стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил бахианку и обращался к барменше по имени. Голос у него был громкий, жесты выразительные, словом, человек без тени притворства, который в такой же мере привлекал меня, как и отталкивал. На другое утро он довез меня на своей машине до Цюриха. Я начал листать рукопись. Она была напечатана на машинке, под заголовком приписано от руки: «Можете делать с этим все, что захотите». Я начал читать рукопись и прочел ее всю. Автор, некий адвокат, не совладал с материалом. Ему слишком мешали текущие события. О самом важном он начал рассказы-

вать лишь в конце, но именно тут ему вдруг не хватило времени. Он пал жертвой собственной торопливости. В общем и целом попытка дилетантская. Да и отдельные места повергали меня в недоумение. Взять хотя бы названия отдельных глав: «Попытка внести порядок в беспорядок». Потом имена. Кто такой Никодемус Мольх, кто Дафна Мюллер и кто Ильза Фройде? И кто расставляет у себя в парке целую армию садовых гномов? Комендант вроде бы говорил мне, что любит Жан Поля? Но спросить коменданта уже нельзя, он умер. В 1970-м. Потом я прочел письмо, приложенное комендантом к рукописи: «Я возвращаюсь с похорон. Ездил хоронить Штюсси-Лойпина. На похороны пришел только Мокк. После чего мы с ним пообедали в «Театральном». Ели суп с ливерными фрикадельками, филе а-ля Россини с зелеными бобами. После обеда мы долго искали слуховой аппарат Мокка. Официантка, как оказалось, унесла его с посудой. А что до нашего дорогого фанатика справедливости, то ему и в самом деле удалось пробраться в аэропорт. С командой уборщиков. И выстрелить он выстрелил, но тотчас со страху упал головой в мусорный бак. По счастью, Колер ничего не заметил, ибо как раз в это время взлетел четырехмоторный самолет. Впрочем, наш террорист и не мог причинить большого вреда. В одном он просчитался. Я все-таки не оставлял без внимания этого мелочного торговца. В альпийском рожке были должным образом препарированные холостые патроны. Но потом я решительно не знал, как мне поступить с фанатиком справедливости. Он был человек конченый. Передавать его в руки правосудия я не захотел. Штюсси-Лойпин (смотри выше) принял в нем участие и подыскал ему место. С тех пор прошло несколько лет. Ваш доктор Х., экс-комендант». Я позвонил в Штюссикофен. К телефону подошел хозяин «Лойенбергера». Я попросил ходатая. Умер. На прошлой неделе. Перебрал «бэци». Как его звали? Звали как? Ходатаем. Где его похоронили? В Флётингене, надо думать. Я поехал туда. Кладбище лежало за пределами деревни. В каменной ограде. Чугунные литые ворота. Было холодно. Первый раз за этот год я уловил дыхание зимы. В кладбищах есть что-то близкое моему сердцу. Ребенком я любил играть на кладбище. Это кладбище имело свое лицо, у каждого покойника была своя могила, могильные плиты, чугунные кресты, постаменты, колонны, стоял там даже один ангел. На могиле некоей Кристели Мозер. Но Флётингенское кладбище было вполне современным кладбищем, учрежденным десять лет назад по решению общинного совета Флётингена. От тех, кто умер более десяти лет назад, не осталось и следа. Поскольку территория была строго ограничена и не подлежала расширению — слишком высоки нынче цены на землю,— усопшему дозволялось не более чем десятилетнее пребывание в родной земле. И затем — прямиком в вечность. Но уж дозволенные десять лет полагалось лежать по стойке «смирно». У всех одинаковые могилы. На могилах — одинаковые цветы. Одинаковые могильные плиты. Надписанные одним и тем же шрифтом. И вот мертвецы покоились стройными рядами, а среди них — и тот, кого я искал. Беспорядочный — в жизни, упорядоченный — после смерти. Он лежал последним в ряду, возле еще пустой могилы. Плита уже положена, цветы (астры, хризантемы) уже посажены. На плите: ФЕЛИКС ШПЕТ, ХОДАТАЙ, 1930—1984.

Вернувшись домой, я еще раз перечитал рукопись. Вероятно, ее перепечатали с оригинала. И несмотря на лирические отступления, внесенные рукой коменданта, она максимально соответствовала исходному варианту. Что до Шпетова рассказа, то он в Штюссикофене похвалялся убийством, которого не совершал, а Колер в Мюнхене свалил убийство на человека, которого хотел убрать вместе с убитым. Я снял с рукописи фотокопию. Адрес доктора г. к. Исаака Колера я нашел в телефонной книге. Я отправил копию ему. Несколько дней спустя я получил письмо от Елены Колер. Она просила меня наве-

стить ее. Состояние отца не позволяет ей выходить из дому. Я ответил телефонным звонком. И уже на другой день вступил в колеровские владения.

Когда я направлялся к чугунной решетке, у меня было такое чувство, будто я вступаю в рукопись, и эта рукопись меня комментирует. Сама природа дышала богатством. Октябрьская флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья как на подбор величественные и почти все в летнем наряде. Не дует фён. Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Замшелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. Кругом мертвая, дремотная тишина. Лишь изредка слышатся птичьи голоса. Стены дома увиты диким виноградом, плющом и розами, сам он большой, просторный, с фронтоном. Внутри — легкий и удобный. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства. На стенах — знаменитые импрессионисты. Далее — старые фламандцы (меня вела по дому старушка горничная). Мне было предложено подождать в кабинете доктора г. к. Исаака Колера. Помещение было просторное. Вызолоченное солнцем. Через открытую двустворчатую дверь можно было выйти прямо в парк. Окна по обе стороны двери доходили чуть не до самого пола. Паркет из ценных пород дерева. Гигантский письменный стол. Глубокие кожаные кресла. На стенах — никаких картин, только книги — до самого потолка. Исключительно книги по математике и естественным наукам, изрядная библиотека. В просторной нише — бильярд, на поле которого лежали четыре шара. Через открытую дверь вкатил себя доктор г. к. Исаак Колер, еще более хрупкий и эфемерный, еще более прозрачный, почти фантóм. Судя по всему, он меня не заметил. Он подъехал к бильярду, выбрался, к моему великому удивлению, из кресла и принялся увлеченно играть. Из двери в задней стене вошла Елена. Спортивный вид — джинсы, шелковая рубашка, жакет ручной вязки с тремя большими квадратами, красным, синим и желтым. Она приложила палец к губам. Я понял и последовал за ней. Просторная гостиная. Снова — открытая двустворчатая дверь. Мы сели на террасе. Под тентом. Последний раз в этом году я сидел на свежем воздухе. Старые плетеные кресла. Чугунный стол с шиферной столешницей. На газоне — косилка. Первые кучи осенних листьев. Между ними — павлины. Она сказала, что я застал ее за работой в саду. В глубине парка какой-то паренек копал землю. И насвистывал. А от павлинов им надо избавиться. Соседи протестуют. Они протестуют вот уже пятьдесят лет. Но отец любит павлинов. Как ей кажется, исключительно назло соседям. Он давал своим павлинам кричать сколько влезет. Невзирая на неоднократное вмешательство полиции. На свете нет звука более мерзкого, чем крик павлина. Дома вокруг их участка из-за крика павлинов заметно подешевели. Соответственно упали цены на землю. Тогда отец скупил все на корню, и соседи больше не смели жаловаться. Потом она налила мне чаю. Я сказал, что ее отец — чудовище. Она не стала спорить. А рукопись она прочла? Проглядела — был ответ. Я сказал, что Шпет ее любил, но об этом ему было нелегко писать, и она ведь тоже когда-то его любила. Ах, этот славный Шпет, отвечала она. Единственной женщиной, которую он любил, была Дафна, о ней он и пишет с особой живостью. А любовь к ней, Елене, он просто выдумывает. Выдумывал, уточнил я, наш славный Шпет две недели назад скончался в долине Штюсси. «Чай совсем остыл»,— сказала она и выплеснула содержимое своей чашки через ограду террасы на усыпанный желтыми листьями газон, прямо под ноги паренька, который с нахальным свистом пробегал мимо.

А потом закричали павлины. Обычно они в это время не кричат, пояснила Елена, сейчас они перестанут. Но павлины не переставали.

«Пойдемте лучше в комнаты»,— предложила она, и мы вошли в дом, закрыли за собой двустворчатую дверь, сели в два кресла, между которыми стоял игральный столик. Коньяку? Да, пожалуйста. Она налила. Павлины за дверью продолжали кричать, тупо, зловеще. По счастью, отец их не слышит, сказала она, а потом спросила, читал ли я, что написано про настоящую Монику Штайерман. Все это представляется мне в достаточной мере неправдоподобным, ответил я. Она тоже была однажды приглашена к Монике Штайерман, летним вечером, начала Елена, ей тогда не было и восемнадцати, и она, как все в этом городе, принимала Дафну за Монику Штайерман, восторгалась ею, но и завидовала тоже, в частности, из-за Бенно, потому что Бенно ее избегал, хотя в остальном обольщал всех подряд, этот красавчик Бенно, считалось высшим шиком переспать с Бенно, так же как считалось шиком переспать с Моникой Штайерман, хотя все были убеждены, что эти двое в будущем поженятся, но это и привлекало. А она, Елена, была как-никак дочерью Колера и потому неприкосновенна. Бенно сознательно ее избегал. Но она приняла приглашение Моники Штайерман без малейших колебаний, может быть, втайне надеясь встретить там Бенно, настолько она была в него влюблена. После ужина, за черным кофе, она сообщила отцу о своем намерении. Отец спросил, куда именно ее пригласили, на Аураштрассе или нет, и налил себе «Марк». Он дома всегда пьет «Марк». В «Монрепо», отвечала она. Туда еще до сих пор никого не приглашали. Нет, сказал отец, до сих пор туда приглашали только Людевица и его самого. Так вот, может ли он дать ей совет? Она все равно не послушает никаких советов, строптиво отвечала она. Не надо ей принимать это приглашение, сказал отец и выпил свой «Марк». Это и есть его совет. Но она все равно пошла. Она доехала на велосипеде до Вагнерштуца, прислонила велосипед к ограде и позвонила у портала, продолжала Елена свой рассказ. И удивилась, что за этим ничего не последовало. Потом она заметила, что массивная, чугунная калитка вообще не заперта, она отворила ее и вступила в парк, но, едва вступив, сразу же испытала приступ необъяснимого страха. Она хотела вернуться, однако теперь калитка не поддавалась. Если до сих пор Елена вела свой рассказ неуверенно, запинаясь, то тут она принялась говорить так, будто все, что произошло потом, произошло не с ней, а с кем-то другим. С этого мгновения, рассказывала Елена дальше, она уже не сомневалась, что ее заманили в ловушку. Запущенный парк был залит закатным багрянцем, этот поток света показался ей недобрым предзнаменованием. Но она автоматически продолжала свой путь к невидимой вилле. Гравий поскрипывал у нее под ногами. Она заметила садового гнома, одного, потом еще троих, потом сразу несколько вдоль дорожки, они выглядывали между стеблями неподстриженного газона, среди люпинов и льнянки, из сплетения космей: несмотря на щекастые личики, в этом зловещем вечернем багрянце они казались коварными и гнусными, особенно когда она заметила, что вниз с деревьев тоже щерятся гномы, курящие трубку, от омерзения она все быстрей бежала между гномами, пока не очутилась перед целой стаей гномш с огромными головами, гномы-женщины вообще крупней, чем те, которых она увидела сперва, примерно с четырехлетнего ребенка. Цепенея от ужаса, она заметила, как одна из этих фигур оскалила зубы ей навстречу. В паническом страхе она понеслась по парку, мимо все более многочисленных и непристойных гномов, пока не выскочила на лужайку, где никаких гномов не было, сама лужайка полого поднималась, а наверху ее взгляду открылась вилла. Задыхаясь, она остановилась и поглядела назад. В надежде, что ей все померещилось, что ей просто привиделся кошмар. Но увидела она скалящуюся гномиху, которая мелкими, неверными шажками спешила к ней. Она ринулась к вилле, влетела в открытую дверь, она слышала у себя за спиной семенящие шажки, она пробежала через вестибюль,

потом через залу, где в камине потрескивал огонь, хотя на дворе стояло лето, нигде ни души — и только семенящие шажки за спиной. Она вбежала в некое подобие кабинета. Стены, заклеенные портретами Бенно, безмерно ее испугали. Первым ее побуждением было повернуть назад, но в зале, в отблесках камина, она снова увидела карлицу с огромной, безволосой головой, маленьким сморщенным личиком и большими глазами. Елена захлопнула двери кабинета и заперлась изнутри. Она была одна. Она бросилась в кожаное кресло, почувствовала непривычный сладковатый запах и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что ее со всех сторон зажали четыре нагих колосса, о которых впоследствии могла бы только сказать, что они были безволосые и что от них разило оливковым маслом, которым они натерлись, отчего и стали скользкими, как рыбы. Ее раздели, как она ни сопротивлялась. Она услышала неудержимый смех и увидела женщину, которой восторгалась и завидовала и которую принимала за Монику Штайерман. Дафна Мюллер сидела голая в кожаном кресле. Это она смеялась. Четыре колосса развели в стороны ее ноги, вдруг откуда-то возник профессор Винтер, голый, пузатый. За спиной у похотливого фавна она увидела карлицу. Та сидела на шкафу и с торжествующим видом взирала на Елену. Когда чернобородый сатир взял Елену, у нее в голове сверкнула мысль — именно сверкнула, это не просто устойчивое словосочетание,— мысль проникла в ее мозг, как проникает молния, и не осталось других мыслей, кроме одной, что все происходящее с ней происходит лишь по воле этой карлицы, которая загнала ее в этот кабинет, чтобы с ней, Еленой, сделали то, чего страстно желала сама карлица, но чего с карлицей нельзя сделать, а потом, когда на нее бросился Бенно, а за ним четверо скользких бритоголовых, и все это — под неумолчный смех Дафны, Еленой овладела как единственная возможность сопротивления, как единственное оружие непомерная похоть, она вскрикнула, она кричала, кричала, и похоть становилась тем ненасытнее, чем завистливее становился взгляд карлицы. Карлица дрожала всем телом, в глазах у нее выражалось нечто большее чем безграничная зависть, казалось, будто она дрожит от горя, что ей, карлице, не дано изведать наслаждения, испытываемого той, которую насилуют по ее же приказу ее же холопы. Наконец, карлица в полном ужасе закричала: «Прекратить» — и разразилась безудержными всхлипываниями. Елену отпустили, карлицу унесли, она осталась в кабинете одна. Она собрала свою одежду, в зале еще не прогорел камин, она пробралась через вестибюль в темный парк, дошла до ворот. Они были не заперты, докончила она повествование, и поехала домой на велосипеде.

Она помолчала. Потом спросила меня, шокирован ли я ее рассказом. «Нет,— ответил я,— но рюмочка коньяку здесь не повредила бы». Она налила мне и налила себе. Когда она вернулась, продолжала она, отец все еще был в кабинете. Сидел за письменным столом. На нее почти не глянул. Она все ему рассказала. Тогда он подошел к бильярду и начал играть. А ее спросил, чего ей еще надо. Отомстить, сказала она. «Забудь про это»,— сказал отец. Но она желала мести. Тогда он перестал играть и внимательно взглянул на нее. Он советовал ей не ходить туда, а она пошла. Это ее дело. Никто не обязан следовать советам, иначе совет будет не совет, а приказ. То, что случилось, не имеет значения, потому что оно уже случилось. Случившееся надо отбрасывать, кто не умеет забывать, тот бросается под колеса времени и дает себя раздавить. А она настаивает на мести. Детка, сказал отец, это он первый раз в жизни так ее назвал, все, что им до сих пор было сказано, это тоже не более как совет, но если она требует мести, прекрасно, будет ей месть. И это уж его дело. Потом он положил на бильярдное поле четыре шара и толкнул, только один раз, сперва послал шар в борт, оттуда шар откатился назад и

столкнул другой шар в лузу. «Винтер,— сказал ее отец, когда очередной шар исчез в лузе.— Бенно», потом «Дафна», а когда он сказал «Штайерман», на поле вообще ничего не осталось. А она? — спросила Елена. А она была кием, ответил он. И кий понадобился ему всего один раз. «Что будет с ними?» — спросила она. «Они умрут»,— ответил он. В той последовательности, которую он установил. А теперь пусть идет спать, ему надо еще поработать. Этот разговор, продолжала она, немного помолчав, когда мы успели выпить по третьей, а из соседней комнаты слышался стук бильярдных шаров, этот разговор сохранился в ее памяти более зловещим, чем то, что произошло в «Монрепо», у себя в комнате она погасила свет и долго в эту бесконечную ночь разглядывала немилосердные звезды, которым дела нет до того, есть ли на жалком, ничтожном шарике, каким является наша земля, жизнь или нет, а про человеческие судьбы и говорить нечего, и тут ее охватила злость, отец, конечно же, хотел, чтобы она туда пошла и твердо надеялся, что любопытство увлечет ее. Но вот почему карлица избрала именно ее? Кому было предназначено унижение: Елене или отцу Елены? Если отцу, почему он тогда поначалу отговаривал ее мстить? Хотел для себя решить вопрос, стоит ему вступать в борьбу или нет? Но во имя чего велась эта борьба? И кто кому в ней противостоял? Ее беспокоила мысль, что за кирпичным трестом, о котором отец неизменно вспоминал как бы в шутку, скрываются другие, куда более значительные предприятия и что он время от времени заводит речь о силиконе, которому принадлежит будущее, хотя все, кого она только ни спрашивала, утверждали в ответ, будто понятия не имеют, о чем это толкует отец. Может быть, между ним и Людевицем вспыхнула борьба? И случившимся с ней Штайерман давала понять ее отцу, что не желает больше терпеть его вмешательство?

Я задумался над ее рассказом. Одного не понимаю, сказал я, ваш отец рассказывал в Мюнхене про свое убийство, мотив он привел ложный, не беда, пусть будет так, но вот что ему только перед рестораном пришла в голову мысль использовать револьвер политика... нет и нет, это совершенно неправдоподобно. Елена внимательно на меня поглядела. Неслыханно красивая была женщина. Ваша правда, сказала она, ее отец солгал. Они вдвоем обсудили это убийство. И бедный Шпет об этом догадался. Отец застрелил Винтера из своего собственного револьвера, потом сунул револьвер в карман министру, а уж потом она достала револьвер из кармана и по прибытии в Лондон выбросила его в Темзу. Министр летел не на самолете компании «Свиссэйр», усомнился я. Да, Штюсси-Лойпин был прав, выдвигая это возражение, отвечала она, но и Штюсси-Лойпин не мог знать, что она сопровождала министра по его личной просьбе. Для этого она регулярно навещала его в частной клинике. Она смолкла. Я оглядел ее. У нее за плечами была целая жизнь, и у меня за плечами была целая жизнь. «А Шпет?» — спросил я, но она уклонилась от моего взгляда. Я рассказал ей про свою встречу со Шпетом. Она выслушала. У Шпета создалось о ней ошибочное представление, спокойно сказала она, вот и у меня создается о ней ошибочное представление. Всего через несколько недель после той ночи она вступила в связь с Винтером, потом с Бенно — отсюда и ссора Бенно с Винтером и Дафны с Бенно, и ее разрыв со Штайерман; с кем она еще спала, по сути не важно, со всеми подряд — вот, пожалуй, самый точный ответ. Она и сама себя не понимает. Она снова и снова пытается найти рациональное объяснение чему-то иррациональному, но ее поведение не зависит от разума. И может, все объяснения есть не более как предлог, чтобы оправдать собственную натуру, которая той ночью, в «Монрепо», заявила о себе могучим прорывом, может, она втайне мечтает о все новых насилиях, ибо человек бывает свободным, лишь когда его насилуют — свободным даже от собственной воли. Но это, разумеется, всего лишь один из вариантов объяснения. Недоброе чувство, что она

была всего лишь орудием в руках своего отца, никогда ее не покидало. Все, кого он поименовал во время той игры на бильярде, умерли в им же названной последовательности. Штайерман — последней. Два года назад. По совету отца она вошла в оружейный концерн, отчего акционерное общество Трёг прогорело. А потом Монику Штайерман нашли мертвой на ее греческом острове. И четырех телохранителей, изрешеченных пулями. Причем Штайерман обнаружили лишь полгода спустя — она висела вниз головой, на оливе. Разве я этого не читал? Имя «Штайерман» ни о чем мне не говорило, ответил я. Когда в газетах было опубликовано сообщение об исчезновении Штайерман, сказала Елена, она обнаружила на столе у своего отца телеграмму, в которой не содержалось ничего кроме строчки цифр 1171953, если воспринять эту строчку как дату, то получится день изнасилования. Но коль скоро убийство было совершено по поручению отца, кто его выполнил, и кто стоял за исполнителями, и кто стоял за теми, кто стоял за исполнителями? — И так без конца. Означала ли смерть Моники Штайерман конец некоей экономической войны? Была ли эта война за власть чем-то рациональным или иррациональным? Что вообще творится в мире? Она не знает. Я тоже не знаю, сказал я.

«Но вернемся к Шпету»,— предложил я, если, конечно, она не возражает. Она сказала, что не возражает; когда Шпет взялся за поручение ее отца, она надеялась, что он докопается. Докопается до чего? До того, кто подбил ее отца на убийство — это она. «Не очень логично»,— сказал я. «Почему же?» — отвечала она, это она подбила. У нее же был выбор. Получается замкнутый круг, установил я, сперва она сваливала всю вину на отца, теперь на себя. Они виноваты оба, сказала она. Ну, это уже какое-то сумасшествие. А она и есть сумасшедшая. «Дальше»,— скомандовал я. Она не давала вывести себя из равновесия. Когда после того, как отца оправдали и он уехал, Шпет грубо накричал на нее и чуть-чуть не добрался до правды, она пошла к коменданту и во всем ему призналась. «Это как понимать?» — спросил я. Она призналась, она призналась во всем, повторила Елена. «Ну и что?» — спросил я. Она помолчала, потом ответила, что комендант спросил ее точно так же: «Ну и что?» После чего раскурил сигарету и сказал, будто все это — прошлогодний снег. Бенно сам лишил себя жизни, выяснять задним числом, кто именно стрелял, или — того больше — обшаривать Темзу в поисках револьвера не представляется возможным, бывают случаи, когда справедливость теряет смысл и обращается в фарс. Она пусть идет домой, а он со своей стороны забудет, о чем она ему тут рассказывала. Почему ее отец ни единым словом не помянул Шпета? — спросил я. Он его забыл, ответила она. И Штюсси-Лойпина тоже, сказал я. Вообще-то очень странно, продолжала она, ее отец убежден, что убийство совершил не он, а Бенно. Она единственная, кому еще известно, что убийцей был ее отец. А точно ли ей это известно, спросил я, хоть и маловероятно, но, может быть, убийцей все-таки был Бенно. Она замотала головой. Нет, ее отец. Она осматривала револьвер, который вынула из кармана министра, а дома сама заряжала.

Зачем она мне все это рассказала? — спросил я. Она в удивлении на меня воззрилась. Тогда с какой стати я переслал ей рукопись? Только чтобы докопаться до правды? Я прежде всего писатель, которого интересует не чужая правда, а своя собственная, я думаю только о том, чтобы написать роман, и больше ни о чем, и если когда-нибудь выйдет книга, то она будет подписана моим именем, а не именем Шпета. Кому принадлежит рукопись, мне или Шпету, знаю только я, а я утверждаю, что получил ее от коменданта. Она тоже знала старого болтуна, он часто бывал в гостях у нее и ее отца и пускался с ним в откровенности. Он вполне мог так же откровенничать и со мной.

Но уж если я хочу ее использовать, то не надо описывать ее как гётевскую женщину, которых надо перепороть всех до единой, до того они занудные, если, конечно, не считать Филины, единственной из его творений, с которой старец и сам бы не прочь переспать. И Елена устремила перед собой неподвижный взгляд. Мимо окна, посвистывая, прошел все тот же паренек. Найду ли я сам дорогу? Я попрощался. Старик по-прежнему гонял шары. От борта дуплетом.

Без четверти два. Я захожу к себе в кабинет. Когда я устраивал его, из окна еще было видно озеро. Теперь вид на озеро загородили деревья. Несколько деревьев даже пришлось срубить, те, которых еще не было, когда я сюда въехал. Рубить деревья очень грустно, их не рубят, их убивают. А дуб стал большой и могучий. По деревьям я ощущаю ход времени, своего времени. Не так, как определяю его при взгляде на небо. Не без печали я нахожу там Плеяды, Альдебарана, Капеллу, зимние звезды — хотя на дворе еще лето — примета того, что за треть года становишься на год старше. В небе прокручивается объективное, поддающееся изменению время человека почти шестидесяти пяти лет от роду, субъективно же время движется вместе со мной и с деревьями в сторону смерти, и здесь его нельзя измерить, можно лишь ощутить. А как воспринимает время земля? Я гляжу на ночное озеро, оно совсем не изменилось, если отвлечься от того, что натворили с ним люди. И как воспринимает свой возраст сама земля? Объективно. Кажется себе древней? Четырех с половиной миллиардов лет? Или субъективно считает, будто вступила в лучшую пору своей жизни, так как может миновать еще семь миллиардов лет, покуда ее испепелит солнце. Или она воспринимает время на молниеносной скорости, когда ощущает самое себя нетерпеливой, безудержной силой, бурлит и клокочет внутри, отторгает континенты друг от друга, громоздит горы, смещает пласты, насылает моря на сушу, а наше странствие по твердому основанию не есть ли в действительности ходьба по основанию шаткому, которое ежечасно, ежеминутно грозит разверзнуться и поглотить нас? И наконец, как обстоит дело с временем рода человеческого? Мы измерили его со всей доступной нам объективностью, мы подразделили его на древнее время, средние века, новое время и новейшее в чаянии еще более нового, существует подразделение и более тонкое, когда, например, за наследием Востока следует эпоха греков, в которой смыкаются Цезарь и Христос, за ней по пятам наступает эпоха веры, Ренессанс радостным звоном возвещает век Реформации, а за ним идет век, когда неудержимо возрастает разум, он продолжает возрастать по сей день, все возрастает и возрастает, а на мелочи просто не стоит обращать внимания. Первая мировая война, и вторая, и Освенцим были всего лишь эпизодами, Чаплин более известен миру, чем Гитлер, в Сталина до сих пор верят одни албанцы, а в Мао — несколько перуанских террористов, сорок лет мира — это чего-нибудь да стоит, правда, не везде, по сути дела, только для сверхдержав, еще в Европе, ну и на Тихом океане — в общем и целом, и в Японии, добела отмытой от любого греха Хиросимой и Нагасаки, и даже Китай гостеприимно распахивает свои двери перед усилиями всевозможных бюро путешествий. Но как этот мир, если у него вообще сыщется время, чтобы называть себя миром, как воспринимает свое время он? Останавливается ли оно в его восприятии, и если да, знает ли он, как с ним поступить? Убегает ли оно от него? А то и вовсе проносится у него над головой, как ураган, как торнадо, швыряя автомобили друг на друга, срывая поезда с рельсов, разбивая гигантские лайнеры о скалы, предавая города огню? Как объективно раскручивается время нашего сорокалетнего, доступного измерению мира, время, когда настоящая война, во имя которой идет непрерывная гонка вооружений, кажется все более немыслимой, хотя замыслы ее вынашиваются непрерывно? А наше мирное время, ради сохранения

которого миллионы выходят на демонстрацию, носят транспоранты, подпевают рок-группам и молятся, не приняло ли оно уже давным-давно форму того, что мы некогда именовали войной, поскольку мы сами для собственного успокоения исправно уснащаем наш мир разными катастрофами? Всеобщая история сулит человечеству бесконечное время, для земли же, если судить объективно, оно, быть может, представляется лишь скоротечным эпизодом, даже меньше чем эпизодом — некий инцидент не дольше одной земной секунды, с точки зрения космической почти не поддающийся восприятию и оставляющий по себе едва заметный рубец. Едва поднявшись из земли, еще увязая в глине, дорийцы мнили, будто нападают на самих себя. Вот так и мы в действительности, едва уцелев после ледникового периода, нападаем на самих себя, будь то в дни мира, будь то в дни войны, мужчины на женщин, женщины на мужчин, мужчины на мужчин, женщины на женщин, руководимые не разумом, а инстинктом, имеющим за плечами на миллионы лет более длительное развитие, нежели разум, и непостижимым в своих мотивах. Вот так, грозя атомной, водородной, нейтронной бомбами, мы уберегаем себя от самого страшного, подобно гориллам, бьем себя кулаками в грудь, дабы устрашить стаи других горилл, и в то же время рискуем погибнуть от того самого мира, который мы силимся уберечь, погибнуть, чтобы ветви мертвых лесов скрыли наше издыхание. Я устало возвращаюсь к своему письменному столу, к своему полю битвы, в сферу притяжения своих творений, но ни к какой иной действительности, кроме той, где их время истекло, их, а не наше. Я не сумел разгадать их, придуманных мною. Мои творения сами создали свою действительность, исторгнув ее из моего воображения и тем самым — из моей действительности, из времени, затраченного мною на то, чтобы их сотворить. Но тем самым они тоже сделались частью нашей общей действительности и, соответственно, одной из возможностей, одну из которых мы в свою очередь называем мировой историей, точно так же закутанной в кокон наших фантазий. Но разве история, которая стала действительностью лишь в моем воображении и которая теперь, будучи написанной, покидает меня, содержит меньше смысла, чем мировая история, разве она менее сейсмоустойчива, чем почва, на которой мы воздвигаем наши города? А бог? Если вообразить его сущим, разве он действовал по-другому, чем доктор г. к. Исаак Колер? Разве Шпет не был волен отказаться от поручения разыскивать убийцу, которого не было? Разве он не был вынужден найти убийцу, которого не было, подобно тому, как человек, вкусив плод с древа познания добра и зла, был вынужден найти бога, которого не было, найти черта. И не есть ли последний — вымысел, к которому прибегнул бог, чтобы хоть как-то оправдать свое неудачное творение? Кого считать виновным? Того, кто дает поручение, или того, кто его принимает? Того, кто запрещает, или того, кто пренебрегает запретом? Того, кто издает законы, или того, кто их нарушает? Того, кто предоставляет свободу, или того, кто ею пользуется? Нас погубит свобода, которую мы разрешаем другим и себе. Я покидаю свой кабинет: освобожденный от моих творений, он опустел. Половина пятого. На небе я первый раз вижу Орион. Кого он преследует?

Фридрих Дюрренматт
22.9.85

Послесловие

Я начал писать «Правосудие» в 1957 году и рассчитывал закончить роман за несколько месяцев. Но тут вмешалась другая работа — «Франк V», а «Правосудие» осталось лежать. Дальнейшие попытки вернуться к роману завершались неудачей, последний раз — в 1980 году: он должен был стать тридцатым томом собрания моих сочинений. Но я потерпел неудачу: пытаясь продолжить действие, я реши-

тельно не мог вспомнить, как оно у меня было задумано. Весной 1985 года Даниэль Киль предложил мне издать «Правосудие» в виде фрагмента. Я согласился не без колебаний, решил дописать еще одну основную главу, но потом начал переписывать и дополнять роман, хотя и в другом смысле, чем было задумано сначала. В завершение хочу поблагодарить Шарлотту Керр, мою жену. Ей я обязан ценными советами, равно как и неустанным, критическим вниманием к моей работе.

* * *

Вот и перевернуты страницы журнала с новым романом Фридриха Дюрренматта, знаменитого, с давних пор известного и у нас швейцарского писателя. «Правосудие» — произведение не только блестящее, но и настолько цельное, естественное, органичное, что боязно доискиваться до «зерна замысла» и его «главной идеи». Разгадать все загадки и выстроить описанное в единый логический ряд трудно не только читателю. Это никак не удается и незадачливому адвокату Шпету, ведущему свои записки в состоянии крайнего возбуждения, потому что рассказывать ему приходится о событиях, казалось бы невозможных, немыслимых, но принятых за возможные и мыслимые. Не удается и Дюрренматту, правда, намеренно: у него в этом романе другие задачи.

Дюрренматт любит ошарашивать и озадачивать. В его обошедших весь мир пьесах 50-х и 60-х годов, воспринятых нами тогда как откровение, намеренное нарушение логики содержалось уже в сюжете. Ромул, глава пришедшей в упадок Римской империи, не хотел править государством («Ромул Великий», 1957). Гениальный физик-атомщик Мёбиус принимал решение добровольно скрыться в сумасшедшем доме («Физики», 1961). Американская миллионерша Клер Цаханасян желала, чтобы за ее немалые деньги был убит житель маленького городка Гюллена Альфред Илл («Визит старой дамы», 1956). Эти поступки поражали — читатель долго не находил им объяснения.

Тот же эффект производит первое и главное событие в романе «Правосудие» — внезапное и как будто бы ничем не мотивированное убийство в многолюдном ресторане почтенного профессора германистики столь же почтенным цюрихским промышленником, кантональным советником г-ном Колером.

После этого, как помнит читатель, несуразицы продолжают множиться. Они возникают неудержимо, как грибы после дождя. (Заметим, что всякого рода дублеты, множественность, «тиражирование», постоянно занимают этого писателя. Если у него получают наследство, то уж одно за другим, если пьют кофе с булочками, то в непомерных количествах, если убивают, то не один раз...) Зловеща и несуразна большеголовая карлица — миллионерша Моника Штайерман, вместо которой и за которую прожигает жизнь другая. Несуразны и страшны скопища гномов из папье-маше в саду миллионерши, среди которых она наконец-то как равная. На миг, без какой-либо серьезной надобности в романе появляется пара замшелых супругов-социологов. Они почти что куклы (как пара скопцов Коби и Лоби в свите Старой дамы) и так сжились друг с другом, что госпожу профессоршу можно принять за брата-близнеца ее супруга. Арестант в этом романе разгуливает по тюрьме под ручку со своим надзирателем. Наперекор обычному он именно тут просветлен и счастлив.

Все вывороченo наизнанку, все двулико. И даже религиозные гимны о конце света, которые распевает соседствующая с конторой Шпета секта «Святые Ютли», звучат не только трагическим, но и пародийным сопровождением происходящему.

Именно Дюрренматт ввел в большую литературу убийства, преступления, тайны в таком количестве, какие позволительны были раньше разве что в детективе. Основания для этого он находил в действительности. Но читатель, наверное, согласится, что роман, начавшийся с убийства и продолжающийся в том же духе, не сеет в душе уныния. Он говорит о трагическом и страшном. Но в то же время в нем есть неудержимая энергия жизни, радость игры и бесконечной выдумки.

Один из персонажей пускается как-то в сравнение возможности и действительности, отдавая предпочтение последней, так как в ней скрыты бесчисленные возможности. Он по-своему употребляет давние мысли самого Дюрренматта, неоднократно высказанные им в теоретических статьях. Лучшие произведения писателя, в том числе и этот, последний его роман, подкупают именно кипением жизни в ее гротескном обличье, обилием непредвиденного, толчеей событий, всегда готовых подставить героям ножку.

Надо сказать, что это качество нередко исчезало в его творчестве последних двадцати лет.

Среди его комедий, частично переведенных у нас («Метеор», 1966, «Играем Стриндберга», 1969), а чаще нашему читателю неизвестных, есть блистательные — упомяну хотя бы «Портрет одной планеты», 1971,— своего рода грандиозное сатирическое ревю истории человечества от Адама до наших дней). И все-таки в пьесах последних десятилетий заметно вольное или невольное предпочтение, которое автор отдает неподвижной модели мира, перед многовариантной действительностью.

Многосложностью и путаницей жизни «Правосудие», начатое в давние годы, напоминает прославленные пьесы тех лет. Комическое и ужасное, игра и глубокая серьезность органически соединились, как некогда в «Визите старой дамы», в этом произведении. Автор будто не хочет оспаривать естественное право жизни на разви-

тие, движение, творчество. Но он видит, как смертоносно стало это движение и как опасна игра.

Сюжет катится легко и неостановимо, словно по рельсам. Но речь ведь идет о том, как легко, коли того требуют интересы политики, экономики, наконец, науки (Дюрренматт заботливо перечисляет разные варианты) или, например, интересы облаченного властью лица, убить человека. Как легко через пару лет заставить население большого города переложить обвинения с одного на другого и отныне считать, что убил не тот, кто стрелял на глазах у всех, а другой — хотя бы потому, что он известный мастер спортивной стрельбы. Каким образом происходят подобные вещи, Дюрренматт уже показывал однажды в «Визите старой дамы». У одного из жителей маленького Гюллена на ногах появились дорогие башмаки, другой уже подумывает, почему бы не дать образование детям. Все почему-то опускают глаза, все чего-то стесняются. Мэр города торжественно отвергает требование Старой дамы: «Мы пока еще живем в Европе... Мы предпочитаем быть бедными, чем запятнанными кровью...» («Народ,— говорилось в судебном приговоре, вынесенном вначале советнику Колеру в романе «Правосудие»,— вправе... требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие — с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни».) Но в воздухе уже носится, что Альфред Илл непременно будет убит, а Колер, столь справедливо и с пафосом осужденный, оправдан и что особых усилий для этого не понадобится.

Дюрренматт увидел в жизни густое скопление несуразностей. Он изобразил действительность, которая готова обратиться в трагический фарс. Разгулу фарса тщится противостоять лишь адвокат Шпет, в котором сохранились остатки идеализма (недаром его имя означает по-немецки «поздно» — в этой жизни он запоздалый). Он хочет сопротивляться, видит в себе поборника справедливости. Но и позиция Шпета жалка: в сущности, он послушно идет на поводу у власти, его тащат за собой события.

Автор показал нам безрезультатность потуг и печальный конец Шпета. Но, чуткий художник, он предоставил читателям задуматься и над опасностью одержимости и фанатизма, пусть на их знамени написано «Справедливость!». Ведь по вине Шпета гибнет не один человек, и он тоже — пусть невольный — убийца.

Каждый образ в этом романе — таково уж свойство большого искусства — амбивалентен, каждый содержит в себе темное, но и взывающее к сочувствию, человеческое. Со своими героями Дюрренматт поступает так же, как с недоумением, заданным читателю с самого начала — насчет причин и движущей силы творящегося зла. Как герои повертываются к читателю то той, то другой неожиданной стороной (вспомним, какое разное впечатление оставляет, например, Елена), так и вопрос «кто виноват?» получает все время новое освещение. С истины срывается один покров за другим, однако последней ясности так и не возникает.

Но в этом и кроется глубина романа. Перед нами не просто произведение, обличающее определенное общество хотя фигуры Колера и Моники Штайерман как будто бы дают основания для такого прочтения. Перед нами произведение позднего времени, когда песнопения секты «Святые Ютли» о конце света могут оказаться реальностью. Роман, в котором пронзительной нотой звучит мысль о земле, о звездах, об отпущенном нам сроке жизни.

Никогда раньше в произведениях Дюрренматта не было столько лирики. (У теперешнего Дюрренматта это качество можно найти разве что в повести «Зимняя война в Тибете», 1981, которая скоро, надо надеяться, тоже станет известной нашему читателю.) Автор берет слово не только в конце, когда по ходу сюжета сам входит в роман с рукописью Шпета в руках. Его интонации слышатся и в рассуждениях адвоката, один голос перекрывает другой.

Удивительны в романе эти внезапные «лирические отступления», столь неожиданные для чуравшегося откровенностей Дюрренматта, отступления и теперь, впрочем, полные иронии, виртуозные по силе, парадоксальности и сжатости мысли. Полстраницы — и перед нами история Швейцарии, пара абзацев — и свободно очерчен швейцарский дух, швейцарский образ мыслей.

Но главный прорыв лирики совершается под конец. Перед нами — сам автор, под звездным небом, на террасе своего дома. Почти забыв о своих героях, оставив выдумку, он говорит о страшной игре, которую ведем сейчас мы, живущие на земле.

В тексте романа часто встречались швейцарские приметы, мелькали названия улиц и переулков Цюриха. Но мир романа — это не только Швейцария, но и мир человечества. И ко всем нам, его представителям, как бы принципиально ни отличались наши проблемы, обращены наблюдения и мысли писателя. Ведь часто и мы «знаем не наверняка, но наверняка убеждены»; часто ходим по шаткому основанию, считая его незыблемым; способны принимать невинных за преступников и, наоборот, оправдывать преступления, почитая себя при этом поборниками справедливости. «Что же мы собой представляем?» — этот вопрос обращен в романе и к нам, читателям. Ответ на него нужно искать в себе и своей жизни.

Н. ПАВЛОВА

■

ЭРНЕСТО САБАТО

Туннель

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского И. ГЛУЩЕНКО

Знакомство нашего читателя с Эрнесто Сабато примечательно тем, что читателю не известно творчество аргентинского писателя, популярного в Латинской Америке не меньше, чем его такие именитые соотечественники, как Борхес или Кортасар, в то время как Сабато хорошо знает, с кем ему предстоит встреча, и давно мечтает о ней. Письма, которые я получал от Сабато последние два года, после того как познакомился с ним в его доме в городке Сантос-Лугарес, в часе езды на электричке от Буэнос-Айреса, словно дышат прерывистым дыханием ребенка, который ждет исполнения давней мечты. «У меня великое желание увидеть Россию, позволь мне употребить старое и любимое название твоей страны,— пишет Сабато.— Ведь под этим именем я узнал ее, читая Толстого, Достоевского, Гоголя, Пушкина, Чехова. Эту старинную и любимую Россию, с отрочества питавшую мое воображение. И если удастся приехать, я так хочу повидать все, что говорит о новой ее жизни, мечта о чем всегда страстно наполняла мое существование».

Но у Сабато есть свое одно маленькое и вместе с тем великое условие встречи: он хочет приехать не туристом, а тем, кто он есть — художником, вступившим в диалог с читателем. Будем считать, что писатель Эрнесто Сабато уже среди нас, причем знакомство с ним начинается с самого начала — с его первой, опубликованной в 1948 году повести «Туннель», выдержавшей множество изданий в Латинской Америке и переведенной на двадцать пять иностранных языков.

Итак, повесть вышла в 1948 году, и, следовательно, в год публикации на русском языке ей исполняется сорок лет, самому же Эрнесто Сабато, родившемуся в провинции Буэнос-Айрес,— семьдесят семь. По праву того, кто знает не только произведение, но и создателя, могу сказать, что время их не тронуло. Повесть и сегодня, как сорок лет назад, соскребет с души того, кто ее прочитает, коросту конформизма, столь спасительного для повседневной жизни, и обнажит ее до последней, самой болезненной и ранимой наготы там, где она всегда занята невыносимо тяжким трудом осмысления глубинного, *истинного* человеческого бытия. Достоевский, столь любимый Сабато, называл такую напряженную жизнь души жизнью «по законам усиленного сознания». Именно по таким законам всегда жил и сам Сабато.

Как и у каждого известного писателя, у него есть свой длинный «послужной список» писательской славы: ордена (Аргентины, Франции, Италии, Испании), премии и среди них— высшая награда для испаноязычного писателя, которой были удостоены Карпентьер, Борхес и Онетти,— премия Мигеля де Сервантеса Сааведры (Испания, 1984). Бывает так, что чешуя официальных почестей срастается с кожей души, и душа утрачивает чувствительность к боли. Эрнесто Сабато застрахован от этого. Он из тех, кто живет как бы со снятой эпидермической защитой души, и его жизнь *на грани, над бездной* заставила меня вспомнить именно русский стиль духовной жизни, и прежде всего столь любимого им уже упоминавшегося Достоевского. Как и для русских писателей, для Сабато литература — не беллетристика, а судьба, мука, труд во имя поиска человеческой мировой гармонии, или, если угодно, как он говорит,— *абсолюта*, в условиях, когда из каждого угла реальной жизни грозят человеку морды шакалов и гиен, и невидимые силы отчуждения, выедая душу изнутри, превращают людей в этих самых шакалов и гиен. В том числе и писателей.

Уже довольно давно Сабато не пишет художественных произведений, остались публицистика и живопись. Сабато показал мне свою студию, а делать этого он крайне не любит: два автопортрета разных лет— в молодости и недавний, портреты Достоевского, Ван Гога, Кафки, Ницше — лики *над бездной*, той *пропастью*, со дна которой доносится этот шакалий вой. Лики творцов, завороженно слушающих этот вой, проникающий им в душу.

Сабато хорошо знает повадки и голоса этих тварей. Его не понять и не объяснить вне контекста больших идей XX века — той основы, по которой жизнь вышивала трудные, порой ужасные узоры духовных метаний художников нашего столетия. Столетия великой Надежды и великой Трагедии, века концлагерей и людей, рвущих голы-

ми руками колючую проволоку, века величайших взлетов и падений человека, века торжества разума, проникшего в структуру атома, и века безумия, пытающегося вырваться на волю из этого атома. Все это имело самое непосредственное отношение к становлению Сабато как личности. Ведь Сабато, изучавший в университете аргентинского города Ла-Плата физику, математику и философию, в 1938—1939 годах, как раз тогда, когда мир покрывался концентрационными лагерями и готовился к безумному прыжку в пропасть второй мировой войны, работал в лаборатории Жолио-Кюри, там, где чистые, ясные люди открывали силы хаоса и тьмы.

Один из трагических автопортретов Сабато, где он молодой, относится к тому периоду. Был он близок тогда к сюрреалистам, к Бретону. Когда началась война, вернулся в Аргентину, писал, но ничего не издавал, кроме публицистики, в которой всегда оставался «вольным стрелком», бескомпромиссно готовым выступить против всего, что гнетет человека, откуда бы ни исходила угроза и какими бы лозунгами она ни прикрывалась. Изначальный для Сабато конфликт между рационально-логическим (напомним — физик, математик) и образно-чувственным началами его личности разрешился в пользу искусства, наиболее чуткого инструмента постижения той последней и страшной борьбы против человека и за человека, что решит судьбу мира. Познал ли он истину?

Второй автопортрет, который отделяет от первого, наверное, десятка четыре лет,— все тот же лик ужаса. Это память о 70-х — начале 80-х годов, когда в Аргентине буйствовал военно-фашистский террор. Когда в 1983 году военные были вынуждены уйти в казармы, он возглавил Национальную комиссию по расследованию преступлений и погрузился в безумный мир подпольных тюрем, концентрационных лагерей, издевательств, садистских пыток, убийств. Итогом расследования стал том «Никогда больше», содержащий тысячи свидетельств о страданиях аргентинцев,— своего рода аргентинский вариант нюрнбергской «черной» книги. Книги, за которую аргентинские фашисты, сменившие военные одежды на штатские, но не теряющие надежд снова навести в стране кладбищенский порядок молчания, уже неоднократно грозили Сабато расправой — им не впервой убивать писателей. Сабато говорил мне о тех странных телефонных звонках, когда из трубки доносится только сопение невидимых тварей, тупой морды Небытия...

«Никогда больше» — это последний на сегодня «литературный» труд Сабато. Я рассматривал у него в студии его автопортреты, лики творцов, слушающих вой тех шакалов и гиен снаружи и вой внутри. Понимать — понимал, да и как не понять, но взбунтовался, впрочем не как против чужого, а как против близкого — не зря там Достоевский!

«А слезинка ребенка? — спросил я.— Та самая достоевская слезинка ребенка? А милосердие? А достоевская надежда?» Разговор был уже не в доме Сабато, не в его странном кабинете — идеальный порядок, ни пылинки, точная симметрия писательских принадлежностей, разложенных на белом, белоснежном, каком-то голом столе (потом я пойму, он сам подскажет, что маниакальный порядок на писательском станке — попытка обуздать хаос в писательской душе!),— а в Буэнос-Айресе, в кафе на улице Уругвай, неподалеку от Аргентинского общества писателей. Сабато беззащитно взглянул на меня, ничего не ответил, а потом написал мне уже в Москву, в сентябре 1987 года: «Да, это так, мои портреты Достоевского, Кафки, Ницше и другие ужасны, но такими они выходят из меня, возможно, потому, что последние годы были для меня годами ужасных страданий, потому что те ужасы, что здесь свершались, лишали меня чувства надежды. Нет, нет, мне известен дуализм Достоевского, я всегда о нем помню и всегда писал об этом. В Достоевском Бог и Дьявол оспаривают свою власть над человеком, а битва эта разворачивается в сердце человека. Он знал — да и какому писателю это неизвестно? — что бытие — это борьба между добром и злом, между светом и тьмой. Этой борьбы — ты совершенно прав — нет в портрете Достоевского, ибо я стремился дать только о д и н из его обликов — х у д ш и й, но она разворачивается в моих романах, особенно в двух последних (имеются в виду романы «О героях и могилах» и «Аваддон Губитель».— **В. З.**), где милосердие, любовь и надежда часто оказываются свойством скромных маленьких героев... Преимущество писателя в том, что он способен в художественном творчестве, являющемся своего рода диалектикой истинного бытия, воссоздать бесконечное множество оттенков этого подлинного бытия, противоречащих один другому. Я сам не покончил жизнь самоубийством и никогда не отказывался от борьбы потому, что под моим пессимизмом всегда живет безнадежно упрямая и ожесточенная вера в человека... Если бы я совершенно не верил, я не провел бы всю свою жизнь в борьбе за справедливость, за свободу, за обездоленных людей, за угнетенные народы, борясь с таким упорством, что меня часто называли «наивным романтиком». Да в определенной мере я такой и есть. И когда психоаналитики говорят обо мне, что я принадлежу к тем, кто «не созрел», это тоже верно. Во многом я навсегда остался подростком, и поэтому молодежь ищет мои книги. Как и в подростках, во мне всегда живет страсть к поиску абсолюта в мире относительности, несовершенства и разочарований».

Я привожу эту выдержку из письма Сабато, не зная, рассердится он на меня или нет, потому что все, что он сказал здесь о себе, и есть лучший, д р у г о й его автопортрет — портрет писателя-Подростка, освобождающий меня от всегда приблизительных попыток представить читателю образ крупного художника.

Я пропустил лишь одну фразу, которую приведу отдельно: перечисляя свои романы, где отчаяние живет всегда рядом с надеждой, он выделил особо «Туннель»,

свою первую книгу, книгу, как он сказал, без «бликов света», «жесткую книгу поисков абсолюта», заканчивающуюся жестоким крахом.

Сабато специально подчеркивал в задышливо-нервных строчках своих писем, беспокоясь о качестве перевода: это жесткое, очень жесткое, жестокое повествование, и такими должны быть безжалостные фразы и слова... Именно это качество «Туннеля» отметил в свое время Альбер Камю, высоко отозвались о повести также Томас Манн и Грэм Грин.

Как уже было сказано, «Туннель» был написан сорок лет назад. В 1947 году Сабато бежал из Аргентины, где к власти пришел очередной военный режим, во Францию, проработал два месяца в аппарате ЮНЕСКО, но обезумев от бумажной волокиты, снова бежал, обратно на родину, где его не ждало ничего хорошего. В Цюрихе Сабато дожидался пересадки на поезд, и вдруг под влиянием каких-то темных толчков давно бродившая в нем книга п о ш л а, он закончил ее на корабле, пересекавшем Атлантику. Это было не первое написанное им художественное произведение, но ничто из созданного ранее не дожило до печати — все уничтожалось, и чуткий читатель не сможет не почувствовать, что «Туннель» выжил лишь потому, что это с о в е р ш е н н а я книга Эрнесто Сабато. К этому тексту нельзя ничего прибавить, и нельзя ничего убрать из него. В единственных, точных и жестких словах в «Туннеле» воссоздана всеобщая человеческая ситуация в мире, едва очнувшемся после эпохи концлагерей, той эпохи, когда голодного человека, прежде чем его уничтожить, у г о щ а л и живой крысой (как то вспоминает герой «Туннеля»). Мир, переводя дыхание после ужасов второй мировой войны, вновь и заново перетряхивал свою веру в а б с о л ю т ы и возможности человека, но уже дышал морозным воздухом «холодной войны», сдобренным запашком первых, пока еще таких вроде бы далеких и почти неправдоподобных атомных пожарищ. Одним из ответов западной интеллигенции на ситуацию был французский экзистенциализм — стоическая философия одиночки перед лицом «абсурда истории». Думаю, что искания Сабато связаны с экзистенциализмом. В том споре с миром, в который вступает и д е о л о г и ч е с к и й герой этой криминальной истории, словно слышатся отголоски идей Сартра и Камю. Но все-таки это нечто иное. И более того — противостоящее идеологии экзистенциализма. Вообще сабатовский тип художественного сознания ближе классическому русскому, в нем нет сухотки французского рационализма, это скорее столь знакомое нам, «сдвинутое» страстью и болью катастрофическое сознание с т р а д а т е л е й за человека, рвущихся понять его и путающихся, безнадежно увязающих в противоречиях и снова рвущихся из подвала безверия к солнцу идеала — к а б с о л ю т у. Перефразировав два названия, книгу Сабато можно было бы назвать «Записками из туннеля», ибо сабатовский тунель — это все то же отъединенное от человечества достоевское подполье, где искатель абсолюта в одиночестве отчуждения превращается в ту самую гиену, в того самого шакала.

Именно это произошло с героем «Туннеля» художником Кастелем (обратим внимание — творцом!), который, осудив мир как непроглядный ужас (а чего, собственно, он заслуживает, если на прощание, перед уходом из него, людей у г о щ а ю т живой крысой!?), присвоил себе право добиваться а б с о л ю т а путем собственного произвола. Из судьи произвола он превратился в апологета собственного насилия, заставляя других глотать крыс безумия своего одиночества. Кастель вызвал мир на суд, а вышел уголовный самосуд. Какой уж там а б с о л ю т любви, какая уж там человеческая гармония в туннеле одиночества! Казалось бы, все это нам уже знакомо, все это мы «проходили», но вот какая мысль не оставляет меня теперь, когда я перечитал «Туннель» перед публикацией на русском языке. Вот этот самый а б с о л ю т, утопические факторы сознания, фанатическое рвение к симметричной гармонии в нашем столь несимметричном, несовершенном и хрупком мире, который, если сказать словами Достоевского, сегодня «до последней стены дошел»! Как только не калечило человечество себя и мир, рвясь к этому самому а б с о л ю т у, а живая жизнь всегда оказывалась мудрей любой метафизики. Задумаемся об этом сегодня.

И последнее: «Туннель» — это очень аргентинская книга, без всякой описательности, точно и тонко передающая особую атмосферу «вавилонского града» Буэнос-Айреса, в котором вечно звучит жесткая и трагическая музыка настоящего аргентинского танго — любовного поединка, один из партнеров в котором обязательно погибнет. Именно так, как это произошло в «Туннеле».

ВАЛЕРИЙ ЗЕМСКОВ

Посвящается моему другу Рохелио Фрихерио, сумевшему выстоять в этом мире трудных и переменчивых идей.

«...так или иначе, существовал только один туннель, темный и одинокий,— мой».

I

ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, что я — Хуан Пабло Кастель, тот самый художник, который убил Марию Ирибарне: должно быть, все еще помнят судебный процесс, и вы не нуждаетесь в более подробных сведениях обо мне.

Хотя сам черт не разберет, что́ помнят люди и почему. Вообще-то мне всегда казалось, будто коллективной памяти не существует, пожалуй, такова своеобразная форма самозащиты человеческого рода. Слова «старые времена были лучше» означают не то, что раньше случалось меньше плохого, просто о нем сумели благополучно забыть. Конечно, подобное утверждение справедливо не для всех; мне, например, свойственно запоминать в основном плохое, и я мог бы сказать: «Старые времена были хуже», если бы настоящее не представлялось таким же мрачным, как и прошлое,— моя память сохранила столько гнусностей, бедствий, жестоких и циничных лиц, что стала походить на боязливый лучик, освещающий грязный музей бесстыдства. Как часто, прочитав полицейскую хронику, я подавленно застывал в темном углу мастерской. Но на деле самые отвратительные пороки гнездятся не в уголовной среде; в известном смысле преступники наивней и безобидней многих других, заявляю это не потому, что сам убил человека,— это мое искреннее и глубокое убеждение. Субъект опасен? Ну, так избавимся от него, и все. Вот что я называю *добрым делом*. Подумайте, сколько вреда причинит такой тип, если он будет по-прежнему отравлять людям жизнь, а люди, вместо того чтобы расправиться с ним, прибегают к доносам, клевете и прочим низостям. Я, признаться, сейчас сожалею о том, что не сумел как следует использовать свободу и не прикончил с полдюжины знакомых.

Мир ужасен — вот истина, которую не нужно доказывать. Хватит лишь одного примера: в концлагере бывший пианист пожаловался на голод, и тогда его заставили съесть крысу, *причем живую*.

Впрочем, речь сейчас о другом; потом, при случае, мы еще вернемся к истории с крысой.

II

ИТАК, меня зовут Хуан Пабло Кастель. Вы спросите, какие мотивы заставили меня взяться за перо и описать историю преступления (кажется, я упомянул, что расскажу о своем преступлении), да еще и публиковать записки. Я хорошо знаю человеческую душу; конечно, вы заподозрите меня в тщеславии. Думайте, как хотите, наплевать; мне давно плевать на чужие суждения и оценки. Пусть, по-вашему, эта история публикуется из тщеславия. В конце концов, я, как и все, сделан из мяса, волос, ногтей и костей, и весьма несправедливо искать во мне — именно во мне — каких-то особых достоинств; ты нередко представляешь себя суперменом, пока вдруг не заметишь собственной нечистоплотности, пошлости и коварства. Другое дело — тщеславие: никто не страдает от недостатка тщеславия — важнейшего двигателя Человеческого Прогресса. Мне смешны господа, умиляющиеся скромности Эйнштейна и ему подобных, *легко быть скромным, когда ты знаменит*, вернее, *казаться скромным*. Порой думаешь: тщеславия здесь нет и в помине, а оно вдруг проявляется в самой своей утонченной форме — скромности. Как часто мы сталкиваемся с людьми, сочетающими в себе то и другое! Даже Христос, символ он или подлинное лицо, произнес слова, подсказанные тщеславием, или по крайней мере гордыней. А Леон Блуа, которого обвиняли в высокомерии, оправдывался тем, что всю жизнь провел среди людишек, в подметки ему не годившихся. Тщеславие прячется в самых невероятных местах: оно соседствует с добротой, самоотверженностью, великодушием. В детстве меня приводила в отчаяние мысль, что когда-нибудь умрет мать (постепенно понимаешь, что со смертью можно не только примириться, но даже желать ее). Сейчас, когда ее уже нет, сознаю — она была так хороша, как только доступно смертному. Однако в последние годы ее жизни мне, уже взрослому, становилось больно, когда в лучших проявлениях у нее обнаруживалось хоть крошечное зернышко фальши или гордыни. То, что произошло со мной самим после того, как ей удалили раковую опухоль, еще более красноречиво. Чтобы успеть к

матери, мне пришлось провести в дороге две бессонные ночи. Когда же я оказался у ее постели, больная слабо улыбнулась, безжизненное лицо озарилось нежностью, и мать прошептала несколько сочувственных слов, огорченная моим измученным видом. И где-то в глубине зародилась тщеславная гордость — ведь я примчался так быстро! Раскрою вам секрет, чтобы вы убедились сами: я начисто лишен иллюзий собственного превосходства над другими.

В любом случае свою историю я рассказываю не из тщеславия. Готов согласиться: тут есть доля высокомерия или гордыни. Но что за мания анализировать каждый шаг? Взявшись за повесть, я твердо решил ничего не растолковывать. Хотелось лишь рассказать о преступлении, и все; кому не понравится, пусть бросит чтение. Хотя это маловероятно — как известно, самые любопытные постоянно требуют объяснений, и ни один из них не упустит возможности дочитать историю преступления до последней страницы.

Лучше было утаить причины, побудившие меня писать эту исповедь, но чтобы не показаться эксцентричным, скажу правду, в которой нет ничего сложного: повесть прочтет множество людей, ведь сейчас я знаменит; и хотя у меня нет иллюзий ни насчет человечества в целом, ни насчет читателей моей книги, все же остается слабая надежда, что кто-то сумеет меня понять. ХОТЯ БЫ ОДИН ЧЕЛОВЕК.

Вы спросите: «Почему лишь слабая надежда, если рукопись прочтут столько людей?» Подобные вопросы кажутся мне бессмысленными. Но надо предвидеть и их, поскольку нам постоянно задают вопросы, бессмысленность которых видна с первого взгляда. Можно кричать до хрипоты перед ста тысячами русских: никто тебя не поймет. Вам ясно, о чем идет речь?

Только одно существо могло бы меня понять. *Но им была именно та, кого я убил.*

III

ВСЕМ известно, что я убил Марию Ирибарне Гюнтер. Но никто не знает, как мы познакомились, какие у нас были отношения и как во мне постепенно созревала мысль убить ее. Постараюсь рассказать беспристрастно: хотя Мария причинила мне много страданий, я чужд дурацкого стремления изобразить себя совершенством.

В 1946 году я выставил в Весеннем салоне картину под названием «Материнство». Она была в стиле моих прежних работ и, как говорят на своем невыносимом жаргоне критики, «цельной по композиции». Короче, обладала всеми достоинствами, которые эти шарлатаны всегда отыскивали в моих полотнах, включая «нечто глубоко интеллектуальное». Однако через окошко в левом верхнем углу картины можно было разглядеть маленькую сценку вдали: женщина на пустынном берегу вглядывается в море. Женщина застыла в ожидании, быть может, едва уловимого и неведомого зова. Сюжет должен был выражать тревожное и безысходное одиночество.

Никто не обратил внимания на эту часть картины, по ней скользили взглядом как по чему-то второстепенному, возможно декоративному. Никому, кроме единственного человека, не удалось понять, что здесь кроется самое главное. Был день открытия выставки. Какая-то девушка долго простояла перед картиной, явно не замечая крупной фигуры женщины на переднем плане, которая наблюдала за играющим ребенком. Незнакомка пристально разглядывала именно берег и, пока смотрела, не сомневаюсь, забыла обо всем на свете, не видела и не слышала посетителей, проходивших мимо или останавливающихся около моего полотна.

Все это время, покуда она не скрылась в толпе, я тоскливо следил за ней, колеблясь между тревожным желанием окликнуть девушку и неодолимой боязнью. Боязнью чего? Наверное, такой же страх охватывает игрока, ставящего на карту все свое состояние. Когда же де-

вушка исчезла, я был зол и подавлен: теперь она скорее всего затеряется среди миллионов безвестных жителей Буэнос-Айреса, и я никогда больше ее не увижу.

Вечером я вернулся домой взвинченный, недовольный, мрачный.

Я ходил на выставку каждый день до самого закрытия и стоял достаточно близко, чтобы видеть всех подходящих к моей картине. Но девушка больше не появилась.

Все последующие месяцы я думал только о ней, о том, как снова ее увидеть. И писал в какой-то мере только для нее. Сцена в окне словно разрослась, захватывая все полотно и все творчество.

IV

ОДНАЖДЫ днем я наконец увидел незнакомку на улице. Она шла по противоположной стороне решительно, как человек, который должен прибыть в определенный час в определенное место.

Я тут же узнал ее: даже в огромной толпе мне удалось бы ее различить. Невероятное возбуждение охватило меня. Я столько думал о ней, столько всего нафантазировал, что, увидев, растерялся.

По правде говоря, я тысячу раз репетировал сцену нашей встречи. Вы знаете о моей скованности, пришлось до мельчайших подробностей продумать, как лучше использовать воображаемое свидание. Труднее всего было начать разговор. Многие мужчины свободно заговаривают с незнакомой женщиной. Не скрою, раньше я завидовал им — хотя никогда не был бабником или именно поэтому,— особенно в тех редких случаях, когда невозможно смириться с тем, что она так и не войдет в твою жизнь. К несчастью, мне навечно суждено быть чужим любой женщине.

Все возможные варианты встречи с девушкой из Салона анализировались одинаково тщательно. Такова уж моя натура: в непредвиденных, неожиданных ситуациях я от растерянности и робости всегда теряю способность соображать. Поэтому пришлось заготовить несколько логичных или по крайней мере правдоподобных схем (когда близкий друг пишет тебе оскорбительное анонимное письмо, это нелогично, хотя не секрет, что такое случается).

Девушка, по-видимому, ходила на выставки. Встретив ее в одном из салонов, я бы подошел к ней и завязать разговор о какой-нибудь картине не составило бы труда.

После внимательного изучения план был забракован. *Я никогда не посещаю салонов живописи.* Такие слова в устах художника могут показаться странными, но объяснение этому есть, и решись я его дать, все бы согласились со мной. Пожалуй, говоря «все», я преувеличиваю. Разумеется, преувеличиваю. Опыт показывает — то, что для меня ясно и очевидно, не всегда ясно остальным. Мне столько раз приходилось обжигаться на этом, что теперь я хорошенько подумаю, прежде чем рискну объяснить или оправдать ту или иную точку зрения, и почти всегда отмалчиваюсь и замыкаюсь в себе. Именно поэтому я так долго не мог собраться с силами и рассказать об убийстве. Не знаю, стоит ли сейчас объяснять, отчего мне неприятны выставки, но боюсь: если этого не сделать, вы усмотрите тут какую-то манию, хотя, в сущности, моя неприязнь к ним имеет глубокие корни.

Оснований в самом деле больше чем достаточно. Прежде всего мне ненавистны всякие группы, секты, корпорации, сообщества и тому подобные сборища пресмыкающихся, объединенных родственными профессиями, вкусами или помешательством. Таким союзам присущи многие уродливые черты; схожесть типов, жаргон, чувство превосходства над другими.

Как видите, проблема усложнилась, но не знаю, как ее упростить. Впрочем, тот, кто вздумает закрыть книгу на этой странице, пусть так и сделает; заявляю решительно: он имеет на то полное право.

Что означает «схожесть типов»? Вам, должно быть, приходилось общаться с людьми, которые поминутно подмигивают или строят рожи. А если им взбредет в голову объединиться в клуб? Кстати, не обязательно доходить до таких крайностей; достаточно понаблюдать за большой семьей, где, повторяясь, искажаются специфические черты, жесты, интонации. Как-то раз я влюбился (разумеется, тайно) и, охваченный страхом, постарался избежать знакомства с сестрами девушки. Раньше мне уже пришлось пережить тягостное разочарование: лицо одной женщины поразило меня своей неповторимостью, но, увидев ее сестру, я был надолго подавлен и смущен: черты, восхитительные у первой, были утрированы и пародийно заострены у другой. И то, что дурнушка искажала прекрасный облик, как кривое зеркало, заставило меня устыдиться, словно я был виноват в нелепой тени, которую сестра бросала на ту, кем я восхищался.

Возможно, дело в моей профессии, ведь люди обычно не замечают подобных тонкостей. Нечто похожее я испытываю, глядя на работы художников, подражающих великим мастерам; вспомните, например жалких неудачников, пишущих в манере Пикассо.

Затем жаргон — еще одна особенность, которая мне просто противна. Поясню на любом примере: психоанализе, коммунизме, фашизме, журналистике. Я ничему не отдаю предпочтения, они мне одинаково чужды. Взять хотя бы тот же психоанализ. Доктор Прато — талантливый человек, и он считался моим другом (тем больнее мне было в тот период жизни, когда все ополчились на меня, и он присоединился к прочему сброду); но не будем об этом. Однажды, едва я пришел к нему на консультацию, Прато сказал, что уходит, и предложил составить ему компанию.

— Куда? — поинтересовался я.

— На коктейль, в Общество,— ответил он.

— В какое «Общество»? — спросил я с тайной иронией, потому что эта их манера недоговаривать меня бесит. *Общество* вместо Психоаналитическое общество, *Партия* вместо Коммунистическая партия, *Седьмая* вместо Седьмая симфония Бетховена.

Прато изумленно уставился на меня, но я наивно выдержал его взгляд.

— О господи, в Общество психоаналитиков! — объяснил он, не отводя проницательных глаз, которые фрейдисты считают непременной принадлежностью своей специальности, будто спрашивая: «Что еще за новый пунктик у этого малого?»

Мне вспомнилась какая-то заметка о заседании или конгрессе под председательством некоего доктора Бернара или Бертрана. Зная наверняка, что он не имеет никакого отношения к обществу Прато, я спросил, не о нем ли речь. Доктор презрительно улыбнулся.

— Мошенники! Запомни: только наше пользуется международным признанием.

Он вернулся в кабинет, порылся в ящике стола и вытащил письмо, написанное по-английски. Пришлось из вежливости взглянуть.

— Я не знаю английского.

— Это письмо из Чикаго. Нас объявляют единственным серьезным психоаналитическим обществом в Аргентине.

Я изобразил на лице почтительность и восхищение.

Затем мы вышли из дому и поехали на это сборище. Там было полно народу. Некоторых я знал по имени, например доктора Гольденберга, пользующегося в последнее время большой известностью: после того, как он пытался исцелить одну женщину, оба угодили в сумасшедший дом. Гольденберг вышел оттуда совсем недавно. Я внимательно оглядел его, но не заметил, чтобы он был хуже прочих, наоборот, выглядел более уравновешенным: должно быть, изоляция пошла ему на пользу. Доктор так расхваливал мои картины, что я понял, до чего он ненавидит их.

Кругом царила невероятная изысканность, и мне стало стыдно за мой поношенный костюм и пузырящиеся на коленях брюки. И все же ощущение смехотворности происходящего родилось от чего-то другого, пока неясного. Оно достигло высшей точки, когда изящная девица, протянув мне сандвич, завела разговор с каким-то мужчиной об анальном мазохизме. А может быть, виноват был контраст между удобной, сверкающей, современной мебелью и утонченными сеньорами, которые перебрасывались генитально-уринальными терминами?

Хотелось забиться в угол, но тщетно: зала была переполнена совершенно одинаковыми людьми, без умолку говорящими об одном и том же. Я выскочил на улицу. Когда мне встретились нормальные люди — газетчик, мальчишка, шофер,— показалось вдруг невероятным, как в одну квартиру умудрилось набиться столько выродков.

Но больше других я презираю братство художников. Отчасти потому, что оно глубже изучено мною, и это естественно: как правило, с бóльшим основанием ненавидишь то, что лучше знаешь. Впрочем, есть и другая причина — КРИТИКИ. Вот уж действительно бедствие, всегда остававшееся для меня загадкой. Что бы вы подумали о человеке, никогда не державшем в руках ланцета, не перевязавшем лапку кошке, который упрекает хирурга за погрешности в операции? То же и в живописи. К моему удивлению, люди не догадываются об этом, и если замечания невежды вызывают смех, то к дилетантам критикам почтительно прислушиваются. Мнение критика, хоть однажды взявшегося за кисть, еще представляет какую-то ценность, пусть даже он написал посредственное полотно. Но и это нелепость: разве нормально, когда плохой художник дает советы хорошему?

V

Я ОТВЛЕКСЯ от повествования. Виновата проклятая привычка объяснять любую мелочь. На кой черт понадобилось рассказывать, почему я не хожу на выставки? Мы имеем право ходить куда вздумается, и вовсе не обязательно подробно отчитываться по всякому поводу. К чему приведет такая мания? Но что сделано, то сделано, хотя тема выставок далеко не исчерпана: вообразите, как там треплются коллеги-художники, как слепа бывает публика и как глупы служители, не умеющие толком подготовить салон и развесить картины. К счастью (или к несчастью), все это меня уже не трогает, а то можно было бы сочинить целое эссе «СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ХУДОЖНИКА ОТ ДРУЗЕЙ ИСКУССТВА».

Словом, пришлось отказаться от надежды встретить девушку на выставке.

Могло, впрочем, случиться, что я был знаком с кем-то из ее окружения. Тогда достаточно представить меня ей. Моя робкая натура радостно приветствовала столь простой выход. Никаких усилий с моей стороны — нас представят друг другу! Как чудесно все поворачивалось! Минутное затмение помешало мне понять, сколь нелеп подобный расчет. Я не сообразил, что найти ее друга будет так же трудно, как и саму девушку; невозможно обнаружить такого человека, ничего не зная о ней. Ведь если бы мне было что-нибудь известно, зачем обращаться к третьему лицу? Не спорю, в этом было некоторое преимущество, которым не стоило пренебрегать. Но раньше надо найти ее, а потом все равно отыскать кого-то, кто познакомил бы нас.

Можно было начать с другого конца: вдруг среди моих приятелей есть ее знакомые? Тогда не нужно искать ее, достаточно выяснить, не встречали ли они девушку такого-то роста, с такими-то волосами. Но это показалось мне неприличным, и я забраковал подобный способ, краснея от одной мысли, что придется задавать столь деликатные вопросы типам вроде Мапелли или Лартиге.

Заметьте, я исключил данный способ не потому, что считал его нелепым, а лишь по тем соображениям, которые только что привел.

Кому-то может показаться невероятной как раз надежда на редкое стечение обстоятельств, при котором бы у нас оказались общие знакомые. Так подумает лишь человек поверхностный, но тот, кто привык размышлять о тайнах бытия, поддержит меня. Общество делится на так называемые *горизонтальные страты*, объединяющие индивидов со сходными вкусами, и найти случайно (?) нужную тебе особу в соответствующей страте не так уж трудно, особенно если она формируется из людей с нетипичными вкусами. Судьба трижды сталкивала меня с одним и тем же незнакомцем: в берлинском квартале, в безвестном итальянском местечке и, наконец, в одной из библиотек Буэнос-Айреса. Неужели в этих совпадениях не было никакого смысла? Впрочем, все это уже банально — тот, кто увлекался музыкой, эсперанто или спиритизмом, поймет меня.

Итак, оставалось самое опасное — встретиться с ней на улице. Как некоторым счастливцам удается остановить женщину, заговорить и даже завязать интрижку? Было совершенно ясно, что любая попытка действовать первым обречена на провал; я сделал окончательный и грустный вывод, сознавая, что с моей внешностью и незнанием правил этой игры у меня нет никаких шансов.

Приходилось рассчитывать на везение (с вероятностью один на миллион), на то, что девушка обратится ко мне первая. Итак, судьба разыгрывалась в фантастической лотерее, требовалось выиграть, чтобы получить право участвовать в ней еще раз, и приз полагался лишь после второй победы. В самом деле, нужно было каким-то образом встретиться с ней и, что уже совсем невероятно, заставить заговорить первой. От безнадежности этой ситуации становилось не по себе. Но я продолжал строить всевозможные планы.

Незнакомка спросит меня, скажем, как пройти к автобусной остановке, и, исходя из ее слов, я проводил не один месяц в одиночестве, размышлениях и надежде, изобретая бесчисленные ответы. Я был то красноречивым (что мне не свойственно), то немногословным, то мрачным, то веселым. Иногда, и это уж совсем непостижимо, я отвечал ей грубо, не мог сдержать раздражения и во время одной из воображаемых бесед так резко упрекнул за неуместный и глупый вопрос, что разговор расстроился. От этих выдуманных провалов становилось совсем тошно, и потом я долго ругал себя, что упустил редкий шанс; но, к счастью, вовремя возвращаясь к действительности, вспоминал, что ничто пока не потеряно. Тогда я еще более вдохновенно ломал голову над новыми, более удачными диалогами. Труднее всего было перейти от бытового вопроса незнакомки к чему-то возвышенному — например, к проблемам искусства или хотя бы к моей картине. Конечно, когда ты не спешишь и у тебя соответствующее настроение, можно логически связать абсолютно несопоставимые вещи, и это не будет абсурдом — на дружеской вечеринке времени полно, если хотите, вечеринки и существуют, чтобы перекидывать мостик между самыми отдаленными явлениями; в суете столичной улицы, среди бегущих людей, которые поминутно тебя толкают, о спокойной беседе нельзя и мечтать. И все же отказаться от нее — значило поставить себя в безвыходное положение. И я опять принимался сочинять диалоги, самые короткие и емкие, начинающиеся с ерунды: «Как пройти на Центральный почтамт?» — и кончающиеся дискуссией об экспрессионизме или сюрреализме. Поверьте, это было совсем нелегко.

Как-то во время очередной бессонницы я пришел к выводу, что столь искусственные построения ничего не дадут, и лучше, поставив все на карту, смело спросить о главном. Например: «Почему вы не сводили глаз с женщины на берегу?» Конечно, ночью мы всегда решительнее, чем днем, когда нужно действовать. Утром, трезво разобравшись во всем, я понял, что никогда не осмелюсь с ходу задать подобный вопрос. Как обычно, отчаяние толкнуло меня в другую крайность: я изобрел такой абстрактный сюжет, что перейти к интересую-

щей меня теме можно было лишь после долгого общения — нечто вроде: «Любите ли вы искусство?»

Сейчас уже трудно восстановить в памяти все проработанные версии. Запомнились лишь самые мудреные, воспользоваться которыми было практически невозможно. Мои шансы были ничтожными, только при невероятном везении вымыслы совпали бы с реальностью — так изготовленный наугад ключ должен подойти к замку. В конце концов, я путался в собственных заготовках, забывал последовательность ходов, как бывает, когда воспроизводишь в уме шахматную партию. Иногда я переставлял местами воображаемые реплики, и это приводило к плачевным и жалким результатам. Так, объясняя, где находится нужный ей дом, я внезапно спрашивал: «Любите ли вы искусство?» Получалась какая-то чушь.

Зайдя в тупик, я, как правило, давал себе несколько дней передышки.

VI

КОГДА я увидел ее, спешащую по противоположной стороне улицы, все придуманные варианты разом полезли в голову, хаотически перемешиваясь и отталкивая друг друга. Я растерялся, почувствовав, как в сознании вспыхивают целые фразы, разработанные и заученные в ходе долгих упражнений: «Любите ли вы искусство?», «Почему вы не сводили глаз с женщины на берегу?» — и тому подобные. Особенно настойчиво пробивался вопрос, которого я стыдился и давно отверг, как грубый, выставлявший меня дураком: «Вам нравится Кастель?»

Из разрозненных обрывков складывалась мудреная головоломка, тут я подумал: «Не волнуйся, ведь она сама заговорит с тобой». И сразу же легкомысленно успокоился: «Ну-ка, посмотрим, как повернется дело».

Между тем, несмотря на столь утешительный вывод, я был так взволнован, что не придумал ничего лучшего, как идти дальше, не заботясь о том, чтобы дать ей возможность спросить про автобус — перейти на другую сторону и приблизиться к девушке. Смешно, неужели она будет кричать на всю улицу?

Как она поступит? До каких пор это будет тянуться? Я чувствовал себя бесконечно несчастным. Мы прошли еще несколько кварталов. Девушка все не останавливалась.

На меня нахлынула тоска, но следовало довести все до конца — после стольких месяцев отчаяния упустить счастливый случай было бы дико. Я шел быстро, а мысли шевелились еле-еле, и это создавало необычное ощущение: мой разум был слепым, неповоротливым червем, копошащимся в автомобиле, несущемся на большой скорости.

Девушка свернула на улицу Сан-Мартина, сделала еще несколько шагов и вошла в «Компанию Т». Нужно было немедленно решиться, и я направился следом, мучаясь от того, как несуразно и чудовищно вел себя в этот момент.

Она ждала лифта. Вокруг было безлюдно. Из моих уст вырвались на редкость дурацкие слова, которые несомненно могли бы принадлежать более смелому человеку:

— Это «Компания Т»?

Огромная вывеска, в несколько метров шириной, растянувшаяся на весь фасад здания, гласила, что это и есть «Компания Т».

Впрочем, незнакомка непринужденно обернулась и ответила утвердительно. (Позже, вспоминая свой вопрос и ее невозмутимый ответ, я подумал, что в конце концов можно и не заметить даже очень большую вывеску и вопрос, в общем, был не так уж безнадежно глуп, как мне показалось поначалу.)

Но через минуту, присмотревшись, девушка так покраснела, что стало ясно — она узнала меня. Как ни странно, такой поворот собы-

тий совершенно не приходил мне в голову, а ведь это было вполне естественно: мои фотографии часто появлялись в журналах и газетах.

От волнения я сумел придумать только еще более неудачный вопрос:

— Почему вы покраснели?

Она покраснела еще больше и уже собиралась ответить, как вдруг, не контролируя себя, я поспешно добавил:

— Вы покраснели, потому что узнали меня. По-вашему, мы встретились случайно, ничего подобного — случайностей не бывает. Уже несколько месяцев я думаю о вас. Сегодня на улице пошел за вами следом. Мне нужно спросить о чем-то очень важном, насчет окошка, понимаете?

Девушка испугалась.

— Окошка? — прошептала она.— Какого окошка?

Земля стала уходить у меня из-под ног. Неужели она забыла? Значит, не придала ему никакого значения и разглядывала просто из любопытства. Какой же я болван — все размышления и поступки последних месяцев, включая этот эпизод, были верхом несуразности, обычным моим фантастическим построением, таким же претенциозным, как скелет динозавра, воссозданный по сломанному позвонку.

Девушка чуть не плакала. Мир рушился, а мне никак не удавалось собраться с мыслями и довести дело до конца. Я услышал, как произношу слова, о которых сейчас стыдно вспомнить:

— Наверное, я ошибся. Всего хорошего.

Я выскочил на улицу и быстро зашагал сам не зная куда. Когда позади был почти квартал, за спиной вдруг раздалось:

— Сеньор, сеньор!

Это была та самая девушка, все время бежавшая за мной, не решаясь остановить. Теперь, когда она была рядом, ей самой было трудно объяснить случившееся. Она прошептала:

— Извините меня, сеньор... Глупо получилось... Я была так напугана...

Несколько мгновений назад мир казался хаосом, в котором мелькали бессмысленные предметы и существа. Теперь вселенная вновь обрела порядок. Я слушал, не проронив ни слова.

— Я не поняла, что вы спрашивали о картине,— произнесла она дрожащим голосом.

Не владея собой, я схватил ее за руку.

— Теперь вспомнили?

Какое-то время девушка молчала, опустив глаза. Затем медленно проговорила:

— Я все время думаю о ней.

И тут случилось нечто странное: она резко повернулась и быстро пошла прочь, будто испугавшись своих слов. Оправившись от изумления, я кинулся было за ней, но сразу осознал нелепость происходящего и, оглянувшись, замедлил шаг. Это было продиктовано двумя причинами: во-первых, смешно, когда известный художник гонится по улице за женщиной, во-вторых, *в этом не было необходимости.* Последнее было решающим, ведь теперь ее можно встретить когда угодно у входа в «Компанию Т». Зачем бежать сломя голову? Главное, поистине главное, то, что она помнит сцену в окошке: «Я все время думаю о ней». Ко мне вернулись силы, я был счастлив и упрекал себя лишь за то, что растерялся у лифта, да и сейчас, когда погнался за ней как сумасшедший, хотя было ясно, что всегда можно найти ее в этом учреждении.

VII

— В УЧРЕЖДЕНИИ? — громко спросил я себя, и колени у меня снова подкосились. Но кто мне сказал, что она работает именно там? Разве в учреждения заходят только сотрудники? Когда я подумал, что

девушка исчезнет еще на несколько месяцев, а может быть, и навсегда, мне стало дурно, и, уже не заботясь о приличиях, я в отчаянии побежал назад. Вот и «Компания Т», но девушки нигде не было. Может, она поехала наверх? Спросить бы у лифтера, только как? Ведь за это время множество женщин могло подняться на лифте, и придется описать ее,— а как это воспримет лифтер? Я в сомнении побрел по тротуару. Перешел на другую сторону и зачем-то стал рассматривать здание. Возможно, надеясь увидеть, что незнакомка покажется в окне. Хотя глупо ждать, когда она выглянет, подаст знак или сделает что-то в этом роде. Передо мной маячила лишь гигантская вывеска:

КОМПАНИЯ Т

Я прикинул, что длина вывески около двадцати метров; этот подсчет окончательно расстроил меня. Но сейчас некогда было предаваться унынию, еще будет время хорошенько себя помучить. В ту минуту мне в голову не пришло ничего лучшего, как войти в здание. Очутившись внутри, я остановился у лифта; но пока он спускался, смелость моя улетучивалась, а обычная застенчивость стремительно росла. Так что, когда дверь лифта открылась, мне было абсолютно ясно, что делать: *не произносить ни единого слова.* Но в таком случае зачем подниматься? С другой стороны, не поехать, прождав лифта в присутствии нескольких человек, было бы опасно. Что они подумают? Оставалось только спокойно войти и придерживаться данного себе обещания: *не произносить ни единого слова* — задача вполне выполнимая. Это было даже естественней, чем заводить разговор: никто, как правило, не разглагольствует в лифте, если только не знаком с лифтером (тогда можно было бы расспросить о здоровье его сына или посетовать на погоду). А так как я не только не знал, но никогда даже не видел этого человека, решение не открывать рта не должно было вызвать никаких осложнений. То, что вокруг стояли люди, упрощало дело; во всяком случае, мое напряжение оставалось незаметным.

Я уверенно вошел в лифт, где все развивалось по задуманному плану, без неожиданностей: разговаривали о жаркой и сырой погоде, и от этой болтовни становилось легче — подтверждались мои догадки. Слегка заикаясь, я сказал: «Восьмой этаж», впрочем, нервозность мог заметить лишь человек, осведомленный о моих намерениях.

На восьмом этаже со мной вышел какой-то служащий, и это несколько спутало мои планы; сделав несколько неуверенных шагов, я дождался, чтобы он скрылся в одном из кабинетов, а сам не спеша расхаживал по коридору. Я спокойно вздохнул, прогулялся взад и вперед, дошел до конца, полюбовался из окна панорамой Буэнос-Айреса, потом вернулся и вызвал лифт. Вскоре я был уже на улице, довольный, что опасения не сбылись (обошлось без расспросов лифтера и прочих неприятностей). Я достал сигарету, но, закуривая, понял, что рано успокоился: ничего страшного в самом деле не случилось, но ведь и *вообще ничего не случилось.* Другими словами, девушка опять потеряна, если только она не работает постоянно в этой компании; если же у нее там просто дело, то она могла подняться и спуститься, разминувшись со мной. «Впрочем,— подумал я,— предположим, ей нужно решить какой-нибудь сложный вопрос, и она еще не освободилась». Это соображение снова немного подбодрило меня и укрепило в решении ждать у выхода.

Час прошел без всякого толка. Я стал перебирать разные варианты:

1. Дело затянулось; мне нужно оставаться здесь дальше.

2. Она, видимо, была слишком возбуждена нашим разговором и захотела успокоиться, прежде чем вернуться в «Компанию»; все равно необходимо ждать.

3. Она работает в «Компании Т», следовательно, нельзя бросать свой пост, пока не кончится рабочий день.

«Таким образом, дождавшись ее, можно будет проверить все три версии»,— подумал я.

Это показалось мне логичным, я успокоился и зашел в кафе на углу, чтобы без помех наблюдать за подъездом. Спросив пива, я взглянул на часы — четверть четвертого.

По мере того как тянулось время, я все больше и больше склонялся к последнему предположению: она работает в «Компании». В шесть я поднялся из-за столика — лучше было расположиться у выхода, ведь оттуда повалит сразу много народу, и, сидя в кафе, я упущу девушку из виду.

В начале седьмого появились первые служащие.

В половине седьмого прошли почти все — люди показывались все реже и реже. Без четверти семь не выходил уже никто, только время от времени какие-то начальники. Не была ли она начальником (абсурд) или его секретаршей (а это возможно)? — подумал я, почувствовав слабую надежду.

В семь все было кончено.

VIII

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ, совершенно подавленный, я старался все спокойно обдумать. Мой мозг бурлит, даже если ничего не происходит, когда же я нервничаю, мысли сменяют друг друга в головокружительной пляске; несмотря на это — или благодаря этому — я постепенно приучил себя управлять мыслями, приводить их в порядок; в противном случае я бы давно сошел с ума.

Итак, я вернулся домой в состоянии глубокой депрессии; но это не помешало мне разобраться в собственных сомнениях, так как я чувствовал, что необходимо хорошенько все проанализировать, если не хочу потерять единственного человека, которому наверняка удалось понять мою живопись.

Девушка заходила в учреждение по делу или работает там — другого варианта быть не могло. Конечно, последнее меня устраивало больше. Это означало: расставшись со мной, незнакомка почувствовала, что выведена из равновесия, и пошла домой — значит, надо ждать ее завтра у входа.

Теперь рассмотрим вторую гипотезу: дело. Ведь могло быть и так — взволнованная нашей встречей, она отправилась домой и решила перенести все на завтра. И в этом случае надо было ждать у входа.

И то и другое меня вполне удовлетворяло, третий вариант был ужасен: дело было сделано, пока я возвращался в «Компанию Т» и катался на лифте, иначе говоря, мы разминулись. Правда, времени прошло совсем немного, и вряд ли события разворачивались именно так, но злополучное дело могло состоять и в том, чтобы передать кому-то письмо. Тогда нечего ждать, что завтра она снова придет.

И все же были две благоприятные версии, и я в отчаянии уцепился за них.

Дома меня мучили противоположные чувства: с одной стороны, стоило вспомнить о словах: «Я все время думаю о ней», как сердце начинало бешено стучать, открывалась какая-то пока неясная, но широкая перспектива, пробуждались силы, до сих пор дремавшие. С другой стороны, прежде чем я увижу ее, может пройти вечность. Мне было необходимо ее увидеть. Я заметил, что громко повторяю: «Это необходимо, это необходимо!»

IX

РАННИМ УТРОМ я уже стоял у дверей «Компании Т». Все служащие давно вошли, но девушка все не появлялась; очевидно, она

там не работает, хотя теплилась надежда — она заболела и несколько дней проведет дома.

Оставалось еще пресловутое дело, так что надо было сидеть все утро в кафе на углу.

Я совсем отчаялся (было уже около половины двенадцатого), как вдруг незнакомка вышла из метро. Я вскочил в страшном волнении и бросился ей навстречу. При виде меня она застыла как вкопанная, конечно не ожидая моего появления. Странно, но ощущение того, что мозг работал с железной точностью, придавало необыкновенную решимость; я чувствовал себя сильным, мужественным, энергичным и способным на все. Грубо схватив девушку за руку, я молча потащил ее за собой по улице Сан-Мартина к площади. Казалось, воля покинула незнакомку: она не проронила ни слова.

Когда мы прошли квартала два, она спросила:

— Куда вы меня ведете?

— На площадь Сан-Мартина. Мне нужно многое сказать вам,— ответил я, продолжая решительно шагать, не выпуская ее руки.

Она прошептала что-то о делах в «Компании Т», но я тащил девушку дальше, не слыша слов.

И повторил:

— Мне нужно многое сказать вам.

Девушка не сопротивлялась: я казался себе мощной рекой, несущей щепку. Мы пришли на площадь, и я отыскал уединенную скамейку.

— Почему вы убежали тогда? — было моим первым вопросом. На лице ее появилось то же выражение, что поразило меня вчера, когда она произнесла: «Я все время думаю о ней». Странный взгляд — неподвижный, проницательный, словно идущий из глубин мозга; он мне что-то напоминал, глаза были знакомы, но непонятно, где я их видел.

— Не знаю,— ответила она наконец.— Сейчас мне тоже хотелось бы убежать.

Я сдавил ее руку.

— Обещайте, что больше не уйдете. Вы нужны мне, вы очень нужны мне!

Она вновь изучающе посмотрела на меня, но ничего не ответила, Потом отвернулась и уставилась на какое-то далекое дерево.

В профиль девушка никого мне не напоминала. Лицо ее было красивым, хотя и жестким. У нее были длинные каштановые волосы. На первый взгляд она выглядела не старше двадцати шести лет, но что-то выдавало возраст, нечто, присущее людям, прожившим долгую жизнь,— не седина, да и вообще не какой-либо осязаемый признак, а что-то неуловимое, несомненно отражающее ее внутренний мир,— быть может, взгляд; впрочем, до какой степени человеческий взгляд осязаем? Или то, как она сжимала губы, пусть губы — это материя, но то, как их сжимают или характерные морщинки у рта,— уже проявление духа. Ни тогда, ни потом я так и не смог понять, почему она казалась старше своих лет. Возможно, дело тут было в ее манере говорить.

— Вы очень нужны мне,— повторил я.

Она не ответила и продолжала смотреть на дерево.

— Почему вы молчите? — не вытерпел я.

Не сводя глаз с дерева, незнакомка произнесла:

— Я никто, а вы большой художник. Зачем я могу быть вам нужна?

Я закричал в сердцах:

— Вы необходимы мне! Понимаете?

Не поворачиваясь, она пробормотала:

— Зачем?

Я ответил не сразу; выпустил ее руку и задумался. И в самом деле, зачем? Никогда прежде не задавался этим вопросом, а лишь под-

чинялся необъяснимому инстинкту. Я принялся веточкой чертить на земле геометрические фигуры.

— Не знаю,— прошептал я после долгой паузы.— Еще не знаю.

Мысль напряженно работала, и рисунки становились все более замысловатыми.

— Моя голова похожа на темный лабиринт. Иногда вспышки на мгновение освещают его коридоры. Мне никогда до конца не ясно, зачем я совершаю те или иные поступки. Нет, не то...

Я понимал, что говорю ерунду: вовсе не такой была моя жизнь. Я предельно сосредоточился: не свойственно ли мне всегда все продумывать? Ведь мой мозг похож скорее на счетную машину, чем на лабиринт, взять хотя бы теперешний случай: разве все эти месяцы я не был занят размышлениями и прогнозами? И то, что мы наконец встретились, во многом — результат моих логических действий. Почувствовав, что нащупал какую-то важную мысль, и боясь упустить ее, я сделал еще одно гигантское усилие. И закричал:

— Не думайте, что я не способен объяснить! Наоборот, я только этим и занимаюсь. Но представьте себе капитана, который ежеминутно с математической точностью отмечает координаты корабля и продолжает неуклонно двигаться к цели. Но не знает, зачем идет к ней, понимаете?

Она растерянно повернулась ко мне, затем опять перевела взгляд на дерево.

— Чувствую, что без вас не смогу сделать чего-то самого главного, но еще не знаю почему,— сказал я.

И вновь принялся чертить веточкой, напряженно соображая. Затем добавил:

— Знаю только — это как-то связано со сценой в окне: вы были единственным человеком, придавшим ей значение.

— Я не искусствовед,— прошептала она.

Я заорал:

— Не говорите мне об этих кретинах!

Она изумленно обернулась. Тогда, понизив голос, я спокойно объяснил, почему не доверяю критикам, изложил теорию ланцета и все прочее. Она слушала не глядя и наконец сказала:

— Вы жалуетесь на критиков, но они всегда вас превозносят.

Это меня взбесило.

— Тем хуже! Поймите! Подобные комплименты вызывают горькие мысли — я иду по ложному пути. Задумайтесь, например, над тем, что произошло на выставке: никто из этих тупиц не догадался, как важна сцена в окне. Лишь единственный человек обратил на нее внимание — вы. А вы не критик. Нет, заметил еще один тип, но он упрекнул меня в том, что сцена вызывает страх, даже отвращение. Вы же, наоборот...

Продолжая смотреть вперед, девушка медленно проговорила:

— А если я считаю так же?

— Так же, как кто?

— Как тот человек.

Я тревожно взглянул на нее, но увидел лишь лицо с плотно сжатыми губами. Я твердо повторил:

— Мы с вами думаем одинаково.

— А о чем вы думаете?

— Не знаю, трудно ответить. Вернее, вы *чувствуете* так же, как я. Вы смотрели на эту сцену точно так же, как смотрел бы я, будь я на вашем месте. Не знаю, о чем вы думаете, не знаю, о чем думаю я, но уверен — мы мыслим одинаково.

— Значит, вы не размышляете над своими картинами?

— Раньше я их тщательно рассчитывал, выстраивал, как дом. Но эту сцену — нет; просто возникло ощущение — она должна быть написана именно так, не понимаю почему. До сих пор не понимаю. Ведь

она не имеет ничего общего с сюжетом картины, и, кажется, один из тех болванов указал на это. Приходится идти на ощупь, и без вашей помощи мне не обойтись, потому что вы наверняка чувствуете то же, что и я.

— Я не знаю, о чем вы думаете.

Она начинала выводить меня из терпения. Я сухо ответил:

— Я же сказал, что тоже этого не знаю. Ведь объяснить можно лишь то, в чем полностью отдаешь себе отчет. Разве не так?

— Да, так.

Я умолк, стараясь добраться до сути. Потом добавил:

— Пожалуй, все мои предыдущие картины поверхностны.

— Какие предыдущие картины?

— До окошка.

Собравшись с мыслями, я проговорил:

— Нет, это не то, не то. Они не были поверхностными.

Какими же они были в действительности? Никогда прежде не спрашивал себя об этом и только сейчас понял, что писал сцену в окошке как сомнамбула.

— Нет, не поверхностными,— продолжал я, отвечая самому себе.— Не знаю, все это как-то соотносится с судьбой человечества в целом, понимаете? Помнится, незадолго до того, как взяться за картину, я прочел, что в одном концлагере кто-то пожаловался на голод, и его заставили съесть живую крысу. Иногда мне кажется, что все бессмысленно. На маленькой планете, которая вот уже миллионы лет вращается в пустоте, мы рождаемся в муках, растем, боремся, болеем, страдаем, заставляем страдать других, кричим, умираем, а тем временем появляются новые люди, чтобы повторить бесполезную комедию.

Удалось ли выразить самое главное? Я задумался над своими словами о бесполезной комедии. Действительно ли жизнь — лишь отчаянные крики в равнодушной звездной пустыне?

Она словно онемела.

— Сцена на пляже пугает меня,— добавил я после долгого молчания,— хотя причина здесь более глубокая. То есть эта картина — продолжение меня самого. Я не отождествляю себя с ней, но она выражает всю глубину моей души.

До меня донесся ее голос:

— Может быть, это вопль отчаяния?

Я взглянул на нее с тоской.

— Да,— согласился я.— Скорее всего вопль отчаяния. Теперь видите, что мы думаем одинаково?

Через минуту она спросила:

— По-вашему, отчаяние достойно похвалы?

Я в замешательстве поднял на нее глаза.

— Нет,— произнес я.— А вы как считаете?

Она долго размышляла, потом повернулась и внимательно посмотрела на меня.

— Дело не в том, хвалить вас или нет,— произнесла она, будто отвечая на свой вопрос.— Важна искренность.

— А вы считаете, картина написана искренне?

— Конечно,— отрезала она.

Я тоскливо изучал ее жесткое лицо, жесткий взгляд. «Откуда эта жесткость,— спрашивал я себя,— откуда?» Она, вероятно, почувствовала мою тоску, потребность исповедаться, потому что взгляд ее вдруг смягчился, и мне показалось, между нами возник мостик, но он висел над пропастью — хрупкий и недолговечный. Она добавила слегка изменившимся голосом:

— Не знаю, что вы выиграете от знакомства со мной. Я причиняю горе каждому, кто ко мне приблизится.

X

МЫ УСЛОВИЛИСЬ скоро встретиться. Было неловко говорить, что я желал бы увидеть ее на следующий день или вообще не отпускать, что нам больше нельзя расставаться. Вообще-то память у меня великолепная, но иногда в ней возникают непонятные провалы. Не помню, какие слова я сказал тогда Марии; по-моему, она ответила, что должна идти.

В тот же вечер я позвонил ей. К телефону подошла женщина; услышав, что мне хотелось бы поговорить с сеньоритой Марией Ирибарне, женщина, кажется, немного удивилась, затем пообещала посмотреть, дома ли она. Почти сразу же раздался голос Марии, хотя тон был настолько официальным, что у меня защемило сердце.

— Мне необходимо видеть вас, Мария,— сказал я.— С того момента, как мы расстались, я не перестаю думать о вас.

Я остановился в замешательстве. Она не отвечала.

— Почему вы молчите? — спросил я с растущим беспокойством.

— Подождите минуту,— сказала Мария.

Было слышно, как трубку положили на стол. Через несколько секунд вновь зазвучал голос Марии, на этот раз — настоящий, теперь казалось, она тоже волнуется.

— Мне было неудобно разговаривать,— объяснила она.

— Почему?

— Здесь много народу.

— А почему удобно сейчас?

— Я закрыла дверь. Когда я закрываю дверь, это значит, что меня не должны беспокоить.

— Мне необходимо видеть вас, Мария,— жестко повторил я.— С тех пор как мы расстались, я только и думаю о вас.

Она не ответила.

— Почему вы молчите?

— Кастель...— нерешительно начала она.

— Не называйте меня Кастель! — закричал я.

— Хуан Пабло...— сказала она робко.

Я почувствовал, что эти два слова сулят мне безграничное счастье.

Но Мария опять умолкла.

— В чем дело? — спросил я.— Почему вы не продолжаете?

— Я тоже,— пробормотала она.

— Я тоже что́? — перебил я нетерпеливо.

— Я тоже только и думала...

— О чем? — жадно спросил я.

— Обо всем

— Что значит «обо всем»? О чем?

— О том, как все это странно... О вашей картине... О вчерашней встрече... О том, что случилось сегодня... трудно сказать...

Неопределенность всегда выводила меня из себя.

— Но я говорил, что только и думал о *вас*,— подчеркнул я.— Вы же не сказали, что думали обо мне.

Она помолчала. Потом ответила:

— Я сказала, что думала обо *всем*.

— Вы не уточнили.

— Все это так странно... было так странно... Мне как-то не по себе. Конечно же, я думала о вас.

Мое сердце подпрыгнуло. Я жаждал подробностей: меня волнуют подробности, а не обобщения.

— Но как, как? — спросил я с нарастающей тревогой.— Я вспоминал каждую черточку вашего лица, в тот момент, когда вы смотрели на дерево, ваши каштановые волосы, ваш жесткий взгляд и то, как он вдруг смягчается, вашу походку...

— Пора кончать разговор,— вдруг прервала она меня.— Сюда идут.

— Я позвоню вам завтра утром,— проговорил я в отчаянии.
— Хорошо,— быстро ответила она.

XI

Я ПРОВЕЛ беспокойную ночь. Мне не давалась работа, хотя много раз я брался за кисть. Выйдя из дому, я неожиданно очутился на улице Коррьентес. Со мной происходило что-то странное: окружающие были мне симпатичны. Я уже говорил, что собираюсь писать обо всем без утайки, и вот тому доказательство — признаюсь честно в одном из худших своих пороков. Люди всегда вызывали у меня неприязнь, даже отвращение, особенно скопления людей. Как ненавидел я летние пляжи! Некоторые мужчины и женщины были приятны, некоторыми я восхищался (я не завистлив), а кого-то искренне любил; дети возбуждали во мне нежность и сострадание (особенно если я сознательно заставлял себя забыть, что со временем они станут такими же, как и взрослые), но люди *как таковые* всю жизнь казались омерзительными. Не скрою, иногда целый день не могу есть или неделю не в состоянии работать из-за какой-нибудь подмеченной человеческой черточки. Просто невероятно, насколько алчность, зависть, тщеславие, грубость и жадность — все эти признаки человеческой породы — разом могут отражаться на лице, в определенной походке, во взгляде. Что же удивительного, если после подобной встречи тебе не хочется ни есть, ни писать, ни даже жить. Впрочем, гордиться тут нечем: все это говорит о высокомерии, тем более что и в моей душе тоже не раз зарождались алчность и тщеславие, жадность и грубость. Но я пообещал ничего не скрывать, и сдержу слово.

Итак, той ночью презрение к человечеству, казалось, исчезло или по крайней мере на время смягчилось. Я вошел в кафе Марцотто. Вы, наверное, знаете, что туда ходят слушать танго, как верующие — «Страсти по Матфею».

XII

УТРОМ, около десяти, я позвонил Марии. К телефону подошла та же женщина, что и вчера. На просьбу соединить меня с сеньоритой Марией Ирибарне женщина ответила, что та рано утром уехала за город. Я остолбенел.

— За город? — переспросил я.
— Совершенно верно, сеньор. Вы сеньор Кастель?
— Да, я Кастель.
— Она оставила вам письмо. Извините, но у нее не было вашего адреса.

Я не сомневался в том, что мы сегодня увидимся и эта встреча многое изменит, так что известие об отъезде Марии сразило меня. Вопросы один за другим рождались в моей голове. Почему Мария уехала? Очевидно, это решение было принято после нашего разговора по телефону, в противном случае она бы предупредила меня о поездке и, главное, не велела бы сегодня звонить. Наконец, если она решила уехать после того, как поговорила со мной, не был ли этот внезапный отъезд *следствием моего звонка*? А если так, то почему? Не захотела ли Мария еще раз скрыться, опасаясь сегодняшнего свидания?

Эта неожиданная поездка за город вызвала первое сомнение. Как обычно, я стал припоминать подозрительные подробности, которым раньше не придал значения. Чем объяснить разные оттенки ее голоса во время нашего вчерашнего телефонного разговора? Что это за люди, которые не дают ей спокойно поговорить? К тому же, *это доказывало, что она способна на притворство*. И почему горничная заколебалась, когда я позвал сеньориту Ирибарне? Но особенно запомнилась фраза: «Когда я закрываю дверь, это значит — меня не должны беспокоить». Мария была окружена какими-то таинственными тенями.

Все эти мысли одолевали меня, пока я мчался к ней домой. Странно, что она не узнала моего адреса: я знал уже и адрес и телефон. Она жила на улице Посадас, почти на углу с Сивер.

Когда я поднялся на пятый этаж и позвонил, то чувствовал себя достаточно паршиво.

Дверь открыл слуга — наверное, поляк или что-то в этом роде; я назвался, он провел меня в тесную гостиную, заваленную книгами: стены были до потолка уставлены книжными полками, вдобавок книги горой лежали на двух столиках и даже на кресле. Меня поразила необычная величина некоторых томов.

Я привстал, чтобы внимательнее изучить библиотеку. Вдруг мне почудилось, что за моей спиной кто-то есть. Я стремительно обернулся и в дальнем углу увидел человека, высокого, худощавого, с прекрасно посаженной головой. Он улыбался в мою сторону, но улыбка была блуждающей, неопределенной. Глаза его были широко раскрыты, и я догадался: это слепой! Вот почему книги были такими огромными.

— Вы Кастель, не правда ли? — вежливо поинтересовался он, подавая руку.

— Да, сеньор Ирибарне,— пробормотал я, нерешительно протянув руку и думая, в каком родстве он может находиться с Марией?

Предлагая жестом сесть, он слегка иронично улыбнулся:

— Я не Ирибарне, и не говорите мне «сеньор». Меня зовут Альенде, я муж Марии.

Привыкший по-своему оценивать и осмысливать паузы, он тут же добавил:

— Мария всегда называется своей девичьей фамилией.

Я замер.

— Мария много рассказывала мне о ваших картинах. Я ослеп несколько лет назад и еще помню, как выглядят предметы.

Он будто стыдился своей слепоты. У меня пересохло во рту. Как хотелось вырваться на улицу и спокойно во всем разобраться!

Он вынул из кармана письмо и протянул его мне.

— Вот письмо,— сказал он просто, словно речь шла о самых обычных вещах.

Взяв письмо, я собирался уже спрятать его, но слепой вдруг добавил, будто увидев мой жест:

— Читайте, хотя, поскольку оно от Марии, думаю, в нем нет ничего срочного.

Меня трясло. Пока он зажигал сигарету и предлагал мне закурить, я вскрыл конверт. Письмо состояло всего из одной фразы:

«Я тоже думаю о вас.

МАРИЯ»

Услышав шелест бумаги, слепой спросил:

— Что нибудь срочное?

Мне пришлось взять себя в руки и ответить:

— Нет, ничего.

Я был себе ненавистен, а слепой все не спускал с меня глаз.

— В этом вся Мария,— сказал он, размышляя вслух.— Многие объясняют ее импульсивность бездной срочных дел у нее. Она же совершает такие поступки, которые ничего не меняют. Как бы это лучше выразить?

Он отрешенно опустил голову, подыскивая более точные слова. Затем сказал:

— Представьте себе человека, который стоит посреди пустыни и вдруг резко делает несколько шагов. Понимаете? Быстрота не имеет значения: все вокруг остается прежним.

Он затянулся сигаретой и задумался, будто меня здесь и не было. Потом добавил:

— Может, это и не совсем так. Я не очень силен в сравнениях.

Мне никак не удавалось улучить момент, чтобы сбежать из этой проклятой гостиной. Но слепой, казалось, не спешил. «Что за отвратительная комедия?» — подумал я.

— Вот, например, сегодня,— продолжал Альенде.— Она поднимается чуть свет и говорит, что едет в имение.

— В имение? — вырвалось у меня.

— Да, в наше имение, вернее, моего деда. Сейчас им управляет мой двоюродный брат Гюнтер. Вы его, наверное, знаете.

Это новое открытие встревожило меня. Чем привлек Марию этот заурядный и пошлый бабник? Я постарался успокоиться, уговаривая себя, что она поехала туда не ради Гюнтера, а просто потому, что ей нравится деревенское одиночество и у них есть имение.

Но легче не становилось.

— Я слышал о нем,— выдавил я из себя.

И прежде чем слепой успел ответить, резко добавил:

— Мне надо идти.

— Какая жалость! — воскликнул Альенде.— Но мы еще увидимся?

— Да, да,— прошептал я.

Он довел меня до двери. Я коснулся его руки и быстро вышел. Спускаясь в лифте, я все время яростно повторял: «Что за отвратительная комедия?»

XIII

МНЕ БЫЛО НЕОБХОДИМО прийти в себя и все спокойно обдумать. Я шел по улице Посадас по направлению к Реколете.

Голова раскалывалась от обилия событий; множество мыслей, чувства любви и ненависти, упреки и воспоминания — все мешалось и мелькало.

Для чего, например, ей понадобилось, чтобы я пришел за письмом и получил его из рук мужа? И почему Мария не сказала мне, что она замужем? И чем, черт возьми, она занимается в имении с этим мерзавцем Гюнтером? Почему она не дождалась моего звонка? А слепой, это еще что за фрукт? Я вообще терпеть не могу людей, но уж слепые мне особенно омерзительны, я испытываю к ним такое же отвращение, как к скользким и холодным тварям, к змеям, например. К тому же мне пришлось читать при Альенде письмо его жены, в котором говорилось: «*Я тоже думаю о вас*». Нетрудно догадаться, какую гадливость я испытывал в эти мгновения.

Я попытался немного упорядочить свои мысли и расставить их по местам, следуя давней привычке. Надо было начать с начала, а началом, во всяком случае началом истории с письмом, был наш телефонный разговор. В нем оставалось много неясного.

Во-первых, если у Марии в доме привыкли, что она общается с посторонними мужчинами, доказательством чему служит письмо, переданное через мужа, зачем говорить сухим, официальным тоном, пока не закрыта дверь? И как понять объяснение: «Когда я закрываю дверь, это значит — меня не должны беспокоить»? Очевидно, она часто уединяется, чтобы говорить по телефону. Но ведь не для болтовни же с друзьями, а скорее всего для разговоров, подобных нашему. Следовательно, в ее жизни были и другие мужчины, вроде меня. Сколько? И кто они?

Я сразу же подумал о Гюнтере, но быстро отбросил эту мысль: зачем ему звонить, если они постоянно могут видеться в имении? Тогда, кто же эти другие?

Можно ли считать исчерпанной тему «телефонные разговоры»? Нет, надо еще понять причину той неопределенности, с какой Мария отвечала на мои конкретные вопросы. Я с горечью вспомнил, что на вопрос, думала ли она обо мне, Мария после долгих недомолвок про-

изнесла лишь: «Разве я не сказала, что думала обо всем?» Отвечая так, рискуешь немногим. И наконец, то, что она на следующий день (а может, и сразу же) сочла нужным ответить мне весьма определенно в письме, подтверждало, что предыдущих слов ей было мало.

«Перейдем к письму»,— сказал я себе. Достав из кармана письмо, я перечитал его:

«Я тоже думаю о вас.
МАРИЯ»

Почерк был нервный или, во всяком случае, принадлежал взволнованному человеку. Это не одно и то же, ведь если справедливо последнее, значит, она волновалась, когда писала письмо, что было благоприятным знаком. Так или иначе, меня очень тронула подпись: «Мария». Просто «Мария». Простота эта давала слабую надежду на то, что Мария уже вошла в мою жизнь и в какой-то мере принадлежит мне.

Увы! Ощущение счастья не бывает у меня долговечным. Вот и эта надежда исчезла после первых же размышлений: разве муж не называл ее Марией? И Гюнтер, конечно, тоже, как же еще? А те, другие, с которыми она разговаривает при закрытых дверях? Никто не будет уединяться для объяснений с человеком, который почтительно называет вас «сеньорита Ирибарне».

«Сеньорита Ирибарне»! Теперь понятно, почему заколебалась горничная, услышав, как я позвал Марию к телефону. Странно! А ведь это опять-таки доказывало, что подобные звонки не редки: очевидно, когда кто-то впервые попросил «сеньориту Ирибарне», удивленная горничная сразу исправила это обращение на *сеньору*. Но затем, поскольку звонки повторялись, горничная, видно, лишь пожимала плечами, понимая, насколько безнадежно пускаться в объяснения. Итак, она поколебалась, но не поправила меня.

Вновь подумав о письме, я решил, что оно давало почву многим догадкам. Начнем с самого необычного — с того, каким путем оно ко мне попало. Я вспомнил объяснение горничной: «Извините, но у нее не было вашего адреса». И впрямь: Мария не спросила у меня адрес, а я не додумался дать ей его. Однако на ее месте я первым бы делом заглянул в телефонную книгу. Вряд ли она столь ленива; отсюда неизбежно вытекало другое: *Мария хотела, чтобы я пришел к ней домой и столкнулся с ее мужем.* Зачем? Здесь начинались загадки. Может, ей нравилось делать из мужа посредника, а может, это нравилось ему или им обоим. Отбросив эти патологические варианты, невольно приходишь к выводу: Мария хотела показать, что она замужем, чтобы я убедился в бессмысленности дальнейших попыток.

Уверен, большинство читателей согласится с последним, подумав, что лишь человек вроде меня способен серьезно отнестись к первым двум предположениям. Друзья (пока у меня еще были друзья) всегда смеялись над моей способностью находить самые немыслимые объяснения. Но скажите, *почему действительность должна быть примитивной?* Мой опыт не раз доказывал обратное; встречаясь с чем-то абсолютно понятным, скажем с поступком, продиктованным самой простой причиной, почти всегда можно обнаружить более сложные мотивы. Возьмем пример из повседневной жизни: люди, подающие милостыню, как правило, считаются благороднее и лучше тех, кто ее не подает. Позволю себе пренебречь этим поверхностным суждением. Каждому ясно, что для нищего (настоящего нищего) ничего не изменится, если он получит песо или кусок хлеба; разрешит свои психологические проблемы лишь господин, покупающий за такую ерунду сразу и репутацию благородного человека, и душевный покой. Задумайтесь над тем, как мелочны эти люди, боящиеся потратить больше песо в день, желая гарантировать себе безмятежность и почувствовать умиление от собственной доброты. Насколько больше мужества

и искренности требуется, чтобы смириться с существованием нищенства, не прибегая к этому лицемерному (и привычному!) средству.

Однако вернемся к письму.

Принять последнюю гипотезу мог только легкомысленный человек, так как она не выдерживала серьезной проверки. «Мария хотела показать, что она замужем, чтобы я убедился в бессмысленности дальнейших попыток». Прекрасно. Но зачем прибегать к такому жестокому и сложному способу? Разве не могла она сказать об этом еще по телефону? Или написать, если сказать не хватило духу. Было и другое неприятное обстоятельство: почему в письме не говорилось ни слова о том, что она замужем, почему Мария не стремилась придать нашим отношениям более спокойный характер? Ничего подобного, письмо поощряло и укрепляло их и должно было привести нас на самый опасный путь.

Правда, не отпадали и те безумные предположения. Вдруг Мария испытывала удовлетворение, превращая Альенде в своего посредника? А может, именно он искал подобных приключений? И кто знает, не был ли союз двух похожих существ злой шуткой судьбы?

Я остановился, испугавшись, что моя привычка бесконечно анализировать слова и факты завела меня слишком далеко. Я вспомнил сосредоточенный взгляд Марии, прикованный к ветвям дерева, пока я разглагольствовал; как она была нерешительна, как убежала после нашей первой встречи. И огромная нежность к ней охватила меня. Мария показалась мне хрупким созданием, живущим в жестоком мире, погрязшем в уродстве и нищете. Мной вновь овладело чувство, сходное с тем, что я испытал на выставке, и потом много раз возвращавшееся: нас многое роднило.

Я забыл свои сухие расчеты, свои безжалостные выводы. Передо мной возникло ее лицо, ее взгляд — взгляд, говоривший о чем-то, что я никак не мог осознать; вспоминалась ее манера рассуждать — глубокая, неторопливая. Неразделенная любовь, которая жила во мне долгие годы одиночества, перенеслась на Марию. Как допустил я столь дикие мысли?

Я старался забыть глупые подозрения насчет телефонных разговоров, насчет письма, имения, Гюнтера.

Но не смог.

XIV

СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ были беспокойными. Из-за спешки я забыл спросить, когда Мария вернется в город. Возвратясь с улицы Посадас, я позвонил, чтобы выяснить это; горничная ответила, что ничего не знает; я попросил дать адрес имения.

Вечером я написал Марии отчаянное письмо, спрашивая, когда она вернется, и умоляя позвонить или написать по приезде в Буэнос-Айрес. Мне пришлось отправиться на Центральный почтамт и послать письмо заказным, чтобы избежать малейшего риска.

Прошло несколько тревожных дней, а мрачные мысли, терзавшие меня после злополучного посещения улицы Посадас, не хотели отступать. Мне приснилось, будто я вошел ночью в старый, заброшенный дом. В этот полузнакомый дом я мечтал попасть с детства, едва я очутился внутри, нахлынули смутные воспоминания. Правда, в темноте было трудно ориентироваться, казалось, будто где-то прячутся враги, готовые наброситься на меня: они перешептывались между собой, издевались надо мной, над моей наивностью. Кто были эти люди и чего они хотели? И все же, несмотря ни на что, я чувствовал, как в этом доме оживали забытые юношеские увлечения, вызывая знакомый трепет, ощущение легкого безумия, страха и торжества. Проснувшись, я понял, что дом, приснившийся мне,— это Мария.

XV

ДО ПОЛУЧЕНИЯ ее письма я словно блуждал в тумане по неизвестной местности: то тут, то там с большим трудом удавалось разглядеть расплывчатые силуэты людей и предметов, неясные очертания пропастей и обрывов. С приходом ее письма для меня взошло солнце.

Но это было черное, ночное солнце. Не знаю, можно ли так выразиться, я не писатель и не совсем уверен в точности эпитета, но мне не хочется убирать слово «ночное». Быть может, оно больше всего подходит Марии из всех слов нашего несовершенного языка.

Вот ее письмо:

> «Я провела три странных дня: море, пляж, тропинки возродили во мне былые воспоминания. Не только зрительные образы, но и голоса, крики, долгие паузы. Вот и сейчас, у моря, знаю, что когда-нибудь, думая обо всем этом, почувствую тоску и грусть.
>
> А море рядом, вечное и яростное. Давний плач и ожидания на пустынном берегу были бессмысленны. Бессмысленны и те часы, которые я провела, не сводя глаз с волн! Как мог ты угадать это мое воспоминание, или ты угадал тайну многих существ, похожих на нас с тобой?
>
> Но сейчас здесь ты: ты стоишь между мной и морем. Мой взгляд встречается с твоим. Ты неподвижен и безутешно смотришь на меня, будто просишь о помощи.
>
> МАРИЯ»

Как я понимал ее, и какие изумительные чувства пробуждало во мне это письмо! А неожиданное «ты» окончательно уверило меня в том, что Мария была моя. И только моя: «Ты стоишь между мной и морем»; никого больше, лишь мы вдвоем. Я понял это еще на выставке, увидев, как она смотрит на сцену в окне. И вправду, как могла она не говорить мне «ты», если мы были знакомы всегда, тысячу лет? В тот момент, когда Мария остановилась у картины и застыла, созерцая маленькую фигурку в углу, не слыша и не видя толпы, которая нас окружала, она уже говорила мне «ты»; я сразу понял ее, понял, как нуждаюсь в ней и как я ей необходим.

И все же я убил тебя! Именно я, смотрящий словно сквозь стеклянную стену, не способный дотянуться, на твое безмолвное и тоскливое лицо! Слепой глупец, жестокий эгоист!

Но хватит излияний. Я пообещал рассказать все без прикрас и так и сделаю.

XVI

Я ОТЧАЯННО ЛЮБИЛ Марию, но слово *любовь* еще не было сказано нами. Я страстно ждал ее возвращения, чтобы наконец произнести его.

Но Мария не возвращалась. По мере того как шли дни, мной овладевало безумие. Я написал еще одно письмо, состоящее из слов: «Я люблю тебя, Мария, люблю, люблю!»

Через два дня наконец пришли скупые строчки: «Я боюсь причинить тебе зло». Тут же последовал ответ: «Мне все равно, что со мной случится. Не будь этой любви, я бы умер. Каждая секунда без тебя превращается в нескончаемую пытку».

Прошло несколько мучительных дней, но ответа не было. Я написал в отчаянии: «Ты топчешь нашу любовь».

На следующий день по телефону раздался далекий и дрожащий голос Марии. Я не решился произнести что-нибудь — кроме слова *Мария*, которое все время повторял,— да и не мог: горло мое так сдавило, что было трудно говорить. Она сказала:

— Завтра я возвращаюсь в Буэнос-Айрес. И сразу же позвоню.

Назавтра Мария позвонила мне уже из дома.

— Я хочу немедленно тебя видеть,— сказал я.

— Мы сегодня же увидимся,— подтвердила она.

— Я буду ждать тебя на площади Сан-Мартина,— уточнил я.

Казалось, Мария колеблется. Затем она ответила:

— Лучше на Реколете. Я приду в восемь.

Как ждал я этого часа, бесцельно бродя по улицам, чтобы время прошло поскорее! Какую нежность чувствовал я в душе, каким прекрасным предстал предо мною мир, летний вечер, играющие на тротуаре дети! Сейчас я удивляюсь, насколько любовь способна ослепить нас и как волшебно преображает она все вокруг. Мир прекрасен! Придет же такое в голову!

В начале девятого показалась Мария, она искала меня в сумерках. Я узнал ее по походке — было уже слишком темно, чтобы разглядеть лицо.

Мы сели. Сжимая ей руку, я как сумасшедший все время повторял ее имя, не решаясь сказать что-нибудь еще; она же молчала.

— Почему ты уехала в имение? — наконец спросил я жестко.— Почему покинула меня? Почему оставила дома письмо? Не сказала, что замужем?

Мария не отвечала. Я сдавил ей руку, и она застонала.

— Мне больно, Хуан Пабло,— мягко выговорила она.

— Почему ты молчишь? Почему не отвечаешь?

Мария все молчала.

— Почему? Почему?

Она наконец произнесла:

— Разве на все нужно отвечать? Не будем говорить обо мне, лучше поговорим о твоей работе, о том, что тебя тревожит. Я постоянно думаю о твоем полотне, о разговоре на площади Сан-Мартина. Я хочу знать, чем ты занимаешься сейчас, о чем думаешь, написал ли что-нибудь новое.

Я вновь яростно сжал ее руку.

— Нет,— воскликнул я.— Будем говорить не обо мне, а о нас обоих. Я должен знать, любишь ли ты меня. Только это: любишь ли.

Мария не ответила. Отчаявшись от этого молчания и от того, что темнота не позволяла мне прочитать по глазам мысли Марии, я зажег спичку. Мария быстро отвернулась, пряча лицо. Взяв ее за подбородок, я заставил взглянуть на меня: она тихо плакала.

— А... значит, ты меня не любишь,— с горечью прошептал я.

Пока догорала спичка, я заметил, что Мария все же нежно смотрит на меня. Потом, уже в кромешной темноте, она провела рукой по моим волосам. И мягко сказала:

— Конечно, я люблю тебя... К чему слова?

— Да,— ответил я,— но как ты меня любишь? Любить можно по-разному, любят и собаку, и ребенка. Но я имею в виду любовь, настоящую, понимаешь?

Вдруг меня охватило странное подозрение, я быстро зажег вторую спичку. Так и есть, Мария улыбалась. Вернее, улыбки уже не было, но она улыбалась десятую долю секунды назад. Мне часто приходилось внезапно оглядываться, заподозрив слежку. Никого не увидев, я ощущал, что пустота вокруг возникла недавно и что-то стремительно исчезло, а в воздухе чувствовалось легкое дрожание. Так было и теперь.

— Ты улыбалась,— прошипел я в бешенстве.

— Улыбалась? — удивилась она.

— Да, улыбалась, меня не проведешь. Я замечаю любые мелочи.

— И какие же мелочи ты заметил?

— В твоем лице было что-то такое... следы улыбки.

— Чему же я могла улыбаться? — возмутилась она.

— Моей наивности, вопросу, любишь ли ты меня по-настоящему или как ребенка, мало ли чему... Но ты улыбалась. В этом нет никакого сомнения.

Мария резко встала.

— В чем дело? — растерялся я.

— Я ухожу,— сухо ответила она.

Я вскочил, как пружина.

— Что значит — уходишь? Почему?

Она молчала. Я чуть не затряс ее обеими руками.

— Почему ты уходишь?

— Боюсь, тебе тоже меня не понять.

Я рассвирепел.

— Что? Я спрашиваю тебя о вещах, которые для меня важнее жизни, ты же, вместо того чтоб ответить, улыбаешься, а потом готова обидеться. Конечно, все дело в том, что я не понимаю тебя.

— Ты вообразил эту улыбку,— сдержанно проговорила Мария.

— Да нет же, я уверен.

— Но ты ошибаешься. И мне очень больно, что тебе могло взбрести такое в голову.

Я не знал, что и думать. Строго говоря, я видел не саму улыбку, а нечто вроде ее тени на уже серьезном лице.

— Не знаю, Мария, прости меня,— сказал я уныло.— Но я убежден, что ты улыбалась.

Я был не в силах продолжать разговор. Через мгновение Мария вновь стала гладить мои волосы. Я услышал ее голос, теперь несчастный и страдальческий.

— Но как ты мог такое подумать?

— Не знаю, не знаю,— чуть не плакал я.

Она заставила меня сесть. И вновь, как раньше, стала гладить по голове.

— Я предупреждала, что причиню тебе горе,— сказала она после небольшой паузы.— Видишь, как я была права.

— Я во всем виноват,— ответил я.

— Нет, наверное, я,— задумчиво произнесла она, отвечая как бы самой себе.

«Как странно»,— подумал я.

— Что именно странно? — спросила Мария.

Это было невероятно, и много дней спустя я решил даже, что она способна читать мысли. Впрочем, у меня и сейчас нет полной уверенности, что я не произнес эти слова вслух, сам того не заметив.

— Что именно странно? — повторила Мария, ведь я был так поражен, что не ответил.

— Странно в твоем возрасте.

— В моем возрасте?

— Да, в твоем возрасте. Сколько тебе лет?

Она засмеялась.

— А как ты думаешь?

— Вот это-то и странно,— пробормотал я.— Когда я впервые увидел тебя, мне показалось, что тебе лет двадцать шесть.

— А сейчас?

— Нет-нет. Я уже и тогда был удивлен, потому что нечто неуловимое подсказывало мне...

— Подсказывало?..

— Что ты гораздо старше. Иногда рядом с тобой я чувствую себя ребенком.

— А тебе сколько лет?

— Тридцать восемь.

— Ты и вправду очень молод.

Я обалдел. Не потому, что считал себя старым, а потому, что все-

таки был уверен, что она гораздо моложе меня, ведь, как бы там ни было, ей не могло быть больше двадцати шести.

— Очень молод,— повторила Мария, видимо почувствовав мое удивление.

— Но тебе-то сколько? — настаивал я.

— Какая разница? — серьезно спросила она.

— Зачем же ты интересуешься моим возрастом? — рассердился я.

— Идиотский разговор,— заметила она.— Чепуха какая-то. Странно, что тебя занимают такие вещи.

Меня занимают такие вещи? Неужели мы ведем подобный спор? Как это могло случиться? Я был до того обескуражен, что уже забыл, почему пристал к ней с этим вопросом. Вернее, я не исследовал его причину. Только дома, спустя несколько часов, мне удалось понять глубокий смысл нашего разговора, показавшегося поначалу таким банальным.

XVII

БОЛЬШЕ МЕСЯЦА мы встречались почти ежедневно. Мне не хочется воскрешать в памяти все подробности того времени, чудовищного и волшебного. В этих воспоминаниях слишком много печального, чтобы снова возвращаться к ним.

Мария стала приходить ко мне в мастерскую. Сцена со спичками повторилась еще два или три раза с небольшими вариациями, и меня донимала мысль, что ее любовь в лучшем случае была любовью матери или сестры. Поэтому физическое сближение представлялось мне гарантией любви настоящей.

Но и это оказалось одним из тех наивных заблуждений, над которыми Мария, конечно, потихоньку посмеивалась. Наша близость отнюдь не успокоила меня, а стала лишь новой встряской, породившей болезненные сцены непонимания. Мне никогда не забыть часов, проведенных с ней в мастерской. Все это время я метался от самой чистой любви к самой страшной ненависти из-за противоречивого и необъяснимого поведения Марии: вдруг в мою душу закрадывалось подозрение, что все это розыгрыш. Мария казалась то стыдливым подростком, то обыкновенной женщиной, и тогда целая вереница вопросов начинала мучить меня: где? как? кто? когда?

В такие минуты меня не покидала мысль, что Мария разыгрывает одну из самых тонких и безжалостных комедий и я перед ней — глупый ребенок, которому заговаривают зубы, чтобы он ел или спал. Случалось, меня охватывал безумный стыд, я в спешке одевался и выскакивал на улицу, чтобы освежиться и развеять сомнения. А иногда я грубо кидался на Марию, больно хватал за руки, сжимал их и впивался взглядом в глаза, стараясь вырвать у нее подтверждения любви, *настоящей* любви.

Но все это не совсем то, о чем мне хочется рассказать. Признаюсь, мне самому непонятно, что вкладывалось в слова «настоящая любовь», и хотя я много раз приставал с ними, только сейчас начинаю размышлять над их подлинным смыслом. Что я подразумевал под «настоящей любовью»? Чувственную страсть? Возможно, именно этого я искал, отчаянно стремясь теснее сблизиться с Марией. Я был уверен, что в каких-то случаях нам тем не менее удавалось соединиться, но это единение было так непрочно, так мгновенно, так зыбко, что потом я ощущал себя еще более одиноким и неудовлетворенным, чем раньше: то же испытываешь, когда стремишься наяву ощутить любовь, пережитую во сне. И все-таки, правда очень редко, мы достигали подлинной близости. И то, что мы были вместе, помогало нам преодолеть грусть, всегда сопутствующую счастью, вызванную, без сомнения, неуловимостью этого счастья. Нам было достаточно

лишь взглянуть друг на друга, чтобы понять, что мысли наши, или скорее чувства, совершенно одинаковы.

Конечно, мы жестоко расплачивались за эти мгновения — все происходящее потом казалось грубым и неуклюжим. Что бы мы ни делали — разговаривали, пили кофе,— все было мучительно, ибо лишний раз доказывало, насколько эфемерно наше единение. И, что еще хуже, потом я чувствовал новое отчуждение, поскольку, отчаянно пытаясь хоть как-то закрепить достигнутую гармонию, я опять склонял Марию к близости; но мы только снова и снова убеждались, что таким путем невозможно вернуть утраченное единство. К тому же, Мария сбивала меня с толку, желая уверить в обратном; она испытывала истинное, почти немыслимое наслаждение; и вот тогда-то я быстро одевался и выбегал на улицу или грубо сжимал ей руки, стремясь убедиться в искренности ее переживаний. Все это было до того безобразно, что Мария, угадывая мое намерение овладеть ею, старалась уклониться от этого. В конце концов она была уже настолько разочарована, что всеми силами пыталась доказать, будто близость не только не нужна нашей любви, но даже губительна для нее.

Все это заставляло меня еще больше сомневаться в правдивости ее чувств. У меня закрадывалось подозрение, что она разыгрывает эту комедию, чтобы впредь избежать физической близости, которая, пожалуй, тяготила ее с самого начала, а, значит, наслаждение было показным. Естественно, вспыхивали новые ссоры, и хотя Мария тщетно пыталась убедить меня в том, что я ошибаюсь, я выходил из себя, обуреваемый новыми фантастическими подозрениями, и опять принимался изощренно мучить ее. Больше всего при мысли об обмане меня бесило то, что я доверился ей, как беззащитный ребенок.

— Если когда-нибудь я узнаю, что ты меня обманула,— говорил я в ярости,— то убью тебя, как собаку.

Я хватал ее за руки и внимательно всматривался ей в глаза, пытаясь уловить какой-нибудь знак: подозрительный блеск или легкую иронию. Она смотрела по-детски испуганно или печально и покорно, а затем начинала молча одеваться.

Однажды мы поспорили яростнее обычного, и я дошел до того, что выкрикнул: «Шлюха!» Мария застыла в оцепенении. Затем долго молча одевалась за ширмой, и когда я, разрываемый ненавистью и раскаянием, побежал просить прощения, то увидел ее лицо, залитое слезами. Я не знал, как себя вести: нежно целовал ее глаза, униженно извинялся, плакал, называл себя жестоким, несправедливым и мстительным чудовищем. Это продолжалось до тех пор, пока Мария еще выказывала остатки обиды, но едва она пришла в себя и стала счастливо улыбаться, мне подумалось, что ей естественней было бы оставаться грустной; конечно, она могла успокоиться, но ее веселость после такого оскорбления была подозрительной. По-моему, любая женщина должна чувствовать себя униженной, если ее назовут шлюхой, даже проститутка, и ни одна не оправилась бы так быстро, *если только в этом обвинении не было доли истины.*

Подобные сцены повторялись почти ежедневно. Иногда они заканчивались относительным примирением, и мы отправлялись гулять на площадь Франции, как влюбленные подростки. Но мгновения нежности приходили все реже и реже и были все более краткими, словно обманчивые проблески солнца на темнеющем предгрозовом небе. Мои сомнения и дознания подчиняли себе все, как лиана, которая опутывает деревья в парке, образуя чудовищные сплетения.

XVIII

Я ВСЕ ЧАЩЕ и безжалостней допытывался у Марии о причинах ее молчания, странного выражения лица, случайно оброненных словах, поездках в имение и прошлых романах. Однажды я спросил, по-

чему она называет себя «сеньоритой Ирибарне», а не «сеньорой Альенде». Мария улыбнулась:

— Что за детское любопытство! Какое это имеет значение?

— Для меня это важно,— ответил я, пристально вглядываясь в ее глаза.

— Таков семейный обычай,— сказала она уже без улыбки.

— И все же,— возразил я,— когда я впервые позвонил и попросил «сеньориту Ирибарне», горничная заколебалась, прежде чем мне ответить.

— Тебе показалось.

— Возможно. Но почему она меня не поправила?

Мария опять улыбнулась, на этот раз уже более откровенно.

— Я ведь объяснила, что это — семейный обычай, и горничная тоже о нем знает. Все называют меня Марией Ирибарне.

— Ладно, пусть будет Мария Ирибарне. Но странно, что горничная почти не удивляется, если тебя называют «сеньоритой».

— А... Так вот что тебя удивило... Да, она не привыкла к обращению «сеньорита» и потому, наверное, слегка растерялась.

Мария задумалась, будто впервые столкнулась с этим недоразумением.

— И все же она не поправила меня,— настаивал я.

— Кто? — спросила Мария, очнувшись.

— Горничная. Она не поправила меня, когда я назвал тебя сеньоритой.

— Послушай, Хуан Пабло, все это не имеет никакого значения, и я не знаю, что ты, собственно, хочешь доказать.

— Я хочу доказать, что тебя, очевидно, не впервые называют сеньоритой. Если бы это было впервые, горничная должна была бы исправить ошибку.

Мария рассмеялась.

— От тебя можно с ума сойти! — весело сказала она, нежно меня гладя.

Я был серьезен.

— И еще,— продолжал я,— когда мы впервые говорили по телефону, твой голос был безразличным, почти официальным, пока ты не закрыла дверь. Чем объяснить такую перемену?

— Подумай сам, Хуан Пабло,— возразила Мария уже без улыбки,— как я могла говорить нежно в присутствии горничной?

— Верно, но ты сказала: «Когда я закрываю дверь, это значит — меня не должны беспокоить». Это не могло относиться ко мне, поскольку раньше я не звонил. И к Гюнтеру тоже, коль скоро ты можешь когда угодно встречаться с ним в имении. Очевидно, есть еще и другие люди, с которыми ты разговаривала когда-то или продолжаешь говорить. Разве я не прав?

Мария грустно взглянула на меня.

— Вместо того чтобы так смотреть, ты бы лучше ответила,— сказал я раздраженно.

— Хуан Пабло, все это очень наивно. Конечно, я разговариваю с другими: с родственниками, с друзьями дома, с матерью — мало ли с кем...

— По-моему, для таких разговоров не надо прятаться.

— А кто дал тебе право утверждать, что я прячусь? — резко спросила она.

— Не выходи из себя. Как-то раз ты сама рассказала мне о некоем Ричарде, который не был ни другом дома, ни родственником, ни матерью.

Мария помрачнела.

— Несчастный Ричард,— пробормотала она.

— Почему несчастный?

— Ты прекрасно знаешь, что он покончил с собой, и я чувствую

себя в какой-то мере виноватой в этом. Он писал мне ужасные письма, но я так и не смогла ему помочь. Бедный, бедный Ричард.

— Я бы хотел, чтобы ты показала мне одно из его писем.

— Зачем, если он уже умер?

— Не важно, все равно.

— Я все их сожгла.

— Ты сразу могла сказать, что сожгла их. Ты же спрашиваешь: «Зачем, если он уже умер?» И так всегда. Потом, почему ты их сожгла, если это, конечно, правда? Ты ведь призналась мне, что хранишь все любовные письма. Должно быть, письма этого Ричарда слишком компрометировали тебя, раз ты решила уничтожить их. Не так ли?

— Я их сожгла не потому, что они меня компрометировали, а потому, что они были мрачными. Они подавляли меня.

— Почему?

— Не знаю... Ричард был склонен к депрессиям. Он был очень похож на тебя.

— Ты была в него влюблена?

— Ради бога...

— Что «ради бога»...

— Умоляю, Хуан Пабло. Вечно ты придумываешь...

— По-моему, я не говорю ничего нелепого. Он влюбляется в тебя, пишет ужасные письма, настолько ужасные, что ты предпочитаешь сжечь их, потом кончает с собой, а ты говоришь, что я придумываю. Почему?

— Потому что, как бы ты ни думал, я никогда не любила его.

— Почему?

— По правде говоря, не знаю. Возможно, потому, что он был не из тех, кто мне нравится.

— Ты сказала, он походил на меня.

— Право же, я имела в виду лишь то, что у вас есть общие черты, а вовсе не то, что вы во всем одинаковы. Этот человек не был способен творить; он ничего не создавал, только разрушал. Он был нигилист и как бы воплощал твои теневые стороны.

— Хорошо. И все же мне так и не ясно, зачем ты сожгла его письма.

— Повторяю: они подавляли меня.

— Но ты могла хранить их и не читать. Ведь уже это доказывает, что ты перечитывала их постоянно, пока не сожгла. А если ты их перечитывала, значит, у тебя были на то какие-то причины, значит, тебя что-то привлекало в Ричарде.

— Но я не говорила, что он не привлекал меня.

— Ты сказала, что он тебе не нравился.

— Боже мой, боже мой! Смерть мне тоже не нравится, и все же она часто привлекает меня. Ричард притягивал меня так, как манит смерть или пустота. Но я считаю, человек не должен безвольно поддаваться таким чувствам. Поэтому, быть может, я не любила его. Поэтому я сожгла его письма. Когда он погиб, я решила уничтожить все, что продлевало его существование.

Она помрачнела, и я больше не смог вытянуть из нее ни слова о Ричарде. Однако не этот человек больше всего мучил меня, потому что о нем, в конце концов, удалось узнать достаточно. Не он, а те незнакомцы, те молчаливые тени, о которых она никогда не рассказывала, но которые, я чувствовал, бесшумно и таинственно присутствовали в ее жизни. Все худшее, в чем я подозревал Марию, было связано именно с этими загадочными тенями. Как терзало меня и терзает до сих пор слово, сорвавшееся с ее губ в момент физического наслаждения.

Но среди всех этих тягостных разговоров был один, который пролил зловещий свет на Марию и ее любовь.

XIX

РАЗ УЖЕ Мария стала женой Альенде, наверное, было время, когда она испытывала чувства к этому человеку. Признаюсь, «проблема Альенде», как я называл ее, больше всего не давала мне покоя. Загадок здесь было много, но особенно мне хотелось разрешить две: любила ли она его когда-нибудь и любит ли до сих пор? На эти вопросы нельзя было ответить по отдельности, и они влекли за собой другие: если она любила не Альенде, кто же был ее избранником? Я? Гюнтер? Или один из таинственных собеседников? А может, у нее одновременно несколько любовников, как иногда бывает у мужчин? Или *она не любила никого*, с успехом внушая каждому из нас, неопытным и наивным простакам, что именно он — *единственный*, а все остальные — всего-навсего тени и отношения с ними несерьезные и поверхностные.

Однажды я решил прояснить для себя «проблему Альенде». Я начал с того, что спросил Марию, почему она вышла за него замуж.

— Я любила его,— ответила она.

— Значит, сейчас ты его не любишь?

— Я не сказала, что разлюбила,— возразила она.

— Ты сказала: «Я любила его», а не «люблю».

— Ты вечно цепляешься к словам и страшно все передергиваешь,— рассердилась Мария.— Когда я сказала, что вышла замуж, потому что любила, это не значило, что я его больше не люблю.

— То есть ты любишь Альенде,— быстро сказал я, словно желая уличить ее в ложных показаниях, данных на предыдущих допросах.

Она умолкла и помрачнела.

— Почему ты не отвечаешь? — спросил я.

— Я считаю, что отвечать бессмысленно, ведь подобные разговоры происходили уже много раз.

— Но сегодняшний разговор совсем особый. Я спросил тебя, продолжаешь ли ты любить Альенде, и ты сказала «да». Между прочим, припоминаю, что как-то в порту ты утверждала, будто я первый человек, которого ты любишь.

Мария опять замолчала. Меня всегда раздражала в ней эта непоследовательность и то, что стоило огромных трудов добиться от нее хоть одного конкретного слова.

— Так что ты на это скажешь? — настаивал я.

— Любить можно по-разному,— устало ответила она.— Ты ведь понимаешь, что сейчас я не могу любить Альенде той же любовью как вначале, когда мы поженились.

— Какой любовью?

— Какой? Ты прекрасно знаешь, что́ я имею в виду.

— Понятия не имею.

— Я тебе не раз об этом говорила.

— Говорила, но никогда не объясняла.

— «Объясняла»! — горько воскликнула она.— Ты сам без конца твердишь, что есть вещи, которые не нужно объяснять, а теперь хочешь, чтобы я разобралась в столь запутанном явлении. Я тысячу раз говорила, что мы с Альенде очень дружны, что я люблю его как брата, забочусь о нем, питаю к нему большую нежность, восхищаюсь ясностью ума, уверена — он гораздо выше меня во всех отношениях. Рядом с ним я чувствую себя ничтожной и виноватой. Как же ты можешь думать, что я не люблю его?

— Не я сказал, что ты его не любишь. Это ты заявила, что любишь его уже не так, как прежде. Значит, раньше ты любила его так, как сейчас, по твоим словам, любишь меня. А между тем несколько дней назад, в порту, ты утверждала, что я первый человек, которого ты любишь по-настоящему.

Мария затравленно взглянула на меня.

— Ладно, оставим это противоречие,— продолжал я.— Вернемся

к Альенде. Ты говоришь, что любишь его как брата. В таком случае мне нужно, чтобы ты ответила на один-единственный вопрос: ты спишь с ним?

Мария посмотрела на меня с еще большей грустью. Она помолчала и потом спросила слабым голосом:

— Необходимо ответить и на этот вопрос?

— Совершенно необходимо,— твердо сказал я.

— Ужасно, что ты позволяешь себе так допрашивать меня!

— Но ведь это так просто, скажи только: *да* или *нет*.

— Не так просто, как тебе кажется. Можно совершать что-то, не предаваясь этому.

— Прекрасно,— холодно заключил я.— Значит, да.

— Хорошо: да.

— Значит, ты его хочешь.

Я сказал это, нарочно не спуская с нее глаз, потому что так было легче сделать кое-какие выводы. Конечно, я не верил в ее искреннюю страсть к Альенде (хотя при темпераменте Марии можно было ожидать чего угодно), но мне хотелось заставить ее разъяснить, что она подразумевает под «братской любовью». Мария, как я и ожидал, медлила с ответом. Разумеется, она подыскивала слова. Наконец она проговорила:

— Я сказала, что сплю с ним, но не сказала, что хочу его.

— Ага! — торжествующе воскликнул я.— Значит, ты спишь с ним, хоть он тебе безразличен, но при этом стремишься уверить его в обратном!

Мария застыла. По ее лицу потекли слезы. Взгляд покрылся сеточкой, как треснутое стекло.

— Я этого не говорила,— медленно прошептала она.

— Ясно одно,— безжалостно продолжал я,— если ты покажешь, что ничего не чувствуешь, что тебе это в тягость, что близость с ним — жертва, которую ты приносишь из уважения к его нежности, восхищения его умом и прочее, Альенде никогда больше не ляжет с тобой в постель. Иначе говоря, раз он ведет себя по-прежнему, значит, ты способна имитировать не только чувства, но и ощущения. А также замечательно разыгрываешь наслаждение.

Мария молча плакала, глядя в пол.

— Ты чудовищно жесток,— наконец выговорила она.

— Сейчас не до любезностей, меня интересует суть. А суть в том, что ты способна дурачить мужа в течение многих лет, симулируя не только чувства, но даже и ощущения. Вывод под силу любому школьнику: отчего бы тебе не дурачить и меня? Теперь ты понимаешь, почему я так часто сомневался в искренности твоих реакций. Я всегда вспоминаю отца Дездемоны, который предупреждал Отелло, что женщина, обманувшая отца, способна обмануть и другого мужчину. И у меня никак не идет из головы, что ты постоянно, долгие годы обманываешь Альенде.

Мне вдруг захотелось дойти до предела жестокости, и, сознавая всю пошлость и грубость своих слов, я все-таки добавил:

— Обманываешь слепого.

XX

ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИВ фразу, я уже сожалел о ней; в глубине сознания того человека, который хотел произнести ее и испытать садистское удовлетворение, какое-то существо, более чистое и нежное, начало брать верх, как только жестокая фраза достигла цели, и молчаливо перешло на сторону Марии еще до того, как эти глупые и бесполезные слова были сказаны (и впрямь, чего можно было ими добиться?). Так что, едва они начали выходить из моих уст, это внутреннее существо изумленно прислушивалось, словно не до конца верило, что я их произнесу. И пока они говорились, другой уже управлял моей

волей и совестью, и со своей решимостью подоспел почти вовремя и чуть было не помешал мне закончить фразу. Когда я досказал ее (я все-таки не остановился), он уже полностью овладел мною и велел просить прощения, унижаться перед Марией, признать свою жестокость и пошлость. Сколько раз это проклятое раздвоение сознания было виной ужасных событий! Пока одна сторона моего «я» призывает к совершению добрых поступков, другая уличает ее во лжи, лицемерии и показном благородстве; пока одна побуждает оскорбить человека, другая — сочувствует ему и обличает меня в тех самых пороках, которые я не терплю в людях; пока одна стремится показать мне красоту мира, другая выставляет все его безобразие и убеждает в смехотворности любого счастливого ощущения. Так или иначе, залечивать рану, открывшуюся в душе Марии, было уже поздно — об этом злорадно нашептывало мне второе мое «я», укрывшееся сейчас в какой-то вонючей пещере,— время было безвозвратно потеряно. Мария, обессиленная, молча встала, и по ее взгляду (как он был мне знаком!) я понял, что хрупкий духовный мостик, изредка соединявший нас, рухнул навсегда. Мне вдруг показалось, что этот мостик никогда не удастся восстановить, и нахлынувшее отчаяние не удержало меня от самых унизительных поступков — я стал целовать ей ноги. В конце концов она сочувственно посмотрела на меня, и взгляд ее на мгновение потеплел. Но только от жалости, только от жалости.

Когда Мария уходила из мастерской, повторяя, что не сердится, воля окончательно покинула меня. Я не мог сдвинуться с места, застыв посередине комнаты и одурело уставившись в одну точку. Пока меня не осенило, что необходимо действовать.

Я выбежал на улицу, но Марии нигде не было. Я поймал такси и подъехал к ее дому, предположив, что она не пойдет прямо туда, и надеясь застать ее по возвращении. Час прошел в бесполезном ожидании. Потом я позвонил ей из кафе, выяснилось, что Мария ушла из дому в четыре часа и еще не вернулась (четыре часа — время, когда она отправилась ко мне). Я прождал еще несколько часов. Затем вновь позвонил, мне сказали, что Марии не будет до ночи.

Растерянный, я начал разыскивать ее, обходя одно за другим все места, где мы обычно встречались или гуляли: кладбище Реколета, авенида Сентенарио, площадь Франции, Пуэрто-Нуэво. Марии нигде не было — она, конечно, могла бродить по любым улицам, только не там, где что-либо напоминало ей о наших лучших мгновениях. Я снова бросился к ее дому, ведь было уже очень поздно, и она, должно быть, вернулась. Когда я еще раз позвонил, Мария уже была дома: она легла и не может подойти, сказали мне. Все же я назвался.

Что-то порвалось между нами.

XXI

Я ВЕРНУЛСЯ к себе, чувствуя безнадежное одиночество.

Обычно ощущение заброшенности в этом мире соединялось у меня с гордым убеждением в собственном превосходстве: я презираю людей и считаю их нечистоплотными, уродливыми, тупыми, жадными, грубыми, пошлыми, так что одиночество меня не страшит, наоборот, я испытываю даже какое-то олимпийское спокойствие.

Но тогда, как, впрочем, и в другие похожие минуты, одиночество было порождено моими собственными пороками. В такие моменты мир не кажется мне лучше, но я понимаю, что я тоже его часть, и меня захватывает страсть уничтожения. Я позволяю себе думать о самоубийстве или напиваюсь и иду к проституткам. Потом, доказав себе, что я так же низок, как и грязные ублюдки вокруг, чувствую некоторое облегчение.

Той ночью я напился в какой-то дыре. Я редко напивался до такого свинского состояния: женщина, которая была со мной, и моряки, сидевшие в кафе, вдруг стали мне так противны, что я выскочил на

улицу. Пройдя по Виамонте, я спустился к молу. Сел и заплакал. Мутная вода внизу постоянно меня дразнила: к чему так страдать? Самоубийство соблазняет легкостью: в один миг вся бессмысленная вселенная рушится, как гигантский призрак, и кажущаяся прочность небоскребов, бронемашин, танков и тюрем оказывается лишь фантасмагорией, не более реальной, чем небоскребы, бронемашины, танки и тюрьмы в кошмарном сне.

Да и сама жизнь, если так рассуждать,— лишь затянувшийся кошмар, освободить от которого может только смерть: она будет своего рода пробуждением. Но что за ним последует? Боязнь устремиться в абсолютное и вечное «никуда» всегда удерживала меня от намерения покончить с собой. Человек все же так привязан к жизни и в конце концов готов мириться с ее несовершенством и муками, что не решается уничтожить это наваждение по своей воле. И случается, что, дойдя уже до крайнего отчаяния, как обычно бывает перед самоубийством, исчерпав весь перечень людских бед и поняв, насколько они неискоренимы, ты вдруг обнаруживаешь, что какая-то притягательная частица бытия, сколь бы ничтожна она ни была, вдруг приобретает огромную ценность, становится решающей, и тогда мы цепляемся за нее как утопающий за соломинку.

Когда я надумал вернуться домой, уже рассветало. Не знаю, как это произошло, но, несмотря на прекрасно запомнившееся желание вернуться, я вдруг оказался перед домом Альенде. У меня в голове никогда не задерживаются промежуточные события. Вот я сижу на молу, смотрю на желтую воду и думаю: «А теперь мне пора в постель», и сразу же — стою перед домом Альенде, подняв глаза кверху. Зачем? Смешно и думать, что Мария покажется в этот час. Долго простояв в оцепенении, я сообразил наконец спуститься к проспекту, зайти в первое попавшееся кафе и позвонить, не задумываясь над тем, как объяснить столь поздний звонок. Когда минут через пять мне ответили, я замер, так ничего и не сказав, и испуганно повесил трубку. Выйдя из кафе, я побрел куда глаза глядят. Неожиданно меня опять занесло в кафе. Я попросил спиртного, чтобы не выделяться из посетителей, и пока пил, понял, что нужно возвращаться.

Прошло еще довольно много времени, прежде чем я очутился дома. Не раздеваясь, я бросился на кровать и провалился в сон.

XXII

Я ПРОСНУЛСЯ оттого, что никак не мог закричать, и увидел, что стою посреди мастерской. Вот что мне приснилось: мы с друзьями собираемся в гости к одному человеку. Я пришел первым. Снаружи его дом походил на любой другой, но внутри сразу же бросилось в глаза, что дом был не совсем обычным и чем-то отличался от остальных. Хозяин произнес:

— Я вас ждал.

Это была ловушка, захотелось убежать, я изо всех сил напрягся, но было уже поздно: тело мое больше мне не подчинялось.

Пришлось смириться с неизбежным и вести себя так, будто все это происходило с другим. Хозяин мало-помалу превращал меня в птицу, птицу размером с человека. Он начал с ног: я видел, как они постепенно принимали облик петушиных лап. Затем все тело стало преображаться снизу вверх, как поднимается вода в пруду. Последней надеждой были друзья, которые почему-то все не шли. Когда они наконец появились, то, к моему изумлению, не заметили страшной перемены. Они разговаривали как обычно, а значит, для них я оставался прежним. Догадавшись, что волшебник заколдовал их специально, чтобы они принимали меня за обычного человека, я решил рассказать о случившемся. Хотя я собирался говорить спокойно, боясь разозлить волшебника, способного сделать со мной что-нибудь еще более ужасное, из моего рта вырывались лишь крики. И тут меня под-

стерегали неожиданности: любая произнесенная мною фраза звучала как писк и чириканье, но оно было таким странным и тоскливым, это человеческое чириканье, и, самое ужасное, друзья не замечали его, как не замечали моего тела большой птицы; наоборот, для них в моем голосе не было ничего неестественного, и то, что я говорил, казалось им нормальным, поскольку они ни разу не выказали ни малейшего удивления. Я в ужасе замолк. Тогда хозяин дома взглянул на меня со злорадным, почти неуловимым блеском в глазах, конечно предназначавшимся только мне. И я понял: *никто никогда* не узнает, что меня превратили в птицу. Я погиб навсегда и унесу эту тайну в могилу.

XXIII

НО вернемся к рассказу. Я проснулся в холодном поту, оказавшись на середине комнаты.

Посмотрел на часы: было десять утра. Я побежал звонить. Мне сказали, что Мария уехала в имение. Это совсем уничтожило меня. Потом я долго еще лежал, не в состоянии что-нибудь предпринять, пока, наконец, не решил написать ей.

Сейчас трудно припомнить точные слова этого очень длинного письма; я просил у нее прощения, смешивал себя с грязью, говорил, что недостоин ее любви и справедливо приговорен умереть в полном одиночестве.

Тянулись невыносимые дни, но ответ не приходил. Я отправил второе письмо, за ним — третье, четвертое, они повторяли друг друга, и каждое следующее было лишь более отчаянным. В конце концов я решил рассказать ей обо всем, что произошло в ночь после нашего разрыва, не упуская ни одной самой гнусной подробности и даже признаваясь в желании покончить с собой. Мне было совестно прибегать к такому оружию, но все же я использовал и его. Добавлю, что, описывая свои самые недостойные действия и отчаяние, охватившее меня в ту одинокую ночь напротив ее дома на улице Посадас, я почувствовал к себе такое сострадание, что заплакал от жалости. Рассчитывая, что и Мария испытает нечто похожее, прочитав это, я почувствовал некоторое облегчение. И, отправляя заказное письмо, надеялся на самое лучшее.

С обратной почтой пришло полное сочувствия письмо от Марии. Мне показалось, что отныне возродятся первые мгновения нашей любви, может и не такие безоблачные, как прежде, но главное в них все же оставалось, так король — всегда король, даже если неверные и коварные вассалы предали и обесчестили его.

Мария просила меня приехать в поместье. Как сумасшедший, я собрал чемодан, схватил этюдник и помчался на вокзал Конститусьон.

XXIV

СТАНЦИЯ «*Альенде*» была одним из обычных деревенских вокзальчиков, по которому расхаживали несколько крестьян, начальник в одной рубашке и молочница с кувшинами.

Меня разозлили два обстоятельства: отсутствие Марии и присутствие шофера.

Едва я спустился из вагона, он подошел ко мне и спросил:

— Вы сеньор Кастель?

— Нет,— ответил я безмятежно.— Я не сеньор Кастель.— И тут же подумал, что могу проторчать здесь полдня, дожидаясь обратного поезда. Придется все же назвать себя.

— Да,— почти сразу же добавил я.— Я Кастель.

Шофер удивленно посмотрел на меня.

— Возьмите,— буркнул я, протянув ему чемодан и мольберт.

Мы пошли к машине.

— Сеньора Мария нездорова,— объяснил он.

«Нездорова!» — ехидно прошептал я. Как хорошо мне были известны эти уловки! Вновь захотелось вернуться в Буэнос-Айрес, но теперь к ожиданию поезда прибавлялась еще и необходимость вновь доказывать шоферу, что я не Кастель, или если я — Кастель, то вполне нормальный человек. Я быстро взвесил все и решил: и в том и в другом убедить шофера будет непросто. Пришлось сдаться и позволить везти себя в имение. Да и что бы произошло по возвращении? Повторится обычная история: оставшись наедине со своей яростью, возросшей оттого, что ее нельзя выплеснуть на Марию, я буду невыносимо страдать без нее, не смогу работать, и все это из-за выдуманной болезни Марии.

Гюнтер чем-то напоминал Альенде (по-моему, я сказал, что они двоюродные братья); он был таким же высоким, смуглым, худым, но глазки у него бегали. «Этот человек — безвольный лицемер»,— подумал я. Такое заключение было утешительным, по крайней мере в тот момент.

Он встретил меня с ироничной вежливостью и представил худой большеротой женщине, курящей сигарету. У нее был парижский акцент, она называла себя Мими Альенде, была злобной и близорукой.

Господи, что за люди окружают Марию? Может, ей и вправду нехорошо? Мне было так тоскливо, что я почти не замечал присутствия этих двоих. Но, вспомнив вдруг о своем положении, я резко повернулся к Гюнтеру, чтобы *проследить* за ним. Когда имеешь дело с подобными субъектами, такой способ дает превосходные результаты.

Гюнтер внимательно рассматривал меня своими насмешливыми глазами, но мгновенно постарался изменить выражение лица.

— Мария неважно себя почувствовала и прилегла,— сказал он.— Думаю, она скоро спустится.

Я выругался про себя. С этими людьми нужно все время быть настороже; кроме того, я собирался всерьез изучить их образы мыслей, шутки, реакции, чувства — все это мне понадобится, чтобы получше разобраться в Марии. Итак, я приготовился *смотреть и слушать* и постарался прийти в хорошее расположение духа. Я уговаривал себя, что и лицемерное поведение Гюнтера и этой палки нравятся мне. Тем не менее я был мрачен.

— Так, значит, вы художник,— сказала близорукая женщина, прищурившись, словно защищалась от ветра в пустыне. Эта гримаса, вызванная желанием лучше видеть (как будто в очках она была бы уродливее), придавала ей еще более наглый и фальшивый вид.

— Да, сеньора,— ответил я в ярости. Я был уверен, что она сеньорита.

— Кастель — великолепный художник,— пояснил Гюнтер.

Затем последовал целый ряд идиотских замечаний по поводу моих работ: он хвалил их, повторяя все формулы, которые употребляли критики после каждой моей выставки, «основательно» и прочее. Не скрою, повторяя эти общие места, он обнаруживал некоторое чувство юмора. Я заметил, что Мими вновь впилась в меня прищуренными глазками, и поежился, вообразив, как она будет говорить обо мне. Все-таки я совсем не знал ее.

— Какие художники вам нравятся? — спросила Мими, точно экзаменатор.

Нет, теперь я припоминаю, она задала этот вопрос уже после того, как мы вышли. Сначала, представив меня этой женщине, сидящей у накрытого стола, Гюнтер повел меня в комнату, которая предназначалась мне. Пока мы поднимались (дом был двухэтажный), он объяснял, что здание с небольшими переделками сохранило свой прежний вид и осталось таким, каким спланировал его дед, перестроив остов старого дома прадеда. «А мне-то какое дело?» — думал я. Этот парень явно хотел казаться простым и откровенным, хотя не-

понятно зачем. В то время как он рассказывал о солнечных часах или о каком-то солнечном устройстве, я размышлял о том, что Мария, должно быть, в одной из комнат наверху. Заметив мой пристальный взгляд, Гюнтер сказал:

— Здесь несколько спален. Вообще-то дом достаточно удобен, хотя сделан довольно смешно.

Я вспомнил, что Гюнтер — архитектор. Интересно, какие строения он называл не смешными?

— Это — бывшая комната деда, а сейчас в ней живу я,— объяснил он, показывая на среднюю дверь напротив лестницы.

Потом Гюнтер открыл другую дверь.

— А вот ваша,— сказал он.

Он предупредил, что внизу меня будут ждать к чаю, и вышел. Когда он удалился, сердце мое забилось: Мария может находиться в любой из комнат, совсем рядом. Я нерешительно стоял посреди спальни. Вдруг меня осенило: я подошел к стене, отделявшей мою комнату от соседней (не комнаты Гюнтера), и тихо постучал. Никакого ответа. Выйдя в коридор и убедившись, что вокруг никого нет, я подкрался к двери той комнаты и возбужденно занес руку, чтобы постучать. Однако не осмелился и бегом вернулся к себе. Потом решил спуститься в сад. Я был в полной растерянности.

XXV

ДА, мы уже сидели за столом, когда костлявая особа спросила меня, каких художников я люблю. Я рассеянно назвал несколько имен: Ван Гог, Эль Греко. Она насмешливо посмотрела на меня:

— *Tiens!* [1]

Потом добавила:

— Мне не нравятся чересчур выдающиеся люди. Знаешь,— сказала она, повернувшись к Гюнтеру,— меня раздражают гении вроде Микеланджело и Эль Греко. Величие и драматизм слишком лезут в глаза. Тебе это не кажется дурным тоном? На мой взгляд, художник должен примириться с одним обязательным условием: никогда не привлекать к себе внимания. Ненавижу, когда драматизм и оригинальность становятся навязчивыми. Согласись, что, стремясь быть непохожим на других, ты в чем-то унижаешь их, доказываешь, что они лишь посредственность, а это плохой вкус. Если бы я была писателем или художником, то уж постаралась бы, чтобы мои произведения ни в коем случае не привлекали к себе внимания.

— Не сомневаюсь,— насмешливо бросил Гюнтер.

И добавил:

— Тебе наверняка не хотелось бы написать, ну, скажем, «Братьев Карамазовых».

— *Quelle horreur!* [2] — воскликнула Мими, возведя к небу свои глазки. Затем пояснила: — Каждый так и норовит выставить свою совестливость. Вы в состоянии осилить русский роман целиком?

Последний вопрос был неожиданно обращен ко мне, но Мими не стала дожидаться ответа и продолжала говорить, вновь повернувшись к Гюнтеру:

— Знаешь, мне ни разу не удалось дочитать до конца ни один русский роман. Там всегда тысяча действующих лиц, но к концу выясняется, что их не больше четырех или пяти. Едва только ты привыкаешь к герою по имени Александр, как оказывается, что его зовут Саша или Сашка, а потом еще и Сашенька: и вдруг — что-то совсем невероятное, вроде Александр Александрович Бунин, а дальше — просто Александр Александрович. Только разберешься, что к чему, тебя опять сбивают с толку. И так до бесконечности: каждый персо-

[1] Смотри-ка! *(франц.)*

[2] Какой ужас! *(франц.)*

наж похож на целую семью. Не спорь, это изнурительно, даже для тебя.

Мне было отчаянно грустно. Еще говорят, что я нетерпелив. Просто удивительно, откуда только взялись силы выслушать все эти глупости, и, главное, как мне удалось так хорошо их запомнить. Любопытно, слушая кузенов, я старался поднять себе настроение, думая: «Это пустые и легкомысленные люди. Они должны рождать в Марии лишь чувство одиночества. ЭТА ПУБЛИКА НЕ В СОСТОЯНИИ СОПЕРНИЧАТЬ СО МНОЙ». И тем не менее легче не становилось. В глубине души я понимал, что особых поводов для веселья нет. Не в силах определить причину своей тоски, я нервничал, злился, хотя и старался успокоить себя тем, что обдумаю все уединившись. Вначале казалось, виной всему — отсутствие Марии, но потом я понял, что оно скорее бесило меня, чем печалило. *Дело было в другом.*

Кузены тем временем перешли к детективам. Я услышал, как Мими спросила Гюнтера, читал ли он последний роман «Седьмого круга».

— Зачем? — удивился Гюнтер.— Все детективы похожи один на другой. Одного в год вполне достаточно. Только недалекие люди способны проглатывать по детективу в неделю.

Мими возмутилась. Вернее, *изобразила возмущение.*

— Не говори глупостей,— сказала она.— Детективы — это единственное, что я еще могу читать. Я их обожаю. Все так непонятно, и эти потрясающие *detectives* [1], которые разбираются решительно во всем: в искусстве эпохи Минга, графологии, теории Эйнштейна, бейсболе, археологии, хиромантии, политэкономии, статистике разведения кроликов в Индии. И потом, они такие безупречные, что диву даешься. Не правда ли? — вновь обратилась она ко мне.

Ее вопрос застал меня врасплох, и я не знал, что ответить.

— Да,— сказал я, чтобы отделаться.

Гюнтер насмешливо взглянул на меня.

— Я скажу Жоржи, что ты ненавидишь детективы,— добавила она, строго смотря на Гюнтера.

— Вовсе нет, я говорил лишь, что все они похожи друг на друга.

— Все равно скажу. Счастье еще, что не все такие педанты, как ты. Вот сеньор Кастель, например, любит детективы, верно?

— Я? — испуганно спросил я.

— Конечно,— продолжала Мими, не дождавшись ответа и опять поворачиваясь к Гюнтеру,— если бы все были такими *savant* [2], как ты, жизнь была бы невыносимой. Я уверена, у тебя есть целая теория о детективах.

— Безусловно,— улыбнулся Гюнтер.

— Я же говорила,— сурово сказала Мими, вновь обращаясь ко мне, как бы приглашая в свидетели.— Уж этого типа я хорошо знаю. Ничто не мешает тебе блеснуть. Ты, должно быть, умираешь от желания поделиться своими мыслями.

Гюнтер и в самом деле не заставил себя упрашивать.

— Моя теория,— начал он,— состоит в следующем: детективный роман XX века в наше время взял на себя функции рыцарского романа эпохи Сервантеса. Более того, я считаю, что сейчас можно было бы написать нечто вроде современного «Дон Кихота» — пародию на детективный роман. Представьте себе человека, который всю жизнь запоем читал детективы и свихнулся, решив, что мир живет по законам книг Николаса Блэйка или Эллери Куина. Вообразите, что этот несчастный в конце концов берется за расследование преступлений и в реальной жизни начинает вести себя как детектив из книги. На такую тему можно было бы написать нечто развлекательное, трагическое, символическое, сатирическое и прекрасное...

---

[1] Сыщики *(франц.)*.

[2] Образованными *(франц.)*.

— А почему бы тебе не заняться этим? — с издевкой спросила Мими.

— По двум причинам: я не Сервантес и очень ленив.

— Хватит и первой,— заметила Мими.

Потом она, как назло, опять повернулась ко мне.

— Этот человек,— сказала она, состроив Гюнтеру гримасу,— так ополчился на детективы, потому что сам не способен написать ни одного, даже самого скучного романа.

— Дай мне сигарету,— попросил Гюнтер и добавил: — Когда ты наконец перестанешь кривляться? Во-первых, я отнюдь не против детективов — я сказал лишь, что можно было бы сочинить что-то вроде «Дон Кихота» нашего времени. Во-вторых, ты ошибаешься насчет моей полной неспособности к этому делу. Однажды мне в голову пришел великолепный сюжет для уголовного романа.

— *Sans blaque* [1],— только и выговорила Мими.

— Представь себе. Послушай. У одного человека есть мать, жена и ребенок. Однажды ночью при таинственных обстоятельствах убивают мать. Расследование не дает никаких результатов. Через некоторое время убивают жену — все повторяется. Наконец, убивают ребенка. Герой находится на грани помешательства, потому что он любил всех, особенно ребенка. В отчаянии он решает сам раскрыть тайну. Использовав все методы гениальных сыщиков — индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический и прочие,— он приходит к выводу, что в такой-то день и час в таком-то месте должно состояться четвертое убийство. Ясно, что последней жертвой станет он сам. В установленный день и час герой отправляется туда, где, по его расчетам, должно совершиться четвертое преступление, и ждет, когда появится убийца. Но тот не приходит. Герой еще раз проверяет, хорошо ли он все обдумал. Может, он не угадал место — нет, место определено точно. Или неверно вычислил время — нет, ошибка исключается. Остается один страшный вывод: *убийца уже здесь.* Иначе говоря, *это он сам,* а все три преступления были совершены им в бессознательном состоянии. То есть *детектив* и преступник оказываются одним и тем же лицом.

— Это для меня слишком заумно,— протянула Мими.— Ну, и чем же кончается твой роман? Ведь должно было произойти четвертое убийство?

— Развязка очевидна,— лениво сказал Гюнтер,— несчастный кончает с собой. Остается решить почему: то ли от угрызений совести, то ли потому, что я-преступник убивает *я-детектива,* как обычную жертву.

— Забавно. Но одно дело вот так рассказать, а другое — написать роман.

— Разумеется,— спокойно согласился Гюнтер.

Потом Мими принялась болтать о каком-то хироманте, с которым познакомилась в Мар-дель-Плата, и ясновидящей женщине. Гюнтер пренебрежительно высказался по этому поводу, и Мими разозлилась:

— Не сомневайся, это достаточно серьезно. Ее муж — профессор инженерного факультета.

Они продолжали спорить о телепатии, а я мучился оттого, что Мария все не показывается. Когда несколько минут спустя я снова прислушался к их беседе, речь шла уже о положении пеонов.

— Все дело в том,— заявила Мими, размахивая мундштуком, как дирижерской палочкой,— что люди больше не хотят работать.

И тут, уже к концу разговора, внезапная догадка развеяла мою грусть: эта Мими прикатила в последний момент, и Мария нарочно не спускается, чтобы избавить себя от болтовни, которая, конечно, осточертела ей. Сейчас уже я припоминаю, что вывод мой был не сов-

[1] Не может быть *(франц.).*

сем безотчетным, сформулировать его мне помогли слова шофера по дороге в имение о кузине сеньора, приехавшей в гости из Мар-дель-Плата, но тогда я пропустил это замечание мимо ушей. Все ясно: Мария, огорченная неожиданным появлением Мими, заперлась в спальне, сославшись на нездоровье,— эти люди были ей противны. Почувствовав, что подобные мысли разгоняли мою тоску, я вдруг объяснил себе и ее причину: попав сюда и увидев, что Гюнтер и Мими — обыкновенные светские лицемеры, наивная половина моего «я» обрадовалась, успокоенная тем, что Гюнтер не может составить мне конкуренцию, но в глубине души я расстроился, подумав или, вернее, *ощутив*, что Мария — тоже часть их круга и, должно быть, в чем-то походит на них.

XXVI

КОГДА мы встали из-за стола, чтобы погулять по парку, я увидел Марию, идущую нам навстречу, и уверился в правильности своих предположений: она дожидалась окончания застолья, чтобы не участвовать в дурацком разговоре за чаем.

Каждый раз, когда Мария приближалась ко мне в окружении других людей, я думал: «С этим восхитительным созданием меня связывает тайная нить». Позднее, размышляя о своих чувствах, я понял, что сначала она стала для меня необходимой как человек, встреченный на необитаемом острове; когда же страх одиночества прошел, она превратилась в предмет роскоши, которым я гордился. Именно тогда, во второй период нашей любви, и появились несчетные трудности — так умирающий с голоду готов проглотить что угодно, а затем, немного насытившись, начинает жаловаться, что пища невкусная и несвежая. В последние годы мне приходилось часто встречать эмигрантов, отличавшихся смирением, которое присуще людям, убежавшим из концлагеря и готовым довольствоваться самым малым, выполнять самую унизительную работу и при этом радоваться всей душой; но странное дело — человеку недостаточно для счастья сознавать, что он избежал пытки или смерти. Едва он почувствует себя более уверенно, гордость, тщеславие и запальчивость, казалось навсегда утраченные, постепенно возвращаются — так вылезают из нор разбежавшиеся в испуге звери; более того, эти качества еще больше укрепляются, будто стыдясь, что пережили подобное унижение. Неудивительно, что в таких случаях мы нередко становимся свидетелями неблагодарности и дикости.

Сейчас, когда мне ничто не мешает спокойно разобраться в своих переживаниях, подозреваю, что и в наших отношениях с Марией было нечто похожее, и я, наверное, расплачиваюсь за то, что недооценил ту Марию, которая так легко спасла меня от одиночества. Эта напыщенная гордость, это растущее желание быть единственным обладателем Марии должны были насторожить меня, дать понять, что я иду по опасному пути, прислушиваясь к голосу тщеславия.

Но в тот момент, когда Мария шла ко мне навстречу, надменное чувство почти полностью сменилось ощущением вины и стыдом за дикую сцену в мастерской, жестокое и пошлое обвинение: «Обманываешь слепого». Я почувствовал, что теряю силы и покрываюсь холодным потом. Находиться в таком состоянии среди этих людей! И не упасть перед ней на колени, моля, чтобы она простила меня и утихомирила тот ужас и презрение, которые я испытывал к самому себе.

Мария внешне казалась спокойной, и неясная грусть сегодняшнего дня вновь начала заполнять меня.

Она довольно равнодушно поздоровалась со мной, как бы желая показать своим родственникам, что отношения между нами чисто дружеские. Я, с необъяснимым раздражением вспомнил неприятный разговор, который недавно произошел у нас во время одного из при-

ступов отчаяния: я сказал, что было бы заманчиво с наступлением темноты полюбоваться видом башен с холма Сан-Хеминьано. Мария восхищенно взглянула на меня и воскликнула: «Как здорово, Хуан Пабло!» Но когда я предложил сбежать этой же ночью, Мария испугалась, лицо ее напряглось, и она хмуро проговорила: «Мы не имеем права думать только о себе. Жизнь слишком сложна». Я спросил, что это значит. Она ответила еще более мрачно: «Счастье окружено горем». Я резко поднялся и ушел не простившись. Как никогда ясно стало, что нам с Марией не удастся соединиться до конца и придется довольствоваться лишь мимолетным ощущением подлинной духовной близости, столь же печально неуловимым, как воспоминания о некоторых снах или радость от прозвучавшего музыкального пассажа.

Вот и сейчас Мария следила за каждым своим жестом, за выражением лица, обдумывая каждое слово. Она даже могла улыбаться той, другой женщине!

Мария спросила, привез ли я наброски.

— Какие наброски? — гневно воскликнул я, злясь оттого, что она не упустит возможности схитрить, хотя сейчас это было нам выгодно.

— Наброски, которые вы обещали показать мне,— настаивала Мария невозмутимо.— Те, что вы сделали в порту.

Я с ненавистью посмотрел на нее, но она спокойно выдержала мой взгляд, и лишь на десятую долю секунды глаза ее смягчились, как бы говоря: «Посочувствуй мне!» Любимая, любимая Мария! Как страдал я из-за ее мольбы и унижения! Ненависть сменилась нежностью.

— Конечно, я их взял. Они в комнате.

— Мне очень хочется увидеть их,— сказала она уже равнодушно.

— Хоть сейчас,— согласился я, угадывая ее намерения.

Я испугался, что Мими увяжется за нами, но Мария знала ее лучше меня и сразу же прибавила, пресекая всякую попытку вмешательства:

— Мы скоро придем.

Сказав это, она решительно взяла меня под руку и повела в дом. Я быстро обернулся и, кажется, уловил в глазах Мими, смотрящей на Гюнтера, торжествующий огонек.

XXVII

Я ДУМАЛ пробыть в поместье несколько дней, но оставался там всего сутки. Наутро, едва рассвело, я убежал, схватив чемодан и этюдник. Этот поступок может показаться дурацким, но вы поймете, что иначе было нельзя.

Покинув Гюнтера и Мими, мы вошли в дом за несчастными набросками, потом спустились, захватив этюдник и папку с рисунками, которые должны были изображать наброски. Это тоже была выдумка Марии.

Но кузенов уже не было. Мария пришла в прекрасное расположение духа, и во время нашей прогулки по парку к побережью была в приподнятом настроении. Такой я ее еще не видел; совершенно другая женщина, не похожая на ту, что я знал в городской скуке,— более подвижная, более энергичная. В ней проснулась какая-то чувственность, незнакомая мне доселе, упоение цветом и запахами; она приходила в восторг (для меня неведомый, потому что моя чувственность основана скорее на чистом воображении) от оттенков ствола, сухого листика, какого-нибудь жучка, от благоухания эвкалипта, смешанного с запахом моря. Но все это меня отнюдь не веселило, а подавляло и расстраивало, ведь эти черты Марии были мне чужды, и они принадлежали, должно быть, Гюнтеру или кому-то еще.

Грусть росла и росла, но, может быть, ее навевал шум морских волн, который становился все отчетливее. Когда мы спустились с го-

ры и передо мной открылось здешнее небо, я понял, что печаль моя неизбежна: так было всегда, когда я видел красоту или хоть что-то родственное ей. Интересно, все ли так чувствуют или это еще один порок моей несчастной натуры?

Мы сели на скалистый склон и долгое время провели в молчании, прислушиваясь к шуму моря внизу, чувствуя на лицах капельки пены, которым удавалось долететь до вершины. Предгрозовое небо напомнило мне картину Тинторетто «Спасение сарацина».

— Сколько раз,— сказала Мария,— я хотела показать тебе это море и это небо.

Потом она добавила:

— Порой мне кажется, берег принадлежит нам обоим. Стоило мне увидеть одинокую женщину на твоей картине, как я почувствовала, что ты очень похож на меня и тоже на ощупь ищешь кого-то, какого-то безмолвного собеседника. С того самого дня я не переставала думать о тебе, мне не раз снилось, что ты здесь, на этом самом месте, где я провела столько часов своей жизни. Однажды я чуть было не решилась пойти к тебе и признаться во всем. Но я боялась ошибиться, как уже ошиблась когда-то, и надеялась, что ты сам разыщешь меня. Я все время тебе помогала, звала тебя каждую ночь и настолько поверила в возможность нашей встречи, что у этого дурацкого лифта онемела от страха и сказала какую-то глупость. Когда ты вышел, огорченный ошибкой (так ты считал), я побежала за тобой как ненормальная. А потом наша встреча на площади Сан-Мартина: ты пытался объяснить мне что-то важное, а я старалась все запутать, чтобы не потерять тебя навсегда и не причинить горе. Мне хотелось сбить тебя с толку, убедить в том, что я не понимаю твоих намеков, твоего шифрованного послания.

Я молчал. Голова моя кружилась от возвышенных чувств и сумбурных мыслей, пока я слушал голос Марии, ее восхитительный голос. На меня нашло какое-то оцепенение. Закат солнца и облака на горизонте напоминали гигантскую плавку. Я почувствовал, что эти волшебные минуты больше *никогда* не повторятся. «Никогда, никогда»,— думал я, тем временем как меня уже поташнивало от большой высоты. Как легко было бы утащить Марию за собой в пропасть!

Доносились лишь отдельные фразы: «Боже мой... Чего только не произошло за то бесконечное время, что мы вместе... Ужасные события... Мы ведь не только частичка этого пейзажа, а крошечные существа из плоти и крови, испорченные, ничтожные».

Море постепенно превращалось в черное чудовище. Скоро совсем стемнело, и отдаленный шум волн стал зловеще-привлекательным. Оказывается, все было так просто! Она говорила, что мы испорченные, ничтожные существа, и хотя я знал, что способен на скверные поступки, меня огорчало подозрение, что и в ней было много низкого, *наверняка* было. «Но как? — думал я.— С кем, когда?» И глухое желание кинуться на нее, разорвать на куски, задушить и бросить в море овладевало мной. До меня долетали обрывки ее рассказа: что-то о двоюродном брате, кажется Хуане, о детстве, проведенном в деревне; я услышал слова о бурных и жестоких происшествиях, связанных с тем, другим кузеном. Мария, очевидно, признавалась мне в чем-то сокровенном, а я как идиот пропустил это признание.

— Какие бурные и жестокие происшествия! — закричал я.

Но Мария не слышала меня; она сама находилась в полусне, она тоже была одинока.

Прошло много времени, наверное полчаса. Я почувствовал, что она гладит мое лицо, как это случалось раньше. Говорить не было сил. Я по-детски уткнулся в подол Марии, и мы сидели долго-долго, время остановилось, будто не было ничего, кроме детства и смерти.

Как жаль, что в глубине таились подозрительные и загадочные истории! Как хотелось мне быть неправым, как желал я, чтобы Мария

всегда была такой, как сейчас! Но тщетно: пока я прислушивался к ее сердцу, стучавшему совсем близко, пока рука ее ласкала мои волосы, темные мысли шевелились в моей голове, словно крысы в болотистом подвале, они дожидались освобождения, глухо сопя и копошась в грязи.

XXVIII

ПРОИЗОШЛО что-то необычное. Вернувшись домой, мы увидели, что Гюнтер возбужден (хотя такие, как он, считают дурным тоном обнаруживать свои переживания); он пытался сдержаться, но, несомненно, что-то случилось. Мими ушла, а в столовой все было готово к ужину, мы, конечно, намного опоздали, потому что, завидев нас, прислуга стала поспешно собирать на стол. Ужин прошел почти в полном молчании. Я старался не пропустить ни одного слова Гюнтера, ни одного его жеста, надеясь, что они прольют свет на многое, что от меня скрывали, и подтвердят догадки, которые все укреплялись. Я присматривался к Марии: лицо ее было непроницаемо. Желая снять напряжение, Мария сказала, что читает роман Сартра. Гюнтер, не скрывая досады, пробурчал:

— Эти мне нынешние романы! Коли хотят, пусть пишут... Но зачем их читать?

Вновь воцарилась тишина, но Гюнтер вовсе не пытался сгладить неприятное впечатление от своих слов. Я заключил, что он почему-то злится на Марию. Но поскольку до того, как мы ушли к морю, ничего особенного не произошло, значит, претензии Гюнтера родились, пока мы разговаривали там: нельзя было не понять, что виной всему — наша долгая беседа, точнее — наше долгое отсутствие. Вывод: Гюнтер ревнив, и это доказывает, что его отношения с Марией не просто дружеские или родственные. Конечно, Марии не обязательно любить его, напротив, тем скорее Гюнтер разозлится, заметив, что Мария обращает внимание на других. В любом случае, если его раздражение вызвано ревностью, он должен враждебно вести себя по отношению ко мне, ведь иных причин злиться на меня у него нет. Так и произошло. Даже если бы я не заметил множества подозрительных высказываний, вполне хватило бы взгляда, который Гюнтер бросил на меня, едва Мария заговорила об обрыве.

Как только мы вышли из-за стола, я сослался на усталость и отправился к себе, намереваясь получше разобраться в происходящем. Я поднялся по лестнице, открыл комнату, зажег свет, громко хлопнул дверью и стал прислушиваться, стоя у порога. Вскоре до меня донесся голос Гюнтера — он что-то сказал раздраженно, но разобрать слова было трудно. Мария не отвечала; Гюнтер произнес вторую, еще более длинную фразу и еще более раздраженно; Мария что-то очень тихо сказала, ее слова совпали с последними словами Гюнтера, затем послышался звук отодвигаемых стульев и раздались шаги на лестнице. Я быстро запер дверь, но не отходил, приложив ухо к замочной скважине: вскоре кто-то прошел мимо — это были женские шаги. Я долго лежал с открытыми глазами, размышляя обо всем, что произошло, и стараясь уловить какой-нибудь шум. Но за целую ночь не раздалось ни звука.

Я не мог заснуть; всевозможные догадки, которые раньше не приходили мне на ум, терзали меня. Первоначальное предположение было наивным: Марии вовсе не обязательно любить Гюнтера, чтобы тот ревновал ее (что, кстати, естественно); и подобный вывод тогда успокоил меня. Теперь же я понимал: это было необязательно, *но и не являлось препятствием.*

Мария могла любить Гюнтера, а он тем не менее ревновал ее.

Дальше. Откуда я взял, будто между ними что-то было? Объяснений сколько угодно! Во-первых, если Гюнтер надоедает ей своей ревностью, а она его не любит, тогда зачем она так часто ездит в име-

ние? Обычно там никого нет, кроме Гюнтера (не знаю, холост он или вдов, по-моему, Мария как-то сказала, что он расстался с женой), но главное, что этот сеньор живет в имении один. Во-вторых, существовала еще одна причина, из-за которой я подозревал Марию в близких отношениях с кузеном,— она всегда отзывалась о Гюнтере равнодушно, так, как обычно говорят о родственниках, и ни разу, ни намеком не упомянула, что Гюнтер влюблен в нее, что он ревнив. В-третьих, не далее как сегодня Мария рассказывала мне о своих слабостях. Чего она добивалась? В письме я признался ей во многих мерзостях: попойках и проститутках, и теперь она говорила, что понимает меня, что она тоже не из тех, кто любуется парком под луной и лодкой, бегущей по волнам. Не имела ли она в виду, что и в ее жизни были такие же темные и постыдные страсти? И не был ли Гюнтер одной из них?

Я пережевывал эти выводы и думал над ними всю ночь, мусоля их со всех сторон. Окончательным заключением, показавшимся безупречным, было: *Мария — любовница Гюнтера.*

Как только это стало для меня ясно, я спустился вниз, взяв чемодан и этюдник. Столкнувшись с одним из слуг, который уже открывал окна и двери, чтобы приступить к уборке, я велел ему передать наилучшие пожелания сеньору и сказать, что срочные дела призывают меня в Буэнос-Айрес. Он не без удивления посмотрел на меня, особенно когда в ответ на предложение подвезти до станции я сказал, что пойду пешком.

Мне пришлось просидеть несколько часов на маленьком вокзале. Я вдруг решил, что должна появиться Мария, и ждал этого с горьким удовлетворением, которое испытывает обиженный ребенок, прячась где-нибудь, считая, что с ним поступили несправедливо, и ждет, когда же кто-нибудь из старших признает свою вину, разыщет его и попросит прощения. *Но Мария не пришла.* Увидев поезд, я в последний раз взглянул на дорогу, еще надеясь, что Мария появится, но ее не было, и мне стало безумно одиноко.

Пока поезд мчался к Буэнос-Айресу, я смотрел в окно. Мы проезжали мимо ранчо: женщина, стоявшая под навесом, выпрямилась, чтобы посмотреть на поезд. Дурацкая мысль пришла мне в голову: «Я вижу эту женщину в первый и последний раз. Я больше никогда ее не увижу». Мои мысли швыряло, как пробку в реке. Теперь они крутились вокруг женщины под навесом. Какое мне было до нее дело? Но я никак не мог смириться с тем, что еще одно прожитое мгновение осталось позади: мне казалось, что все это уже умерло — пройди поезд минутой позже, позови эту женщину кто-нибудь из дома, и ее в моей жизни не существовало бы.

Все представлялось мне скоротечным, бесполезным, невнятным. В голове был полный сумбур, и Мария была каким-то расплывчатым и печальным пятном. Только несколько часов спустя мой мозг стал работать с прежней ясностью и силой.

XXIX

ДНИ, предшествовавшие смерти Марии, были самыми ужасными в моей жизни. Невозможно подробно рассказать обо всем, что я перечувствовал, передумал и переделал, и если некоторые события вспоминаются в мельчайших деталях, то целые часы и даже дни предстают передо мной нелепыми и мутными снами. Кажется, я несколько дней пьянствовал, валялся на кровати или на скамейке в Пуэрто-Нуэво. Помню, что, выйдя на вокзале Конститусьон, я зашел в бар и попросил одну за другой несколько порций виски, затем встал, взял такси и поехал в бар на улице 25 мая или Леандро Алема. Опять музыка, шум, крики, омерзительный гогот, от которого меня передергивало, разбитые бутылки и слепящие огни. Потом тяжесть, мучительная головная боль, полицейский участок, надзиратель, открывающий

дверь, офицер, который что-то мне объясняет,— и вновь я вижу себя, бредущего по улице, то и дело почесываясь. Возможно, я опять зашел в бар. Несколько часов (или дней) спустя кто-то отвез меня в мастерскую. Мне снился кошмарный сон: я разгуливал по крыше собора. Помню еще, как проснулся в своей комнате ночью, умирая от страха, что комната стала необъятно большой и сколько бы я ни бежал, мне никогда не добраться до ее конца. Не знаю, много ли прошло времени, пока первые лучи солнца не проникли в окно. Я бросился в ванную и, не раздеваясь, плюхнулся в воду. Холодная вода немного привела меня в чувство, и в памяти начали возникать разрозненные картины, не связанные между собой, как первые предметы, которые появляются на воде после потопа: Мария, сидящая на склоне, Мими, размахивающая мундштуком, станция «Альенде», магазин у вокзала под названием «Доверие» или «Имение», Мария, спрашивающая о набросках, мой крик: «Какие наброски?», уничтожающий взгляд Гюнтера, я, прислушивающийся к разговору родственников, матрос, швыряющий бутылку, непроницаемые глаза Марии, приближающейся ко мне, Мими с ее рассуждениями, поцелуи грязной женщины и то, как я страшно ударил ее кулаком, блохи кусающие все тело, Гюнтер, разглагольствующий о детективах, шофер из поместья. Вспоминались и обрывки снов: опять собор темной ночью, бесконечная комната.

По мере того как вода оказывала свое действие, одни куски, которые поднимались на поверхность сознания, соединялись с другими, и стала вырисовываться полная картина, скорбная, как разоренный наводнением город.

Я вылез из ванны, снял с себя все, надел сухую одежду и принялся сочинять письмо Марии. Вначале я написал, что хотел бы объяснить причину моего бегства из имения (я зачеркнул «бегство» и написал «отъезд»). Затем добавил, что высоко ценю тот интерес, который она проявляет ко мне (я зачеркнул «ко мне» и написал «к моей особе»). Что я восхищаюсь ее добротой и чистыми намерениями, хотя, по ее же признанию, ею иногда овладевали «низкие страсти»; что я тоже не из тех, кто любуется парками под луной и лодкой, бегущей по волнам, но, как она могла представить (я зачеркнул «представить» и написал «догадаться»), этого недостаточно, чтобы сохранить нашу любовь; непонятно, как женщина ее склада говорит слова любви мужу, мне и в то же время спит с Гюнтером. Тем более, уточнил я, что она спит и со мной, и с мужем. Письмо заканчивалось словами, что подобные факты дают богатый материал для анализа, и так далее, и так далее...

Перечитав письмо, я решил, что теперь оно стало достаточно оскорбительным, чтобы причинить ей боль. Я запечатал конверт, отправился на Центральный почтамт и послал его заказным.

XXX

ЕДВА я вышел из почтамта, как понял две вещи: во-первых, в письме не говорилось ни слова о том, почему я подозревал ее в связи с Гюнтером; во-вторых, мне самому было не до конца ясно, зачем так безжалостно ранить ее; не для того же, чтобы она переменилась, даже если мои подозрения справедливы? Конечно, это бесполезно. Или же заставить прибежать ко мне? Но вряд ли мой поступок поможет делу. И все же я сознавал, что в глубине души желал одного: чтобы Мария вернулась ко мне. Если так, почему было не сказать этого прямо, без оскорблений, объяснив свой отъезд тем, что вдруг заметил ревность Гюнтера? В конце концов, моя уверенность в том, что Мария — любовница Гюнтера, оскорбительна, но ни на чем не основана, это — всего лишь предположение, которое может пригодиться для последующего анализа.

Итак, я совершил еще одну глупость из-за своей привычки в спешке писать письма и немедленно их отправлять. *Важные письма нужно*

посылать по крайней мере через день после написания, чтобы осталось время прояснить все возможные последствия.

Оставалась лишь крошечная надежда — квитанция. Я стал рыться во всех карманах, но ничего не нашел, очевидно я ее по рассеянности выбросил. Все же я бегом вернулся на почту и снова стал за теми, кто сдавал заказные письма. Подойдя к окошку, я спросил у служащей, улыбнувшись через силу:

— Вы меня не узнаете?

Женщина ошарашенно посмотрела на меня, наверняка решив, что я помешанный. Чтобы вывести ее из этого заблуждения, я напомнил, что только что отправил письмо в имение «Лос Омбуэс». Удивление этой идиотки, казалось, еще возросло, и, желая разделить его с кем-нибудь, она решила обратиться к своему коллеге; повернулась к нему, как бы прося разъяснить то, что было выше ее понимания, затем вновь посмотрела на меня.

— Я потерял квитанцию,— сказал я. Ответа не последовало.— Я прошу вернуть мне письмо, но квитанции у меня нет.

Женщина и второй сотрудник обменялись взглядами, как партнеры за картами. Наконец она спросила таким голосом, какой бывает только у изумленного человека:

— Вы хотите, чтобы вам вернули письмо?

— Совершенно верно.

— И у вас даже нет квитанции?

Я был вынужден признать, что у меня действительно нет этого важного документа. Удивление женщины достигло предела. Она что-то невнятно пробормотала и опять посмотрела на сослуживца.

— Он хочет, чтобы ему вернули письмо,— проговорила она.

Тот улыбнулся дурацкой улыбкой, всем своим видом желая изобразить понимание. Женщина взглянула на меня и сказала:

— Это совершенно невозможно.

— Я могу показать документы,— возразил я, вытаскивая бумаги.

— Не нужно. Правила одинаковы для всех.

— Согласитесь, что правила должны соответствовать логике,— раздраженно воскликнул я. Родинка с длинными волосками на щеке этой особы начинала выводить меня из себя.

— Вы знаете правила?

— Незачем знать их, сеньора,— холодно ответил я, догадываясь, что слово «сеньора» должно смертельно обидеть ее.

Глаза этой гарпии теперь сверкали гневом.

— Поймите, сеньора, правила не могут противоречить логике, их должен составлять нормальный человек, а не сумасшедший. Если я посылаю письмо и тут же прошу вернуть его, значит, я забыл написать о чем-то очень важном, и, следовательно, разумнее всего удовлетворить мою просьбу. Или вы заинтересованы в отправке неполных и неточных писем? Всем известно, что почта является средством сообщения, а не принуждения; почта не может заставить меня отправить письмо, если я этого не хочу.

— Но вы же сами его отправили,— ответила она.

— Да!— закричал я.— Но повторяю, *теперь я передумал!*

— Не кричите на меня, ведите себя прилично. Уже поздно.

— Не поздно, письмо находится там! — сказал я, показывая на корзину с письмами.

Очередь шумно завозмущалась. Лицо старой девы дрожало от ярости. Я с отвращением почувствовал, что вся моя ненависть сконцентрировалась на ее родинке.

— Я могу доказать вам, что я тот самый человек, который отправил письмо.

— Не кричите, я не глухая,— поморщилась она.— Я не имею права принимать такие решения.

— Тогда посоветуйтесь с заведующим.

— Не могу. Здесь слишком много народу. Мы загружены работой, понимаете?

— Мое дело — тоже часть вашей работы,— сказал я.

Кто-то из очереди предложил вернуть мне письмо и не задерживать других. Женщина медлила, делая вид, будто чем-то занята, затем вышла и долго не возвращалась. Наконец она появилась, злая как собака. Потом порылась в корзине.

— Какое имение? — прошипела она.

— «Лос Омбуэс»,— произнес я с ядовитым спокойствием.

После нарочито долгих поисков она вытащила письмо и, держа в руках, стала рассматривать, словно ей предлагали его купить, а она сомневалась в достоинствах товара.

— Здесь только адрес и инициалы,— сказала она.

— А это?

— Какие документы вы можете предъявить, чтобы доказать, что вы и есть автор письма?

— У меня есть черновик,— ответил я, протягивая его.

Она взяла листок, повертела и вернула назад.

— А как установить, что это черновик данного письма?

— Очень просто: вскрыть конверт и сверить.

Она в сомнении помолчала, затем посмотрела на запечатанный конверт и спросила:

— А как мы вскроем письмо, не зная, что оно ваше? Я не имею на это права.

Очередь вновь стала возмущаться. Мне хотелось совершить что-нибудь чудовищное.

— Этот документ не годится,— заключила фурия.

— Может, удостоверение личности вас удовлетворит? — поинтересовался я с насмешливой вежливостью.

— Удостоверение личности?

Она подумала, снова посмотрела на конверт и заявила:

— Нет, одного удостоверения недостаточно, потому что на конверте указаны только инициалы. Вы должны будете показать мне, где вы прописаны. Или военный билет, потому что там есть сведения о месте жительства.

Она подумала еще и добавила:

— Хотя вряд ли вы живете на одном месте с восемнадцати лет. Так что необходимо будет предъявить и штамп о прописке.

Я не мог сдержать нарастающую ярость и почувствовал — она распространяется на Марию и, самое странное, на Мими.

— Отправляйте его как есть и убирайтесь к черту! — закричал я, поворачиваясь спиной.

Я вышел из почтамта в скверном настроении и даже подумал, не вернуться ли к окошку и не поджечь ли корзину с письмами. Но как? Бросить спичку? Она скорее всего потухнет на лету. Пламя могло бы возникнуть от струйки бензина, но это вызвало бы много осложнений. Во всяком случае, мне захотелось подождать у выхода до конца рабочего дня и оскорбить старую деву.

XXXI

ПРОЖДАВ час, я решил уйти. И впрямь, что я выиграл бы, оскорбив эту дуру? Кроме того, за час я перебрал много аргументов, которые в конце концов успокоили меня: письмо прекрасно написано, и хорошо, что оно попадет к Марии. Со мной часто бывало такое: сначала я как дурак сражался с каким-нибудь препятствием, которое, казалось, стояло на пути к намеченной цели, потом в бешенстве признавал свое поражение и в конце концов мирился с происшедшим, решив, что все получилось правильно. На самом деле я писал письмо достаточно бездумно, более того, я не был уверен, что многие оскорбления были так уж необходимы. Но теперь, возвращаясь мыслями к

событиям, предшествующим письму, я вдруг вспомнил сон, который приснился мне в одну из ночей моего забытья: я следил за кем-то из укрытия и видел себя самого, сидящего на стуле посреди полутемной комнаты, где не было совершенно ничего, даже мебели, а за моей спиной стояли двое и переглядывались с дьявольской иронией, одним был Гюнтер, другой — Мария.

Меня охватила безутешная тоска. Я отошел от двери почтамта и тяжело зашагал по улице.

Вскоре ноги привели меня на кладбище Реколета, к скамейке под огромным деревом. Эти места, тропинки и деревья — свидетели наших лучших минут с Марией, постепенно меняли направление моих мыслей. Что, в конце концов, я конкретно имел против Марии? Воспоминания о светлых моментах нашей любви, о лице Марии, ее взгляде, прикосновении рук к моим волосам медленно заполняли душу; эти воспоминания хранились с той же бережностью и осторожностью, с какой берут на руки любимое существо, попавшее в аварию и не выносящее сколько-нибудь резких движений. Мало-помалу тоска сменилась беспокойством, ненависть к Марии — ненавистью к самому себе, а мое оцепенение — потребностью немедленно бежать домой. По дороге в мастерскую я понял, что нужно делать: звонить в имение, говорить с ней, не теряя ни минуты. Как это раньше не пришло мне в голову?

Когда нас соединили, у меня почти не было сил разговаривать. Подошел слуга. Я попросил срочно позвать сеньору Марию. Через минуту тот же голос сказал, что сеньора позвонит приблизительно через час.

Ожидание было невыносимым.

Не помню, о чем точно мы говорили тогда, но вместо того, чтобы просить у нее прощения за письмо (а это и было целью моего звонка), я стал оскорблять ее еще более жестоко. Конечно, не без причины: в начале разговора я был полон смирения и нежности, но безжизненный голос Марии и то, что она опять не ответила ни на один мой конкретный вопрос, разозлило меня, не сомневавшегося в своей правоте и необоснованности ее страданий. Я закончил разговор криком, что убью себя, что она — комедиантка и что мне необходимо поскорее встретиться с ней в Буэнос-Айресе.

Мария не ответила ни на один конкретный вопрос, но в конце концов, уступив моей настойчивости и угрозам покончить с собой, пообещала завтра же приехать в Буэнос-Айрес, «хотя неизвестно зачем».

— Единственное, чего мы добьемся,— прибавила она очень тихо,— это еще раз сделаем друг другу больно.

— Если ты не приедешь, я убью себя,— повторил я.— Подумай хорошенько, прежде чем принять решение.

Я повесил трубку, ничего больше не сказав, в тот момент я действительно верил, что убью себя, если она не приедет и не поможет разобраться в этом недоразумении. Как ни странно, я был удовлетворен. «Посмотрим»,— думал я, будто речь шла о мести.

XXXII

ЭТО был отвратительный день.

Я в ярости вышел из мастерской. Мысли о нашей завтрашней встрече не спасали от глухой, необъяснимой ненависти. Сейчас мне кажется, что эта ненависть была направлена против меня самого, ведь в глубине души я сознавал: жестокие оскорбления были беспочвенны. Но я бесился оттого, что она не защищалась, а ее страдальческий и кроткий голос еще больше раздражал меня.

Я презирал себя. В тот вечер я много выпил и под конец стал ввязываться в драки и цепляться к девкам в одном из баров на улице Леандро Алема. Я выбрал женщину, которая показалась мне са-

мой порочной, и затеял спор с матросом, непристойно над ней подшутившим. Не помню, что произошло потом, кажется, к удовольствию посетителей мы подрались и нас растащили. Затем мы с этой женщиной оказались на улице. Свежий воздух пошел мне на пользу. Под утро я повел ее в мастерскую. Как только мы вошли, она стала смеяться над картиной, стоявшей на мольберте. (Сказал ли я, что после «Материнства» моя живопись понемногу менялась, будто существа и предметы прежних работ пережили вселенский катаклизм? Я вернусь к этому позднее, но сейчас мне хочется продолжить рассказ о том, что случилось в те роковые дни.) Женщина, смеясь, стала разглядывать картину, а потом посмотрела на меня, как бы требуя объяснений. Вы догадываетесь, что мне было наплевать на мнение, которое эта несчастная могла составить о моем искусстве. Я сказал, что не стоит тратить времени на ерунду.

Мы были уже в постели, как вдруг меня поразило страшное сходство: выражение лица этой румынки напоминало то, какое я однажды подметил у Марии.

— Шлюха! — закричал я исступленно, с отвращением отодвигаясь.— Конечно, она шлюха!

Румынка изогнулась, как змея, и до крови укусила меня в руку. Она решила, что я говорю о ней. Я пинками выставил девку из мастерской, крича, что убью ее, как собаку, если она сейчас же не уберется прочь. Меня тошнило от презрения и ненависти ко всему человечеству. Она ушла, осыпая меня бранью, хотя я бросил ей вслед очень много денег.

Я долго стоял ошеломленный, не в силах разобраться в своих чувствах. Наконец я принял решение: пошел в ванную комнату, наполнил ванну холодной водой, разделся и залез в нее. Мне хотелось прояснить некоторые вещи, и я оставался там, пока не пришел в себя. Постепенно ко мне вернулась обычная четкость суждений. Я старался размышлять как можно более трезво, чувствуя, что нащупал точку опоры. От чего я повел отсчет? В ответ на ум пришло сразу несколько слов. Ими были: румынка, Мария, проститутка, наслаждение, симуляция. Из этих слов должно было сложиться нечто существенное, в них таилась истина, от которой необходимо было оттолкнуться. Я сделал несколько усилий, чтобы расставить слова в нужном порядке, наконец мне удалось сформулировать ужасный, но неизбежный вывод: *выражение лица проститутки и Марии было одинаково; проститутка симулировала наслаждение, значит, и Мария симулировала наслаждение, Мария — проститутка.*

— Шлюха, шлюха, шлюха! — закричал я, выскакивая из ванной.

Голова работала с безжалостной ясностью, как в лучшие времена. Я прекрасно понимал, что надо покончить со всем этим, что измученный голос Марии и ломание больше не обманут меня. Теперь нужно подчиняться только логике и без страха, раз и навсегда объяснить себе все подозрительные высказывания, все взгляды, все загадочные молчания Марии.

Будто видения из кошмарного сна проходили передо мной в диком шествии, выхваченные полосой зловещего света. Пока я поспешно одевался, все подозрительное, что было между нами, обволакивало меня: наш первый телефонный разговор и ее удивительная способность к притворству, различные оттенки голоса, выработанные долгой тренировкой, незримые тени вокруг Марии, мелькавшие в некоторых ее загадочных высказываниях: ее боязнь «причинить мне горе», а это могло значить одно: «я причиню тебе горе ложью, непоследовательностью, тайнами, неискренними чувствами и ощущениями», ведь она не могла сделать мне больно настоящей любовью: мучительная сцена со спичками и то, как Мария вначале избегала даже моих поцелуев и согласилась на близость, лишь когда я заявил, что, наверное, я отвратителен ей или ее чувства ко мне — в

лучшем случае материнские, что, конечно, мешало мне верить неожиданному безумному наслаждению, ее возбужденным глазам; и ее несомненный сексуальный опыт, вряд ли приобретенный с философом-стоиком Альенде, и ее разговоры о любви к мужу, еще раз подтверждавшие, что она способна симулировать; и ее семья, состоящая из лицемеров и лгунов, беззастенчивость, с которой она успешно дурачила своих родственников, выдумав несуществующие наброски, и сцена за ужином, там, в имении, и спор в гостиной, и ревность Гюнтера, и эта фраза, которая сорвалась с ее уст, когда мы сидели на склоне: «Как я ошиблась когда-то». С кем? Когда? Как? И «бурные и жестокие происшествия» с тем, другим кузеном; слова, которые она тоже произнесла бессознательно, ведь когда я попросил объяснить их, она не расслышала меня, просто не расслышала, погрузившись в воспоминания детства, будучи, возможно, единственный раз искренней в моем присутствии; и, наконец, отвратительное происшествие с румынкой или русской, черт ее знает! У этой грязной свиньи, смеявшейся над моими картинами, и у хрупкого создания, вдохновившего меня написать их, в сходные моменты было одинаковое выражение лица! Боже мой, как же не презирать человеческую природу, видя, что мелодию Брамса и клоаку соединяют потайные, сумрачные подземные ходы!

XXXIII

МНОГИЕ выводы, сделанные мною в процессе этого блестящего, фантасмагорического изыскания, были весьма предположительными, я не мог их доказать, хотя и был уверен, что не ошибся. Я неожиданно подумал, что до сих пор пренебрегал важнейшей частью изысканий — мнением других людей. С жестоким удовлетворением и невиданной ясностью я впервые задумался об этой стороне дела и нашел нужного мне человека — Лартиге. Он был другом Гюнтера, причем близким другом. Этот другой заслуживал не меньшего презрения, чем сам Гюнтер: Лартиге написал книжку стихов о суетности человеческой жизни, но сетовал, что не получил за нее национальной премии. Я не собирался церемониться с ним. Решительно, хоть и не без отвращения, я позвонил, сказал, что срочно должен с ним увидеться, и приехал. Похвалив книжку, я, к великому его разочарованию (Лартиге предпочел бы продолжить разговор о книге), выпалил приготовленный заранее вопрос:

— Как давно Мария Ирибарне живет с Гюнтером?

Моя мать никогда не спрашивала нас, съели ли мы яблоко без спроса, догадываясь, что мы не сознаемся; она спрашивала, сколько яблок мы съели, хитро давая понять, что ей и так уже известно то, что она хочет выяснить, а мы, пойманные на эту приманку, отвечали, что съели *всего* по одному яблоку.

Лартиге при всем своем тщеславии отнюдь не был глуп: он уловил в моем вопросе подвох и предпочел обойти его.

— Я об этом ничего не знаю.

И снова принялся рассуждать о книге и премии.

Я закричал, не сдержав раздражения:

— Как несправедливо поступили с твоей книгой!

Я выбежал на улицу. Лартиге не дурак, но он не догадался, что его слов мне было достаточно.

Время приближалось к трем. Мария уже должна была вернуться в Буэнос-Айрес. Я позвонил ей из кафе — у меня не было терпения добраться до дому. Когда она взяла трубку, я сказал:

— Мне необходимо срочно тебя увидеть.

Я постарался скрыть свое состояние, боясь, что Мария что-то заподозрит и не придет. Мы условились встретиться в пять на Реколете, на нашем обычном месте.

— Хотя я не думаю, что мы от этого что-то выиграем,— грустно добавила она.

— Многое,— ответил я.— Многое.

— Ты уверен? — печально спросила она.

— Конечно.

— А мне кажется, что мы еще раз порядком помучаем друг друга, еще больше разрушим то, что нас пока связывает, снова нанесем друг другу жестокие раны... Я приехала только потому, что ты об этом очень просил, но мне следовало бы остаться: Гюнтер заболел.

«Еще одна ложь»,— подумал я.

— Спасибо,— сухо ответил я.— Итак, мы встречаемся ровно в пять.

Мария только вздохнула.

XXXIV

ОКОЛО пяти я уже был на Реколете, на скамейке, где мы всегда встречались. Эти деревья, дорожки и скамейки — свидетели нашей любви — вконец расстроили мое и без того болезненное воображение. Я с ностальгией вспоминал мгновения, проведенные в скверах на Реколете и площади Франции, которые теперь казались мне невероятно далекими. Все было так чудесно и ослепительно, а теперь стало мрачным и застывшим в равнодушном мире, потерявшем смысл. На какой-то миг боязнь уничтожить то немногое, что еще оставалось от нашей любви, заставила меня призадуматься. Нельзя ли отбросить все подозрения, мучившие меня? Что мне до того, какой была Мария за пределами наших отношений? Увидев знакомые деревья и скамейки, я понял, что никогда не решусь утратить ее поддержку, хотя бы только в те редкие минуты соединения, которыми одаривала нас эта таинственная любовь. Обдумывая все это, я окончательно склонялся к тому, что надо принимать ее любовь такой, какая она есть, без всяких условий, и мысль о том, что я останусь один, совершенно один, все больше и больше пугала меня. Этот страх породил и укрепил покорность, присущую только существам, у которых нет выбора. В конце концов, когда мне показалось, будто ничто еще не потеряно и с этого момента просветления может начаться иная жизнь, безудержная радость охватила меня.

Увы, Мария опять не сдержала обещания. В полшестого встревоженный, взбешенный я позвонил ей. Мне сказали, что она неожиданно вернулась в имение. Не соображая, что делаю, я закричал горничной:

— Но мы же договорились встретиться в пять часов!

— Я ничего не знаю, сеньор,— ответила она, немного оторопев.— Сеньора недавно уехала на машине, предупредив, что пробудет в имении самое меньшее неделю.

Самое меньшее неделю! Все кончено, все пусто и нелепо. Я вышел из кафе, как сомнамбула. Вокруг было много бессмысленного: фонари, люди, снующие туда-сюда, как будто от этого была какая-то польза. Она уехала, несмотря на мои мольбы, именно сегодня, когда я так нуждался в ней! А ведь сейчас мне было как никогда трудно просить ее о чем-нибудь! Но, обиженно подумал я, вместо того, чтобы успокоить меня там, в парке, она выбрала постель Гюнтера, в чем не было никакого сомнения. Когда я понял это, то догадался еще об одном обстоятельстве. Точнее, почувствовал, что это должно было произойти. Пробежав несколько кварталов, отделявших меня от мастерской, я вновь позвонил в дом Альенде. Я поинтересовался, не разговаривала ли сеньора перед отъездом с кем-нибудь из имения.

— Да,— ответила горничная, слегка замявшись.

— С сеньором Гюнтером, не так ли?

Горничная вновь помедлила. Я отметил обе паузы.

— Да,— ответила она наконец.

Горечь победы наполнила меня дьявольским торжеством. Все как я и думал! К чувству страшного одиночества примешивалось удовлетворение: я был горд тем, что не ошибся.

Я вспомнил о Мапелли.

Уже на пороге я решил сделать последнее дело. Побежал на кухню, схватил большой нож и вернулся в мастерскую. Как мало оставалось от прежней живописи Хуана Пабло Кастеля! Теперь идиоты, сравнивавшие меня с архитектором, смогут получить полное удовольствие! Будто человек в силах измениться до такой степени! Кто из этих кретинов подозревал, что под стройными конструкциями и чем-то «глубоко интеллектуальным» таится вулкан, готовый вот-вот извергнуться? Никто. Теперь им хватит времени, чтобы насладиться колоннами, развалившимися на куски, искалеченными статуями, дымящимися руинами, адскими лестницами. Все они были здесь, в пантеоне окаменевших Кошмаров, Отчаяния и Стыда. Но одно мне хотелось уничтожить бесследно. Я в последний раз взглянул на картину, судорога сдавила мне горло, но я не колебался. Я видел сквозь слезы, как разлетался на кусочки берег и с ним — далекая тоскующая женщина, ее ожидание. Я топтал ногами остатки полотна до тех пор, покуда они не превратились в грязные тряпки. Это наивное ожидание так и останется без ответа. Теперь яснее, чем когда-либо, я понимал, что оно было бессмысленным!

Я побежал к Мапелли, но не застал его дома: мне объяснили, что он, наверно, в библиотеке Виау. Я помчался туда, разыскал его, оттащил в сторону и сказал, что мне нужна его машина. Он удивился и спросил, что случилось. Я ничего не придумал заранее, но догадался соврать, что отец очень болен, а поезда не будет до самого утра. Мапелли предложил отвезти меня, но я отказался, объяснив, что хотел бы поехать один. Он вновь недоуменно посмотрел на меня, но все-таки дал ключи.

XXXV

БЫЛО ШЕСТЬ часов вечера. По моим расчетам, хватало четырех часов езды на машине Мапелли, чтобы к десяти добраться до имения. «Хорошее время»,— подумал я.

Как только я выехал на шоссе, ведущее к Мар-дель-Плата, то увеличил скорость до ста тридцати километров и почувствовал необычный подъем, который сейчас объясняю уверенностью, что наконец-то смогу сделать с Марией что-то определенное. С той, что жила будто за непроницаемой стеклянной стеной, ее можно было видеть, но нельзя ни слышать, ни прикоснуться; и так, разделенные этой стеклянной стеной, мы и прожили свою томительную и печальную жизнь.

В моем сладострастном умопомрачении противоположные чувства сменяли друг друга: вина, ненависть, любовь... Мария придумала болезнь, и это меня огорчало, она знала, что я еще раз позвоню к Альенде, и это меня бесило. Она могла легкомысленно смеяться, могла отдаться этому цинику, бабнику, лживому и самодовольному треплу! Как я презирал ее тогда! Я испытывал болезненное удовлетворение, цинично фантазируя, как она принимала свое последнее решение. С одной стороны, был я, наше свидание, о котором мы условились. Зачем? Чтобы говорить о тяжелых и непонятных вещах, еще раз очутиться по разные стороны стены, обмениваясь отчаянными, безнадежными взглядами, стараясь понять таинственные знаки, тщетно пытаясь протянуть руки и приласкать друг друга, чтобы еще раз пережить немыслимый сон? С другой стороны, был Гюнтер, которому стоило набрать ее номер, чтобы она примчалась и легла с ним в постель. Как нелепо, как безнадежно все это было!

Я приехал в имение в четверть одиннадцатого. Не желая прив-

лекать внимание шумом мотора, я поставил машину на главном шоссе и зашагал к дому. Стояла невыносимая жара, затишье было изнуряющим, и только шепот моря нарушал покой. Временами лунный свет проникал сквозь тяжелые тучи, и я без труда прошел по центральной аллее, обсаженной эвкалиптами. Показался дом: окна первого этажа были освещены — значит, Мария и Гюнтер еще ужинали.

Жара была тяжелой и зловещей, как всегда перед летней грозой. Очевидно, после ужина они выйдут в сад. Я спрятался в укромном уголке, чтобы наблюдать за парадной лестницей, и приготовился ждать.

XXXVI

ОЖИДАНИЕ было нескончаемым. Не знаю, сколько прошло этого отвлеченного, неизвестного времени, равнодушного к нашим чувствам и судьбам, к зарождению любви или ее краху, к приближению смерти. Но для меня оно было чудовищно долгим, заполненным событиями и воспоминаниями; оно было то темной и бурной рекой, то вечным морем, до странности спокойным и гладким, в котором Мария и я, неподвижно стоя друг против друга, созерцали себя; потом море вновь становилось рекой и увлекало нас, как детский сон, и я видел Марию, скакавшую бешено на лошади, волосы развеваются на ветру, глаза горят, а я, в родной южной деревушке, больной, заточенный в своей комнате, смотрел через оконное стекло на снег такими же горящими глазами. И казалось, будто мы оба прожили жизнь в параллельных коридорах или туннелях, не подозревая, что идем совсем близко, две близкие души, для которых время течет одинаково, чтобы встретиться в конце коридора, перед написанной мной картиной, которая была ключом, предназначенным лишь для одной Марии, как тайное предостережение, что я уже здесь, что коридоры наконец пересеклись и настал час нашей встречи.

Настал час нашей встречи! Но пересеклись ли коридоры и соединились ли наши души? Какое глупое заблуждение! Нет, коридоры продолжали идти параллельно, как и раньше, хотя стена, которая разделяла нас теперь, стала стеклянной, и я мог видеть Марию, молчаливую и недоступную... Но и эта стена не всегда бывала прозрачной, временами она вновь превращалась в черный камень, и тогда я не знал, что творится по ту сторону, что делала Мария, когда была скрыта от меня, какие странные события приключались с ней. Мне даже чудилось, будто и лицо ее менялось, искажалось ироничной гримасой, и, возможно, она смеялась вместе с другим, а история с коридорами была моей детской выдумкой, нелепым заблуждением, и что *так или иначе существовал только один туннель, темный и одинокий,— мой туннель, по которому я прошел детство, молодость, жизнь.* И когда в одном из прозрачных просветов стеклянной стены появилась эта девушка, я наивно решил, что она пришла из другого туннеля, соседнего с моим, хотя на самом деле она принадлежала огромному миру, миру без границ, недоступному жителям туннелей; возможно, она приблизилась к странному окошку по любопытству, стала свидетельницей моего неизлечимого одиночества, или ее заинтриговал немой язык — ключ к моему полотну. И пока я брел по коридору, она снаружи жила обычной жизнью, той суетливой жизнью, которой живут все люди снаружи, странной, абсурдной жизнью, в которой есть танцы и праздники, радость и легкомыслие. Лишь изредка, когда я проходил мимо окон, я видел, что она молча, тоскливо ждет меня (почему меня и почему молча, тоскливо?); но бывало, она не появлялась вовремя или вообще забывала о погребенном заживо существе, и я, прижавшись лицом к стеклянной стене, видел, как она беззаботно танцует или смеется вдалеке, или, что еще хуже, совсем не видел ее и воображал, будто она сейчас в самых недоступных, неожиданных, непристойных местах.

И тогда я чувствовал, что одиночество, на которое я осужден, куда страшнее, чем казалось вначале.

XXXVII

КОГДА прошло бесконечное время морей и туннелей, Гюнтер и Мария спустились по парадной лестнице. Увидев их идущими под руку, я почувствовал, что мое сердце затвердевает и холодеет, превращаясь в кусок льда.

Они медленно спустились, как люди, которым некуда спешить. «Куда им торопиться?» — с горечью подумал я. Но ведь Мария знала, что я нуждался в ней сегодня, что изнывал этим вечером, что буду бесконечно страдать каждую минуту бесполезного ожидания. *Знала*, что в этот самый миг, когда она наслаждается покоем, я буду мучиться в аду подозрений и фантазий. Какое безжалостное и холодное чудовище может притаиться в сердце самой хрупкой женщины! И она способна созерцать предгрозовое небо и медленно прогуливаться по парку под руку с этим человеком (с этим ничтожеством!), чувственно вдыхать аромат цветов, сидя с ним рядом на траве и зная, что в эту минуту я буду напрасно высматривать ее, позвоню ей и услышу, что она отправилась в имение, а сам погибну в черной пустыне, оттого что мучительные сомнения, как полчища голодных червей, медленно сожрут все мои внутренности.

И Мария разговаривала с этим жалким человеком! О чем можно говорить с этим грязным типом? На каком языке?

А может, жалок я? И они смеялись как раз надо мной? Разве я не был идиотом, дикарем, посылающим из туннеля шифрованные письма?

Гюнтер и Мария долго гуляли по парку. Буря уже нависла над нами, черная, разрываемая громом и молниями. Подул ветер с пампы, упали первые капли дождя. Гулявшим пришлось укрыться в доме. Сердце мое забилось с болезненной яростью. В своем убежище, под деревьями, я понял, что наконец увижу развязку, которую много раз представлял себе, и грязная тайна будет раскрыта.

Я наблюдал за первым этажом — там было совершенно темно. Вскоре зажегся свет в средней спальне, принадлежавшей Гюнтеру. Пока все шло без неожиданностей: спальня Гюнтера находилась напротив лестницы, и было естественно, что эти окна осветились первыми. Теперь должен вспыхнуть свет в другой комнате. Каждая секунда, которая могла потребоваться Марии, чтобы пройти к себе, сопровождалась бешеными ударами моего сердца.

Но свет в ее комнате так и не загорелся.

Боже мой, я не в силах описать, какое беспредельное одиночество заполнило мою душу. Будто последний корабль, вместо того, чтобы увезти меня с необитаемого острова, прошел мимо, не заметив сигналов о помощи. Мое тело медленно осело, словно на него внезапно обрушилась старость.

XXXVIII

СТОЯ среди деревьев, раскачиваемых южным ветром, мокрый от дождя, я чувствовал, как предательски шло время. Наконец сквозь дождь и слезы я разглядел, что зажегся свет в другой спальне.

Все, что произошло потом, вспоминается как кошмарный сон. Сражаясь с ветром, я вскарабкался на второй этаж по оконной решетке. По террасе добрался до двери. Проник во внутреннюю галерею и разыскал спальню Марии; луч света на полу безошибочно указал мне комнату. Дрожащей рукой сжал нож и открыл дверь. Когда Мария взглянула на меня блестящими глазами, я стоял на пороге. Я приблизился к ее кровати, и она тихо спросила меня:

— Зачем ты пришел, Хуан Пабло?

Схватив ее за волосы, я прошептал:

— Я пришел убить тебя, Мария. Ты покинула меня.

И тогда, рыдая, я вонзил нож в ее грудь. Мария сжала зубы и закрыла глаза; когда я вытащил нож, залитый кровью, с трудом раскрыла их и взглянула покорно и тоскливо. Я вдруг рассвирепел и много раз ударил Марию в грудь и в живот.

Затем выбежал на террасу и спустился вниз с такой ловкостью, будто дьявол овладел мною. Вспышка молнии в последний раз осветила место, некогда принадлежавшее нам обоим.

Я помчался в Буэнос-Айрес. Приехал в четыре или в пять утра. Позвонил из кафе Альенде, заставил разбудить его и сказал, что должен срочно его видеть. Потом побежал на Посадас. Поляк уже ждал меня на улице. На пятом этаже у лифта стоял Альенде, широко раскрыв беспомощные глаза. Я за руку втащил его в квартиру. Поляк, как идиот, вошел следом, ошеломленно уставившись на меня. Я велел его выгнать. Едва он скрылся, я заорал:

— Я только что из имения! Мария была любовницей Гюнтера!

Лицо Альенде застыло.

— Глупец! — прошипел он с ледяной ненавистью.

Раздраженный его неверием, я закричал:

— Это вы глупец! Мария была и моей любовницей, и любовницей многих других!

Чудовищное удовольствие переполняло меня, а слепой выпрямился и словно окаменел.

— Да! — кричал я.— Я обманывал вас, а она обманывала нас всех! Но теперь она уже никого не обманет! Понимаете? Никого! Никого!

— Безумец,— зарычал слепой и бросился на меня, растопырив руки, походившие на когтистые лапы.

Я увернулся, слепой натолкнулся на столик и упал. Он необыкновенно быстро вскочил и продолжал гоняться за мной по всей гостиной, налетая на стулья, плача без слез и выкрикивая только одно слово — *безумец!*

Я выбежал на улицу, сбив с ног слугу, который попытался загородить мне путь. Ненависть, презрение и сострадание душили меня.

Когда я сдался в комиссариат, было около шести.

Через окошко камеры я видел, как рождается новый, уже безоблачный день. Мне представилось, что множество мужчин и женщин начинают просыпаться, чтобы потом завтракать и читать газеты, или пойти на службу, или кормить детей или кошку, или обсуждать вчерашний фильм.

Я физически чувствовал, как во мне разрастается черная пустота.

XXXIX

В ЭТИ МЕСЯЦЫ заключения я пытался понять, что значило последнее слово слепого — *безумец*. И каждый раз огромная усталость — или неосознанный страх — мешает разобраться в этом. Может, когда-нибудь мне удастся разгадать его смысл, и тогда я смогу объяснить, почему Альенде покончил с собой.

Хорошо еще, что мне разрешают работать, хотя подозреваю: врачи смеются за моей спиной, как, наверное, смеялись на процессе, когда я рассказывал о сцене в окошке.

Лишь один человек понимал мою живопись. Между тем мои картины докажут этим дуракам, сколь нелепы их убеждения. А стены моего ада с каждым днем будут все более непроницаемыми.

■

В. С. КХАНДЕКАР

Король Яяти

РОМАН

Перевод с хинди М. САЛГАНИК

Деваяни

Весна. Душистый, легкий ветерок колышет ветки. А мне так душно в моей спальне. Луна четырнадцатого дня висит, как лотос в полном цвету, а мое сердце сморщилось, как увядшая ночная красавица. Мелодично кличет кукушка, а мне эти звуки — как скрип пересохшего тростника.

Правду ли говорят, будто во сне приходит то, о чем стараешься не думать наяву? Едва ли.

Какой отвратительный сон! И страшный — я вся дрожала, когда проснулась.

Может, я на Качу сердита? А почему «может»? Конечно, сердита. Очень сердита. Я ненавижу Качу. Когда он собрался в дорогу — будто не замечая, что делается со мной,— я ведь могла проклясть его! Могла сказать: та сила, что обрел ты, да не пойдет она тебе впрок!

Так почему во сне...

Сколько прошло с тех пор, как Качи нет, а я все терзаю себя. То плачу втихомолку, то есть не могу.

Сказала отцу:

— Что за беда, если не ты один способен оживлять мертвых! Святость твоя велика, ты укрепишься духом, подвергнешь себя новым испытаниям, суровей прежних, и бог Шива снизойдет к твоим молитвам — благословит тебя другим даром! Только верни мне Качу — бессердечного, коварного, неблагодарного Качу...

Я хочу проучить его, чтобы он на всю жизнь меня запомнил! Хочу отомстить ему! Повернулся и ушел, отверг мою любовь, разбил мне сердце! И еще сказал: ни один брахмин не возьмет тебя в жены...

О, как я помню этот день!

Король Вришапарва объявил:

— Великий Шукра, прославленный своею мудростью наставник, решился на суровое испытание духа и плоти ради нашего благополучия. Но перед тем, как удалиться от тщеты, он взял с нас слово заботиться о Деваяни. Нам известно, как оскорбил Кача чувства Деваяни, и потому мы приказали доставить его к нам из царства богов. Он — раб Деваяни. Пусть она назначит ему кару и будет по слову ее.

Какую кару может назначить влюбленная дурочка тому, кого любит? Хоть бессердечен был Кача со мной, чем я его покараю?

Продолжение. Начало см. в № 5.

Велю, чтоб навеки остался со мной? Невозможно. Один поцелуй — и я велю освободить его! Но Кача предпочел бы смерть.

Кача сказал мне:

— Деваяни, я был убит. Потом мои останки сожгли, пепел подмешали к вину в кубке твоего отца, и дух мой проник внутрь его тела. Так узнал я заклинание, возвращающее мертвым жизнь, так проник я в великую тайну. Но так сделался я братом тебе. Сестра и брат — вот кто мы друг другу. Едины наша кровь и плоть.

Я потеряла терпение.

— Ты думаешь, Деваяни глупенькая девочка! Большого ума не надо, чтобы уразуметь — единоутробными бывают дети, рожденные из утробы одной матери. Не отца. Не сестра я тебе, и ты мне не брат. Любовь к тебе меня сжигает. Поцелуй меня, единожды только поцелуй, и я велю тебя освободить...

— Какова же будет воля Деваяни? — торопил меня король Вришапарва.

Мой отец проглотил пепел Качи с вином, а я, знавшая, ценой каких испытаний достиг отец силы воскрешения мертвых, я, все знавшая, пала ему в ноги, моля даровать Каче жизнь. Каче, которому теперь я должна произнести приговор... Кача...

И я сказала Вришапарве:

— Хочу, чтоб он был обезглавлен, чтоб голова его была доставлена во дворец и чтоб весь двор увидел, как я умею танцевать!

...В зал вошел начальник стражи с золотым подносом, на котором лежала окровавленная голова Качи. Я приняла поднос, я опустила его на ковер, вокруг подноса я танцевала танец любви. Мое сердце, изведавшее любовь, мне говорило, что любовь может раскрыться, как цветок под солнцем, может взметнуться огненным языком, может мерцать звездой издалека или ударить смертоносной молнией. Пугливой ланью может быть любовь, но и холодной коброй тоже! Я танцевала то, что знало мое сердце.

Долго ли длился мой танец? Я видела только голову Качи, и кровь на ней казалась мне благословенным алым кумкумом брачной ночи. Не помнила я больше, что Кача мертв, поэтому легко поцеловала безжизненные губы:

— Любимый, ты не целовал меня, но наши губы слились, исполнено мое желание...

Я люблю Качу. Люблю? И способна на такую жестокость? Неужели любовь — это неутолимая страсть к обладанию?

Кача говорил, что в обители он принял обет безбрачия. Жизнь духа должна быть свободна от пылания плоти. Кача подносил мне лесные цветы, но с неизменной почтительностью клал их передо мной — никогда не соглашался вколоть их в мои волосы. Но я видела, я же все видела — даже мимолетное мое касание было небесным блаженством для него, глаза Качи вспыхивали... И потому Кача опускал глаза и избегал приближаться ко мне.

А вдруг все это чудилось глупому влюбленному сердцу? Люблю Качу? Но я же всей душой ненавижу его! Любовь и ненависть. Огонь и вода.

Женское сердце слепо и глупо, но глупость не мешает изобретательности, какая была бы не под силу уму. Кача ни разу не справился обо мне. Сердце Качи не мешало его замыслам. Ему требовалось добыть секрет сандживани, и если моя любовь могла ему помочь — тем лучше! Кача передал богам раскрытую им тайну и был восславлен — за отвагу и за чистоту души! Еще бы, благодаря Каче воинство богов теперь рвется к победе над нами! Пожелай того Кача, прекраснейшая из небесных дев будет отдана ему... Зачем же Каче вспоминать о Деваяни? Все мужчины на один лад, неблагодарны, бессердечны и коварны. Как в притче про птицелова: женщина сплетает сеть из любви, из нежности, из верности, но пти-

ца вырывается и улетает вместе с обрывками сети... Женщине остается лишь обливаться слезами...

Но я иной породы. Я не из тех, кто станет жить в слезах. Я родилась красавицей, а отец научил меня наукам, он огранил мой ум.

Я дочь святого Шукры, учителя людей. Отец подверг свой дух и тело суровейшим испытаниям, чтобы обрести способность воскрешать мертвых. Когда же оказалось, что в эту тайну проник другой, отец вновь удалился от тщеты, взял еще более суровые обеты, и я знаю, он сумеет достичь новых высот духа. Мой отец возвышен над людьми. Я его дочь. Я забуду Качу.

Каче нет места в моих мыслях. Ведь он проклял меня на прощание, что же мне сомневаться в его чувствах? Ни один брахмин не возьмет меня в жены, подумаешь, беда! Творец наделил меня редчайшей красотой — неужели ради того, чтобы брахмин убрал ее цветочками? Принцесса Шармишта довольно миловидна, но умирает от зависти к моей красоте. Только и думает, что бы ей такое надеть, как бы затмить Деваяни. Завтра праздник весны, принцесса со своими придворными выедет к лесному озеру омываться весенней водой. Ради отца и я поеду с ними. Поеду в новом карминном сари, которое привез мне Кача из царства богов. Я еще ни разу не надевала этот наряд, берегла для торжественного случая. Шармишта даже не подозревает о карминном сари, и когда увидит Деваяни в нем...

Да, но это же подарок Качи! Он привез его, когда приехал к моему отцу. И влюбился в меня! Я знаю, знаю, знаю, Кача любил меня тогда! И я полюбила его с первого взгляда... Почему я не носила карминное сари на глазах у Качи, а вздумала надеть его теперь?.. Нет, надеть сари — значит опять начать думать о Каче. Вспоминать, как он карабкался по горам за цветами, которые я люблю, как он смотрел на меня, когда я танцевала — следил глазами за каждым движением, будто змея, завороженная музыкой,— как на рассвете тихонько напевал в саду под моими окнами. Сколько нежности вкладывал он в слова, увы, так редко им произносимые:

— Деваяни, ты прекрасней красивейшей из апсар, небесных танцовщиц!

— Ты льстец! — смеялась я в ответ, а Кача говорил мне:

— Мир поклоняется красоте.

Не хочу вспоминать.

Я решила вытравить из сердца любовь к Каче. Карминное сари мне очень к лицу, но я надену другое! А подарок Качи я изорву и выброшу лоскутья! Неблагодарный Кача, вот твоя кара!

Я выхватила сари из стопки нарядов, отложенных мною для праздника на воде. Но руки отказывались рвать нежную ткань. Может быть, мужчина смог бы сделать это. Кача смог бы. Но я не мужчина, любовь к красивым вещам в крови у женщин. Женщина не в силах занести руку на красоту.

Сама луна словно застыла за окном, залюбовавшись каскадом пылающей ткани.

Если я завтра появлюсь в карминном, я буду ослепительно хороша, а эта Шармишта, которая корчит из себя неизвестно что — принцесса, дочь могущественного короля... Пускай она посмотрит завтра. Надену это сари!

Да и к чему мне рвать его, когда столько других вещей напоминает мне о Каче!

Как прелестна цветочная клумба в саду! Любимое место Качи — так что же, велеть, чтобы ее немедленно перекопали? Но цветы нравятся и отцу, что, если он спросит, в чем дело? Сказать, что Капила, его любимая телочка, сорвалась ночью с привязи, носилась по саду и ископытила всю клумбу? Или что-нибудь в этом духе...

Я двинулась к клумбе, но услышала, как меня зовут:

— Деви!

Отец. Хорошо, что он стал звать меня Деви, а не Дев, как раньше. Звал меня мальчишечьим именем, даже при посторонних. Я прямо заливалась краской, когда отец при Каче говорил мне — Дев! У всех великих людей бывают странности. А отец еще смеялся: «Ты же не превратишься в мальчика оттого, что я тебя так зову!»

Услышав оклик, я остановилась. Отец медленно подошел ко мне, поднял мое лицо за подбородок и, заглядывая в глаза, спросил:

— Отчего не спится моей девочке?

— Просто так, отец. От духоты, наверное. Я решила прогуляться перед сном...

Отец ласково погладил мои волосы:

— Я знаю, что с тобой. Ничто не мучит сердце сильнее, чем безответная любовь...

Мне не хотелось говорить о Каче, и чтобы перебить ход мыслей отца, я поспешила спросить:

— Это я разбудила тебя, отец?

— Нет.

Мы в молчании медленно шли по дорожке.

— Я проиграл, Деви, и мысль об этом сидит во мне, как колючка. Я все время думаю об одном — я должен пройти через неслыханные доселе испытания, должен накопить в себе силы на нечто такое, что ослепило бы весь мир.

— Почему же ты медлишь? Я была совсем маленькая, когда ты принял тот обет и обрел силу возвращать жизнь мертвецам. Я тогда еще не понимала, как велик мой отец. А теперь я буду рядом во время твоих испытаний...

— Нет, нет! — Отец странно усмехнулся.

Я поняла: мать умерла, оставив меня ребенком, отец холил и нежил меня, как редкостный цветок, и теперь отцу кажется, что его избалованная Деваяни не сможет быть рядом с ним во время испытаний. Но почему отец решил, что я не в силах помочь ему, почему?

Мы вышли на лужайку, залитую ярким лунным светом.

— Дев...

— Деви!

— Опять забылся! — улыбнулся отец.— Мне легче отказаться от привычки к вину, чем от имени, которым я звал тебя с детства... Деви, пока мне одному была открыта тайна сандживани, передо мной трепетал весь мир. А сегодня я всего только один из тысяч гуру, шатающихся по белу свету. Я не могу смириться с этим, Деви. Зачем жить льву, когда затупятся его клыки и когти?

Отец с трудом выдавил из себя эти слова.

Снова Кача! Какой же удар нанес он отцу, вызнав его великую тайну! Прошло уже столько времени, а отцовская рана все кровоточит.

— Ты станешь сильней людей и богов после нового испытания!

— Не сомневайся, Деви. Сильнее всех. Но сколько мне придется вынести ради этого, и сколько лет уйдет — богу Шиве трудно угодить. В тот раз ты была маленькая, а теперь тебя пора замуж выдавать.

— Отец...

— Ты еще не умела ходить. Я был тебе и отцом и матерью. Твои детские проказы приносили мне больше радости, чем знание и вино. Пока один я обладал силой возвращать жизнь мертвым, могущественнейший из богов или людей. Мудрейший из ученых мужей за честь почел бы взять тебя в жены. Но нет, мне понадобилось стать на сторону асуров, и, соревнуясь с богами, я все потерял. Сегодня, Деви, твой отец уже не возвышен над мудрейшими из мудрых, он нищ и жалок! И ему придется припадать к стопам тех, кто

вчера еще взирал на него снизу вверх, умолять, чтобы тебя взяли в жены...

Ярость стиснула мне горло. Умолять, чтобы Деваяни взяли в жены! Пускай отец утратил свою власть, но не утратила же Деваяни красоту! И этого достаточно!

Рано утром девушки собрались на берегу уединенного лесного озера. Занялся упоительный весенний день; безоблачное синее небо, казалось, изливается в озерную гладь, едва возмущаемую покачиванием ветвей плакучих ив.

Девушки резвились у воды, вбегали в волны, брызгались, но ни одна не решалась отплыть подальше.

— Это не праздник — обливать водой друг дружку,— сказала я Шармиште.— Какие все они трусихи! Смотри, Шармишта! Видишь, лебеди подплыли к лотосам и щиплют их, из-за белых лебедей озеро стало похоже на небо в легких облаках... Поплывем до лотосов и обратно, хочешь? Поплывем наперегонки!

Шармишта улыбнулась.

Мы бросились в воду. Я плаваю, как рыба, и, быстро удалившись от берега, я взглянула через плечо — Шармишта барахталась далеко позади.

Отлично, подумала я, Шармишта будет посрамлена, ей не перегнать меня! А когда выйдет на берег с кислым видом, я еще пройдусь перед ней в карминном сари.

Я сорвала лотос и поплыла обратно. Шармишта осталась далеко позади, но я чувствовала, что устала. Мне пришлось немного отдохнуть на спине, а тем временем Шармишта стала догонять меня. Я устала, сильно устала, к тому же резкий порыв ветра хлестнул озеро ивовыми ветвями, понес пыльное облако над водой, я перестала понимать, где нахожусь, и испугалась.

Шармишта проплыла мимо меня. Я ее окликнула, но она не расслышала моего зова. Когда я с трудом выбралась на берег, Шармишта уже готовилась переодеваться. Я видела издалека, как она подозвала служанку и вместе с ней скрылась за кустами. Ей все равно — жива я или утонула!

Мне тоже нужно было переодеться. Когда моя служанка подала мне сари, я чуть не ударила ее — это был чужой наряд! Подняв глаза, я увидала, что ко мне приближается Шармишта в карминном сари, подаренном Качей... Болтливые служанки перепутали наши наряды, и теперь Шармишта разгуливает в том сари, которое я с таким тщанием выбрала для праздничного дня! Я просто потеряла голову от злости и, подбежав к Шармиште, сильно дернула ее за сари.

— Ты что, Деваяни? — с негодованием обернулась Шармишта.— Что ты злишься? Недовольна, что я первой приплыла? Не умеешь плавать, так...

— Потом поговорим, кто не умеет плавать! Но зато мои глаза умеют видеть, а твои? Ты чей наряд надела?

— Мой собственный, конечно!

— Ты что, ослепла? Это мое сари!

— Мать вечером сказала, что приготовит мне новое сари, которое ей вручила жена Индры, когда закончилась война!

— Снимай сейчас же мое сари!

— А если не сниму?

— Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Ты знаешь, кто я?

— О да. Мне хорошо известно, что ты дочь подданного короля Вришапарвы!

Ярость лишила меня дара речи.

— И впредь не забывай,— торжествовала победу Шармишта,— что я принцесса, а ты дочь подданного моего отца.

Подруги Шармишты, столпившиеся вокруг нас, угодливо хихикали.

Этого унижения я не могла перенести.

Я побежала прочь.

— Деваяни, постой! Постой! Деваяни! — кричала вслед Шармишта, но я даже не оглянулась.— Деваяни, куда ты?

Задыхаясь от бега, Шармишта схватила меня за руку. Из-за деревьев доносились голоса ее подруг. Через минуту и они появятся.

Как убежать? Куда мне скрыться?

Мы были на опушке. Редкий подлесок, а чуть поодаль — широкий полуобвалившийся колодец, край которого чуть виден над густой травой. Я рванулась к нему, но Шармишта не отпускала мою руку.

— Пусти, принцесса! Что тебе надо от меня? Я же дочь подданного твоего отца, это я должна за тобой бегать!

— Но, Деваяни...

— Снимай мое сари! — Тигрицей набросилась я на нее.

— Что ты делаешь! — уворачивалась Шармишта.

— Снимай сейчас же! — Я тянула с нее сари.

— Ой!

Я даже не сразу поняла, кто вскрикнул. Шармишта? Я ее столкнула в колодец?

Кричала я сама. Со дна колодца, в котором — так и не знаю каким образом — я оказалась.

А сколько времени прошло? Как давно я здесь?

— На помощь! — позвала я.

Потом еще. И еще.

Никто не откликался. Негодяйка, сбросила меня в колодец, чтоб я в нем утонула, а сама сбежала!

Хотя колодец был довольно глубок, вода в нем едва доставала мне до пояса. Но мне не выбраться самой.. А кто придет на помощь? Одна, в колодце, в лесу... Здесь могут водиться змеи...

Деваяни, вымокшая и беспомощная на дне колодца, Деваяни, дочь самого Шукры!

Меня жег стыд, хотя я и дрожала от холода.

Страх остаться надолго одной в мокрой яме, а может быть, и умереть в ней смешивался с жаждой мщения. Я вдруг представила себя, как умираю в колодце, и громко расплакалась.

— Кто там? — гулко раздался мужской голос.

Тень заслонила собою свет — кто-то наклонился над колодцем, вглядываясь в темноту.

— А ты кто? — решилась я.

— Яяти.

Может быть, мне вообще все это снится?

— Принц Яяти из Хастинапуры?

— Да, я король Хастинапуры, Яяти. Я здесь охотился, забрел в незнакомые места, искал, где бы напиться, и наткнулся на колодец... Меня, должно быть, уже ищут ловчие. Но кто ты?

— Я назову свое имя, но сначала помогите мне выбраться, ваше высочество!

— Сейчас!

— Но как вы это сделаете?

Он засмеялся.

— Яяти с детства обучен обращению с луком и стрелами. И не одной только стрельбе!

Послышалось пение тетивы — стрелы по спирали вонзались в стену колодца, как лепестки лотоса, до самого верха.

Когда принц Яяти помог мне ступить на землю, я вспыхнула под его взглядом, вдруг вспомнив, что одежды мои промокли и облипают тело.

— Могу ли я узнать имя небесной девы?

— Я не дева с небес.

— Возможно ли вообразить такое совершенство на земле?

Искоса взглянув на Яяти, я прочла на его лице восхищение моей красотой. Но ведь это было еще не все!

— Меня зовут Деваяни,— скромно объяснила я.— Мой отец — премудрый Шукра.

— Тот самый Шукра? Великий гуру асуров?

— Да.

Принц поклонился мне с улыбкой.

— Сегодня я оказался полезен святому Шукре. Благословенна моя охота!

Я протянула ему правую руку. Принц взял ее в свою, помогая мне выбраться из высокой травы.

— Ваша правая рука коснулась моей, ваше величество,— сказала я.— По обычаю, это делает меня вашей женой.

Мне показалось, что Яяти удивился.

— Увы, прекрасная, ваша каста выше моей. Вы дочь брахмина, я же — король, а значит, кшатрий.

— И все же наш брак возможен. В старину так делали.

— О нет!

Я взглянула в глаза Яяти.

— Разве не видит ваше величество, что сама судьба назначает меня вам в жены? Не то зачем бы вы, столь искушенный охотник, вдруг сбились сегодня с пути в лесу и вышли как раз к колодцу, где оказалась я?

— Но, прекрасная...

— Не сомневайтесь, принц, нас соединила судьба. А я, едва увидев вас, отдала вам мое сердце. Вы свободны принять или отвергнуть его. Если вы отвергнете меня, я удалюсь в гималайскую пещеру молиться за вас. Лишь любовь с первого взгляда могла побудить невинную девушку протянуть вам правую руку...

— Но, Деваяни, святость и мудрость великого Шукры прославили его и в этом мире, и в небесном, и в подземном. Что, если наш союз не будет им благословлен?

— Отец благословит нас... Но как же я могла забыть о вашей жажде? Я принесу воды.

— Вид совершенной красоты утолил и жажду мою, и голод. Выезжая утром на охоту, я мечтал о лани. Я отыскал ее, но лань оказалась охотницей, а я счастливой жертвой.

Я отвернулась, изображая смущение.

— Мой отец, святой Шукра, готовится принять суровый обет. Только вчера он говорил, что хотел бы вначале выдать меня замуж. Как удивится отец, когда я коснусь его ног и попрошу, чтобы он благословил меня стать королевой Хастинапуры...

Яяти улыбнулся, а я подумала, что утаила главное: как мне хотелось бы, чтобы неверный Кача видел это! Поистине, сладка месть!

Принц настаивал, чтобы немедля отправиться в его колеснице к моему отцу, но я предпочла бы встретиться с заносчивой принцессой Шармиштой не ранее, чем все узнают, что Деваяни — супруга короля Хастинапуры.

Мне не пришлось искать отговорок: из-за деревьев показались скачущие кони, возничий еле сдержал их бег, и из колесницы выпрыгнули мой отец и король Вришапарва.

Отец заключил меня в объятия. Слезы радости лились по его лицу — аскет, возвысившийся над мирской тщетой, плакал как ребенок, убедившись, что его дочь жива и здорова.

— Дев...

Рыдания мешали отцу говорить.

— Отец,— сказала я,— Деви больше не принадлежит тебе.

Он в изумлении воззрился на меня. Я многозначительно повела взглядом в сторону Яяти и потупилась.

Принц сделал шаг вперед и коснулся ног святого Шукры.

Вдвоем с Яяти мы рассказали отцу о том, что произошло.

Выслушав, отец обратился к королю Вришапарве:

— Что человеку кажется бедой, может быть путем к счастью! Вели, король, готовить свадьбу моей дочери, вели, чтоб вся столица надела праздничный наряд, чтоб ликовали все асуры. Ибо, когда Деваяни отправится в дом своего мужа, я смогу отрешиться от всего и принять обет. Меняется судьба асуров! Ваше высочество, мы отвезем вас в город в этой колеснице, а Деваяни отправим в вашей вперед...

Я не двинулась с места.

Король Вришапарва приблизился ко мне:

— Забудь обиду, Деваяни...

Забыть?

Я возразила:

— Легко забывает обиду тот, кто наносит ее. Я могла бы простить Шармишту, но что она говорила об отце! Ее слова уязвили меня в самое сердце...

— Что Шармишта сказала обо мне? — резко спросил отец.

— Мне даже повторять эти слова больно! «Я — принцесса, а ты всего лишь дочь одного из наших подданных...»

— Деваяни,— умоляюще сложил руки Вришапарва,— Деваяни! Шармишта молода, ты тоже! Шармишта рассказала, что вы поссорились из-за какого-то там сари. Она погорячилась, слово за слово... Наговорила глупостей...

— И столкнула меня в колодец! Или она и в этом неповинна?

— Кто говорит, будто Шармишта ни в чем не виновата! Гнев ослепляет человека. Ради бога, прости ее, Деваяни!

— Жить ради бога — дело моего отца! Жалкого подданного вашего величества! Если отцу угодно, он может отправляться в вашу столицу! А я не хочу вступать в город, где живут те, кто унижает моего отца и меня!

Отец прервал свое долгое молчание.

— Я тоже не хочу, король! Меня оскорбили, но хуже того: мою дочь пытались убить!

— Великий гуру, Деваяни неверно поняла...

— Нет, нет, король! Я покидаю асуров и мне недосуг разбираться, кто прав, а кто неправ!

Вришапарва пал к ногам отца.

— Если великий гуру лишает нас поддержки, мы погибли! Я сейчас же пошлю за дочерью и прикажу ей по сто раз простереться перед вами и перед Деваяни, вымаливая у вас обоих прощение. Покажется вам мало — я изгоню ее из королевства!

— Она покушалась на жизнь Деваяни. Я возвращусь в столицу, если Шармишта безропотно примет любую кару, которой возжелает моя дочь!

— Деваяни! — бросился король ко мне — Клянусь! Любую кару!

— Король,— остановила я его,— зачем вы клянетесь, не зная, сможете ли сдержать клятву? Что, если кара покажется Шармиште слишком страшной?

— Но, Деви, вы же подруги с Шармой! Вы вместе выросли, ты будешь милосердна к ней! У ног святого Шукры я клянусь, что безропотно соглашусь на любую кару для моей дочери...

— Хорошо же! — И я медленно проговорила: — Пусть станет Шармишта моей прислужницей.

— Прислужницей?.. — Король Вришапарва повернул ко мне вдруг осунувшееся и постаревшее лицо.

Я победила!

Не в силах сдерживаться, я почти закричала:

— Да, прислужницей! Шармишта должна стать прислужницей королевы Хастинапуры, уехать в Хастинапуру и услуживать мне всю жизнь!

Шармишта

Ударил гонг. Прошел час из тех двух, которые мне дали на размышление. Через один только час — как скоро! — мне предстоит объявить, какое я приняла решение. Стать прислужницей Деваяни или...

Письмо отца лежит передо мной. Первое и единственное письмо, которое написал отец своей любимой дочери. Мы никогда не разлучались, как же было нам переписываться? А сегодня отец прислал мне это письмо, потому что мы оказались разделенными. Отец по одну сторону стены, дочь — по другую. Будто обидела я кого-то в одной из прошлых жизней и теперь обиженный ворвался, требуя возмездия.

Сегодня утром, в начале весеннего праздника, солнце поднялось над верхушками деревьев, будто в обыкновенный день моего безмятежного детства, и медовым светом залило опочивальню. Мне вдруг пришло в голову, что солнце пылает, как брачный огонь, вокруг которого семь раз обводят жениха с невестой, и я так и вспыхнула от этой мысли. Все потому, что предыдущим вечером мама заглянула ко мне и стала говорить, как это замечательно, больше нет войны, можно поискать достойного принца моей Шаме в мужья, вот, к примеру, молодой король Хастинапуры, по слухам, и отважен и добросердечен. Подумать только, совсем юным уже совершил поход, следуя за конем победы. И говорят, что он красив, а если так, чем не жених для моей Шамы, для нежного цветка, который мы взрастили?

Я притворилась недовольной, надула губы, отвернулась...

А всю ночь мне снились сладостные сны! Во сне въезжала я в Хастинапуру рядом с прекрасным и доблестным королем Яяти! Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь...

И что же? Еще не закатилось солнце этого дня, а мне судьба назначила ехать в Хастинапуру. Не королевой, но служанкой!

Когда мы утром были на озере, я наговорила Деваяни много обидных слов, сгоряча наболтала глупостей. Конечно, нельзя было так вести себя... Ну а что, что мне было делать? Моя ли в том вина, что она родилась дочерью гуру, а не короля? А Деваяни просто не может мне этого простить и всякий раз старается уколоть, показать, что она во всем лучше меня!

Я хорошо помню, как еще совсем маленькими нас повезли кататься на лодке. Деваяни перевесилась через борт, увидела свое отражение в воде, забила в ладоши и говорит:

— Шама, смотри же, Шама, какая красивая девочка, она зовет меня играть с ней!

Я посмотрела в воду и увидела улыбающуюся девочку, похожую на меня, и сказала:

— Деви, меня тоже девочка зовет играть!

Деваяни надулась и чуть не расплакалась:

— Твоя девочка противная! Моя красивая!

Потом, когда мы уже учились, в школе начали готовить к празднику представление. Мы обе должны были участвовать в нем: Деваяни — Королева цветов, а я — Лесная королева. Деваяни уже тогда была самой красивой и танцевала лучше всех, поэтому ее и выбрали на роль Королевы цветов. У нее было три танца, а у Лесной королевы роль была совсем без танцев. Но Деваяни все равно потребовала себе эту роль, потому что она была главная в пьесе. Меня уговорили

танцевать, хотя танцую я не очень хорошо, вот наше представление и не удалось.

Нам исполнилось по шестнадцать, когда при дворе устроили состязание для девушек — кто лучше всех танцует, поет, складывает стихи, рисует... Конечно, Деваяни всех затмила — и танцами, и пением, и красотой. Но мои стихи оказались лучше.

Как Деваяни рассердилась!

— Мой отец — великий Шукра, он прославлен в трех мирах и как поэт, а значит, мои стихи должны быть лучше! Шармиште присудили главный приз, потому что она принцесса!

Пришлось поделить этот приз между нами. Правда, в рисовании я все же была первой, но только потому, что Деваяни вовсе не умеет рисовать.

А что было делать? Святой Шукра в то время подвергал себя мучениям, чтобы набрать силу для оживления мертвых. Я знала, что, когда великий Шукра научится возвращать жизнь павшим воинам-асурам, мы победим богов. И знала, что мой отец не желал бы прогневить обожаемую дочь Шукры. Потому я все сносила.

Деваяни просто проходу мне не давала — все старалась доказать, что она лучше, задирала нос, а я делала вид, будто ничего не замечаю. Сегодня утром, когда она чуть не сорвала с меня сари, я не вытерпела и потеряла голову от ярости, не помню, что было потом...

Натворила бед, за которые теперь должна всю жизнь расплачиваться... Неужели одна ошибка, один порыв — и принцесса превращается в служанку?

Шармишта — и прислужница? Я прислужница этой самовлюбленной Деваяни, которая прямо молится на себя! Немыслимо! Что угодно, но не это!

Боже мой, но ведь это же неправда, будто я виновата только в том, что наговорила Деваяни обидных слов. Ведь сари действительно принадлежит ей — это уж я потом узнала от матери. И что это сари — подарок Качи. А я его надела. Оно и сейчас на мне. Ах, нужно было мне с вечера осмотреть наряды, приготовленные матерью! Тогда я, может быть, заметила бы чужое сари... Все оттого, что я рождена принцессой и не приучена ничего делать сама. И вот мне наказание — теперь я буду прислуживать.

Деваяни утверждает, будто я столкнула ее в колодец... Было ли так на самом деле? Сейчас припомню — я побежала за Деваяни, поймала ее, она вырывалась, и оскользнулась, и упала в этот колодец. Сама упала. Это правда.

Кача любил говорить, что лишь двое судей знают, где добро, где зло, где правда, а где ложь, где справедливость, а где нет. Это — совесть человека и господь всеведущий.

Если бы был здесь Кача, я бы умолила его решить за меня — как поступить? Я бы сказала: Деваяни требует, чтоб стала я ее рабой, смириться мне или нет?

Отец написал:

«Милая дочь моя, если ты спросишь твоего отца, стать ли тебе прислужницей, то я отвечу: никогда!

Но я не только твой отец. Я король асуров. Всякому человеку приходится в одно и то же время представать в разных качествах. Кача выведал тайну сандживани, и мы, асуры, беспомощны перед нашими врагами. Один только святой Шукра может спасти нас. А его любовь к Деваяни не знает пределов. Если святой Шукра покинет королевство, наши враги будут торжествовать победу, асурам же, возжелавшим покорить небо, не останется места даже на земле.

Если ты согласишься на условия Деваяни, если станешь ее прислужницей, Шама, ты загубишь свою жизнь. Я не могу вообразить мою единственную дочь в положении рабыни, я содрогаюсь при одной этой мысли.

Твой отец поймет тебя, Шама, если ты ответишь отказом, ибо и злейшему врагу я не пожелал бы судьбы, ожидающей тебя. Но намного ли лучше судьба твоего злосчастного отца? Я пишу тебе это письмо, потому что не в силах высказать в разговоре то, что пытаюсь изложить тут.

Шама, любимая Шама. Да наставит тебя всеведущий Шива, и да поведет он тебя к свету истины!»

Я с детства слышала, как во время свадьбы произносятся слова: миг настал! Я вначале не понимала, что это означает: настал миг высшего благоприятствования звезд, когда две судьбы должны стать судьбой единой. С той же поры, когда мне открылся смысл этих слов, я всегда испытывала трепет, думая о них.

Какими зловещими сделался их смысл сейчас! Лучше бы этому мигу никогда не настать... Но он настанет, войдет мать, зарыдает. Мы пойдем к отцу и...

Великий боже! Что я отвечу на вопрос отца? Скажу, что смирилась, что готова стать прислужницей? Я не могу! Ведь это значит навсегда расстаться с надеждой на любовь, на счастье, на радость материнства...

Нет, я скажу отцу, что лучше пойду с протянутой рукой по свету, чем в рабство к Деваяни! А если она будет требовать возмездия, отец, можешь послать за ней и на ее глазах своей рукой отсечь мне голову. Но помни, отец, скажу я, даже моя мертвая голова не должна скатиться к ее ногам! Ни за что!

И ни за что Шармишта не станет ее служанкой!

Что я такого сделала? Надела по ошибке сари, которое ей подарил Кача. Но по ошибке ведь, клянусь!

За дверью послышался звук шагов...

Думай, думай, думай, думай. Близится время объявления решения.

Сколько в этой истории поразительных совпадений! Может быть, это и есть судьба?

Кача пришел к нам, чтобы выведать, как воскрешают мертвых. Он враг нам, но я все равно втайне восхищаюсь его ученостью, его самоотверженностью, его подвигом. Я часто жалела, что нет у меня старшего брата. Такого, как Кача.

Правда, Деваяни ни разу не дала мне побеседовать с Качей. Она ревновала, я знаю. А мне ничего не нужно было, мне просто нравилось бывать возле него. Я радовалась каждому его взгляду, случайному слову.

А потом... Трижды асуры заставили Качу умирать мучительной смертью. Кача вынес все муки с улыбкой.

— Принцесса,— говорил Кача,— часто предчувствие бывает тяжелей свершения. Такова и смерть. Верьте мне, принцесса, я это испытал.

Может ли быть, что Каче дано провидеть будущее? Стать прислужницей — разве это не смерть? Конечно, смерть. Смерть принцессы Шармишты. Я больше не буду ею.

Не буду принцессой. А от рождения ли, от касты ли зависят достоинства человека? Вот Кача и Деваяни — он и она по касте брахмины. Тогда почему совсем нет в ней того, чем наделен Кача? Нет, неправда, будто добрые свойства человека накапливаются в нем жизнь за жизнью, определяя собой, в высокой или в низкой касте ему родиться...

Касты! Брахмин Кача повел себя отважней любого воина-кшатрия, когда явился к нам, прямо в стан врагов, за тайной сандживани. И был героем до самого конца.

А это сари... Раз оно у меня, пусть будет подарком Качи мне, хоть Кача и не подозревает, что сделал мне подарок. Сари — причина моей беды, и в час беды я вспомнила о Каче.

Кому дано прожить без бед? Напротив, кажется, что беды с особенным упорством преследуют тех, кто добродетелен и чист душой. Кача и добрый, и ласковый, и бескорыстный — и сколько же выпало ему на его недолгий век! Но страдания его не ожесточили. Когда он пришел со мной прощаться после того, как Деваяни его прокляла, лицо его было ясным.

Я сказала:

— Как было бы прекрасно, если бы ты уезжал в обитель богов с молодой женой!

Кача улыбнулся и ответил:

— Совершенное счастье недоступно смертным, но в этом-то и прелесть жизни.

Возможно, это справедливо для мудреца, но мне понятней то, что говорят поэты о любовных муках. Я обливалась слезами, когда читала о страданиях влюбленных, которых разлучила судьба.

— Не лучше ли,— спросила я,— вообще не знать любви?

— О нет,— возразил Кача,— одна только любовь дарует нам способность объять душу другого.

Каче было пора собираться в путь. Прощаясь, он признался:

— Милая принцесса, не нужно огорчаться из-за того, что не познал я счастья в любви. Моя в том вина, я не сумел любить самозабвенно, но все же я испытал это чувство. Теперь я до конца жизни не забуду, что такое любовь. Принцесса, Деваяни ваша подруга, поэтому вы знаете — она упряма, вспыльчива, тщеславна. Я это знаю тоже. Но не в том ли великое чудо любви, что она нас учит, все видя, ничего не замечать. Любовь открывает в человеке иное зрение, и Деваяни я вижу новыми, любовью мне дарованными глазами. Что поделаешь? Как ни возвышенна любовь, но она не выше долга, ибо долг связует мир узами праведности. Если случится Деваяни распахнуть свое сердце перед вами, принцесса, скажите ей: Кача предан своему долгу, но Деваяни вечно пребудет в его сердце.

Великий боже! Ведь Кача все мне объяснил. Почему же я так долго блуждала впотьмах, неужели я нарочно старалась не видеть света? Но вот я вспомнила прощальные слова Качи и как прозрела! Я знаю, что мне нужно делать!

Я кинулась к дверям в тот самый миг, когда они распахнулись перед матерью. Я радостно приникла к ней со словами:

— Скорей скажи отцу, чтоб он велел собирать меня в дорогу. Шармишта готова пойти в служанки к Деваяни!

...Не стану скрывать: мое сердце дрогнуло, когда я в первый раз переступила порог хастинапурского дворца. Однако я оправилась и приступила к исполнению моих новых обязанностей.

Деваяни вступила в покои королевы-матери. Я скромно следовала за ней.

— Деваяни, дочь моя!

После объятий и поцелуев, когда королева-мать усадила Деваяни рядом с собой, она обратила внимание и на меня.

— Мне приятно, Деваяни, что твоя подруга так же прекрасна, как ты!

Я опустила глаза.

— Матушка,— надменно вздернула подбородок Деваяни.— Ваша догадка верна лишь отчасти. Это принцесса Шармишта. Но здесь она не принцесса и, уж конечно, не моя подруга. Шармишта прислуживает мне.

— Я что-то не пойму, Деваяни...

— Его высочество может рассказать вам о могуществе моего отца...

— Постой, Деваяни. Мой августейший супруг был могущественным королем, прославившимся своими победами. Кшатрий по касте,

великий воитель Нахуша не допустил бы, чтобы в его дворце с принцессой из касты кшатриев обращались как с прислугой. Я тоже считаю это недостойным хастинапурского двора!

— Но я сама буду решать, кто мне прислуживает!

Так я послужила поводом для первой стычки между свекровью и невесткой.

Стычки следовали одна за другой. Деваяни росла балованным и своевольным ребенком и даже, когда подросла, ни в чем не знала отказа. Быть может, королева-мать тоже не привыкла, чтобы перечили ее воле. Свекровь с невесткой были подобны двум грозовым тучам — стоило им сблизиться, как тотчас ударяла молния. Зачем только судьба свела их под одной крышей?

Как ни странно, их постоянная война помогла мне освоиться на новом месте. Я сильно тосковала без матери, без ее нежных рук и негромкого голоса. Чуть ли не после каждой ссоры с Деваяни королева призывала меня в свои покои и всячески старалась обласкать. То ли делала она это, чтобы досадить Деваяни, то ли желала напомнить придворным, что я принцесса и одной с ней касты — не знаю. Знаю только, что мне становилось чуть полегче. Пусть даже королева выказывала чувства, которых не испытывала на самом деле, пусть это был обман, но разве обман не помогает нам переносить тяготы жизни?

Но тут произошла престранная история.

В один прекрасный день в Хастинапуру явился известный предсказатель. Узнав об этом, Деваяни немедленно потребовала, чтобы за ним послали.

Королева тоже пожелала видеть предсказателя и велела мне быть в ее покоях, когда он явится.

Посмотрев ладонь Деваяни, предсказатель объявил, что года не пройдет, как она родит сына.

Деваяни так и зарделась от радости, королева тоже была счастлива, но вдруг ей пришло в голову узнать и мое будущее.

Она усадила меня перед собой и приказала предсказателю посмотреть мою ладонь.

Мне оставалось только подчиниться.

Предсказатель долго молчал, изучая линии моей ладони.

— Линии не предвещают счастья,— тихо проговорил он наконец.

Он посмотрел на меня, опять на мою ладонь.

— Линии предвещают много горя, но когда родится сын...

Деваяни громко расхохоталась.

— Сын у моей служанки? И что же, он будет принцем, да?

Предсказатель вспыхнул — такие люди не выносят насмешек над их искусством.

— Простите меня, ваше высочество. Возможно, я глуп и многого не понимаю. Но я владею знанием, которое раскрывает передо мной будущее. Будущее этой особы ясно начертано на ее ладони. Я знаю, что говорю: ее сын унаследует престол.

Деваяни уже не смеялась, когда, резко встав с подушек, бросила предсказателю:

— О каком престоле речь? Взгляни внимательней на ее руку — может быть, ее сын унаследует шкуру издохшего льва?

Я не выдержала и, вырвав руку, бросилась вон, чтобы никто не услышал моих рыданий.

Зато ночью я наплакалась всласть. Какая девушка не мечтает о замужестве, о детях? Где та девушка, которая не металась ночами в постели, разгоряченная попытками вообразить того, кто станет ее суженым?

Разве не снились и мне эти сладкие сны? Пеплом развеялись они, когда я решила ехать в Хастинапуру.

Согласившись прислуживать Деваяни, я стала ее рабыней. Нужно

ли сомневаться, что Деваяни никогда не даст мне позволения выйти замуж? А коль не быть мне ничьей женой, то и сына у меня не будет — сына, которому суждено наследовать престол... Я же прислуга! Но предсказатель так рассердился, когда ему не поверили... Как можно увидеть будущее в линиях руки? Все это сказки. А если и не сказки, что толку мне об этом думать!

Как слабенький росток пробивает себе путь к солнцу через тяжкую могильную плиту, так прорастали слова предсказателя в моей душе. Шармишта, которая не уронила ни слезинки, прощаясь с отцом и матерью, плачет теперь в глухом одиночестве хастинапурского дворца. Хорошо, что не видят мои родители меня сейчас...

О, день отъезда! Впервые мне предстояло покинуть дворец, в котором я прожила всю жизнь. Отец стоял прямой и неподвижный — как гора. Я опустила глаза и подошла к его благословению — и вдруг отец рухнул и простерся у моих ног! В растерянности я сначала отпрянула, потом хотела поднять отца... Отец сам встал и, молитвенно соединив ладони, сказал:

— Дочь моя милая, я недостоин знаков твоей преданности. Теперь я вижу в тебе не дочь, но мать. О матушка, мы, твои дети покорные, молим тебя благословить нас!

Во мне все задрожало.

— Отец,— спросила я,— будь я не дочерью твоей, а сыном, который готовится к битве, какие чувства ты бы испытывал?

— Я бы гордился сыном!

— Тогда гордись мной! Я, твоя Шама, отправляюсь в поход. Благослови меня, отец!

Отец послал со мной в Хастинапуру моих служанок, которые относились ко мне по-прежнему, как к принцессе. Собственно, так относились ко мне все при хастинапурском дворе. Меня никто не пытался там унизить, я никому не прислуживала. Одной только Деваяни. Когда же я освобождалась от ее поручений, мне было нечего делать и нечем занять себя. Часы тянулись томительно и тоскливо, я изнывала от пустоты. В конце концов я нашла себе занятие: я с детства любила рисовать. Теперь я отыскала кисти, краски, доски и отдалась живописи.

Не знаю, хороши ли были мои рисунки, но радости они мне доставляли много. Я могла подолгу бродить по дворцовому парку, запечатлевая кистью пугливую красоту оленей, яркость павлиньего оперенья, змеиную гибкость лебединых шей. А как пышно наряжала себя земля изобилием цветов, лиан, деревьев! Всякий раз неповторимы были восходы и закаты, весенние лунные ночи, темнеющее серебро реки под дождем, ровная зелень осенних полей, узоры обнаженных ветвей на фоне чистой зимней синевы.

Живопись вновь пробудила мою душу. Я вновь прозрела к многообразной красоте жизни и понемногу начинала понимать ранее скрытое от меня. Сама суть жизни заключена в мимолетности ее проявлений.

С королем Яяти мне почти не случалось встречаться. С первого же дня Деваяни постаралась устроить так, чтобы я не попадалась королю на глаза. Причину легко было угадать: король испытывал неловкость в моем присутствии и явно избегал моих услуг. Когда он видел меня с подносом в руках, то с неудовольствием спрашивал, куда девалась челядь, и посылал меня за слугами.

Однажды король Яяти кликнул из своего покоя, чтоб ему подали воды, и я вошла с подносом.

— Зачем здесь ты? — сердито спросил он.—Пришли кого-нибудь из слуг!

— Я тоже прислужница.

— Можешь быть прислужницей у Деваяни. Не у меня.

Его величество любил бетель, и обыкновенно Деваяни собственноручно заворачивала в свежий бетелевый лист толченый арековый орех с пряностями.

В тот день Деваяни лежала в своей опочивальне, а я обмахивала ее опахалом. Яяти пришел за бетелем. Было очень душно, Деваяни не хотелось двигаться, и она распорядилась, чтоб я приготовила бетель для короля.

Жуя бетель, Яяти встал перед зеркалом и вдруг сказал:

— Ого! Посмотри на мои губы!

— Что такое?

— Видишь, как они покраснели от бетеля? Не зря говорят, что из милой ручки бетель краснее!

— Неужели? — холодно уронила Деваяни.

Ах, не нужно было его величеству так шутить! В тот день Деваяни измучила весь двор придирками и капризами.

А король после этого взял в привычку, если Деваяни не было поблизости, спрашивать, не приготовлю ли я ему бетель. И кончилось тем, что я стала постоянно носить при себе бетель, а Яяти иной раз, жуя мой бетель, громко говорил Деваяни:

— Какой красный сок!

С чем сравнить память? С мотыльком? С детьми, играющими в прятки? С оттенком цвета, сообщающим картине сочность? Со вспышкой молнии? Не знаю.

Но бывают вещи, которые память как будто старается подальше спрятать...

...С великой пышностью Хастинапура праздновала свадьбу молодого короля. Астрологи с особым тщанием вычислили и день, и час, и миг для благословенного союза.

Я твердила себе, что не смею выглядеть несчастной в этот день. Судьба Деваяни возвела ее на трон, моя судьба низринула меня в бездну. Кто может спорить с судьбой? Величие — в покорности. А коли так, то почему должна Шармишта противиться своей доле?

Но не судьба враг человека — он сам себе самый страшный враг. Мое спокойствие бесило Деваяни — может быть, ей недоставало вида моих заплаканных глаз для полного счастья. Ну, а я дала себе клятву держаться по крайней мере до тех пор, пока Деваяни не отведут в покои мужа. Мне казалось, будто я одержала великую победу. Я рано торжествовала, ибо, проходя мимо меня, Деваяни распорядилась:

— Шармишта, его величеству пришелся по вкусу бетель, который готовишь ты. Приготовь бетель, разложи на блюде и жди перед королевской опочивальней. Когда я позову, подашь его. Без моего зова не входи и не стой под самой дверью. У челяди есть дурная привычка — подслушивают разговоры, а потом разносят сплетни. Я этого не люблю. Стой в стороне и не вздумай уйти спать — его величество сегодня поздно заснет, а остальных слуг я отпустила.

Не проще ли было приказать, чтобы блюдо поставили у ложа?

Я приготовила бетель, уложила его на золотое блюдо и села в уголок. Спустя немного времени прошел король. Я предложила ему бетель, но он нетерпеливо отвел рукой блюдо. Меня он просто не заметил — служанка! Неудивительно, за дверью его ждало прекрасное создание, чьей красоте могла бы позавидовать небесная танцовщица Тилоттама, так до меня ли ему было?

Дверь затворилась. Я стояла, прижимая к груди ненужное блюдо, и мысли мои неслись ураганом. Не поссорься я с Деваяни в тот злополучный день, я не была бы столь унижена сегодня. Но не в том только была моя мука. Мне так хотелось знать, какое оно — слияние в любви!

Вдруг мне почудилось, что я слышу рассерженный голос Деваяни...

Как? В первую ночь любви? Я столько слышала о неземном блаженстве, венчающем союз влюбленных, столько стихов читала: кубок звенит, пока льется в него влага, но, заполнившись до краев, стихает. Когда сердца полны любви, словам не остается места.

Но сомневаться было невозможно: гневные слова Деваяни доносились до моего слуха из королевской опочивальни — и приглушенный голос Яяти...

Дверь рывком распахнулась, вылетела Деваяни. Я шагнула вперед с моим блюдом. Деваяни обожгла меня взглядом, отшвырнула блюдо и бросилась вон, топча рассыпавшийся бетель.

Яяти

Первая ночь вместе. Ночь, из которой должно родиться супружество. Ночь, от которой юные супруги ожидают свершения таинства, неизведанного ими дотоле. Ночь, воспетая поэтами,— слияние двух рек, поцелуй земли и неба. Но нет! Как бы прекрасны и возвышенны ни были стихи, никакими словами невозможно передать трепетное предощущение единения, которое обещает эта ночь.

Смеркалось. Огромные толпы стекались к дворцовой площади на праздник огней в честь королевской свадьбы. Я стоял на верхней террасе, всматриваясь в вечереющее небо, где звезды медлительно появлялись одна за одной меж деревьев, как туго свернутые бутоны среди листвы.

Время остановилось. Небо изливало ночь на землю, и она понемногу наполнялась темнотой, как чаша, в которую неспешно вливается густая винная струя. Неторопливость природы была мне нестерпима.

Деваяни так близко. И так отдалена. Облик Деваяни множился перед моими глазами: Деваяни в мокрых одеждах, прилипших к телу, выступает из колодца... Деваяни смеется... Хмурит брови... Деваяни, сверкая украшениями, сидит рядом со мной перед жертвенным огнем... Сколько ни упиваюсь я ее несравненной красотой, мои глаза все жаждут... Сердце мое рвется познать Деваяни, скрытую пока множественностью обликов.

И вот я распахнул дверь в мою опочивальню.

Деваяни полулежала на парчовом ложе. Глаза ее мерцали. Пылая нетерпением, шагнул я к ложу. Деваяни потянулась навстречу мне. Я произнес с улыбкой:

— Правой рукой я коснулся красавицы, помогая ей выбраться из колодца. Желает ли она снова опереться на мою руку?

Я ожидал, что Деваяни улыбнется мне в ответ.

Она молча поднялась на ноги. На ее сиющем лбу прорисовалась морщинка, ноздри затрепетали — я не понимал, был ли то испуг, неудовольствие или любовное притворство?

— Прекрасная Деваяни,— продолжал я,— мой отец одержал победу над богом Индрой. Мне предстоит свершить не меньший подвиг...

Конечно, я надеялся, что Деваяни прильнет ко мне и в нежном смущении скажет, например:

— Зачем нам вспоминать о войнах, когда мы вместе?

Или другое:

— Я поведу твою колесницу!

А я бы ей ответил:

— Если ты со мной, я покорю бога Индру, чтобы спросить, видал ли он на небе красоту, подобную твоей!

Однако Деваяни не дала мне даже раскрыть рта.

До чего прекрасна женщина во гневе! Я позабыл слова, просто привлек Деваяни к себе и, опуская ее на ложе, склонился к ее запрокинутому лицу.

Деваяни выскользнула из моих объятий с силой и гибкостью разъяренной кобры. Я был ошеломлен! Конечно же, я знал, как Деваяни вспыльчива и своенравна. Еще бы — чего стоило одно ее настояние иметь своей прислужницей принцессу Шармишту. Но все же я ее муж! Как она может так вести себя со мной?

— Деваяни, я не понимаю,— начал я, сдерживаясь с немалым трудом,— может быть, тебе что-то наговорили?..

— Здесь нечего понимать. И я никого не слушала!

— Тебя оскорбили?

— Еще бы!

— Но кто посмел?

— Да ты! В эту благословенную ночь, в счастливейший час моей жизни — мой супруг приходит пьяным! Отвратительный запах...

Я опешил...

— Я — пьян?! Я пил вино, но, на мое счастье, я не брахмин, а кшатриям вино не возбраняется!

Гнев и печаль смешались в моей душе. Все осквернить, всю тайну этой ночи — и из-за чего?

— Ты не брахмин, но я дочь брахмина!— не унималась Деваяни.— И не забудь: я дочь святого Шукры, я не выношу этот гадкий запах!

— Я не забыл, что ты дочь Шукры, Деваяни. Но ты моя жена. Жена кшатрия, которому не возбраняется вино. К тому же, всем известно, твой отец...

— О, это было раньше! Отец давно не притрагивается к вину! А он вообще всегда считал вино злом!

— Кто это — он?

Деваяни прикусила язык.

— Кого ты имела в виду?

Подозрение закрадывалось в мое сердце.

— Я жду! Чего ты испугалась?

— Я испугалась?! Я говорю о Каче! И не боюсь назвать его имя! Кача! Меня кольнула ревность.

— Деваяни.

Я знаю, что мой голос был и сух и резок.

— Ты во дворе королей Хастинапуры. Это не обитель святого Шукры и не хижина Качи. Я — Яяти, король Хастинатуры, а не послушник богобоязненного гуру. Здесь я властелин всего, и ни Кача, ни премудрый Шукра не смеют вмешиваться в мои дела! А ты — моя жена, и твой первейший долг — радеть о моем удовольствии.

— Сам радей о своем удовольствии! — взвизгнула Деваяни и, хлопнув дверью, выбежала вон.

В тоске и бессилии рухнул я на брачное ложе.

Как страшно был проклят мой отец: и дети короля Нахуши не изведают счастья...

Вот она, ночь благословенного свершения. Мог ли я думать, что проклятие погубит даже первую ночь любви. Возбуждение плоти и упадок духа не дали мне заснуть до самого утра.

С трепетом ожидания вошел я в этот брачный покой. Как я желал Деваяни, желал познать и тело ее и душу. Яяти был готов к любви возвышенной, прекрасной, чистой, он жаждал не наслаждения — любви. И вот...

Я вспоминал об Алаке, о ее смерти.

В день коронации мать благословила меня с такой любовью, с такой радостью! Она не могла наглядеться на меня в парадном королевском одеянии, при всех регалиях власти. И вдруг заметила,

как Калика, моя кормилица, мать погубленной Алаки, украдкой утирает слезы. Одна мать ликовала, другая проливала слезы.

— Вон из дворца! — приказала королева.— Сейчас же убирайся к сестре в деревню и не смей показываться мне на глаза! Ты что, не знаешь — слезы в такой день предвещают дурное!

Я ужаснулся бессердечию матери. И силе своего гнева на нее я ужаснулся тоже, хоть знал, что не оставлю неотмщенной гибель Алаки.

Мстил матери я тем, что едва разговаривал с ней. Впрочем, мы почти не виделись. Я много пил и редко бывал во дворце, предпочитая проводить время на охоте.

Мать приглашала в Хастинапуру принцесс из соседних королевств, но я всех отвергал — назло матери. Может быть, мать догадывалась, что причина — в смерти Алаки, но мы с ней избегали упоминания о произошедшем. Жизнь томила меня, и я искал, искал чего-то, не зная сам, что хотел бы отыскать.

В таком настроении уехал я охотиться к подножиям Гималаев; разгоряченный преследованием лани, заблудился в асурских владениях и возвратился в Хастинапуру с невестой. С Деваяни.

Поистине, то была любовь с первого взгляда! И обстоятельства нашей встречи были столь поэтичны и так взволновали меня. Мне чудилась какая-то тайна во всем этом...

Это правда: Деваяни ослепила меня своей красотой, и я влюбился в нее. Но к любви примешивалась и сладость мести: мать мечтала о невестке, которую она сама выберет, о принцессе из касты кшатриев. Я же привезу в Хастинапуру дочь святого брахмина, зная, что матери будет трудно примириться с этим. Но мать обрекла на смерть Алаку по гнусному навету, опасаясь, как бы сын не потерял голову из-за простолюдинки, не женился на ней — а подумала она при этом, какую боль мне причиняет? Бедная, ни в чем не повинная Алака...

Была и еще одна причина, по которой я вступил в брак с Деваяни. Я надеялся, породнившись со святым Шукрой, умолить его найти способ снять проклятие, тяготеющее над всем нашим родом.

Не подумав о прошлом или будущем, не подумав, чисты ли мои побуждения, я с превеликой охотой женился на Деваяни.

Деваяни стремилась воссесть на трон Хастинапуры — и я столь же страстно желал, чтобы она сидела рядом со мной.

Но премудрый Шукра оказался не совсем таким, как мне представлялось. Великий гуру не чаял души в единственной дочери, но в слепом обожании воспринял ее брак с могущественным королем как нечто само собой разумеющееся и менее всего заботился о том, чтобы завоевать расположение августейшего зятя.

Удивило меня и его отношение к Шармиште. Шармишта принесла себя в жертву ради того, чтобы Шукра не оставил асуров, чтобы отвести беду от своей страны. Нет сомнения, Шармишта проявила величие духа. Однако Шукра, аскет, прославленный своей святостью, в конце концов, просто человек, умудренный жизнью, друг и гуру короля Вришапарвы,— разве он не обязан был хоть словом утешения помочь Шармиште?

Возможно Шукра поглощен столь высокими мыслями, что ему трудно понять обыкновенные человеческие чувства. Недолгого времени, что я провел в асурском королевстве, достало, чтобы увериться, сколь высоко ставят себя и отец и дочь перед остальными.

Какой отец не уронит слезу, провожая дочь в ее новый дом после замужества? Прослезился и святой Шукра. Однако он тут же отвел меня в сторону со словами:

— Принц, Деваяни — моя единственная дочь. Ее счастье — это мое счастье, помни. И не забудь, что нет на земле ничего могущественней моего благословения. Ты видел, как принужден был смириться

король Вришапарва, как низко пала Шармишта. Предупреждаю тебя: не обижай Деваяни, не забывай, что ее обида — это моя обида.

Я полагал, что он и к Деваяни обратится со словами назидания: в таких случаях полагается советовать новобрачной заботиться о домашнем очаге, угождать мужу, скромно вести себя в новой семье. Шукре это, видно, и в голову не пришло.

Ну что же, подумал я, он человек великой мудрости, что ему до мирских, житейских дел! Я простился с ним, убежденный, что мне его мудрость недоступна.

Было уже далеко за полночь а я все метался, не в силах заснуть. Начав вспоминать, я уже не мог остановиться.

Меня приводила в бешенство и мысль о том, что весь дворец наверняка не спит — за каждой дверью шепчутся о том, как убежала невеста из брачного покоя короля. Да слыхано ли такое? Что могло между ними произойти? Чем высокородней человек, тем больше глаз следит за ним. А случившееся этой ночью едва ли могло стрястись в самой нищенской из лачуг, не говоря уже о королевском дворце...

Неугомонное существо — человек. И зачем только наделил его бог воображением?

Сейчас Деваяни, конечно, тоже не может заснуть... Она посмотрится в зеркало, на цыпочках подойдет к моей двери, тихонько проскользнет ко мне, шепнет:

— Прости меня, Яяти, муж мой!

Я обниму ее, скажу:

— Деваяни, любимая! Мне следовало помнить, ты выросла в доме человека святой жизни. Прости меня и поверь, что больше никогда Яяти не приблизится к тебе с губами, пахнущими вином. Если хочешь, я готов поклясться тобой, что больше не коснусь вина. Нигде и никогда.

Деваяни обовьет меня руками и ответит:

— А ты, ты вырос во дворце. Король из касты воинов, ты был взращен, чтобы повелевать и воевать. Вино необходимо мужу действия. Я была неправа, я не смела осуждать тебя за то, в чем ты нуждаешься... Но как мне быть, если запах вина мне кажется непереносимым? Молю тебя лишь об одном — не пей вина, когда идешь ко мне!

Часовой ударил в гонг.

Прошел еще час.

Я поймал себя на том, что вслушиваюсь в тишину и ожидаю звука шагов Деваяни. Но все было тихо.

Я поднялся с ложа. Сжигаемое страстью тело и воспаленный обидой разум — они жалят как змеи. Пусть ранка едва заметна, но яд смертелен.

Подойдя к окну, я всматривался в непроглядность ночи. Я разделил с Деваяни престол в надежде на любовь, более возвышенную, но и более пылкую, чем та, которую мне дарили Мукулика и Алака. Но оказалось, что на ложе, устланном цветами, меня жалят змеи...

Я король. Король разгневанный. Любовные утехи я могу найти везде. Я король, я воин, я властитель, и стоит мне пожелать, как, начиная с этой ночи, прекраснейшие женщины земли будут делить со мной вот это ложе.

Наутро я проснулся в холодной ярости. Я не хотел оставаться во дворце и приказал готовить большую охоту.

В дверь постучали — вошла запыхавшаяся Шармишта. Она почтительно склонилась передо мной:

— Ее величеству нездоровится со вчерашнего вечера. Только что у нее побывал придворный лекарь, который сказал, что для тревоги нет причин. Но если ваше величество соблаговолили бы зайти к ее величеству, то это подействовало бы на нее лучше всяких лекарств.

Шармишта говорила, а ее личико светилось добротой и нежностью — так светит заходящее солнце. Я неожиданно сообразил, что видел прошлой ночью под дверью брачного покоя прислужницу — в руках она держала блюдо...

— Шармишта,— спросил я,— это ты стояла ночью с блюдом?

Шармишта опустила голову, и я понял, что то была она. Как же мог я не узнать ее? Неужели я действительно выпил слишком много вина?

Неверно истолковав мою задумчивость, Шармишта сказала:

— Ваше величество, я с детства дружила с королевой Деваяни. Она всегда была несколько вспыльчива. Не принимайте это близко к сердцу....

И, чуть запнувшись, продолжила:

— Прислужнице не приличествует разговор о поэзии, но не напрасно все поэты пишут: без горечи размолвок не распознать всей сладости любви.

Я слушал ее, и мое сердце согревалось. Шармишта ищет оправданий для Деваяни, которая прошедшей ночью опять оскорбила ее чувства, заставив стоять под дверью брачного покоя.

— Кто научил тебя доброте? — полушутя спросил я.

— Разве для всего нужен учитель? — ответила она вопросом на вопрос.

— Истина познается у ног учителя — как еще? Доброта — это любовь, а любовь — высшая истина, и тайна ее больше, чем даже тайна сандживани!

— Если желаете, ваше величество, я назову вам имя моего гуру — Кача его зовут!

— Кача? — изумился я.

— Не соблаговолит ли ваше величество пройти в опочивальню ее величества? — заторопилась Шармишта.

Я отправился к Деваяни. Смятение и ярость улеглись от разговора с Шармиштой. Я был готов прощать.

Была ли Деваяни нездорова или притворялась? Она выглядела бледной, ее лицо походило на луну, едва просвечивающую сквозь облака. Я взял ее руку в свою. Касанием мы выразили то, что не могли сказать друг другу ни словами, ни взглядами. Я склонился к Деваяни и поцеловал ее отуманенные слезами глаза. Деваяни плотнее стиснула мою руку и неожиданно сказала тихонько, как говорят сквозь сон:

— Больше не надо...

Это она о вине?

Я почувствовал себя задетым. Но ведь Деваяни нездоровится. Моя Деваяни больна! И я не должен делать ничего, что может ее огорчить.

Ее пальчики, гладкие, как цветочные лепестки, скользнули по моей руке.

— Ради меня... больше не надо...

Деваяни уже улыбалась.

— Ну обещай — ради меня!...

Я улыбнулся одними губами и сказал:

— Ради того, чтоб эти пальчики вечно меня ласкали, я готов дать сотню обещаний!

— Не будь так легкомыслен! Я хочу, чтобы ты поклялся — ну поклянись, как если бы ты клялся у ног моего отца!

Я с трудом сдержался. Но все же сделал так, как хотелось Деваяни, и выдавил из себя слова клятвы.

Деваяни просияла. Не любовь была в ее глазах, а торжество. Торжество прекрасной женщины, гордой силой своей красоты, перед которой падает ниц мужчина.

Я потерпел сокрушительное поражение в моей первой любовной битве.

Слово свое я держал свято — не притрагивался к вину, и мы жили с Деваяни в мире и согласии.

Я хорошо помню эти дни. Собственно, дней я не помню. Конечно, были и дни — всплывало солнце и разлучало нас на целые четыре смены стражи. Дни были промежутками между ночами, когда Яяти неутомимо плыл и плыл по волнам блаженства, погружался в лотос, как росинка.

Я ненавидел утреннее щебетанье птиц в саду. Едва заслышав птичье пение, Деваяни поспешно поднималась, чтобы удалиться в свои покои.

— Они обезумели, эти птицы,— говорил я ей.— Луна их слепит своим сиянием, и птицам кажется, что встало солнце. На самом деле ночь еще длится.

Деваяни настаивала, я же пугал ее:

— Когда Урваси-небожительница оставила моего деда, он ушел скитаться по лесам. Смотри, как бы и я не убежал...

Я целовал ее еще и еще, но когда Деваяни отстранялась, я жаждал все новых поцелуев, как воды в жару.

А Деваяни нежно упрекала меня:

— Остановись... Нельзя же столько...

— Последний раз...

— Но это не последний...

— Ты выросла в обители и не знаешь арифметику любви. По этой арифметике всякий раз — последний, пусть даже дальше будет еще сотня или тысяча...

Воспоминания тускнеют в памяти, но эти... Не знаю почему, мне кажется, чем дальше их относит в прошлое, тем они ярче.

Ночи, танцуя, вступали в мою опочивальню, звенели звезды, как бубенчики на щиколотках танцовщицы, ночные запахи изливались кувшинами меда. Я пил и пил, но чем я больше пил, тем больше жаждал. А ночи, как спокойные озера, покачивали лотосы любви на темных водах...

Зачем пытаться рассказать об этом?

Считается, что неприлично открыто говорить о плотском счастье. Но почему? Мы мечтаем о вечном блаженстве для души, не смея даже заикнуться о блаженстве, которое рождается из единения мужчины и женщины. Разве оно постыдно? Оно недолговечно. Благоуханные воспоминания любви улетучиваются, лепестки осыпаются, и обнажаются острые шипы...

Я старался сотворить для нас с Деваяни отдельный мир... В том мире я не был сыном короля Нахуши и не нес на себе проклятья, а Деваяни не была дочерью могущественного святого. В том мире, если смерть призвала бы Яяти, Деваяни откликнулась бы на зов. Если вечность повлекла бы к себе Деваяни, Яяти вышел бы ей навстречу. В том мире Деваяни, не задумываясь, отвернулась бы от небес, если бы Яяти был обречен на муки ада, а соверши Деваяни страшнейшее из преступлений, все равно Яяти готов бы был сложить голову ради нее.

Такой была жизнь в моих мечтах...

Ей всякий цвет был к лицу. Как небо, которое красят любые облака, Деваяни была прекрасна во всем, что ни наденет. На ней и драгоценные украшения искрились ярче, и любая прическа ей шла. И Деваяни любила свою красоту. Она могла проводить долгие часы перед зеркалом, тщательно убирая себя. Мне это нравилось. Мне нравилось смотреть на нее перед зеркалом, но только с одним условием — наряженная и прекрасная Деваяни должна была быть неподалеку от меня. Днем тоже я этого хотел.

Хотел. Мое желание не угасало, но было во мне и другое чувство — нежная и чистая любовь. Как яростно ни обжигало солнце, не спадал и легкий ветерок.

Деваяни не верила этому. Возможно, ей казалось, что любят только женщины, мужчине же доступна одна лишь страсть. Моя августейшая супруга, наделенная совершенной красотой, любила собственное совершенство, как богу поклонялась ему, как храмовое изваяние убирала себя — а я здесь был ни при чем. Деваяни жила только собой и только для себя.

Шармишта рассказала мне, что Деваяни искуснейшая танцовщица, и мне, конечно, захотелось увидеть ее в танце. Однако Деваяни небрежно осадила меня:

— При дворе полно танцовщиц.

Живя в отцовском ашраме, она радовалась всякой возможности показать свое искусство. Но теперь Деваяни была королевой, и ей казалось, что, танцуя, она роняет свое достоинство.

Деваяни очень любила говорить о себе. Или о могуществе святого Шукры. Она иной раз проявляла ревность, но только потому, что желала полностью подчинить меня себе.

С тех пор как я неудачно пошутил по поводу бетеля, который Шармишта готовила лучше, Деваяни старалась убрать Шармишту с моих глаз.

Я хранил в шкатулке отливающий золотом локон Алаки. Деваяни увидела у меня шкатулку, пожелала узнать, что в ней, и, открыв крышку, ледяным голосом спросила:

— И где же теперь эта твоя девица?

— Она была моей названой сестрой, Деваяни!

— Но если ее больше нет, зачем здесь этот локон?

— На память...

— Если я завтра умру, тебе потребуется прядь моих волос, чтобы вспомнить обо мне? А без этого что, забудешь?

Деваяни хотела выбросить золотую прядку.

Мне стоило великого труда удержать ее.

Меня постоянно терзает моя неспособность изложить словами то, что я хочу сказать. Я все время сбиваюсь, все время уклоняюсь от главного. Неужели разум не в силах заставить сердце раскрыться до самого донышка. Как хитро утаивает сердце свои секреты. Сколько потайных дверок в человеческом сердце? Стыд, привычки, обычаи, приличия — я должен все отбросить в рассказе о первом годе нашей с Деваяни супружеской жизни. Увы.

Немыслимо трудно!

Только в одном уверен я: я знаю, что терзался собственным несовершенством. Я жаждал испытать всю полноту жизни, а несовершенство и тела моего, и духа мешало мне.

Деваяни дарила мне телесное блаженство, но не бывала она щедрой в своих дарах. С самого начала в ней не было избытка жизни, который изливался бы в меня. Потом настало время, когда Деваяни совсем охладела ко мне. Когда я входил в опочивальню, нередко Деваяни притворялась, будто спит. Я тихонько приближался к ней и осторожно будил поцелуем. Не жар встречали мои губы, но прохладу. Когда-то в походе я поцеловал каменное изваяние богини, Деваяни напоминала его. От этих поцелуев молния не пробегала в моей крови. Я оставался одиноким, несовершенным, незавершенным, лишенным полноты жизни, к которой я так рвался, мучимый незаконченностью бытия. Слепец, поднявший к солнцу голову. Даже когда наши тела соединял единый ритм, наши души не соприкасались.

Мукулика научила меня тому, что любовь может быть естественным укрытием от страха и тоски. Любовь Мукулики была лесной тропинкой — потаенной, неведомо куда ведущей, едва протоптанной в колючем кустарнике.

Любовь Деваяни была совсем другой — ни тайны, ни терниев, ни вины. Супружеское счастье, благословенное и богом и людьми. Эта

любовь была как королевская дорога — устланная цветочным ковром, прямая и широкая.

Но я-то брел по ней, как одинокий странник.

Я ждал, что любовь распустится цветком и напоит жизнь нежным благоуханием.

Такой любви я не познал с Деваяни.

Была ли между нами душевная близость? Или хоть понимание? Нет.

Если б нашлось для Яяти место в сердце Деваяни, то, может быть, и жизнь моя пошла бы по-другому. Может быть, опять пустые выдумки. Кто знает, что может, чего не может быть? А правда в том, что супружество с Деваяни, прекраснейшей из женщин, не дало мне удовлетворения. И это — единственная правда.

Что такое голод по любви? Это просто голод: как хочется есть в полдень, или спать ночью, или пить. Голод по любви телесной знаком всякому подростку. Я говорю не об этом. О голоде души, которой недостает любви... Столько раз Деваяни лежала в моих объятиях, а я умирал от нестерпимого одиночества. Мне чудилось, что я на необитаемом острове, где никакая жизнь даже следа не оставила на песчаной почве...

Довольно быстро я понял, что обречен на одиночество, но я не мог, просто не мог вынести его. Я нуждался в друге, в поверенном, в товарище, с кем я мог бы поговорить, облегчить душу, пошутить, наконец. Я мечтал о возлюбленной, которая не вздрогнула бы даже от укуса скорпиона, только бы не потревожить мой сон. Я мечтал о друге, который понял бы мои золотые сны и не осудил бы меня за то, что я их недостоин. Я мечтал о товарище, который внушил бы мне уверенность в том, что, окажись мы вдвоем на необитаемом острове, мы все разделим пополам — и жизнь и смерть.

Однажды я сказал Деваяни, что есть у меня желание, которое едва ли выполнимо в этой жизни.

— Какое из желаний короля Хастинапуры может остаться неисполненным? — усмехнулась Деваяни.

— Желание быть бедным.

— Ты хочешь быть бедным?

— Я думаю иной раз о могущественном противнике, который вторгнется в пределы Хастинапуры... В битве разгромлены мои войска, но нам с тобой переодетыми удается бежать. Никем не узнанные, поселились мы вдвоем в горах. Я хожу на охоту, а ты готовишь простую пищу из того, что я добуду. Ночью ты прижимаешься ко мне, услышав шорох в кустах,— а вдруг это змея? А если светлячок закружится над нами и бросит трепетный свет на наши лица, ты зальешься краской, потому что будешь знать — это богиня леса хочет видеть, как мы друг друга любим.

Я совсем было увлекся, но Деваяни прервала мои мечты:

— Ты по ошибке родился во дворце короля Нахуши — тебе бы сыном виршеплета родиться!

Но она-то вышла замуж как раз за сына короля, ее привлекли королевское величие и престол! Деваяни желала быть королевой, и ради этого она была согласна даже делить со мною ложе.

Сознание того, что не я нужен Деваяни, а мой титул, не давало мне покоя.

Мне было худо оттого, что я все понимал. Но в то же время я потакал любой причуде Деваяни, я был готов на все ради нее. Она могла унижать Шармишту, ссориться с королевой-матерью, изводить двор своими выдумками — я ничему не противился. При дневном свете я видел недостатки Деваяни, но наступала ночь, я снова рвался к ней, хоть плакала моя душа. Я все больше запутывался в силках ее женских чар. Может быть, Деваяни верила, что дарит мне счастье... Тоски моей она не понимала.

Возможно, те, кто живет собой и поглощен собой, кто не видит в мире никого, кроме себя, становятся калеками: их разум слепнет, душа их глохнет.

Деваяни видела лишь то, что ей хотелось видеть, и так, как ей хотелось.

Вскоре после нашей свадьбы столица устроила пышное празднество в честь короля и королевы. Что ни вечер — спектакли, танцы, музыка, прочие увеселения. Обычай требовал, чтоб королевская чета показывалась на каждом из них. Деваяни была средоточием восторгов, она сияла красотой, народ не мог налюбоваться юной королевой.

В первый вечер празднества давалось представление о жизни моего прадеда, короля Пуруравы.

Мой прадед увел с небес апсару Урваси. Небожительница снизошла на землю с условием, что никогда не увидит короля без одежд. Когда же король нечаянно нарушил условие, Урваси покинула его. Король в отчаянии искал ее по свету и, наконец, настиг на берегу лесного озера. Он молил Урваси о прощении, но небожительница оставалась непреклонна. Тогда король сказал, что, если Урваси не вернется к нему, он бросится в озеро со скалы. Урваси отвечала:

— Не лишай себя жизни, король. Помни, невозможно завладеть навеки сердцем женщины, ибо ее душа, как волчица, ненасытна — ей нужна все новая и новая любовь.

С этими словами Урваси растаяла в воздухе.

Заключительная сцена драмы — исчезновение Урваси и безнадежное отчаяние короля, приникшего к голой скале,— заставила прослезиться многих зрителей. Одна лишь Деваяни радостно забила в ладоши, с победительной улыбкой глядя на меня. Ей, видимо, мнилось, что она — Урваси-небожительница, а я — новый Пурурава. Толпа недоуменно смотрела на королевскую чету... Впрочем, я не хочу об этом вспоминать.

На другой вечер было назначено представление: история Агастьи и Лопамудры из «Ригведы». Агастья был ученым брахмином, а Лопамудра — принцессой из касты кшатриев. Их союз был неравен, как и наш. Полушутя, сказал я Деваяни:

— Вот роли, которые подходят нам с тобой: я мог бы сыграть Агастью, а ты — Лопамудру.

Деваяни только усмехнулась.

Начался спектакль.

Святой долго хранил обет безбрачия, даже взяв в жены Лопамудру. Но однажды Агастья обратился с такими словами к своей супруге:

— Всякий рассвет возвещает рождение нового дня. Всякий новый день приближает нас к старости, гасящей пыл страстей. Нет человека, который избежал бы этой участи. Возлюбленная Лопамудра, для чего же мы до времени торопимся испить горькую чашу?

Однако Лопамудру мучают сомнения — она помнит, что муж ее связан обетом.

Агастья продолжает:

— Творец создал мужчин и женщин отличными друг от друга и наделил неизъяснимой сладостью единение мужского начала с женским. Значит, оно угодно творцу.

После долгих колебаний Лопамудра признается:

— Женщины, как и мужчины, жаждут сладостного мига единения, но мужчины говорят о том, а женщинам положено смущаться.

Зрители были в восторге. Но Деваяни поджала губы и уронила:

— Как глупа эта Лопамудра! Ей следовало повести себя как Урваси!

Зато ей понравилась комическая оценка, в которой принц переодевался танцовщицей и дурачил придворных.

Деваяни задумчиво сказала:

— Принц хорошо всех разыграл... Любопытно, ты мог бы так? Кого бы ты сумел изобразить?

Я пожал плечами.

— Отшельника, пожалуй,— продолжала Деваяни.— Ты лучше всего выглядел бы в роли отшельника: длинные волосы и борода, коралловые четки на шее, деревянные сандалии, в одной руке — чаша для подаяния, в другой — свернутая оленья шкура. Мне так легко вообразить тебя в этом виде!

Деваяни расхохоталась.

Я поддержал шутку:

— Жаль только, я еще ребенком поклялся матери, что не уйду в отшельники.

— Поживем,— увидим,— ответила Деваяни.

С севера все чаще прибывали гонцы с вестями о том, что на границе снова начались стычки с дасью. Отец когда-то предпринял поход и усмирил непокорные племена севера, теперь же они опять подняли голову. Необходимо было показать им силу Хастинапуры, пока они вконец не осмелели.

Я решил сам повести хастинапурские войска. Был выбран день, когда положение звезд благоприятствовало выступлению в поход. Занятый приготовлениями, я едва замечал, как летело время и приближался назначенный час.

Я полагал, что Деваяни будет опечалена, будет бояться за мою жизнь. Но она сохраняла спокойствие.

— Как мне трудно оторваться от тебя,— сказал я ей в последнюю ночь.

— Это действительно ты следовал за конем победы? — насмешливо спросила Деваяни.

На рассвете я испросил благословения у матери. Теперь Деваяни предстояло совершить обряд проводов мужа. Шармишта уже держала наготове серебряный поднос с зажженным светильником, свежесорванными листьями священного тулси, открытой коробочкой красного кумкума и другими ритуальными предметами. Деваяни протянула было руку к подносу, но в этот самый миг влетела запыхавшаяся служанка с объявлением, что к Деваяни прибыл гонец.

Деваяни заспешила к гонцу.

— Ваше величество,— зашелестели встревоженные жрецы,— благоприятный миг... ваше величество...

Жрецы перепугались: прервать обряд, время которого астрологи вычисляли с великим тщанием...

Мать побледнела и велела Шармиште продолжать совершение обряда.

Шармишта окунула палец в кумкум и под мантры, нараспев читаемые жрецами, отпечатала кружок на моем лбу.

Неужели может суть человека раскрыться в одном прикосновении? Деваяни была бесспорно красивее Шармишты, но ее касания напоминали холод статуи. Шармишта дотронулась до меня будто стебель вьющейся лианы.

Обведя светильник вокруг моей головы и осыпав меня рисом, Шармишта прошептала:

— Ваше величество, молю вас беречь себя...

Наши взгляды встретились. Я увидел слезы в глазах Шармишты. Шармишты — не Деваяни.

А Деваяни впорхнула в комнату, сияя радостью, со свитком в поднятой руке.

Неожиданно обратившись к матери, она вскричала:

— Ваше величество, не волнуйтесь — король возвратится с победой! Мой отец вовремя прислал свое благословение ему!

Деваяни подала мне свиток. Я прочел:

«Обитель опустела с твоим отъездом. Я живу как обычно, но все время чувствую, как мне чего-то недостает. Не знаю, всякий ли отец, выдав замуж дочь, переживает то же.

Я решился, наконец, подвергнуть себя испытанию, хоть и страшусь его. Утратив способность возвращать мертвым жизнь, боюсь, я прогневил бога Шиву, и потому мое испытание должно быть на сей раз предельно суровым. Но не беспокойся за отца, Деви. Твоего отца ничто не остановит. Пока не достигнет дух его силы, способной совершать деяния, равные воскрешению из мертвых.

Возможно, тебе покажется, что я напрасно готовлюсь принять суровые обеты и изнурить мою плоть ради этого. Знай же, Деваяни, что в этом мире сила ценится превыше всего. Твой отец обладал силой, выделявшей его среди людей, но утратил ее из-за собственной несдержанности, из-за пристрастия к вину. Сандживани давала мне власть, без сандживани я слаб и жалок. Власть — это жизнь, не обладающий властью — живой мертвец.

Прочтя это, ты поймешь, отчего я обрекаю себя на муки. Если ты отправишься ко мне без промедления, сразу по получении письма, мы с тобой простимся перед тем, как я удалюсь в пещеру.

Я жду тебя, Деваяни. Если свободен твой августейший супруг от исполнения государственного долга, пусть тоже приезжает. Я шлю ему мое благословение».

Я поднял глаза от свитка и снова встретился со взглядом Шармишты — полным надежды... вопрошающим. Шармишта ожидала, что святой Шукра пришлет и ей благословение или хоть просто о ней вспомнит. Шармишта не сомневалась, что я прочел бы это место вслух.

Я тяжело вздохнул.

Деваяни поняла мой вздох по-своему.

— Не огорчайтесь, ваше величество. Я повидаюсь с отцом и сразу же вернусь. Сердце женщины всегда в семье, даже когда она гостит в доме, вырастившем ее.

Жрецы все перешептывались, встревоженные нарушением обряда и тем, что был упущен наиболее благоприятный миг для его свершения. Теперь важно было не пропустить время, назначенное астрологами для выступления в поход.

Деваяни отмахнулась от них.

— Нужно подумать о большом жертвоприношении в помощь отцу. Чтобы он успешно выполнил обет. Мы это устроим, когда король вернется из похода.

— А если мне придется задержаться?

— Ну нет! Ты должен принять участие в жертвоприношении. Потом можешь опять вернуться к своим воинам!

Я был готов вспылить, но вмешалась мать, принявшая, к моему удивлению, сторону Деваяни,— мать радовала мысль о том, что королевское жертвоприношение привлечет во дворец святых и мудрецов со всей Арияварты.

Я склонился перед волей матери.

Деваяни просто ожила.

— Я не уеду,— объявила она,— пока не удостоверюсь, что начались приготовления к обряду. О, это будет большое жертвоприношение, мы созовем не меньше полусотни святых людей. И нужно непременно пригласить Качу...

Кача, подумал я. Чуть что — Деваяни вспоминает Качу. В чем дело? Кача довольно долго жил в обители святого Шукры. Понятно, что они с Деваяни часто встречались... и что? Влюбились? Какие чувства их соединяют?

Деваяни иной раз говорит во сне. Однажды она произнесла целую

фразу... Кача, говорила она, Кача... Потом что-то о цветах — чтоб он ей к волосам их приколол... Что-то еще... Странно!

О нет, незачем приглашать Качу на жертвоприношение!

Я глянул на Шармишту — почудилось мне или нет, что и она повеселела при мысли о свидании с Качей? Правда — она же мне говорила: Кача научил ее быть доброй, а доброта — это любовь. Неужели и она влюблена в Качу? Если приезд Качи обрадует злосчастную Шармишту, принцессу в рабстве,— я согласен.

Я велел:

— Непременно посоветуйтесь с главным министром, когда будете рассылать приглашения. Я бы не желал, чтоб кого-то забыли. И пригласите святого Ангираса.

Оттого ли, что вспомнилась мне обитель Ангираса, или оттого, что, пока я скакал к северной границе, передо мной все время холодно сверкали в синеве снежные вершины Гималаев, среди которых я каждое утро выискивал глазами трехглавый пик, похожий на трезубец Шивы,— но я постояннно думал о Яти. В этот последний год Яти как-то выпал из моей памяти. Я побывал в асурском королевстве, я взял в жены дочь асурского гуру и ни разу не вспомнил, что мне говорили о намерениях брата тоже встретиться со святым Шукрой. Я даже не справлялся о Яти и понятия не имел, куда он девался, достиг ли цели своих исканий? Весь этот год я был сосредоточен только на себе и на своих переживаниях, иначе мысль о брате хоть раз, да посетила бы меня. И вот, я вспомнил Яти во время похода на север. А почему бы не отправиться к подножию Гималаев, продлив поход? Едва до дасью дошел слух, что против них выступил сам король Хастинапуры, как их летучие отряды рассеялись по джунглям, и мои воины почти не видели противника.

Свободный от ратных забот, я вполне мог отправиться на поиски Яти — я должен был узнать, где мой брат. Однако мысли о Деваяни, тоска по ней гнали меня в Хастинапуру. Осмотрев укрепления, возведенные вдоль северной границы, я поспешил обратно.

Деваяни уже вернулась из отцовского ашрама. Столица готовилась к великому жертвоприношению. Деваяни всем распоряжалась, и мне показалось, что мое возвращение из похода не обрадовало ее.

Причину ее неудовольствия я узнал той же ночью, когда Деваяни дала мне прочитать послание святого Ангираса:

«Не могу принять участие в обряде, пока не будут развеяны мои сомнения о том, что чисты и праведны помыслы Шукры, ибо велика и страшна сила, которую вознамерился он обрести...»

— Он просто завидует отцу! — негодовала Деваяни.

— Не приедет Ангирас — не приедет и его ученик Кача,— напомнил я Деваяни, но тут же, подумав, как огорчится и Шармишта, добавил:— Было бы хорошо, если бы приехал Кача. Я был с ним дружен в юности.

— Но если Кача приедет, приедет он ко мне! — возразила Деваяни.— Это я с ним дружила в юности. Он три года провел у ног отца!

Шармишту я ни разу не видел, вернувшись из похода. Когда я справился о ней, Деваяни раздраженно ответила:

— Я отослала ее в Ашокаван.

Позднее Деваяни мне сообщила причину своей немилости:

— По какому праву Шармишта совершила обряд перед твоим походом? И даже кружок нарисовала — как жена!

— Но ты же знаешь — мать велела Шармиште совершить обряд...

— Как принцессе из вашей касты! Королева-мать обращается с Шармиштой как с любимой невесткой! Не сомневаюсь, что она предпочла бы, чтоб ты Шармишту взял в жены!

Я рассмеялся:

— Какие бы планы ни строила мать, ты все равно расстроишь их!

— Это рискованное занятие! Тебе известно, что по приказу твоей августейшей матери была отравлена дворцовая служанка?

Этой темы я касаться не хотел и, опечаленный, вышел вон.

Но в ту же ночь судьба сделала мне драгоценный подарок.

Я был вне себя от счастья — у нас будет ребенок, я буду отцом. Мальчик или девочка? Если мальчик, то на кого он будет похож? Говорят, когда мальчик в мать, это сулит ему удачу в жизни. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ребенок пошел в Деваяни, даже если родится девочка. Я каждый день буду молить бога, чтоб наши дети унаследовали красоту их матери. Деваяни — мать моих детей!

Поистине, счастьем дышала та жаркая ночь, счастливые мечты опять кружили мне голову...

Удача будто поселилась во дворце. Настал и миновал день великого жертвоприношения. Все прошло прекрасно, несмотря на то, что ни святой Ангирас, ни святой Агастья не почтили Хастинапуру своим присутствием. Это было досадно, но не более. Деваяни все ожидала Качу, но от него не было вестей.

Потом было устроено в Большом дворцовом зале обрядовое угощение брахминов. На нем присутствовала даже мать, укрывшись за занавесью, опущенной позади моего трона.

Как земля в пору цветения излучает какой-то особый свет, так женщина, растящая в себе новую жизнь, несет на себе отпечаток светлого величия. Деваяни всех ослепляла красотой, а я исполнялся гордости, видя, какими глазами смотрят на нее собравшиеся в зале.

Мы с нею обошли брахминов, касаясь в смиренном поклоне ног каждого, потом размеренным шагом поднялись по ступенькам и воссели на троне.

Я думал, что сердце Деваяни смягчилось, когда узнал, что она послала в Ашокаван за Шармиштой, но на приеме понял свою ошибку. Шармишта понадобилась, чтоб на глазах у всех обмахивать опахалом королеву Деваяни, восседавшую на троне.

Брахмины коснулись пальцами риса, благословляя трапезу. И в эту самую минуту главный министр шепнул мне:

— Прибыл святой Кача.

Деваяни расслышала его слова:

— Вели с почетом проводить его сюда. Король и королева рады приезду Качи.

— Святой Кача отказался входить в зал, ваше величество.

Деваяни нахмурилась

— В чем дело? Старик Ангирас склонил его на свою сторону? Тогда зачем он вообще явился? Прибыл в Хастинапуру, чтобы прилюдно оскорбить нас? В таком случае...

— Ваше величество! — ужаснулся главный министр.— Что вы, ваше величество! Святой Кача прибыл не один — с ним пустынник, который выглядит безумным, и святой Кача пожелал...

— Знать ничего не хочу! Приведите его вместе с безумцем! И вот что — я считаю себя сестрой Качи. Пусть его сначала подведут к трону, я возьму прах от ног его, а потом уже усадят на почетное место среди брахминов!

Главный министр поспешил выполнить волю королевы.

Дверь распахнулась, пропуская Качу, за которым следовал пустынник. Все взгляды обратились на них. По залу пронесся неясный ропот.

Кача склонился в низком поклоне. Я не мог отвести глаз от другого... уж не сошел ли я с ума?

За Качей следовал по залу Яти.

Я оцепенел от неожиданности.

Они остановились перед ступенями, которые вели к трону. Деваяни встала и сделала шаг вперед. Обычай требовал, чтобы первым поднялся с трона я. Я медленно встал на ноги. Деваяни уже склони-

лась перед Качей, но его взгляд упал на Шармишту, стоявшую за троном с опахалом.

— Принцесса? — изумленно вскричал Кача.— Что вы здесь делаете?

Деваяни распрямилась, как бамбуковый росток.

— Премудрый Кача, здесь нет принцессы. Это моя прислужница.

Яти, дико озиравшийся по сторонам, вдруг впился взглядом в Шармишту.

— Твоя прислужница? — переспросил Яти.— Отдай ее мне!

— Отдать ее вам, святой человек? — поразилась Деваяни.— Отдать ее вам в жены?

Кача пытался остановить Яти, но тот не слышал и не видел ничего. Кроме Шармишты.

А я смотрел на Яти, и в моих ушах звучали слова проклятия: «И дети короля Нахуши не познают счастья...»

— Для чего мне жена? — хрипло захохотал Яти.— Я хочу превратить ее в мужчину!

По залу пробежал смешок, но тут же его сменила испуганная тишина.

Из-за занавеси раздался гневный голос королевы-матери:

— Сейчас же вывести безумца вон! И наказать его плетьми, если он не перестанет болтать глупости!

Главный министр подал знак. В зал вбежали стражники...

— Не сметь! — остановил я их.— Не сметь касаться законного короля Хастинапуры!

Широко раскрывшиеся глаза Деваяни сказали мне, что она думает, будто и я рехнулся. Громко и отчетливо, чтобы все слышали, я произнес:

— Перед вами мой старший брат. Это король Яти.

— Яти?

Мать с криком выбежала в зал и при виде грязного человека, чьи волосы и борода были всклокочены и пересыпаны пеплом, рухнула у его ног со стоном:

— Это мой Яти?

(Окончание следует)

Литературное наследие

«Арфа царя Давида»

У истоков древнейшей лирической традиции

Вступление и перевод с древнееврейского СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА

Возьмет ли арфу: дивной силы
Дух преисполнится его,
И, как орел ширококрылый,
Взлетит до неба Твоего!

Так русский поэт пушкинской поры Николай Михайлович Языков завершает свое «переложение» псалма XIV, набрасывая в звучных стихах отсутствующий в подлиннике образ самого Псалмопевца и акцентируя в нем черты первозданной, стихийной, ничем не сдерживаемой поэтической мощи. Это мощь как бы нечеловеческая, дочеловеческая — словно явление природы. «Как орел ширококрылый»...

Этого искал в библейской поэзии не один Языков. Для ряда эпох от барокко до романтизма она представляла собой корректив и дополнение к античному идеалу уравновешенной красоты и человеческой меры. Выразительно об этом говорил современник Языкова Виктор Гюго в своем предисловии к «Кромвелю», прославленном манифесте романтической эстетики. Но много раньше оппоненты классической нормы вчитывались в то место из загадочного позднеантичного трактата «О возвышенном», где в качестве примера «возвышенного» приведено место из Ветхого завета. Греция дала образец меры, Библия — образец безмерности; Греции принадлежит «прекрасное», Библии — «возвышенное», то особое качество, которое в природе присуще не обжитым местностям, но крутизнам гор и пучинам морей. Тема греческой поэзии — статика формы, тема библейской поэзии — динамика силы. Грек Протагор сказал: «Человек есть мера всех вещей»; но Библия рисует бытие, как раз неподвластное человеческой мере, несоизмеримое с ней. Образы дикой природы в ветхозаветной «Книге Иова» — дождь, изливающийся не на участки людей, а на безбрежную и безлюдную степь; вольные звери, которых не сделать ручными,— это метафоры такой несоизмеримости.

С той антологией библейской религиозной лирики, которую в старые времена принято было называть Давидовой Псалтирью, как у европейской, так и специально у русской поэзии совсем особые отношения. Перечислить хотя бы важнейшие «переложения» и подражания немыслимо. Из западных образцов назовем только основополагающие шедевры немецкой поэтической традиции, принадлежащие Мартину Лютеру, и переводы Гердера, сыгравшие важную роль в становлении европейского верлибра. В России псалмы перелагали Ломоносов, Державин и многие, многие другие; но задолго до них отголоски, отзвуки псалмов звучали в русском фольклоре — в так называемых духовных стихах. Даже насмешливая пословица, приводимая Владимиром Далем — «И пьяный Тит псалмы твердит»,— по-своему напоминает нам, как трудно было найти в старинной русской жизни уголок, где бы псалмы отсутствовали вовсе.

«Псалом»— слово греческое и означает, собственно, «бряцание по струнам». Другое греческое слово —«псалтирь»; оно появляется впервые у Филона Александрийского (I в. до н. э.— I в. н. э.) и представляет собой название музыкального инструмента, более или менее похожего на арфу (отсюда традиционная христианская ас-

социация образа арфы и с царем Давидом, и с райским блаженством). Оба слова — следы эллинизма, внесенного в Библию александрийскими переводчиками. В подлиннике гимны издревле обозначались как «Хваления», а сборник — как «Книга Хвалений». Всего гимнов ровно 150— число, выбранное не без участия особой числовой эстетики, и сохранено оно не без усилий. Некоторые целостные песни были разъяты, а самостоятельные — соединены, чтобы в итоге получилось «красивое» круглое число. С этим связан разнобой в нумерации псалмов между древнееврейским, так называемым масоретским, текстом Библии (которому следует протестантская традиция) и греческим переводом, так называемой Септуагинтой (которому следует православная и католическая традиция). Для прилагаемых переводов мы даем двойную нумерацию.

Библейская хроника сообщает, что царь Давид, живший в XI—X вв. до н. э. (то есть во времена, когда у греков еще не сложился гомеровский эпос), учредил в Иерусалиме сообщества музицирующих певцов, которым было поручено благолепие богослужебного обихода; во главе этих сообществ стояли три верховных мастера (I Книга Паралипоменон, гл. 25). Едва ли случайно, что по меньшей мере об одном из трех верховных мастеров певческих коллегий времен Давида, а именно об Этане (или Йедутуне), мы точно знаем, что он был «эзрахи» — туземец, иначе говоря, ханаанянин, представитель доизраильского населения Палестины. Ханаанейско-финикийский край с давних пор был местом высокоразвитой музыкальной культуры; о его поэтических традициях дают понятие открытые в нашем веке литературные памятники Угарита (II тыс. до н. э.). В псалмах мы не раз встречаем образы, известные в угаритской поэзии; с некоторой долей метафоричности позволительно сказать, что чувствуем в этих местах руку нашего знакомца Этана или еще какого-то «эзрахи», призванного на служение единому Богу Ветхого завета. Таким образом, корни поэзии псалмов уходят во времена царя Давида (который, если верить очень древнему преданию — II Книга Самуила, гл. 23, ст. 1,— сам был одаренным поэтом), но и дальше в глубины угаритской древности. Но тот сборник, в рамках которого библейские «Хваления» предстают перед нами, сложился гораздо позднее и включает материал различных эпох, датировать который нелегко [1]. Их первозданность как эстетическое качество определяется в конечном счете не столько хронологией, сколько поэтикой, чуждой веяниям греческого рационализма и греческой риторики.

Переводить псалмы заново — трудная задача, решение которой не может не быть экспериментальным. Облик славянского перевода, с которым русские люди жили веками, определен греческой Септуагинтой; русский перевод (так называемый синодальный) в отличие от славянского учитывает древнееврейский подлинник, но сохраняет строй той же Септуагинты. Здесь необходимо отметить прежде всего два момента. Во-первых, древнееврейская поэзия, как правило, выражает мысль в меньшем количестве слогов, чем традиционные переводы, начиная с греческого. По-славянски «благослови, душе моя» — восемь слогов; по-гречески «евлогисон и психи му» — столько же слогов: но по-еврейски — «барки нафши»! Все звучит более сжато, лапидарно, резко, вызывая мысль не столько о медлительно влачащихся ризах, сколько о пляске Давида перед Ковчегом Завета «изо всей силы» (II Книга Самуила, гл. 6, ст. 14). Во-вторых, греческий перевод, используя опыт античной философской лексики, вносит уровень абстрагирования, чуждый Ветхому завету. «Всемогущий» — славянская калька греческого слова (либо «пантодинамос», либо «пантократор»), дающая в свернутом виде отвлеченный тезис догматического богословия: «Бог может все». Но еврейское «Шаддай», по действию народной этимологии вызывая мысль о сокрушительной мощи Бога, совершенно не имело привкуса теологической абстракции; оно апеллирует не к рассуждению, а к опыту. (Мы передавали его выразительным славянским словом «Крепкий».)

---

[1] Многим псалмам предпосланы т. н. «надписания» (заглавия), не являющиеся частью поэтического текста, как такового (в данном переводе они опущены). Их смысл не всегда ясен. Формула, употребляемая во многих надписаниях, по-еврейски это может означать: «(песнь) Давида», «для Давида» или даже «о Давиде» (с оглядкой на одну интересную угаритскую параллель). Подзаголовок «о Давиде» может означать «от лица Давида», «применительно к событиям жизни Давида»; в таком случае почитаемая и окруженная легендами личность царя Давида служит своего рода парадигмой для скорбей и надежд коллективного «я», осуществляющего себя в культовом действии. Называются и другие имена песнопевцев — например, имя левита Асафа, одного из тех, кого Давид, согласно древней хронике, «поставил начальниками над певцами в доме Господнем» (I Книга Паралипоменон, гл. 6, ст. 39).

И еще одно замечание. Древнееврейская поэзия держится на тоническом ритме, то есть на более или менее регулярном счете ударных слогов при варьирующемся числе безударных. Мы сохранили этот принцип, но позволили себе несколько утрировать ритмичность, чтобы передать свойство псалма — быть песней. Для богослужебного перевода это не было нужно — в церкви псалом и так поют или читают нараспев. Но перевод для чтения глазами должен вобрать в себя и древнее пение, и древнюю жестикуляцию, телодвижения, покачивание... Ведь это Восток. Как сказано у Пастернака:

...Не домыслы в тупик
Поставленного грека...

I

О, благо тому,
кто совета с лукавыми не устроял,
на стезю грешных не вступал,
между кощунниками не сидел;

но в законе Господнем — радость его,
слова закона в уме его день и ночь.

Он как дерево, что насаждено
у самого течения вод,
что в должное время принесет плоды,
и не увянут листы его.

Устроится всякое дело его.

Грешные не таковы,
они — как развеваемый ветром прах.

Грешные на суде не устоят,
лукавым меж праведных места нет;
путь праведных ведает Господь,
но потерян лукавых путь.

LVI/LVII

Помилуй, Боже, помилуй меня,
на Тебя уповает душа моя;
укроюсь под сенью крыл Твоих,
покуда не минула беда.

К Богу Вышнему вопию,
к Богу, вызволяющему меня;
Он пошлет с небес помощь ко мне,
губителя смутит моего.

Бог ниспошлет милость Свою,
ниспошлет верность Свою.

А моя душа — в кругу львов,
хищники окрест нее,
лютые, пожиратели людей;
копья и стрелы — зубы их,
языки — острые мечи.

Превыше небес, Боже, восстань,
распростри над землей славу Твою!

Для стопы моей уготовали сеть —
и поникла душа моя;
вырыли яму на пути моем —
и сами пали в нее.

Боже, готово сердце мое,
готово сердце мое!
Воспою, воспою Тебе хвалу;
песнь моя, пробудись!
Арфа, проснись, цитра, проснись,
я разбужу зарю!

Господи, средь народов скажу о Тебе,
меж племен воспою Тебе хвалу,
ибо до небес — милость Твоя,
до облаков — верность Твоя.

Превыше небес, Боже, восстань,
распростри над землей славу Твою!

LXXI/LXXVII

К Богу — вопль мой, и я воззову,
к Богу — вопль мой, и слышит Он меня,
в день скорби моей
Господа я взыщу.

Всю ночь простираю руки мои,
не даю им упасть,
не хочет утешиться душа моя!

Помыслю о Боге и воздохну,
раздумываю, и никнет дух мой,
не даешь ты дремоты веждам моим,
смятен я, и смолкает речь моя.

Поминаю давни дни,
древние годы привожу на ум,
с сердцем моим собеседую в ночи,
прилежно очищаю дух мой.

Иль вовек отринул Господь
и не станет более благоволить,
иль вовек отступила милость Его,
и престало слово Его
в род и род,
или миловать Бог позабыл,
затворил во гневе щедроты Свои?

И сказал я: «Вот боль моя:
десница Вышнего изменена!»

Воспомню о Господних делах,
о древних воспомню чудесах,
исследую все деяния Твои,
поразмыслю о свершенном Тобой.

О, Боже! Свята стезя твоя;
кто есть бог, что велик, как Бог!
Ты — Бог, что творит чудеса,
Ты силу Твою меж языков явил,
Ты вызволил дланью народ Твой —
Иакова, Иосифа сынов.

Видели воды, Боже, Тебя,
видели воды, и взял их страх,
и бездны объяла дрожь.
Облака изливали проливень струй,
небеса издавали гром,
и летали стрелы Твои.
Глас грома Твоего — в кругу небес,
молнии светили над всей землей,
содрогалась, сотрясалась земля.

В пучине — пути Твои,
в водах великих — стезя Твоя,
и следы Твои не испытать.
Как стадо, вел Ты народ Твой —
Моисея, Аарона рукой.

XC/XCI

Ты, что живешь у Вышнего под кровом,
под сенью Крепкого почиешь,
скажи Господу: «Оплот мой, моя сила,
Ты — Бог мой, на Тебя уповаю!»

Ибо Он избавит тебя от сети ловчей
и от язвы губящей,
осенит тебя Своими крылами,
и под сенью перьев Его утаишься.

Щит твой и доспех твой — Его верность.

Не убоишься ни страха ночного,
ни стрелы, во дни летящей,
ни язвы, крадущейся во мраке,
ни мора, губящего в полдень.

Тысяча падет с тобою рядом,
и десять тысяч — одесную,
но до тебя не коснется;
только воззришь очами твоими,
возмездие злым увидишь.

«Господь — упование мое!» — ты молвил,
Вышнего избрал ты оплотом;
зло с тобою не приключится,
бич шатра твоего не тронет.

Ибо Вестникам Своим тебя поручил Он,
чтобы тебя на всех путях твоих хранили;
на руки они тебя подымут,
чтобы о камень ты стопою не преткнулся.

На аспида и василиска наступишь,
попирать будешь льва и дракона.

— Он приник ко Мне, и Я его избавлю,
возвышу его, ибо познал он Мое имя,
воззовет ко Мне, и ему отвечу;
с ним буду в скорби,
избавлю его и прославлю,
насыщу его долгою жизнью,
спасением Моим его утешу.

CXXVI/CXXVII

Если дома не строит Господь —
к чему строителей труды?
Если града не хранит Господь —
к чему бодрствует страж?

К чему вам рано вставать
и поздно отходить ко сну,
вкушать хлеб маеты?
Любимых одарит Он во сне.

Вот дар от Господа — сыны,
плод чрева — награда от Него;
как стрелы в сильной руке,
сыны юности твоей.

О, блажен человек,
что наполнит ими колчан!
Будет у него ответ,
когда к воротам подступит враг.

■

Публицистика

ДЮЛА ФЕКЕТЕ

ОГРАБЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Размышления о новой форме эксплуатации

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

Потребление будущего, или «минутный» народ

Поучительно наблюдать, кто как ест арбуз, кто как приступает к этому делу.

Я и по сей день ем арбуз так, как научился у отца и у деда: вырезаешь лучшую часть, сердцевину, и откладываешь на край тарелки. Потом, кончив со своей половиной или четвертью, старательно соскоблив красную мякоть с корки, принимаешься — как бы на десерт — за ароматную, мягко похрустывающую, сочную, тающую во рту сердцевину.

Наблюдал я и такое: кто не откладывает сердцевину напоследок, с нее именно начинает, тот лишь разоряет, расковыривает арбуз, оставляя много мякоти по краям, где она не такая сладкая.

Выходит, крохотное воздержание, когда человек начинает есть арбуз не с сердцевины, не с самого сочного куска, с лихвой себя оправдывает: во-первых, такой арбуз может быть съеден, так сказать, с максимальным эффектом, с меньшим количеством отходов; во-вторых, и удовольствия при этом больше: оно растет, достигая вершины к концу. Словом, тут нужна некоторая жертва, минимальное воздержание, но овчинка стоит выделки.

Ага, скажете вы, мораль этой маленькой притчи, кажется, очень напоминает печально известный лозунг пятидесятых годов, который гласил: «Не надо спешить съесть курицу, которая, может быть, завтра снесет золотые яйца».

С какой стороны ни смотри, в самом деле напоминает. Но то, что лозунг этот печально известен, еще не значит, что он лишен смысла. Да, мы в свое время не съели такую курицу, а она и не подумала нести нам золотые яйца, и этот вариант — ни курицы, ни яиц — в самом деле худший из всех, какие только можно себе представить. Удивительно ли, что многие пришли к выводу: лучше было бы съесть эту курицу! Лучше курица сегодня, чем гипотетическое золотое яичко — завтра...

Пожалуй, слишком уж многие пришли к такому выводу.

К выводу (коли уж мы коснулись пословиц), что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Или говоря по-иному (но тоже венгерской пословицей): лучше воробей в руке, чем голубь на коньке. Только вот мудрость эту, по всей очевидности, не совсем верно понимают те, кто не хочет слышать в ней ничего, кроме очевидной истины: верный выигрыш сегодня лучше надежды на выигрыш завтрашний.

Итак, пожертвовать завтрашним днем ради сегодняшнего? Завтрашними благами ради сегодняшних? Не думая о завтра, жить только сегодняшним днем? Такая позиция совершенно чужда как раз крестьянскому, народному мироощущению, образу жизни, морали, чужда мышлению того слоя, который создал больше всего пословиц. Не вполне уверен, что чужда сегодняшним крестьянам, но прежним — совершенно точно.

Прежняя жизнь крестьянства во всех ее проявлениях приучала людей — приучала жестко и строго — к тому, чтобы они как можно больше «загадывали» вперед, думали, что́ будет спустя месяц, год, несколько лет, что́ будет спустя целое поколение. Если осенью человек выходил в поле пахать или сеять, перед мысленным его взором колыхалось золотом пшеничное поле грядущего лета; в только что родившемся жеребенке он уже видел взрослую, послушно тянущую воз лошадь, которая через несколько лет сменит в оглоблях старого коренника; сажая дерево, чувствовал на губах вкус будущих яблок, на лице — прохладу тени от будущей кроны. Строя за домом хлев для свиней, роя колодец, сооружая прочный фундамент под столбы, на которые навесит ворота, он делал все это с таким расчетом, чтобы хлев, колодец, ворота служили и его внукам.

И это были вовсе не какие-нибудь прекраснодушные мечты: сама жизнь

Окончание. Начало см. в № 5, 1988.

вынуждала его постоянно думать о будущем; может быть, даже больше о будущем, чем о сегодняшнем дне. Точно так же, как, собрав урожай, он первым делом заботился о семенном зерне, о хлебе будущего года, и лишь то, что оставалось, шло на выпечку, на уплату налогов, на продажу.

Забота о будущем настолько пронизывала повседневное бытие, образ жизни крестьянина, все его дела и планы настолько связаны были с будущим, что сознание будущего в крестьянском мире постепенно превратилось в мораль, которая осуждала и отрицала все известные той эпохе способы жить сегодняшним днем.

Эта мораль определяла поведение крестьян в такой мере, что у многих переходила в аскетизм, в отказ от всяких удовольствий, даже от маленьких радостей повседневного бытия.

О, сколько убожества и невежества, свойственных прежней крестьянской жизни, до недавнего времени сковывали душу и ум земледельца! В какой деревне не было нищих богачей, которые даже домашних держали впроголодь, лишь бы прикупить к своим землям еще клинышек. Или закостеневших в суровом аскетизме женщин, которые уже в 35—40 лет одевались сплошь в черное и не снимали вороньего своего наряда до самой смерти; они и цветущими молодухами жили уже точно так же, не смея радоваться даже любви: им просто было бы стыдно, ужасно стыдно хоть на миг, забыв обо всем, отдать наслаждению свое тело и душу. В этом строгом крестьянском мире любая радость была подозрительна; даже улыбаться можно было лишь изредка.

Старые это воспоминания. И у меня, надо честно признаться, воспоминания в основном семейные.

С тех пор мир основательно изменился, кое в чем даже вывернулся наизнанку. Нынче не очень-то принято отказываться от сегодняшней радости ради дня завтрашнего; скорее наоборот: люди предпочитают жить моментом, не заботятся о будущем, о перспективе.

Нынче? Да только ли нынче? Вон еще Петер Вереш говаривал, и довольно часто, о приверженцах «религии наслаждения» и «религии жертвенности», то есть о тех, кто живет исключительно для себя, для мгновения, и об аскетах, отдающих себя другим: детям или народу, вере или обещанному раю.

Верно, верно, есть и такие, есть и этакие. Само по себе разделение это не ново, вот только пропорции нынче иные: если прежде в деревне осуждали тех, кто живет легко и беззаботно, то сегодня (и в городе и в деревне — везде) с осуждением, почти с ненавистью, с завистливой злобой относятся к тем, кто выбирает себе трудный путь. Косые взгляды, неодобрение, насмешка, а то и публичное осмеяние достаются сегодня тем, кто идет на жертвы во имя детей, во имя идеи, веры, будущего.

Я бы сказал, что это явление повсеместное: изменившиеся пропорции можно измерить и обосновать данными статистики, особенно в цивилизованных странах. Можно с помощью цифр описать живущий мгновением народ, что с неубывающим аппетитом пожирает сегодня собственный завтрашний день; показать, как оскудевают резервы общества, как опускается рождаемость ниже угрожающего уровня, как слепая корысть загрязняет и уничтожает природу (после нас хоть потоп!), разграбляет запасы энергии, накапливает долговременные долги.

Судя по всему, баланс нарушен опасно и, может быть, непоправимо, причем в масштабах целого общества. В тех цивилизованных странах, где завоевывает позиции самоубийственный образ жизни народа, живущего нынешним днем, уже отсутствует могучая прежде масса крестьянства старого типа, которое, возможно, выправило бы этот крен. В нынешних цивилизованных обществах, где все имеют право на пенсию, жизнь уже не заставляет людей (как непосредственно и подчас жестоко заставляла когда-то) каждодневно, не жалея сил и жертв, заботиться о собственном будущем.

Надо признать, что в значительном большинстве оказались сегодня люди, которые принципиально, сознательно и ни на что невзирая отдают завтрашнего журавля за сегодняшнюю синицу.

Недавно прочел остроумный трактат Йожефа Киндлера, его теоретические рассуждения, характеризующие именно такое, все более распространяющееся отношение к жизни.

Всем известен непреложный закон перспективы, согласно которому находящиеся вблизи предметы выглядят крупнее, далекие — мельче. Подобное визуальное искажение характерно и для временных расстояний: близкое кажется важным, далекое — малосущественным. Нынешнюю ценность вещей, которые обретут для нас истинное значение только в будущем, экономическая наука умеет выражать и в цифрах, пересчитывая — дисконтируя — то, что будет оплачено завтра, на сегодняшнюю стоимость.

Понятие «дисконтировать», взятое из финансовой экономики, Киндлер распространяет на мир человека и на природу, на отношение к будущему, на образ будущего. Он говорит: синица есть дисконтированный журавль. То есть, если завтрашнего журавля перевести в его сегодняшнюю стоимость, мы получим вместо него синицу.

В пример Киндлер приводит лесное хозяйство, где период между вырубками — «гестативное время» — составляет от 30 до 120 лет, то есть там особенно велик коэффициент пересчета, а говоря попросту, опасность того, что интересы данного момента вытеснят интересы будущего. Где найдете вы такого хозяина (будь то капиталист или любой иной предприниматель), который всерьез занимался бы капиталовложениями, время окупаемости которых составляет более десяти лет, а уж тем более 30—120 лет!

Хотя бы уже поэтому чисто экономи-

ческий подход заведомо будет толкать нас к потреблению будущего, к чрезмерному дисконтированию. Я думаю, журавль послезавтрашний в дисконтированном пересчете равен божьей коровке... Подобное же — укорачивающее перспективу, склоняющее человека к потреблению будущего — влияние оказывает опирающаяся на экономический подход политика малых шагов, которая — будучи политикой сугубо реалистической — всегда исходит из сегодняшней ситуации, но чаще всего в ней и застревает.

Кроме того, коэффициент пересчета сильно, порой до абсурда, вырастает благодаря существованию противодействующих интересов. Автор делает многозначительный вывод: «Существующий и действующий в нашей практике, пронизывающий всю нашу жизнь, весь наш мир экономический критерий, если он применяется к системам с гестативным периодом более десяти лет — невзирая на их важную (в перспективе или даже непосредственно), подчас в прямом смысле слова жизненно важную роль,— опасно сокращает перспективы».

По отношению к народонаселению «гестативный период» составляет 20—25 лет, так что «пронизывающий всю нашу жизнь, весь наш мир экономический критерий» заведомо мешает серьезно, ответственно заняться проблемами народонаселения.

Защитить перспективные интересы лесного хозяйства, не дать заслонить их сиюминутными, корыстно-безрассудными интересами могут только законы и умные политики. Точно так же обстоит дело и по отношению к другим перспективным общественным интересам. А в первую очередь и особенно старательно нужно оберегать от всякого рода дисконтирования, от корыстных, сиюминутных посягательств, от узкоэкономического подхода перспективу выживания, социальной преемственности человечества. Оберегать с помощью внутренних и внешних законов, то есть с помощью нравственных и правовых положений.

Глас вопиющего в пустыне!..

Торжествующие повсюду экономические критерии дисконтируют завтрашнего слона (опасности, которыми грозят диспропорции в росте народонаселения) в едва заметную муху и тем самым вводят в заблуждение самое экономическую науку.

Что может сделать в такой ситуации писатель? Особенно если его уже много лет обвиняют в том, что он преувеличивает грозящие обществу опасности, хотя в каждом отдельном случае выяснялось, как правило, противоположное: писатель тоже непроизвольно дисконтировал, и ситуация сейчас тяжелее, чем он считал пятнадцать — двадцать лет назад.

Что может сделать писатель, если даже те его прогнозы, которые составлены на основе очень смягченного дисконтирования, презрительно называют чрезмерной драматизацией ситуации? Ситуация же, видимо, действительно близка к катастрофе. На это указывает как раз тот факт, что и в самом сдержанном анализе демографических тенденций людям мерещится драматизация и что уже сама постановка вопроса о грозящей катастрофе вызывает невольный внутренний протест, известный как «эффект бумеранга» когда положение выглядит совершенно безнадежным, мрачным, безвыходным, человек с радостью хватается за любые аргументы, позволяющие не принимать дело всерьез.

Похоже, что человек просто не умеет еще жить в условиях цивилизации. Безраздельно завладевший умами принцип «жить для себя», «жить сегодняшним днем» превращает целые нации в «минутные» народы. А для того, кто живет для себя, живет мгновением, остается одна перспектива: жить для смерти. Приватную жизнь завершает приватная смерть, и круг уже замкнут: с сознанием, что в конце концов тебя все равно закопают, в самом деле нельзя жить, трудиться, бороться.

Правда, не слишком заманчива и другая крайность, когда человек напрочь пренебрегает сегодняшним днем. Это крайность безрадостного, унылого аскетизма. Хотя верно (эта гримаса судьбы заставляет задуматься) и то: среди гедонистов, искателей удовольствий куда больше самоубийц, чем среди суровых аскетов.

Все это никак не влияет на тот очевидный факт, что нынче большинство людей считают законченными глупцами аскетов, отрицающих день сегодняшний и живущих надеждой на будущее блаженство. Не знаю, как насчет глупости последних, но зато в подлости их никак не упрекнешь.

Роковое противоречие нашего человеческого бытия — его непреходящая вечность и навеки уходящий сегодняшний день. Нужно жить сразу в двух измерениях, и это — самое трудное. Ибо когда равновесие нарушается в ту или иную сторону, жизнь становится жалкой и бессмысленной.

О природе. Уже добрых лет сто лес находится под защитой закона, но корыстный экономизм, руководимый сиюминутными интересами, находит в природе вполне достаточно такого, что совсем беззащитно.

Не стану подробно останавливаться здесь на проблематике экологии, перечислять тревожные признаки, связанные с загрязнением, разрушением, уничтожением биосферы, природного и социального окружения человека. Достаточно об этом кричат «зеленые», хотя многие справедливо упрекают их в том, что у них нет настоящей идеологии, что они непоследовательны в политике, что преувеличивают реальные проблемы, что в собственных их рядах немало острых противоречий и разногласий. Все это так, но не потому ли что их внимание целиком сосредоточено лишь на симптомах?

Весьма вероятно, что многие экологические проблемы тоже уходят корнями в позиции нового паразитизма, ограб-

ления будущего. Вспомним: современная индустрия, цивилизация, большие города, развиваясь относительно синхронно в разных частях света, синхронно же осуществляли и закрепляли практику свободного загрязнения воздуха, почвы, воды, вообще природы. На том «убедительном» основании, что-де «воздух принадлежит всем», заводские трубы свободно извергали дым, механизмы свободно производили шум, выхлопные трубы автомобилей свободно наполняли узкие улицы ядовитой окисью углерода. Реки, моря тоже принадлежат всем, то есть никому конкретно, а значит, всякий вправе отравлять их любыми сточными водами. И т. д. и т. п.

Привычка — великая сила; будучи юридически закрепленной, она вырастает в огромную власть. Ее многократно усиливает сиюминутный — непосредственный — интерес. Выгода.

Очищать дым, газ, воду от ядовитых веществ — даже частично — накладно и сложно. Возвращение мусора и отходов в процесс производства, в круговорот жизни далеко не всегда тотчас приносит ощутимую выгоду. Правда, сегодня экономисты уже вынуждены считаться со штрафами за загрязнение среды, но вдали от больших городов, в районах с неразвитой промышленностью до сих пор главное слово принадлежит быстрой выгоде, профиту — сиюминутному, местному, непосредственному интересу.

А ведь в конечном счете и там загрязняется та же вода, тот же принадлежащий всем людям воздух. Сиюминутные интересы повсюду сталкиваются с интересами дальними, и решающее значение для человека, для истории приобретает вопрос: насколько удастся связать интересы настоящего с интересами более важными, связанными с будущим рода человеческого?

Цивилизацию создал частный капитал, для которого главное — максимально быстрая оборачиваемость. Чего ради группы людей, общество, человечество должны были считаться при этом с перспективными интересами человеческого рода как такового? Сегодня уже не осталось сомнений: цивилизация, ориентированная на сиюминутные интересы, рано или поздно отравит самое себя, если не повернется лицом к человеку. Это редко упоминаемое условие — самое важное в век научно-технической революции, все аспекты которой, казалось бы, давным-давно и со всех сторон изучены и обсосаны.

Очень хочу я надеяться, что социализм — современный социализм — способен сделать для создания единственно жизнеспособной, человекоцентрической цивилизации больше, чем те общественные системы, в которых двигателем хозяйственного, технического развития и ныне является капитал, выгода, сиюминутный интерес.

И мы вполне бы могли сделать больше, если бы не норовили, дивясь с разинутым ртом несомненным успехам цивилизации, оказаться в том самом тупике, из которого мечтают выбраться пионеры этой цивилизации. Ибо перед ними зияет бездонная пропасть, и большинство их давно понимают: в этом направлении идти дальше нельзя!

В этом направлении нет будущего.

Даже без обстоятельного анализа в обрисованную здесь картину легко укладываются другие испытанные способы проматывания будущего: хищническая растрата энергии, исходящая лишь из сиюминутных интересов, разбазаривание сырья, легкомысленное выпрашивание — во многих случаях просто бездарно растраченных — долговременных займов, от которых потомкам нашим не будет никакой пользы, но выплачивать которые придется им.

Серая опасность

Близится «серая опасность»! — утверждает американский еженедельник «Ньюсуик». Она грядет, грядет неудержимо, и волна ее в первую очередь обрушится на цивилизованные страны. В сущности, она не просто грядет, не просто близится: она уже здесь, уже затопила нас...

Понятие «серый» в новом контексте обретает и новый смысл. В пока еще непривычных (непривычными им оставаться недолго) выражениях — серая опасность, серая волна, серое общество — «серое» есть синоним понятий «старое», «дряхлое».

«Нужно считаться со старением мира!» — кричит заголовок в «Ньюсуике», и тут я в самом деле вижу некоторое преувеличение, поскольку старение в буквальном смысле — по крайней мере на данный момент — грозит лишь относительно небольшой части мира. С точки зрения и территории и населения серое пятно пока что совсем не довлеет на карте Земли. Как раз напротив, самая жгучая, действительно всемирных масштабов проблема — чрезмерно высокая рождаемость. Проблема эта касается миллионов и миллиардов людей на огромных пространствах планеты.

Так что о серой опасности, грозящей в с е м у миру — миру в целом, — пока речи нет. Хотя неумеренная рождаемость, судя по всему, идет на спад, здравомыслящие люди постепенно все больше понимают, что пригодная для жилья и возделывания земля имеет свои пределы, как имеют пределы ресурсы энергии, питьевой воды, даже, оказывается, чистого воздуха. То есть — в интересах всего человечества — простое воспроизводство населения, сохранение его на достигнутом уровне.

Но до этого нам, увы, еще далеко.

Этот желательный уровень пока нигде в мире не выдерживается сколько-нибудь постоянно: показатели отклоняются или в сторону демографического взрыва из-за чрезмерно высокой рождаемости, или в сторону спада, низкой рождаемости, старения.

Считаться со старением мира? «Ньюсуик» ошибается, со старением м и р а еще долго не надо будет считаться. Не-

сколько серых пятен на карте не следует путать со всем человечеством. Правда, процент стариков возрастает везде, в том числе в странах с очень высокой рождаемостью, но к старению мира это никакого отношения не имеет.

В данном случае старение не только не опасность, но, напротив, замечательное завоевание цивилизации: совершенствуется здравоохранение, растет жизненный уровень, улучшаются условия труда, меньше умирает младенцев и взрослых в расцвете сил, больше людей доживает до старости (правда, к нам, венграм, это не относится).

Возрастная структура народонаселения в самом деле меняется, повсюду в мире растет процент пожилых. Но разве не к этому мы стремимся, каждый в отдельности и все вместе: жить как можно дольше, причем жить здоровыми? Как бы далеко ни заглядывали мы в будущее, это всегда останется целью любого жизнеспособного общества.

Серая опасность, серая волна, старение — все это становится угрозой там, где начинает убывать потомство, где детей рождается меньше, чем имеется способных к деторождению взрослых, где возникает и укрепляется тенденция к сокращению различных возрастных групп детей. Все меньше становится молодежи, все больше стариков — как у нас в Венгрии на протяжении доброй четверти века,— и вот наконец гробов требуется больше, чем пеленок. (Как у нас.)

Репортеры «Ньюсуика» смешивают злокачественное, гибельное старение со здоровым, нормальным старением, с ростом средней продолжительности жизни.

Скажем, приводимая ниже характеристика серой опасности справедлива лишь для злокачественного старения.

«В Западной Европе уже не хватает и будет все больше не хватать рабочих рук для поддержания той системы, которая стала основной формой помощи гражданам преклонного возраста. В ФРГ средства, получаемые каждым отдельным пенсионером, добывают двое работающих. ...Но к 2000 году содержать одного пенсионера будет уже один работающий... Во многих других странах средства, необходимые для врачебного и санитарного обслуживания стариков — средства эти нередко в три раза выше идущих на молодежь,— также неподъемным грузом ложатся на плечи работающих.

Один западногерманский социолог пишет: «Нынешняя система обеспечения пожилых людей неизбежно развалится, другого выхода нет».

Кое-где развал уже начался.

Вот, скажем: «Дома призрения находятся нынче почти на уровне учреждений, где приводят в исполнение судебные приговоры».

Опытная санитарка из ФРГ: «В этих домах к людям относятся как к животным. Они целыми днями сидят в мокрой, пропитанной мочой одежде, и никто им не помогает. В одном из домов есть «стучащая комната»: так называют палату, где закрытые на ключ старики с утра до вечера без всякой надежды колотят по стенам и по двери, чтобы их выпустили».

Не случайно, наверное, что упомянутый репортаж самые устрашающие примеры приводит по данным ФРГ: фоном им служит сокращение пополнения, злокачественное старение. Вот демографический прогноз по данным другой публикации: если цифры рождаемости не изменятся, немецкое население ФРГ с сегодняшних 60 миллионов к 2000 году сократится до 52, а к 2030-му — до 38 миллионов.

Анализ в этой статье не останавливается на том, сколько турецких, югославских и прочих иностранных рабочих заменят выбывшие 12 миллионов работоспособных немцев: ведь еще в те годы, когда численное сокращение не затронуло эту возрастную группу, иностранных рабочих там было уже почти 5 миллионов.

Дорогостоящие станки, автоматические поточные линии без человека будут лишь стоять и ржаветь; могучая, наисовременнейшая промышленность, торговля, сервис, транспорт, ну и, конечно, жадный до сиюминутной выгоды капитал пожирают людей, пожирают без разбора, невзирая на национальность.

Репортеры «Ньюсуика» долго перечисляют опасности, которые угрожают серому обществу.

Чем дальше заходит процесс старения, тем мрачнее хозяйственные перспективы.

Чем больше груз пенсий, груз социального и медицинского обслуживания, тем больше общественные затраты на них, тем дороже продукция, производимая обществом.

Кроме того, «стареющая рабочая сила подрывает промышленное производство и его модернизацию», то есть общий процесс технического развития.

Естественно, стареет и общественная мысль: огромный лагерь пожилых избирателей может превратиться в самую крупную, решающую силу политической жизни; в Италии уже возникла Партия пенсионеров, в Западной Германии создается организация «Серые тигры». Так что политика, осуществляемая в той или иной стране, не может не учитывать — и все в большей мере учитывает — растущее влияние этого нового массового фактора.

При этом необходимое в данный момент отодвигает на задний план интересы будущего, необходимое в перспективе.

Отделенная от наличия детей пенсионная система, как предсказывают экономисты, футурологи, социологи, повсюду в стареющих странах идет к своему краху.

Такие и подобные тревожные сигналы в последнее время множатся в западной прессе. Эта (пока еще изучаемая лишь ощупью, неуверенно, по-журналистски) серая опасность заставляет экономистов, как буржуазных, так и марксистов, серьезно задуматься: что же, выходит, капитал вовсе не обла-

дает сам по себе ни производящей, ни даже содержащей функцией?

Выходит, что и наисовременнейшая промышленность, вся эта масса роботов и автоматических линий,— лишь никому не нужный хлам, свалка железного лома, если рядом нет человека, который все это изобретает, конструирует, создает, производит, пускает в действие, поддерживает в рабочем состоянии, проверяет, ремонтирует и модернизирует?

Выходит, без достаточного количества врачей и сиделок даже наилучшим образом оборудованный дом призрения превращается в тюрьму со «стучащими комнатами»?

Выходит, что главный источник любой хозяйственной ценности все же — человеческий труд, трудящийся человек?

Кто за мной будет ухаживать?

Одно из самых тяжких последствий общественных — по крайней мере частично закономерных — сдвигов: одиночество в старости.

Начну с очевидных, не раз описанных, повсеместно известных фактов.

Развивающаяся промышленность у нас в Венгрии втянула в себя, даже из самых глухих уголков страны, излишки рабочей силы, имевшиеся в деревне; мало-помалу дело вышло далеко за границы излишков, оторвав от земли уже становящиеся дефицитом рабочие руки. Разумеется, прежде всего из молодых возрастных групп.

В то же время по стране слишком мало женщин занимается домашним хозяйством; женщины и в городе и в деревне заняты на работе. Все то, что они делали прежде дома (точнее, необходимую и на нынешний день часть этих дел), падает на домашнюю смену или остается несделанным.

В то же время семья, состоящая из трех или более поколений, нынче редкость; молодежь, женясь или выходя замуж, отселяется от родителей «на собственные хлеба». Теперь уже не стена, не дверь, а километры, может быть сотни километров, отделяют их от стареющих близких.

В то же время: есть много семей, состоящих из двух-трех человек, семей с одним ребенком, и прежнее соотношение мало-помалу сменяется на обратное; когда-то постель старого, ослабевшего отца семейства обступали, причем ежедневно, человек семь-восемь — сыновья, дочери, снохи, зятья, внуки. Близится время, когда одному-двум — если они не уехали слишком далеко — молодым людям придется бегать от постели к постели неведомо скольких одиноких, больных прабабок, бабок, дедов, матерей, отцов, свекровей, свекров, тетей и дядей.

Отдельный, прямо не относящийся сюда вопрос: что в этих процессах приемлемо, закономерно, а что плохо, вредно, опасно? Независимо от наших оценок все это — процессы реальные, мы должны видеть их ясно, видеть их последствия.

Например, те последствия, которые, как я подозреваю, поставят под вопрос наши прежние представления об обеспечении в старости.

Недавно, готовя одну социографическую работу, я прочел множество писем стариков. Приводимый ниже отрывок взят из письма некоего вдовца, живущего в Пештэржебете:

«...У всех старых супружеских пар одна и та же беда: если один умирает, второй остается на всю оставшуюся жизнь одиноким. Да все это еще не так страшно, пока одинокий старик способен передвигаться. Самое скверное начинается, когда он совсем ослабеет, даже за молоком не может сходить. Правда, для стариков создают дома, где они могут проводить целый день. Но что толку от таких домов, если тебе трудно ходить и ты до этого дома сам не способен добраться. Должен сказать, к сожалению: все это — из-за «женского равноправия», из-за распада прежних семей, в которых вместе жили несколько поколений. Вы спросите: почему? Я вспоминаю свое детство, моя мать ухаживала за дедом: она работала дома, была домашней хозяйкой. А кто станет ухаживать за мной и за многими сотнями тысяч других стариков? Что из того, что у меня есть дети и я, когда стану беспомощным, смогу поселиться у любого из них? Моя дочь работает, зять тоже, ребенок их в школе — или тоже будет уже работать,— кто подаст мне, сидящему дома, стакан воды? Да и кто будет думать об этом? Никто...»

Подобные письма я мог бы цитировать дюжинами. И везде, словно эхо, звучит вопрос: кто будет за мной ухаживать, кто подаст мне стакан воды?

Вопрос этот мрачной тенью встает и перед не старыми еще людьми.

«Мне пока нет и пятидесяти,— пишет женщина из области Сабольч,— но поскольку семьи у меня нет, мне уже сейчас страшно подумать, что будет со мной и с такими, как я, когда мы не сможем работать? Кто будет о нас заботиться?.. Дом для престарелых? Каким бы теплым, уютным, надежным он ни казался, люди что-то не очень туда стремятся, не очень спешат расстаться со своей независимостью, с привычным кругом родных и знакомых. Я с одной улицы на другую и то переезжала с трудом...»

Письма словно бы говорят в один голос: не трогайте старые деревья, негоже их пересаживать!

И еще — не только в письмах, но и в выводах одного недавнего социологического обследования звучит вот что: большинство нуждающихся в уходе стариков, даже совсем ослабев, неохотно меняют привычную, знакомую обстановку на больничную палату для безнадежных, на дом призрения.

Палаты для безнадежных, дома призрения — все это, конечно, необходимо; более того, в последних нужно увеличивать количество мест. Но число одиноких

стариков растет очень быстро. И уже сейчас очевидно, что забота о них не может исчерпываться лишь этими, и то весьма дорогостоящими и трудоемкими, формами. Хотя бы уже потому, что подавляющую часть старых людей эти формы не удовлетворяют.

Приведу выдержку из письма, которое особенно меня потрясло. Подпись под ним: «Неработающая» женщина с Альфёльда».

«Мне пятьдесят один год. Семь лет я ходила за бабушкой, у которой было кровоизлияние в мозг; как я ни пеленала ее, приходилось, бывало, менять постель по три раза в день. Ей был девяносто один год, когда она умерла; остался от нее один чепчик. Три года я сидела со свекровью. У нее был рак печени, ее нельзя было ни на минуту оставить одну; я жалела ее и постоянно с ней занималась. У мужа — тридцативосьмилетний брат-паралитик, он тоже остался у меня на руках. Надо было возить его в кресле-коляске, к тому же он был психически не совсем нормален. Кроме того, я растила двух сыновей и дочь, так что ни работать, ни развлекаться у меня не было ни сил, ни возможностей... Сейчас вот калеку можно было бы отдать в дом инвалидов. Но жалко мне его. Он понимает, что его хотят увезти куда-то, и плачет, держит меня за руку,— нет, не отдам. Отец мой овдовел, теперь пьет все время. Я — усталая, нервная, измученная женщина... а пенсии мне не полагается никакой. Иной раз отчаяние берет, но потом подумаешь: что без меня будет с семьей?.. А теперь вот и мужа на инвалидность хотят отправить, из-за сердца...»

«Неработающая» женщина? Она сама написала «неработающая» в кавычках, и в этом ясно слышится горькое обвинение: она чувствует — с полным правом,— что общество не ценит ее работу, ее подвижничество.

Прикидываю про себя: неужели обществу не было бы выгодно — даже в материальном плане!— если бы оно по достоинству оценило и вознаградило такой труд?

Представьте, сколько потребовалось бы человек с определенной зарплатой, чтобы на протяжении нескольких десятилетий выполнять работу, которую делала эта «неработающая» домохозяйка! Да какие расходы понесло бы государство сверх того! Да сколько расходов вдобавок потребовалось бы от государства: места в доме для престарелых или в больнице, средства на содержание, лечение и т. д.

Если за парализованной после кровоизлияния в мозг бабушкой некому присмотреть дома и она семь лет проведет в больнице, то ведь там за ней нужно ухаживать, кормить ее, переодевать, менять постель по нескольку раз в день, и все это — днем и ночью, без выходных.

Если неизлечимая (рак печени) свекровь, которую «ни на минуту нельзя было оставить одну», тоже три года находилась бы в больнице...

Если мать отдала бы троих детей в ясли, потом в детский сад... (Средства, которые государство тратит на содержание троих детей, куда больше нашего среднего месячного заработка.)

Если бы калека, не встающий из кресла-коляски, десятилетия жил в доме инвалидов... (расходы на человека там приближаются к среднему месячному заработку).

И еще отец-алкоголик. И муж с больным сердцем...

Удивительные есть у нас женщины.

Мало их, это верно. Но было бы их гораздо, гораздо больше, если бы то, что приказывает сердце, им не приходилось совершать с таким самоотречением, настолько сурово подавляя собственные интересы.

Читаю в одной давней газетной вырезке: не нужно бояться, «что относительно малое количество рождающихся детей и рост числа людей пенсионного возраста нарушат пропорцию кормильцев и иждивенцев». Сегодня этот призыв можно было бы вывесить в каждом отделе кадров. Можно стены в домах призрения, в клубах пенсионеров, в палатах для безнадежных оклеить такими газетными текстами, которые в один голос доказывают: «Не приходится нам содержать стариков!» Они произвели уже все, в чем будут нуждаться в оставшейся жизни, общество «запасло» впрок плоды их труда, которые перевело в материальные ценности, пенсионеры за свою жизнь наработали столько, что обеспечили себя вперед до 102-летнего возраста, и т. д.

Венгерская пресса аннулировала закон стоимости (примерно так же, конечно, как щедринский бюрократ закрыл Америку); тезис о том, что материальные блага и средства производства не обладают функцией создания ценностей, что ценности может создавать лишь человеческий труд, награждался у нас разными эпитетами, в том числе такими, как «демагогический», «враждебный прогрессу» и т. п. Чуть не каждую неделю сердобольные наши газетчики подбадривают пенсионеров: что вы, милые, нам вовсе вас не приходится содержать,— и этот хор, казалось бы, до предела насыщенный сочувствием к старикам, как раз им, старикам, и наносит самый большой вред. Старики-де всей своей трудовой жизнью заслужили право на обязательное обеспечение (другой вопрос: позаботились ли они о потомстве, которому могут предъявить это свое право?). Если дело так будет идти и дальше, то мы лишим реального смысла как раз эту обязательность обеспечения, последовательно подменяя ее обеспечением из милости. И причиной этого станет упорное замалчивание сути, замалчивание того, что обеспечение и содержание по старости есть дело и обязанность приходящего в жизнь пополнения, поскольку единственный источник и важнейший определяющий его фактор — человеческий труд.

Вот только закон стоимости невозможно забыть на долгое время. У меня такое предчувствие, что скоро мы снова вспомним о нем.

Предварительные итоги

В то время как цивилизации угрожает серая болезнь, человечеству угрожает, напротив, демографический взрыв.

В печати популярны стали экстраполяции: если человечество будет и далее размножаться такими же темпами, то через столько-то и столько-то лет оно вырастет в сто, в тысячу раз и т. д. Я продолжаю расчеты, и выясняется: какая-нибудь пара столетий — и потомки наши будут умещаться на суше разве что штабелями (вполне вероятно, что подобное размещение будет чревато новым, еще более мощным демографическим взрывом...).

С помощью такого рода проекций во времени, или экстраполяций (пускай они во всех отношениях выглядят ужасно научными), и при некоторой умственной ограниченности можно прийти к совершеннейшим (во всех отношениях ненаучным) глупостям. Подобный способ оглушать читателя проверен на практике.

Дело в том, что тенденция роста народонаселения не может быть бесконечно продлена в будущее. Чем дальше экстраполируем мы эти цифры, тем больше вступает в дело новых факторов, так что в конце концов условия коренным образом изменяются.

Однако эта закономерность не относится к тенденции сокращения народонаселения, поскольку для сокращения никаких объективных препятствий не существует. Более того, объективные причины здесь, по всей вероятности, лишь ускоряют сокращение.

Так что много раз битые апостолы «национальной смерти» могут доказать свои мрачные предсказания сугубо научными — точными, математическими — методами. Конечно, такое направление тенденции тоже нельзя принять безоговорочно, поскольку она не учитывает субъективных обстоятельств, которые способны остановить и даже повернуть обратно наметившийся процесс.

А вообще в противоречивых демографических тенденциях, характеризующих нашу эпоху, чудится словно бы некая историческая справедливость: ведь в целом ряде богатых, цивилизованных стран замедляется, нарушается воспроизводство жизни, иссякает естественное пополнение, и все это происходит на фоне демографического взрыва в отсталых, слабее развитых странах.

Представляется вероятным, что выравнивание баланса возможно лишь за счет численно сокращающихся цивилизованных народов; не исключено, что (если не найдется возможности повернуть зловещую тенденцию) они, эти народы, со временем окончательно исчезнут с лица земли.

В Венгрии показатель рождаемости начиная с 1958 года является неудовлетворительным, то есть из года в год в нашей стране рождается меньше детей, чем это необходимо для пополнения той возрастной группы, в которой человек сам становится родителем.

(Исключением стал только 1975 год, когда рождаемость превысила этот минимум; а в 1974 и 1976—1977 годах рождаемость соответствовала необходимому минимуму. Эти четыре года, которые могут рассматриваться как нормальные, у нас принято называть «демографической волной» и без всяких оснований — например, из-за нехватки мест в школе — осуждать эту волну.)

Итак, с 1958 года возрастные группы детей и молодежи катастрофически убывали, но общая численность населения Венгрии долгое время не отражала нездорового спада воспроизводства людей. Затем, как можно было предвидеть заранее, выявилось и общее сокращение населения: на 1 января 1981 года оно составляло 10 миллионов 713 тысяч человек, а на 1 января 1987 года — лишь 10 миллионов 622 тысячи. То есть население за эти годы сократилось на 91 тысячу человек — как если бы в стране исчез целый город вроде Кечкемета.

За те же шесть лет число работающих уменьшилось — из-за естественного старения — на цифру, почти в два раза большую: 178 тысяч. Как если бы сразу оставило работу все трудоспособное население области Шомодь.

И это только начало. Демографические прогнозы показывают: после 2000 года население страны станет сокращаться еще быстрее, а начиная с 2010 года и далее, насколько мы можем заглянуть в будущее, темпы сокращения населения будут составлять (если только существенно не изменится политика в отношении к рождаемости) более 50 тысяч человек ежегодно.

К этому надо добавить следующее: тревогу вызывает не только количественный, но и качественный спад пополнения. Во-первых, уже несколько десятилетий назад угрожающих размеров — на европейском фоне — достигло падение биологического качества. (Венгрия занимает одно из самых неблагополучных мест по таким показателям, как смертность новорожденных, преждевременные роды, недостаточный вес младенцев, количество детей с дурной наследственностью, с повреждениями мозга, с органическими отклонениями.)

Во-вторых, беспокойство внушает и постоянное снижение социального качества. С одной стороны, в статистике рождаемости непропорционально большое место — гораздо выше своего процента в общем составе населения — занимают семьи, живущие в трудных условиях, не на уровне своего времени, и семьи распадающиеся, опустившиеся, подверженные алкоголизму. С другой стороны, дети, выросшие в нездоровой семейной обстановке — собственно говоря, без матери — или в атмосфере недостаточной родительской заботы, воспи-

танные на основе неверных принципов, попавшие под влияние дурного окружения в школе, в среде сверстников, а потому не подготовленные к трудовой жизни, или, напротив, дети избалованные — все они по крайней мере в такой же, если не в большей степени снижают социальное качество идущих на смену нам поколений.

Положение усугубляется тем, что семьи, живущие на самом высоком духовном и материальном уровне, отличаются и самым низким уровнем рождаемости. Следовательно, этот слой элиты вложенные в него ценности передает потомству в урезанном вдвое или втрое объеме, «воспроизводит себя» в стремительно сокращающемся темпе, в результате чего общество теряет такой духовный, моральный, эмоциональный капитал, который трудно даже измерить.

Во многих западноевропейских странах рождаемость тоже падает катастрофически, но нигде в мире не наблюдался еще такой глубокий и затяжной — продолжающийся тридцать лет — спад, как у нас. Мы — страна, стареющая быстрее всех.

Одной из причин сокращения населения, кроме низкой рождаемости, является у нас и весьма высокая смертность. Средняя продолжительность жизни в Венгрии за последние десятилетия не росла, а снижалась; особенно велика смертность среди мужчин среднего возраста.

Антисоциальные интересы

Если в обществе слишком высок процент людей, для которых будущее не является объектом повседневных забот, это значит, что общество живет в основном сиюминутными интересами и желаниями, поскольку в б о л ь ш о й п е р с п е к т и в е ничто — ни интересы, ни планы, ни надежды, ни мечты — с будущим его не связывает.

Наверное, это естественно, что старых людей сильнее всего волнует настоящее и занимает прошлое; это одна из особенностей преклонного возраста. Над тем, что будет через двадцать, тридцать, пятьдесят лет, они не слишком ломают голову.

Такой же характер закономерно принимает мышление в быстро стареющем, из-за сокращения численности, обществе; слабеет жажда нового, готовность идти на жертвы, отходят на задний план дальние интересы, связанные с будущим проблемы.

Тем сильнее становится притягательность сиюминутных, непосредственных интересов: «жить сегодняшним днем», «жить для себя», потреблять то, что еще можно потреблять, до конца насладиться тем, чем еще можно насладиться, и — «после нас хоть потоп»...

Сознание неизбежности собственной смерти сопрягается здесь с усиливающимся мрачным предчувствием гибели общества, и эта кажущаяся неизлечимой болезнь заражает всю общественную и частную жизнь, словно метастазы грызущего организм рака.

В масштабах общества — собственно, это результат того же заражения — усиливается склонность к потребительству.

Ну и что, разве это абсолютно плохо? — может спросить читатель. Если радость потребления, ежедневное удовольствие, доставляемое им, погоня за всякого рода материальными и духовными наслаждениями, если все это обеспечивает массам хорошее самочувствие, то ведь это в конце концов прекрасно! Настолько прекрасно, что даже могло бы быть целью политики. Хорошее самочувствие масс — громадное политическое завоевание!

Это действительно так. Но при условии, что достигается не за счет фактора F.

Ибо тогда завоевание становится слишком эфемерным. Притом оплаченным слишком дорогой ценой — нашим будущим

Хорошее самочувствие, вскормленное на фураже потребительства,— вещь очень нестойкая, ненадежная, изменчивая, так как опирается на иллюзорные представления о мире, о социальной действительности, не давая человеку даже такого метафизического, трансцендентного убежища, каким являлась в течение тысячелетий вера, религия.

Потребительство — мощная воспитательная сила. Точнее, антивоспитательная. Поскольку особенно эффективно его воздействие в направлениях, совпадающих с поисками легких, удобных решений, с желанием жить сегодняшним днем, с тенденциями эгоизма, паразитизма...

Фактор F можно называть еще и так: горючее будущего.

Скажем, можно было бы значительно увеличить скорость самолетов и космических кораблей, если выбросить из их баков топливо. Ведь в конце концов запас топлива — это тяжелый груз, а то, что в данный момент не сгорает в моторе, может считаться для него бесполезным. Дать бы в школе, на экзаменах, такую задачку: высчитать, насколько возрастет скорость самолета, если слить из его баков ненужное в данный момент движения горючее. Само собой разумеется, что скорость его на мгновение возрастет, и само собой разумеется, что после этого он рухнет на землю. Впрочем, это уже следующее мгновение, к задачке не относящееся, это забота не настоящего, а будущего.

Если в обществе начался процесс сокращения населения, то, с одной стороны, уменьшается база прироста живого труда, а с другой — возрастает количество м е р т в о г о к а п и т а л а — национального достояния — на душу населения. Блага скапливаются у наследников иссякающих однодетных семей; сюда относятся и блага, не записанные в земельных книгах, недоступные для обложения налогами, практически не поддающиеся никакому учету. Развивается,

совершенствуется техника и культура мотовства.

Если болезнью старения поражено социалистическое общество, то здесь неизбежный процесс активизации потребительства усугубляется имеющим политические корни принципом: не накопляй! Социалистическое государство даже склонным к экономии, ненавидящим расточительство людям внушает: потребляй! трать все, что можно истратить, проживай все, что можно прожить! ешь, пей, покупай дорогие вещи, путешествуй! не пытайся оставить детям наследство, иначе, я, государство, отниму его у тебя в форме пошлины, штрафов, налогов, чтобы накопление состояния не стало источником социальных привилегий!

Приходится сделать вывод, что в социалистическом обществе с убывающим населением потребительские соблазны, склонности, устремления — как наиболее эффективные средства борьбы против индивидуального (и коллективного!) накопления — закономерно пользуются максимальной поддержкой: политической, идеологической, административной, законодательной. Собственно говоря, вся система политических, экономических, социальных, мировоззренческих императивов стимулирует, тотализирует потребление; то есть, если без обиняков, тотализирует потребительское общество.

В капиталистическом мире, даже в условиях быстрого убывания народонаселения, существует, по всей очевидности, много факторов, сдерживающих тотальное потребление. Защита и приумножение частного состояния, накопление капитала, а кроме того — экономия (даже на массовом уровне) в интересах потомков здесь (хотя бы уже из-за неуверенности в завтрашнем дне, из-за страха перед безработицей) считаются положительными явлениями, закрепляются как внутренняя потребность, инстинкт. Отсюда следует, что общество социалистическое в гораздо меньшей мере препятствует присвоению фактора F, чем капиталистическое.

Пока стареющее общество жадно набрасывается на удовольствия, в глубине его, подспудно и непредвидимо, созревают, множатся трудности и проблемы.

Лишь один пример: до невероятных размеров возрастают накладные расходы в общественном производстве.

Чем выше процент пенсионеров, тем выше общественные затраты на них, и затраты эти, естественно, ложатся грузом накладных расходов и на производимые продукты.

(Представляю, как на внешнем рынке встречаются два одинаковых продукта, произведенные по одинаковой технологии, на одном уровне организации производства, но за одним стоят 12, а за другим — 24 процента пенсионеров. Разумеется товар, обремененный накладными расходами стареющего общества, не обладает конкурентоспособностью на внешнем рынке. Что следует в такой ситуации? Политическими, экономическими — то есть авторитарными — методами приходится снижать реальную заработную плату и реальные пенсии, в соответствующих пропорциях выделять дотации внешней торговле, чтобы чаши весов пришли в равновесие.)

Ограниченное воспроизводство

Итак, с экономической точки зрения источником любой ценности является человеческий труд.

Точно так же, как источником, естественной средой, питательной почвой аксиологического понятия ценности является человеческая жизнь.

Следовательно, ограниченное воспроизводство жизни ведет в обществе к ограниченному воспроизводству ценностей, к свертыванию этого воспроизводства.

Если в стареющем обществе снижается доля работоспособного населения, быстро растет процент пожилых людей, иждивенцев, то при одинаковом уровне техники и организации труда закономерно и неуклонно снижается, по сравнению с нормально развивающимися обществами, жизненный уровень населения.

Всякого рода отбор неизбежно сужает «поле возможностей»: проявляется меньше талантов, замедляется, прерывается процесс общественного воспроизводства, поскольку элементы развития, обновления наиболее естественным путем проникают в общество, в хозяйство, в культуру с приходом молодого, сильного, здорового поколения.

Общественное старение в условиях мирного времени — новое явление мировой истории. Его невозможно представить без противозачаточных таблеток и без противоестественной, лишенной всякой научной основы, никак не связанной с наличием детей, то есть, собственно говоря, паразитической пенсионной системы.

Пока еще не накоплен достаточный опыт и материал для научного изучения современных стареющих обществ; по-настоящему мы даже не знаем еще симптомов агонии. Можно лишь догадываться, что самые тяжелые столкновения и конфликты начнутся тогда, когда на место старого, умирающего придет новый народ, несущий с собой новую культуру.

Очевидно, уже и то, что в стареющем обществе весьма слабы центростремительные силы, силы сцепления, и оно, это общество, разбрасывает своих сыновей — ценных для него, стремящихся к чему-то большему, нежели бездумное потребление,— по всему миру.

В сущности говоря, такое общество заживо разлагается.

Современная колонизация

Заслуживает особого рассмотрения вопрос о современной колонизации, в основе которой тоже лежит присвоение капиталовложений будущего.

Подходя к человеческой жизни с точки зрения экономиста, можно представить дело таким образом: каждый человек получает себя во владение как долгосрочный кредит. Достигнув трудоспособного возраста, он выплачивает этот долг по частям (в соответствии с исторической нормой вместе с процентами на проценты) своему кредитору, то есть породившему и воспитавшему его обществу.

Если такой экономический подход правилен, то, например, эмигранты так и остаются навсегда должниками. Точнее, поскольку они работают, рожают, воспитывают детей и сажают деревья в иных краях, то части своего долга вместе с процентами на проценты они вносят не в ту общественную кассу, откуда получали кредит. (А получали они его — через родителей, через государство — из национального состояния.)

По произведенным в Венгрии подсчетам подготовка одного дипломированного специалиста (сверх общих расходов на воспитание) обходится в сумму, соответствующую сумме средней заработной платы за 12—18 лет.

Как-то, еще в середине 60-х годов, я наткнулся на любопытные цифры. По данным (весьма приблизительным) одной американской страховой компании для того, чтобы вырастить и воспитать среднестатистического человека, требуется 13 000 долларов. Если исходить даже из этой, по всей вероятности, сильно заниженной цифры, то Венгрия, например, с начала XX века подарила миру — практически без всякой компенсации — гигантскую сумму, оторвав ее от своего «национального состояния». Причем подарила — с традиционной щедростью, каковой всегда славились венгерские баре,— странам, куда более богатым, чем Венгрия.

Конечно, все это лишь игра эффектными цифрами, но игра поучительная. Ведь суммы, сложившейся за эти десятилетия из потерь, причиненных нам эмиграцией, суммы тех «капиталовложений», которые никогда уже не окупятся, не вернутся в национальный доход, хватило бы на то, чтобы каждому второму гражданину Венгрии, включая грудных младенцев, построить двухкомнатную квартиру и полностью обставить ее (в ценах 1965 года).

Если даже учитывать только экономический ущерб, то все равно очевидно, что разбросанное по всему миру живое «национальное достояние» представляет собой гораздо бо́льшую, чем те пять миллионов двухкомнатных квартир, материальную ценность. А ведь материальная ценность — лишь меньшая и легче всего восполнимая часть общественных капиталовложений. И в плане личного д о л г а это тоже не самая важная статья.

Для того чтобы вырастить человека, необходимы не только белки, жиры, углеводы, одежда, топливо, квартира и т. д., то есть материальные «затраты», но и «затраты» духовные, эмоциональные, моральные. Отрываясь от родившего и воспитавшего его сообщества, человек как бы увозит — с собой, в себе, через границу, без всякой пошлины — тот духовный и эмоциональный капитал, ту любовь, жертвы, заботы, благодаря которым он вырос, которые получил (получил, собственно, во временное пользование, для сохранения и приумножения, под отчет, для последующей передачи дальше, по цепи поколений) с того момента, когда мать произвела его на свет,— увозит и остается в вечном долгу. «Капиталовложениями», полученными от семьи, от людей, что его окружали (родители, братья, сестры, друзья, родственники, знакомые, учителя), человек пользовался с пеленок, спокойно жил на них, тратил их и затем пренебрег обязанностью передать дальше (по крайней мере на родине).

Речь идет не о щедрых подарках миру из учтенного, занесенного в гроссбухи национального дохода, а о ничем не измеряемом, не поддающемся выражению в форинтах, пущенном на ветер «национальном достоянии» в категориях человеческих чувств, духовных ценностей, общественного сплочения. Как ни странно на первый взгляд, подобного рода утраты болезненно ощущаются даже в тех странах, где миграционный баланс находится в равновесии, эмиграция компенсируется иммиграцией. (Вот куда уходят корнями страдания брошенных, одиноких стариков, гнетущее равнодушие, эмоциональное очерствление и цинизм!) Эти долги невозможно вернуть, никакие судебные исполнители тут не помогут ни родителям, ни родине.

Человек не может покинуть родину, родившую и воспитавшую его среду, общество, не нанеся им ущерба, и ущерба ощутимого.

Все это так, и все это можно доказать. Но, рассуждая и ставя на первое место общественный интерес, ни в коем случае нельзя не учитывать личный. Ведь эмигранты, диссиденты и т. д. (в подавляющем большинстве) покидали родину не по собственной прихоти, и несправедливо было бы ответственность за ущерб, нанесенный их решением, целиком и полностью взваливать только на них. Многие искали спасения от голодной смерти, некоторые — от мученической. С другой стороны, никакие смягчающие вину личные обстоятельства не способны компенсировать невосполнимый ущерб, наносимый обществу, духовному, эмоциональному и материальному — живому «национальному достоянию».

Очень многие не сознают — а если и сознают, то не придают этому большого значения,— что наше изначальное материальное и духовное наследство, тот мир, в который мы попали, родившись на свет, является результатом труда, борьбы, жертв огромного числа предшествующих поколений. Следовательно, человек, который стремится как можно больше растратить, проесть из этого наследства, ничего не прибавив к нему своего, является (без преувеличения!)

мошенником, паразитом, эксплуататором.

Паразитизм такого рода причиняет ущерб предкам, современникам и потомкам — всем сразу.

Среди аргументов диссидентов и кандидатов в диссиденты, душою уже переселившихся за рубеж, «элементарные», «основополагающие», «неотъемлемые», «суверенные» права человека звучат как аксиома, которая доказательств не требует. Не могу согласиться. Поскольку не знаю аргумента более сильного, чем нравственный закон, который можно сформулировать так: разделять судьбу своего народа, исправлять на месте то, что неправильно.

Возможно ли вообще личное право, которое не зависело бы ни от личного долга, ни от общего интереса и оправдывало существование в ущерб другим?

Источник недоразумений — Декларация

Параграф 2 статьи 13 Декларации прав человека (ООН) гласит: «Любой человек имеет право покинуть любую страну, включая собственную родину, а также вернуться на родину». И по относящемуся сюда официальному разъяснению: «Свобода передвижений и перемены места есть составная часть личной свободы».

В то же время та же самая Декларация в статье 29 заявляет: «1. Личность имеет обязанности по отношению к обществу, в рамках которого единственно возможно свободное и полное развитие личности. 2. В плане осуществления своих прав и пользования своими свободами никто не подвержен никаким ограничениям, кроме тех, которые закон устанавливает в интересах обеспечения признания и уважения прав и свобод других людей, а также в интересах удовлетворения требований морали, общественного порядка и общего благосостояния демократического общества».

Как это совместить? Хотя бы для себя.

Возможно ли, чтобы на нашем самом высоком международном форуме столько прекрасных юристов и дипломатов не заметили, не обратили внимания, какие невероятные противоречия содержатся в этих формулировках (во всех иных смыслах имеющей историческое значение) Декларации?

Или, может быть, такие формулировки введены намеренно? Чтобы оставить в тексте Декларации возможности для манипуляций?

Остается и еще вариант — что не в порядке моя голова и я не могу понять даже самых простых вещей. Иных вариантов нет.

Путаница эта наводит на некоторые раздумья.

Прежде всего бросается в глаза, насколько юридически самоцелен, в сущности схоластичен — процитированный параграф 2. Можно, ей-богу, подумать, будто первостепенные принципы человеческого бытия, важнейшие его критерии — это всего-навсего те или иные параграфы. Вот только действительность всегда и везде неизменно вступает в противоречие с таким схоластическим подходом.

Возьмем все тот же параграф 2. Насколько мне известно, «право» свободного передвижения в мире, эмиграцию и иммиграцию, «свободу передвижения и перемены места» нигде в мире не признают как свободно осуществляемое — суверенное — гражданское право, и масса всякого рода виз, разрешений, ограничений оберегает — подлинные или мнимые — интересы государства. Фильтры — где плотнее, где реже, где едва ощутимо — ограничивают тут число эмигрантов, там — иммигрантов. Но даже если государство временно не прибегает к этим ограничениям, они тем не менее всегда имеются под рукой.

Так что «право» это нигде во всем мире не обеспечивается. Особенно усердно «ущемляют» его социалистические и развитые капиталистические страны: первые ограничивают выезд, вторые — въезд.

В конце концов и международная правовая практика подтверждает: право свободного передвижения в мире — право пока что вызревающее, и (если до того времени ничего не случится) к XXI веку оно, быть, может, вызреет.

А до тех пор? Или приведенный параграф 2 следует отнести к пропагандистским положениям правоведения, на которые, независимо от того, где они записаны, сильные мира сего и не думают всерьез обращать внимания?

Brain drain[1]

Для неоколонизаторов уже давно является целью не географическое, не связанное с риском завоевание чужих территорий, а захват, «перекачка» рабочих рук, душ, мозгов, «произведенных» посредством чужих затрат и усилий.

Новый метод? Свой расцвет он переживает сейчас, это верно, хотя, если вспомнить, изобретение это вовсе не новое. Англия еще вела старомодную колониальную войну в Индии, когда за океаном уже начали прорисовываться новые, почти неограниченные возможности новейшего колониализма.

В конце 20-х годов Ласло Лакатош писал: «Не исключено, что скоро настанет время, когда мы (подобно порабощенной Греции, поставлявшей могучему Риму философов, поваров, актеров, гетер, скульптуры и лак для ногтей) станем поставлять Америке — и это последняя степень падения — певцов, хормейстеров, кинозвезд, преподавателей языков, историков искусства, учителей танцев, конферансье, философов на случай и жен на случай, писателей, маникюрш, ораторов, врачей, рисовальщиков, теории и станем для Америки новыми, интеллектуальными неграми, ввозимыми из

[1] Утечка мозгов (*англ.*).

Европы, как когда-то ввозились чернокожие рабочие с берегов Африки?»

Прошло шестьдесят лет.

Благодаря селективным иммиграционным законам все большая часть упоминаемых в этом предсказании интеллектуальных негров — высокообразованные дипломированные специалисты.

По подсчетам одного американского экономиста (середина 60-х годов), международный подарок (вернее, лишь часть его, поддающаяся выражению в деньгах!), ежегодно получаемый Америкой, составляет около трех миллиардов долларов. Причем в самой лучшей валюте — валюте мозгов. (Половина нашего тогдашнего национального дохода.)

Правда, все это — довольно ненадежные расчеты. И не только потому, что человеческие качества едва ли можно выразить в денежных единицах. Я читаю статистику иммиграции за те же годы: более 1 800 000 иммигрантов за полдесятка лет. Если допустить, что все они, от первого до последнего, чернорабочие, и если приложить к ним приведенные выше расценки страхового общества, то и тогда сумма составит 23 миллиарда долларов.

А ведь большинство из них имеют специальность, значительная часть — дипломированные специалисты или даже готовые ученые. (Маленький штрих: каждый третий врач в США — иммигрант.)

Англию тоже встревожила в 60-х годах первая мощная волна brain drain — утечки мозгов. Вопросом даже занималась парламентская комиссия, которая установила, что в тех профессиях, которые брались ею для рассмотрения, эмигрировали уже 40 процентов специалистов, получивших диплом три года назад, а среди тех, кто закончил обучение год назад, готово выехать из страны более половины. Комиссия произвела подсчеты, чтобы определить потери в денежном выражении. В тогдашних ценах выходило, что подготовка одного инженера обходится в 6 тысяч фунтов стерлингов, одного доктора физики — в 16 тысяч. Исходя из этого — и применяя довольно примитивный подсчет процентов на проценты,— доклад оценивал фактический ущерб, понесенный страной, так: эмигрировавший инженер означает потери в 30 тысяч фунтов, доктор физики — в 78 тысяч фунтов. (По тогдашнему курсу, 78 тысяч фунтов=217 тысяч долларов.)

В этих расчетах не хватает расходов на воспитание: комиссия просто отмахнулась от них широким жестом. А ведь наряду с учтенными затратами на образование, расходы на семейное воспитание, с младенчества до совершеннолетия, тоже проходят по рубрике невозвращенных «капиталовложений». То есть становятся одной из форм потребления будущего.

Кроме того, известно, что за годы трудовой жизни человек способен произвести гораздо больше ценностей, чем он потребляет, и эта накапливающаяся добавочная стоимость — независимо от того, составит ли она личные сбережения, или перекочует в значительной мере в карман работодателя, или перейдет в государственное хозяйство,— будет обогащать теперь новую родину.

Любой взрослый человек — это бесплатный подарок: новая родина без всяких «затрат» и «вложений» — и без многолетнего ожидания! — получает рабочие руки, подготовленный, активный мозг. Эмигрант вручает новой родине этот подарок, естественно, не из собственного кармана, а за счет страны, породившей и вырастившей его.

Не хочу погружаться в горы книг, посвященных проблеме brain drain. Во-первых, почти все эти книги учитывают миграцию высококачественного, обладающего высшим образованием человеческого материала, пренебрегая тем фактом, что у остальных миллионов — квалифицированных рабочих, подсобных рабочих, ремесленников, торговцев — тоже имеется мозг. Во-вторых, в расчетах, как правило, не учитываются затраты семейного воспитания и стоимость добавочного продукта, производимого человеком в течение всей жизни.

Одно обстоятельство, во всяком случае, становится ясным из этих расчетов на международном человеческом рынке безжалостно осуществляется «библейский закон» — у кого есть, тому дается; у кого же нет, у того отбирается и то, что есть.

Миграционный баланс последовательно склоняется в пользу более сильных, богатых, развитых стран, ударяя по бедным, слабым, отсталым. Он еще более обостряет вопиющие различия, например, между бывшими колониальными странами и бывшими их колониями.

Колонизаторская математика

Можно ли вообще бороться против бескровной агрессии современного неоколониализма, против практики выкачивания мозгов, переманивания рабочей силы? Похоже, что сегодня для многих народов вопрос о самообороне стоит ничуть не менее остро, чем в прежние времена, когда им приходилось иметь дело с классическими методами колонизации. Но еще сильнее бросается в глаза, насколько позиции колонизаторов сейчас прочнее, чем в прошлом. Неоколониальная держава сегодня удобно сидит в комфортабельной ложе. Ей уже не нужно вести дорогостоящие, сопряженные с риском войны: трофеи сами плывут к ней в руки, идут с дарами, с королевскими подношениями. Она даже может позволить себе какой-нибудь рыцарский жест: так, импортеры мозгов в рассматриваемый период увеличили плату мозгам «суперкласса», подготовленным в Англии: теперь она уже не в два, а в семь раз выше, чем на родине.

Так что жертвой стала даже могучая Англия. Разумеется, у нее тоже есть свои жертвы среди более слабых, и они с лихвой компенсируют ее потери. Но

эту сторону дела доклад правительственной комиссии — в других отношениях весьма основательный — предпочел не освещать.

Собственно, каким «чудо-оружием» владеет неоколониализм, оружием, перед которым бессильна даже Англия? (Заметим, что речь здесь идет лишь об одной-единственной из форм неоколониализма, о «выкачивании мозгов». Как форма ограбления будущего, присвоения вложенных в него капиталов, этот метод имеет прямое отношение к нашей теме.) Для иллюстрации приведу такой приблизительный, схематичный подсчет.

Сто тысяч детей приобщаются — за счет государства и родителей — к начальному школьному образованию. Лучшие из них, десять тысяч, заканчивают среднюю школу. Тысяча идет дальше, достигая отличных успехов в университете, а сто самых способных попадают в научно-исследовательские институты. Спустя годы — или, скорее, десятилетия — из них выйдет десяток первоклассных, известных всей стране ученых. И может быть, найдется один, чье имя, чью деятельность будут знать и в международных сферах данной научной отрасли.

Тут и выходит на сцену торговец мозгами. Если даже в Англии он может пообещать ученому, согласившемуся перебраться за океан, заработок в два — семь раз больше, то в других, не столь богатых странах смело может поднять сумму до десяти-двадцатикратной. (Бедные страны еще более беззащитны: лучших их сынов привлекают подчас не только многократные доходы, но и более широкие возможности для научной работы, реализация своего умственного потенциала.)

Та же самая колонизаторская математика приложима и к практике переманивания выдающихся деятелей искусства, спорта. Примерами этого кишит мир футбола. Соблазнительные посулы, исходящие от самых богатых клубов, трудно нейтрализовать. Эти клубы уже почти совсем не воспитывают собственную смену — настолько привыкли переманивать, покупать воспитанные другими таланты. Как метод — это путь самый эффективный, как коммерция — самый выгодный. Да и разве смогли бы они в одном своем клубе, своими силами вырастить столько звезд мирового класса?

А обычный рабочий? Рядовой инженер? Рядовой врач? Рядовой ученый? Просто обычный человек? Тут даже нет нужды в опытных торговцах мозгами. Ведь ценность здесь не в качестве, а в количестве, да и заманивать тут не надо: сами и большим, чем требуется, числом тянутся к источнику сильного притяжения. Высокий жизненный уровень, которого они рассчитывают достичь в богатой стране,— лучший вербовщик.

Особенно — если их недостаточно сильно или умело держит собственная страна. А то и отталкивает.

Колониальная империя душ

Даже находящиеся на среднем уровне развития страны лишь ценой многолетнего упорного труда, усилий, борьбы и жертв могут двинуться вдогонку за странами более развитыми. Тем соблазнительнее для человека возможность, не прилагая всех этих усилий, буквально в один день перепрыгнуть в такое «всеобщее благосостояние», какого на родине едва ли смогут достигнуть даже спустя десятилетия.

Правда, притяжению этому противодействуют довольно мощные факторы: те не имеющие денежного эквивалента ценности — человеческие связи, чувство единства с обществом,— которые может дать только отечественная среда. Даже если ты родился в самой что ни на есть отсталой стране. Недаром многие не в состоянии даже представить, что можно покинуть свою страну — близкую и дальнюю родню, друзей, родную землю — ради каких-то материальных выгод. Так любой нормальный ребенок не может вообразить, что он, скажем, убежал бы от своих родителей к чужим, но более богатым людям.

Если человек не связан тесными узами с семьей, с коллективом, то легко слабеют и узы, связывающие его с родиной.

На наших глазах современный колониализм, изрезав всю землю сетью каналов, передающих букву, образ, слово, наводняет мир до самых глухих уголков своими идеалами цивилизации, техники, политики, а еще охотнее — идеалами «аполитичных» развлечений, «сладкой жизни», идеалами разукрашенными, рекламно-яркими, в сущности, культурным морфием, культурным наркотиком.

Разумеется, делает он это не для того, чтобы десятки и сотни миллионов, подхватив узелки с пожитками, толпами бросились в страну обетованную: ведь ни одна из тех стран, что составляют ядро колониальной империи душ, не раздает направо-налево иммиграционные разрешения.

Но во-первых, благодаря этому поддерживается относительный внутриполитический покой — жизненно необходимую в капиталистическом производстве «резервную промышленную армию» держат за границей (вместе с безработицей, вместе с ее политическим взрывным материалом), допуская в страну, для временной ли работы, для постоянного ли поселения, ровно столько людей, сколько требует в данный момент внутренний трудовой рынок.

Во-вторых, рост в мире количества колонизированных душ выгоден развитой стране и с торгово-экономической точки зрения: это — самый надежный контингент покупателей выброшенного за границу экспортного товара.

В третьих — что особенно важно,— современная колониальная империя, расширяясь не географически, как прежняя, а в сознании, чувствах, идеалах людей, остается при этом невидимой, не

поддающейся обнаружению и измерению. Она создается не методами вооруженного насилия, а на добровольной основе, подданные ее заведомо лояльны, душой и телом преданы колонизаторам.

Все это означает, что наступление современной колониальной империи невозможно остановить привычными средствами обороны: армией, пограничной охраной, закрытием границ.

Я не склонен недооценивать методы brain drain и высасывания рабочей силы, но, по всем признакам, колониальная империя душ гораздо более опасна. Хотя я нигде еще не встречал ни единого слова, которое указывало бы на существование этой империи.

Для иллюстрации — одна ее область: экспорт невест.

Законы Венгрии запрещают лишь вывоз форинта; вывоз же «самой большой нашей ценности» можно даже рекламировать в прессе, например, на полосе брачных объявлений. Обеспеченные холостяки с Запада, из-за океана «хотели бы завязать знакомство», «хотели бы переписываться с целью вступить в брак» — «с привлекательной», «молодой», «хозяйственной», «образованной» женщиной, «по возможности — с дипломом», «по возможности — медиком» и т. д. Неприкрытый вывоз человеческой валюты.

Из газетного репортажа: «В проведенном недавно социологическом обследовании нас, в частности, интересовало, как относятся у нас к женихам, прибывающим на сверкающих чудо-тачках с маркой «фиат», «мазерати», «альфа-ромео». Две трети из опрошенных девушек моложе 19 лет охотно выбрали бы жениха-иностранца, а три четверти этой группы готовы покинуть родину навсегда».

Право на самозащиту

Нельзя оспаривать право народов на самосохранение, на самозащиту. Другой вопрос: правильно ли правительство и законодатели выбирают способы самозащиты?

Если ослабление связей, центростремительных сил — пускай даже оно вызвано бациллами собственного изготовления — так велико, что угрожает подорвать основы существования общества, то руководство страны не только имеет право, но и обязано вмешаться. Хотя бы и прибегая к ограничению иных действующих прав, не запрещенных конституционной системой. Скажем, оно столь же правомочно ограничить эмиграцию, как и иммиграцию.

На практике же государственное законодательство редко бывает целенаправленным. И порой вызывает обратный эффект. Кроме того, государственным вмешательством легко можно злоупотребить. Если насилие со стороны власти в какой-то сфере обретает ведущую роль, ситуация сама предлагает возможности превышения полномочий. Это, в конце концов, самое удобное «решение». Его ведь можно представить и как стремление предотвратить массовые злоупотребления, направленные против общественного блага.

Вопрос лишь — с большой ли пользой? Конечно, в тех странах, где баланс эмиграции и иммиграции удается привести в равновесие, там и правовая основа вмешательства со стороны государства сужается до самых необходимых мер безопасности. (Пока не утратила актуальности возможность войны, нельзя, конечно, пренебрегать и вооруженной обороной.) Первым и самым важным условием «свободного перемещения» в мире как раз и явилось бы повсеместное равновесие баланса эмиграции и иммиграции.

Нарушающие равновесие силы внутреннего выталкивания и внешнего притяжения действуют в одном направлении, помогают друг другу. Но как бы ни стиралось различие между ними, я ощущаю принципиальную разницу в том, как их оценивать.

Ясно, что выталкивание — это, как правило, объективный фактор воздействия. Иногда этот фактор создает опасность для жизни; имеются в виду такие его формы, как политическое преследование, безработица, нищета. (Другое дело, что значительная часть тех, кого это касается, не поддаются даже такому воздействию — настолько тесно связаны они с родной землей, со средой, родившей и воспитавшей их. Но кто бросит камень в человека, выбравшего спасительное бегство?)

Воздействие внешних факторов, факторов притяжения — субъективно. Под влиянием окружения, средств массовой коммуникации, индустрии развлечений, искусства незаметно, постепенно в душе человека формируются желания, мечты, идеалы, планы, все усиливается, становится неодолимым притяжение какой-нибудь земли обетованной. Где он сможет больше зарабатывать. Где выше будут дивиденды с его таланта. Где быстрее можно добиться квартиры, машины. Где он (она) найдет себе жену (мужа). Где интереснее жить. Где ты не испытываешь столько унижений, как на родине (а если испытываешь, так по крайней мере не от своих). Где можно забыть тоску, неудачи, отчаяние, где ничто не напоминает о постигших тебя разочарованиях, оскорблениях, об утрате близкого человека. Где больше возможностей передвигаться, благожелательней толкование гражданских свобод. Где и ловчить легче, если понадобится, и легкий заработок более доступен, и т. д. и т. п.

Какое имеет значение, имеется ли реальное основание у этих фантазий! Тщеславные, наивные мечты манят людей ничуть не слабее, чем реальные, осуществимые планы. Нет и не может быть такого учреждения, которое способно было бы оценить, какая из частных потребностей обоснованна, какая — нет.

Но предположим, такое учреждение существовало бы и отказывало бы бес-

почвенным мечтателям в паспортах. Избавило бы оно их тем самым хотя бы от части воздействующих на них факторов? Далее: признавая обоснованные потребности, чем бы оно компенсировало ущерб, нанесенный безвинно оставшимся дома? Могло бы оно вообще признать такие потребности, такие права меньшинства, которые реализуются лишь через ущерб большинству? (В Англии тоже большую проблему представляет собой ущерб, нанесенный обществу эмиграцией, но там проблему эту решают, рассматривая ущерб как плату за неограниченную свободу перемещения. Издалека это представляется довольно благородной позицией, вблизи уже не настолько: ведь Англия свои потери с лихвой компенсирует за счет иммигрантов. Компенсирует, правда, не в качестве, тут уж ничего не попишешь.)

Пофантазируем чуть-чуть о «свободном международном перемещении» в условиях, когда всяческие ограничения сняты... Половодье иммигрантов затопляет земли обетованные, и внезапно воцарившаяся там нищета, анархия, безработица, преступность гонят искателей счастья дальше. Пока наконец — после нескольких страшных десятилетий — условия жизни во всем мире не выравниваются, миграционный баланс не достигает желанного равновесия...

Свободному наплыву искателей лучшей жизни самые неодолимые заслоны ставят как раз наиболее богатые страны, последовательно придерживающиеся требований о регулировании правил иммиграции, поселения, устройства на работу за границей. Ведь для них выравнивание жизненного уровня в мире означало бы регресс на 100—150 лет.

Практику ограничения иммиграции никто не считает ущемлением человеческих прав. Почему-то считается таковым только ограничение эмиграции.

Итак, административные запреты, ограничения — это вполне правомочные методы самозащиты народов (не всегда режимов власти).

Другой вопрос: эффективны ли они? Способны ли они нейтрализовать оружие современной колонизации (оружие, более современное и опасное, чем водородная бомба, так как оно может применяться ежедневно)?

Слабый и сегодня — игрушка в руках сильного

Может ли вообще защищаться небольшая — и не слишком богатая — страна иначе как ограничениями, строгими правилами, запретами? Может ли она как-нибудь по-иному противостоять раздирающим ее народ силам?

Первый рецепт: да, надо лишь как можно скорее разбогатеть. Достаточно такого уровня благосостояния, создать такие условия для реализации человеческой личности, которые были бы не ниже норм, достигнутых в самых богатых странах. Не беда, впрочем, если они будут выше. То есть надо за несколько лет ликвидировать историческое отставание, равное десяткам, а то и сотням лет. Причем сразу во всех сферах жизни.

Абсурд? В принципе не такой уж абсурд, ведь как раз для этого — для этого тоже — и существует социализм. Но на практике экспериментировать, пробивать дорогу человеческому прогрессу сквозь какие-нибудь дремучие заросли — дело, которое сопряжено с высокой платой за обучение. (Добавлю: много у нас на этом пути брака. Страшно много по сравнению с тем, что можно оправдать. Неудивительно, что краткосрочная программа ликвидации исторического отставания оказалась явно недостаточной. В результате обещанный триумфальный марш обернулся карнавальным шествием.)

Второй типовой рецепт: создать такую свободу, такую чистую демократию, такую благоприятную атмосферу для труда и творчества, словом, такое хорошее гражданское самочувствие в обществе, чтобы притягательность социалистической родины, ставшей для человека домом, нейтрализовала всякие внешние влияния и соблазны. Тем более что социализм отчасти как раз для того и существует, чтобы ускорять демократическое развитие. Чем может он доказать свое превосходство убедительнее, если не более чистой демократией, более здоровым гражданским самочувствием, свободной атмосферой, ощущением страны как дома? (Мы имеем возможность убедиться: эта программа тоже неосуществима за короткое время. Мы исправно платим высокую плату за обучение, а всякий дальнейший брак толкает нас в сторону внешних источников притяжения.)

Но чего-то все-таки определенно не хватает в этих типовых рецептах.

Преодолеть многолетнее или даже многовековое отставание всего за несколько лет? Осуществись этот абсурд в реальности — даже его было бы недостаточно. Выходит, последним средством самозащиты все-таки остается слово власти?

Нельзя, не впадая в прекраснодушие, оспаривать правомочность власти, пока во всем мире столь велики различия, унаследованные от прошлого, и пока обновленный колониализм столь откровенно использует свои преимущества для обретения новых.

И вообще: пока селекция иммигрантов является признанным средством самозащиты самых богатых стран, всюду должна быть признана и селекция эмигрантов как такое же правомочное средство самозащиты. Иначе современный колониализм получит зеленую улицу на все обозримые времена.

Очень это удобная вещь — слово власти. Надо только чуть-чуть добавить в него металла — и аргумент последний станет аргументом единственным. А самое благое намерение на деле автоматически превратится в свою противоположность: самозащита — содействие не-

околониализму. Несомненно, запреты весьма успешно препятствуют перекачке мозгов и рабочей силы, но они одновременно служат и мощнейшим инструментом распространения колониальной империи душ.

Прямой метод нового колониализма — переманивание в страну необходимой в данный момент на внутреннем трудовом рынке духовной и физической рабочей силы (иммигранты, иностранные рабочие) — во всем мире вызывает цепную реакцию опосредованных следствий. В перенаселенных странах власть имущие облегченно вздыхают: хоть чуть-чуть рассосалась безработица, нищета, ослабли внутриполитические противоречия, давление масс. В обществе же — через посредство близких, родни, знакомых — еще долго, десятилетиями расходятся слухи о Ханаане, попасть в который дано лишь немногим счастливцам. В конечном счете, почти незаметно, вступает в действие непрямой вариант современной агрессии: ширится, захватывает все новые сферы колониальная империя душ, соответственным образом преобразуется потребительский рынок, формируется промышленная резервная армия, которая может быть мобилизована в любое время, но пока — во избежание риска, опасностей, недовольства — «складируется» за границей...

В других, неперенаселенных, странах власти рано или поздно решают перейти к самозащите с помощью запретов, ограничений, наказаний. А результат тот же: запреты лишь катализируют распространение современной колониальной империи, легко одолевающей любые границы, покоряющей сердца и души миллионов.

Нет садовода, который вывел бы плод вкуснее, заманчивее, чем волнующий воображение запретный плод.

Цена запрета всегда и везде — настежь открываемые ворота всякого рода мечтаниям и фантазиям, питающимся романтикой, жаждой приключений, обидой, тоской по молочным рекам и кисельным берегам.

Человека может связывать с родиной тысяча нитей, тысяча уз, и ни одну из них нельзя заменить цепью. Ибо тот, кто почувствует себя прикованным цепью, обязательно начнет рваться с нее и при этом сам не заметит, как порвет остальные связи.

Допустим, цепь разорвать он не сможет — слишком крепко закрыта граница,— но никакие запреты не в силах воспрепятствовать внутреннему духовному диссидентству. Более того, как раз запреты-то и создают его. Кому не знакомы такие «духовные эмигранты», «духовные невозвращенцы», которые, оставаясь на родине, душой давно уже стали гражданами какой-нибудь современной колониальной империи?

Если их окажется слишком много, общество начнет заживо разлагаться, начнет руками этих людей грабить свое будущее куда сильнее, чем если бы они вообще не родились на свет.

Цивилизация, страдающая СПИДом

Пока присвоение фактора F в обществе остается спорадическим и более или менее уравновешивается другими процессами, еще можно не рассматривать его как общественную опасность. Однако тенденция к массовости делает ограбление будущего первостепенной социальной проблемой, которой следует заниматься не мешкая.

Я упоминал уже, что эту самую современную и самую скрытую форму присвоения, паразитизма, эту страшную, хорошо замаскированную болезнь цивилизации специальная литература еще не определила, не описала. Так что передаю слово художественной литературе, конкретно — одному моему сердитому герою.

«...Таков закон буржуазной цивилизации: общество она делит на разрозненные группы, а в конечном итоге раздробляет и их, уничтожая тем самым среду обитания индивида».

«...Сегодня уже не подлежит сомнению, что будущее есть лишь у тех народов, для которых цивилизация может еще вылиться в чувство коллективизма... За этими народами — будущее человечества».

«...Европа рискует сойти с исторической сцены вместе со Штатами. Буржуазная цивилизация завела ее в тупик».

«...И наступит ужасное историческое возмездие: загнанные в колониальное иго, многократно ограбленные, эксплуатируемые, осужденные на вечную отсталость народы, национальное самосознание которых представляет, однако, такую единую коллективистскую силу, что в этом отношении с ними не сравнится даже супердержава вроде Америки,— так вот, не пройдет и столетия, как эти народы станут задавать тон в развитии человечества».

«...Хотя они за столетие и не догонят пионеров цивилизации по количеству баров, аперитивов, шлюх женского и мужского пола, транквилизаторов, наркотиков, возбудителей, по количеству цинизма на душу населения — все же они их обгонят, ибо к тому времени выяснится, что вовсе не эти вещи являются самыми важными показателями человеческого прогресса».

«...На так называемом Западе нарушилась одна основополагающая связь: индивид получил безусловное преимущество перед коллективом... листок — перед деревом, кирпич — перед зданием... и это — ужасное недоразумение... Те, кто ищет — и даже считает, что нашел,— смысл бытия в индивиде, не принимая во внимание создающего индивиды сообщества, способствуют неизбежному краху человеческого прогресса».

Так что же, современная цивилизация этого типа себя изжила?

И стало быть, прав известный американский философ (венгр по происхожде-

нию), который убежденно доказывает, что современность, «модерность», устаревает? Перечислив важнейшие признаки и критерии современного мышления, современного миросозерцания, современного образа жизни, он говорит читателю: теперь, приняв все это к сведению, реши: ты современный человек? Вызывающий зависть и восхищение образец для большинства народов мира? Ну так знай, любезный читатель: «ты стал страшной опасностью, угрожающей будущему человечества», ты, помимо собственной воли, превратился в орудие разрушения!

«Модерная» эпоха идет к своему концу, утверждает Эрвин Ласло, философ, исследующий будущее. Уже сейчас она приносит больше вреда, чем пользы.

Пойти вспять, разумеется, невозможно, как невозможно яйцо вареное превратить в сырое; но нужно перешагнуть через эту эпоху, поскольку она уже не служит жизни, не служит человеческому существованию (вот он — главный закон!), более того, все более непоправимо разрушает его. Вследствие этого она и изжила себя. Как изживала себя любая из предшествующих эпох, едва она вступала в противоречие с интересами человеческого бытия. Современная цивилизация насадила на земле эгоизм, шовинизм, клеймя как «отсталость» отброшенные ею важные ценности; в ней господствуют узость видения, присущая профессиональным кретинам, не считающееся с будущим загрязнение окружающей среды, расхитительство энергии, отчуждение, обезличивание, преступность; экономику свою она строит на нездоровых потребительских маниях, на искусственно раздутых потребностях...

Не хочу утомлять читателя, перечисляя далее положения трактата Э. Ласло. Приведу лишь такую мысль из заключительной части: «Модерность» быстрыми темпами превращается в ересь», «она действительно находится в упадке — характерные для нее ценности и стремления начинают устаревать. Новейшее не является больше «модерным». Быть «модерным» — не современно.

Первобытные, примитивные общины и общества едва-едва развивались, но поддерживали человеческую жизнь на протяжении сотен тысяч лет. Древние культуры — китайская, египетская, месопотамская — в медленном, трудном развитии существовали самое большее пять тысяч лет. О самых «модерных» из существующих ныне обществ, где стремительно набирает темп технический, экономический, социальный, научный прогресс, некоторые футурологи — к ним относится и Эрвин Ласло — говорят: у них нет будущего, они едва ли продержатся больше столетия.

Конечно, «модерная» эпоха кажется себе вечной, каковыми казались себе эпохи, канувшие в историческое прошлое. И мы, освятив, окружив нимбом понятие модерности, не заметим даже, когда по нему зазвонит колокол.

Какая же эпоха придет на смену модерной, если будущее действительно докажет правоту футурологов?

В рассыпающихся атомизирующихся обществах, где модерный образ жизни разрушает даже опорную ячейку — семью,— возможно ли вообще сохранить жизнь, передать ее потомкам без укрепления коллективистского духа и коренящейся в нем новой морали?

А если это так, то мы, венгры,— не впервые в истории — опаздываем по фазе. Привлекательные плоды современной эпохи, ее преимущества, ее пороки, ее самоубийственные пристрастия мы вкусили лишь теперь, когда ее болезни приобретают роковые масштабы и когда нужно с ясной головой готовиться к новой великой исторической задаче, которую способно решить лишь общество, где осуществится плодотворная гармония индивида и коллектива.

То есть социализм.

Не исключено, что «модерная» цивилизация с самого начала была заражена вирусом некоего убивающего человеческие сообщества СПИДа. Совершенно очевидно, что в наши дни эта болезнь набрала силу, обрела характер эпидемии, и «иммунная система» самозащиты общества становится все менее действенной.

«Та естественная динамическая система, которая борется против чуждых веществ, проникающих в организм, более неэффективна. Отдельные элементы иммунной системы словно бы позабыли, что должны делать, или по крайней мере утратили свою цель, и согласованное взаимодействие сменилось полной анархией и неразберихой»,— читаю в одной статье, описывающей симптомы и протекание СПИДа.

Естественно, автор пишет о человеческом организме. «...Чаще всего мы не очень даже помним о том, что обладаем иммунной системой, оберегающей нас от болезнетворных микробов. Иммунная система человека, как правило, безошибочно улавливает признаки вторжения чуждых организмов и за короткое время так уверенно «пристреливается» к ним и уничтожает их, что по сравнению с ней радары противовоздушной обороны и даже сеть спутников, предусмотренная проектами «звездных войн»,— жалкие, примитивные вещи. Человеческий организм развивался в течение миллионов лет, и выживанию человеческого рода, по крайней мере в какой-то части, мы обязаны именно этой утонченной защитной системе...»

Не действует ли и в человеческих обществах, коллективах, как в человеческом организме, некая защитная иммунная система? И если да, то не может ли какой-нибудь — поражающий общество — вирус СПИДа парализовать эту общественную защитную иммунную систему?

Симптомы болезни организма и сообщества людей на удивление схожи.

В процессах общественной жизни в последнее время появилось и закрепилось множество таких факторов, которых раньше никогда не было. Изменения эти в самом деле могли внести смятение, парализовать сложившиеся на протяжении тысячелетий, надежно действующие иммунные системы.

Едва ли эти системы были нарушены такими — во многом наследственными — болезнями современного общества, как преступность, алкоголизм, наркомания и прочие отклонения от норм; общественная иммунная система за прошедшие тысячелетия должна была закалиться, приспособиться к ним, выработать защитные рефлексы.

Однако не существует таких, пригодных для быстрого применения, «антител», таких защитных сил, которые могли бы противостоять новой форме паразитирования, укореняющейся в современных обществах,— эксплуатации, ограблению будущего. Больная социальным СПИДом цивилизация, во всяком случае, таких сил не имеет.

Социализм и докажет свою жизнеспособность тем, что выработает в себе необходимые «антитела», которые обеспечат защиту будущему, победят, одолеют этот новый паразитизм.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Сборник рассказов ЮРИЯ КАЗАКОВА «Осень». Издательство «Народна култура».
«Избранное» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. То же издательство.
Повести и рассказы БОРИСА ЛАВРЕНЕВА. Издательство «Христо Г. Данов».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Народна култура».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Хищные вещи века». Издательство «Георги Бакалов».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Народна култура».
Сказка КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Доктор Айболит». Издательство «Отечество».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «ТАСС уполномочен заявить». Издательство «Джон Колдер».
Повести ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Дом на набережной» и «Другая жизнь». Издательство «Абакус».
Стихи НИКИ ТУРБИНОЙ. Издательство «Марион Бойярс».

ВЕНГРИЯ

Книга АРСЕНИЯ ГУЛЫГИ «Шеллинг». Издательство «Гондолат».
Сборник повестей АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Радости и печали» Издательство «Европа».
Роман ОТАРА ЧИЛАДЗЕ «Железный театр». Издательство «Магветё».

ГДР

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «Идет розыск». Издательство «Фольк унд вельт».
Книга СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «У войны — не женское лицо». Издательство «Хеншель».
Повесть СЕРГЕЯ АНТОНОВА «Разорванный рубль». Издательство «Филипп реклам».
«Избранное» АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Нойес лебен».
Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Завтра была война». Издательство «Ауфбау».
Пьеса ВЛАДИМИРА ГУБАРЕВА «Саркофаг». Издательство «Хеншель».
Сказки для детей ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «Киндербухферлаг».
Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Белка». Издательство «Фольк унд вельт».
Роман АЛЕКСЕЯ НОВИКОВА-ПРИБОЯ «Цусима». Издательство «Милитерферлаг».
Повесть НИКОЛАЯ ОГНЕВА «Дневник Кости Рябцева». Издательство «Нойес лебен».
Избранная проза БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Филипп Реклам».
Книга КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Золотая роза». Издательство «Дидц».
Сказки АННЫ САКСЕ. Издательство «Рютген унд Лёнинг».
Роман МАТИ УНТА «Осенний бал». Издательство «Ауфбау»,
Роман АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА «Разгром». Издательство «Ферлаг дер национ».

ИСПАНИЯ

Повесть ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «Египетская марка». Издательство «Альфагуара».
Рассказы БОРИСА ПАСТЕРНАКА. То же издательство.

ПОЛЬША

Стихи РЫГОРА БОРОДУЛИНА. Издательство «Выдавництво литерацке».
Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «КиВ».
Повесть ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА «Свечи на ветру». Издательство «ПИВ».
«Сентиментальный роман» ВЕРЫ ПАНОВОЙ. Издательство «Чительник».

ЭЛЕМЕР ХАНКИШ

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ?

О воздействии венгерских и американских телепрограмм

Некоторое время назад мне представилась возможность по вечерам, а точнее — хоть сутки напролет, смотреть программы американских телекомпаний. Они привели меня буквально в состояние своего рода «культурного шока», причем двойного. В подобных случаях впадаешь в шок не только от американского, но и от венгерского телевидения. Американское настолько своеобразно, и своеобразие это настолько резкое, что на память невольно приходят особенности отечественных, привычных мне телепрограмм — в них тотчас высвечиваются такие нюансы, на какие, сидя дома перед экраном телевизора, обычно и внимания не обращаешь. Внезапно осознаешь: что́, какую атмосферу, какие формы поведения, идеи, краски, звуки, какое представление о мире годами, десятилетиями впитываешь ты (да и твои близкие) вместе с лучами, источаемыми кинескопом, когда смотришь телепрограммы родной страны. И начинаешь отчетливо различать, в каких случаях это лучи вредоносные, а в каких — благотворные.

Ниже я попытаюсь описать некоторые из замеченных мною различий. Начну с тех, что прежде всего бросаются в глаза, с поверхностных, постепенно переходя к более существенным.

Уровень шума

Американское телевидение практически целый день бурлит, громыхает, неистовствует, музицирует, смеется, ни на миг не оставляя зрителя в покое. В венгерских телепрограммах — то и дело полная тишина. Не только тишина в перерывах, но и по ходу передачи — между двумя сообщениями, абзацами, даже фразами текста новостей нет-нет да и возникнет пауза, заминка, мгновение тишины. Американское телевидение звонче, венгерское — приглушеннее, тише. Почему бы это? Жизнь больших городов одинаково шумная, а провинция — одинаково тихая, что у нас, что в Америке. Так откуда же необузданность красок и звуков — у них и спокойная монотонность — у нас? Мы что, более цивилизованны, лучше воспитаны, по характеру тише? Вопрос спорный. Быть может, более утомлены, равнодушны, безучастны? Американское телевидение крикливо: неистовство страстей, от которого закипает кровь, как бы провозглашает: мы веселимся, ибо жизнь прекрасна! Монотонное же спокойствие венгерского телевидения словно констатирует: мы устали и нам все равно. Не знаю, может быть, мы и правда такие, но тогда очень жаль, что еще и телевидение укрепляет нас в этой истоме.

Динамичность

Все, что происходит на американском телеэкране, происходит гораздо оживленнее, динамичнее, чем у нас. В конечном счете эта оживленность ориентирует на динамичный, деятельный образ жизни. Наши телепрограммы расслабляют, убаюкивают, настраивают на меланхоличный лад, причем не только отдельными кадрами, но — что особенно важно — и самой концепцией построения передач и программ. Я касаюсь здесь не содержания, а только общего эффекта их воздействия, эффекта значительного. Если вы с детства видите перед собой живой, стремительный, динамичный мир или если, напротив, вам изо дня в день показывают мир расслабленный, полусонный, пассивный — это с течением времени зафиксируется воображением, впитается нервной системой и затем отразится на всем вашем представлении об окружающем мире. А поскольку взгляды человека на мир и на свое в нем место влияют, в свою очередь, на его поведение, то можно предположить — хотя доказать это было бы и не так легко,—что наше телевидение таким вот образом, само того не желая, последовательно воспитывает в нас нерасторопность и пассивность. Впрочем, быть может, это различие имеет место не только в те-

левизионных передачах и программах, но и в реальной жизни двух стран? В таком случае телепрограммы лишь отражают то, что существует в действительности. От подобного «реализма», однако, нам проку мало. Куда лучше, если бы экран и при этом подталкивал зрителя к большей активности и разворотливости.

Как именно этого достичь — не знаю. Но мне запомнилось, например, что в американских программах все и вся в постоянном движении: люди расхаживают взад-вперед, присаживаются и снова встают, за кем-то или за чем-то бегут сломя голову, прыгают, куда-то карабкаются. На нашем телеэкране, напротив, бесконечно много сидят или стоят, переминаясь с ноги на ногу, почти не двигаясь и ничего не делая. Да, за внешней динамичностью американских программ часто скрывается пустота содержания, поскольку в большинстве случаев это динамичность сюжетов приключенческих или детективных фильмов, и вполне возможно, что наши передачи-беседы, где участники просто сидят или просто стоят, на самом деле затрагивают гораздо более глубокие и актуальные проблемы, касающиеся общества в целом и каждого из нас в отдельности. Что ж, в таком случае еще печальнее, что они сплошь и рядом наводят скуку.

Раскованность и элегантность

На американском телевидении программы строят и ведут значительно более раскованно и элегантно, нежели у нас. Приведу хотя бы такой пример. Манеры, произносимые тексты, стиль одежды и стиль общения друг с другом в кадре—все это у тамошних комментаторов и дикторов свободнее и изящнее, чем у наших. Вечернюю программу главных новостей дня, соответствующую нашей вечерней передаче последних известий, трое, четверо, а то и сразу пятеро комментаторов ведут так, что она выглядит чуть ли не сплошной импровизацией. Они то и дело перебивают и дополняют друг друга, шутят, вставляют меткие реплики даже в официальные сообщения; обращаясь один к другому, поворачиваются на вращающемся кресле или встают и подходят к собеседнику; по ходу передачи ловко подбрасывают друг другу оригинальные мысли и темы, как футболисты в атаке передают мяч. Все это чрезвычайно важно, хотя на первый взгляд и может показаться малосущественным — с одной стороны, создается атмосфера доверительного разговора со зрителем, с другой — зритель получает урок свободных, непринужденных, изящных манер.

Дело тут, разумеется, не только в том, что у нас и у них разные телекомментаторы, дело и в разном образе жизни. Американское общество вообще раскованнее, чем венгерское. Даже у своих соседей, жителей западноевропейских стран, мы замечаем — действительную ли, показную ли — непринужденность, уравновешенность поведения, отсутствие нервозности, раздражительности, напряженности, скованности, во всяком случае в их повседневном общении между собой. Это, конечно, отнюдь не означает, что у них нет своих удручающих забот и проблем, однако в каждодневных контактах они как-то умеют отодвигать их на второй план и общаться в равной мере раскованно и тактично. В венгерском же обществе, в нас — напряженности, нервозности, скованности хоть отбавляй, они присутствуют как в нашей повседневной жизни вообще, так и в каждодневных контактах между отдельными людьми, в их манере поведения. Этому, очевидно, во многом способствуют скованность, неестественность, принужденность манер наших телекомментаторов. А жаль, потому что они таким образом укрепляют в нас вредоносные навыки поведения вместо того, чтобы содействовать их исправлению; потому что воздействуют на зрителя не только прическа и платье дикторов и ведущих, но в гораздо большей степени — их манеры, стиль поведения в кадре. И этот эффект заметно возрос бы и стал более положительным, научись они держаться и общаться на экране так же свободно, непринужденно и элегантно, как это умеют их американские коллеги.

Веселость — хмурость

Американское телевидение строго следует принятому в повседневной жизни этой страны «золотому правилу»: что бы ни было, всегда улыбаться. Люди на экране — за исключением разве что тех героев фильмов или телеспектаклей, которым по сценарию полагается выглядеть угрюмыми,— неизменно в прекрасном настроении, самозабвенно танцуют и резвятся, звонко смеются, прямо-таки сияют от удовольствия. В той или иной мере это характерно и для программ новостей, и для бесед обозревателей, и для всякого рода «круглых столов», для сообщений синоптиков о погоде на завтра, для оперативных интервью, да и вообще практически для любой передачи. С этой точки зрения венгерское телевидение напоминает больного, страдающего депрессией: типичное настроение программ — равнодушие, меланхолия, приподнятая суровость. Почти невозможно представить, чтобы кто-нибудь из комментаторов или дикторов, читающих последние известия, хоть слегка улыбнулся, а если бы он от души рассмеялся по какому-либо достойному того поводу, то, пожалуй, поверг бы в состояние шока всю страну. Подчеркнутая серьезность, угрюмость, меланхоличность поведения тех, кого мы видим на венгерском телеэкране, характерны, за редким исключением, для большинства передач, будь то научно-популярная программа или телевизионный спектакль. Даже программы чисто развлекательные у нас обычно умудряются выдерживать в минорном ключе. В итоге — если американское телевидение погружает зрителя в мир жизнерадостный, веселый, раскрепощенный, то венгерское предлагает ему мир хмурый, тусклый, безжизненный. И вновь возникает вопрос: что это, простое отражение реальной жизни, или же американское телевидение умело приукрашивает действительность, а венгерское, наоборот, представляет мрачнее, чем она есть? Так или иначе, вполне можно предположить: стиль и настроение американских и венгерских

телепрограмм углубляют существующее различие в характерном для той и другой страны повседневном эмоциональном состоянии людей.

Оптимизм — пессимизм

Американское телевидение не просто живее и жизнерадостнее венгерского, его программы и в большей степени жизнеутверждающи. Это отличие формируется, как предыдущие, из множества незначительных по отдельности, но мощных во взаимодействии факторов. Приведу такой пример. Подавляющее большинство американских телеспектаклей и фильмов заканчиваются «хэппи эндом»—положительные герои побеждают, причем победа достается им в результате упорной, продолжительной, мужественной борьбы. По венгерскому телевидению также демонстрируется немало подобных фильмов и телепьес, поскольку социалистический реализм в свое время вплотную приблизился — как приближается и нынешнее коммерческое кино — к американской кинодраматургии с ее излюбленной темой противоборства добра и зла при неизменной победе добра. В наших фильмах и телеспектаклях, однако, заслуженный положительными героями «хэппи энд» наступает гораздо реже. Зло часто остается непобежденным, главный вопрос нерешенным, в финале же — неопределенность, безропотная покорность судьбе, герои мирятся с поражением... Тема фиаско вообще стала у нас традиционной. В венгерской литературе последнего столетия почти не встретишь тем, которые разрабатывались бы столь же активно, как эта. Я далек от предположения, будто наша культура склонна исключительно к самоистязанию, но что ее значительно больше занимают наши неудачи, чем наши успехи,— бесспорно. Еще самую малость — и можно будет сказать, что успехом у нас считается не успех, а достойно перенесенная неудача.

Немного найдется литератур и культур на планете, в которых так сильно ощущалась бы тяга к самокритике, самоиронии, самокопанию, как в венгерской. Это тяготение — одна из характернейших черт нашей культуры и в то же время — одно из ее достоинств. Еще разве что в нескольких странах Восточной Европы и Латинской Америки можно встретить в обостренном виде названные тенденции. Продуктом такого склада мышления является и венгерская социографическая литература.

Как-то раз мы с американскими коллегами и студентами обсуждали сюжеты нескольких повестей, фильмов и пьес, причем каждый из участников разговора должен был предложить свой вариант финала. И проявилась следующая особенность: сознательно ли, инстинктивно ли—американцы в большинстве своем стремятся завершить любую историю «хэппи эндом», благополучный конец представляется им эстетически и художественно наиболее оправданным, достоверным. Наши же эстетические потребности, похоже, тяготеют скорее к трагизму, фиаско, к переживаниям, связанным с поражением. Не смею утверждать, что дело обстоит только так и никак иначе, но если да, то очень непросто добиться в этом отношении существенных перемен, и телевидение само по себе едва ли справится с этой задачей. Тем более что средством, противодействующим живущей в нас склонности к трагизму, меланхолии и всякого рода грустным переживаниям, является отнюдь не комизм, форсированным маршем шагающий сейчас на телеэкран, и уж конечно не кабаре.

Мир справедливый и несправедливый

Этот вопрос тесно связан с вопросом об оптимизме и пессимизме. Американские телепрограммы до предела нашпигованы всевозможными конфликтами, бедствиями, проявлениями сил зла, однако в конечном итоге они изображают окружающий мир справедливым. Для венгерских телепрограмм это или вовсе не характерно, или характерно в значительно меньшей степени. У нас демонстрируется множество фильмов, в основе сюжета которых — жизненные ситуации, отнюдь не способствующие укреплению в человеке веры в справедливость. Герои погрязли в заботах, жизнь для них — сплошная полоса препятствий и нещадных ударов судьбы. В таком духе делаются у нас и документальные ленты на социальные темы, и телевизионные художественные спектакли, и фильмы. Быть может, дело тут в том, что нам, как и ряду других стран Восточной Европы, жизнь после войны пришлось начинать практически с нуля, а отсюда и масса реальных забот и проблем, неизвестных американцам и мешающих воспринимать жизнь справедливой в своей основе. А возможно, все это отзвук пятидесятых годов, когда в массы внедрялся официозный, насильственный оптимизм, и теперь человек с опаской и недоверием относится к оптимизму действительному, считает его основанным на иллюзиях.

Взаимодействие и одностороннее воздействие

В общем и целом американское телевидение намного активнее стремится к взаимодействию со зрителем, чем венгерское. Это проявляется, с одной стороны, в том, что американские программы включают гораздо больше всевозможных «круглых столов», викторин, непрофессиональных творческих конкурсов; с другой — в более изощренном умении телекомментаторов, дикторов, ведущих создавать иллюзию подлинного диалога со зрителем. Венгерское же телевидение, по сути дела, «подавляет» зрителя, доминирует над ним, предлагает ему полностью «готовый к употреблению» познавательный материал. Что же касается участия телезрителя в программе как равноправной стороны, будь то игра или дискуссия по какому-либо вопросу, то тут усилий почти не заметно или, во всяком случае, малозаметны результаты этих усилий.

Технике «активизации» телезрителя нам вполне стоило бы поучиться у тех же аме-

риканцев или у кого-то еще. В Америке огромную роль, например, играет личность ведущего, который является в прямом смысле слова личностью и имеет обширную аудиторию поклонников и приверженцев. Ему подражают, с ним отождествляют себя миллионы зрителей, и через это отождествление они как бы становятся не только свидетелями, но и активными соучастниками телевизионного действа. Или еще такая особенность. Возьмем одну из популярных утренних танцевально-гимнастических программ, настоящее шоу, которое ведет белокурый молодой человек. Звучит музыка, под нее он делает гимнастику, танцует, о чем-нибудь оживленно рассказывает, шутит, дает полезные советы на все случаи жизни. Причем фигурирует он на экране не в одиночестве, а с целой группой мужчин, женщин, подростков, тоже танцующих и выполняющих упражнения. Они не танцоры и не гимнасты, телосложение, внешность и возраст у них самые разные; это скорее разношерстная, но сплоченная компания, которая вместе двигается в такт музыке, вместе думает и чувствует — эдакая большая и дружная семья. И то, как они сообща танцуют, сообща выполняют гимнастические упражнения сообща веселятся, действует на зрителя чрезвычайно заразительно. В эквивалентной венгерской телепрограмме утренней гимнастики в пустынном зале делают зарядку два-три человека, демонстрирующие всей стране, какие и как надо выполнять упражнения. Они профессионалы, они не вместе с нами, а на работе, они показывают нам, учат нас делать гимнастику. И делают только это, причем молча, ни слова не говоря, кроме разве что скупых указаний, какую ногу или руку поднимать или опускать. Все сводится к бездушной, механической работе мышц. Единственное, что порой вызывает в передаче приятные эмоции, это участие в ней детей вместо взрослых. То, что в последнее время гимнастику по телевизору стали показывать на фоне приклеенного к стене цветного фотопейзажа, не спасает положения. Знаю, есть страны, где подобные телепрограммы утренней гимнастики смотрятся еще безотраднее, но мы в этом сравнении выигрываем не много.

На первый взгляд оттенки эти слишком незначительны, чтобы о них говорить, однако они ведь присутствуют в большинстве передач и, стало быть, в комплексе способны составить чрезвычайно существенное различие в воздействии телевидения на зрителя у нас и в Америке. Американское телевидение, по общему впечатлению, популярнее, демократичнее; возможное и фактическое участие в его программах зрителей, общественности там всячески подчеркивается; для венгерского же телевидения характерны скорее информационность, обучающе-поучающий и даже несколько высокомерный тон, изолированность от зрителя.

Гомогенность — гетерогенность

Программы американского телевидения значительно более гомогенны, однородны, чем программы венгерского, в том смысле, что подавляющее большинство их — отечественные, сделаны в США, чаще всего в Голливуде, чуть реже — на восточном побережье, в Нью-Йорке, к примеру. Венгерское телевидение, напротив, гетерогенно, разнородно. Ежедневно в нашем телеэфире присутствуют передачи, фильмы, снятые в самых разных уголках мира, в самой разной культурной среде. Для субботней программы не редкость, когда утром зрителю предлагается английский или американский мультфильм, после полудня исторический фильм венгерского производства, затем советский и польский видовой фильмы, после этого, глядишь, какая-нибудь международная пресс-конференция, вечером американский боевик, а совсем поздно — итальянский фильм, посвященный искусству. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное было в Америке. Там в течение многих недель можно не увидеть на телеэкране ни одной документальной или художественной ленты, созданной за рубежом. Американская культура в значительной степени автономна и полагает, что способна обеспечить себя всем тем, что ей необходимо. Венгерская же культура, как, впрочем, на мой взгляд, и культуры других малых стран Европы, гораздо более открыта для международного культурного рынка. И в этом немалое наше преимущество: внимание телезрителя то и дело переключается, отрывается от его собственной культурной среды, перед ним распахивается весь мир, и он учится воспринимать жизнь неоднозначно, во всей ее сложности и многогранности. В этом отношении кругозор американского телезрителя более узок и менталитет его менее гибок.

Согласованность — несогласованность

Данная тема напрямую зависит от предыдущей. Дух, информационное содержание американских телепередач, представляемая ими картина окружающего мира постояннее и последовательнее, чем в передачах телевидения венгерского. В Америке под воздействием существующего уже не одно столетие плюралистическо-демократического уклада жизни общества сформировалась в известном смысле пестрая, но, в сущности, чрезвычайно устойчивая и слаженная культура, основополагающие декларируемые принципы которой разделяет значительная часть населения, во всяком случае—его средние и верхние слои. Свобода личности, возможность и даже необходимость частного предпринимательства, автономность существования человека, индивидуализм. Конечно, на практике, как известно, эти принципы осуществляются далеко не всегда (а жители гетто крупных городов вообще едва ли понимают их значение), однако в сознании большинства американцев они укоренились и в сумме образуют стабильную целостную систему.

В Венгрии такой системы принципов нет. Приемлемую для общества в целом, способную выдержать испытание временем, более или менее гомогенную систему безусловных ценностей за истекшие десятилетия выработать не удалось. (Правда, и пропасть между большинством населения и

несколькими группами его меньшинства у нас не так глубока, как в Америке.) В одном из своих выступлений в печати я подробно рассказал о том, с какими внутренними противоречиями, чреватыми кризисом ситуациями, с какими дилеммами сталкивается венгерское общество в поисках целостной шкалы ценностей; писал и о том, почему именно не удалось за истекшие тридцать с лишним лет создать единую для всего общества систему ценностей, принципиальных ориентиров и почему ее невозможно было создать. В условиях же отсутствия такой системы телевидение только и может, что изо дня в день подчеркивать это отсутствие несогласованностью своих позиций. Положение у него не из легких, поскольку в шестидесятые — семидесятые годы руководство страны фактически отказалось от выработки системы общественных ценностей на своем уровне, собственными силами, и эта задача была возложена, с одной стороны, на органы народного образования, а с другой — на средства массовой информации. Эти учреждения, однако, оказались не в силах решить задачу, поскольку всякого рода запреты, ограничения, предостережения от «ошибок» и нагоняи за «ошибки» связали их по рукам и ногам, не давали работать; передачи того же телевидения стали отличаться безмерной нерешительностью, осторожностью («как бы кого не обидеть»), пустословием, обтекаемостью, эклектичностью. Той или иной формы здорового плюрализма, плодотворного столкновения самых разных идей, убеждений, позиций в итоге добиться не удалось. Успеха можно было ждать лишь в том случае, если бы социальные группы — носители разных идей, убеждений, принципов — имели возможность сами их излагать, если бы разные взгляды и позиции постоянно противостояли друг другу; только тогда в результате они интегрировались бы в некую общественную систему ценностей. Пока же подобного рода здоровый ценностный плюрализм, плюрализм взглядов не войдет в социальную практику, до тех самых пор, хотим мы того или нет, в наших телепрограммах будет по-прежнему царить хаос.

Нацеленность в будущее — нацеленность в прошлое

В этом отношении американское и венгерское телевидение также отличаются друг от друга. Американское занято главным образом настоящим и будущим, венгерское — настоящим и прошлым. По американскому практически ежедневно показывают хотя бы один научно-фантастический фильм; чаще всего это примитивная, грубая, непритязательная поделка, но тем не менее в ней предстает какая-то ситуация из воображаемого будущего. У нас научная фантастика на телеэкране — большая редкость, зато в изобилии исторические фильмы. В неделю их порой демонстрируется сразу несколько. Нам нравится то так, то этак вновь переживать свое прошлое, хочется получше в нем разобраться, разгадать его неразгаданные загадки. Американское общество не очень-то интересуется прошлым, хотя и склонно порой к ностальгическим настроениям. Его больше заботит будущее. Американцы желают знать, какие новые возможности откроются перед ними завтра, с какими проблемами и угрозами придется столкнуться.

Как в ориентации на прошлое, так и в ориентации на будущее есть свои преимущества и свой смысл. Что касается первого, то я убежден: американскому обществу тоже не мешало бы почаще и поосновательнее обращаться к своей истории. Прошлого нет у детей, но нельзя же вечно пребывать в детстве. Венгерское общество с этой точки зрения выглядит более «взрослым», искушенным, не по годам умудренным опытом, несмотря на то что его знания о своем прошлом подчас смутны и противоречивы. В некоторых сложных переплетениях собственной истории мы здорово запутались, и это скорее воспитывает в нас склонность к раздумьям, нерешительность и пассивность, нежели побуждает к активной деятельности. Что же касается ориентации на будущее, то, повторяю, представления о нем у американцев довольно примитивные и неясные, во всяком случае таким оно предстает в научной телефантастике. Хотя сама по себе нацеленность в будущее воспитывает в людях активность и динамизм, которые очень кстати пришлись бы и нам.

Популярность — элитарность

Характер американского телевидения традиционно популярный, концепция построения его программ подразумевает по возможности обращение сразу ко всей зрительской аудитории. Особенно характерно это для передач трех крупнейших в Америке телекомпаний. Только в последние годы, в связи с распространением кабельного телевидения, возникли телеканалы, адресующие свои программы узкой, назовем ее элитарной, аудитории. Концепция популярности продиктована материальным интересом: чем больше количество зрителей, тем выше сумма, получаемая телекомпанией за каждую секунду рекламы. Иначе обстоит дело в Венгрии. Даже в основное для телевидения, вечернее, время по первой программе идет немало передач, рассчитанных на подготовленную, а значит — на относительно узкую аудиторию; в еще большей степени это традиционно для второй программы. Правда, следует уточнить: повышение среднего культурно-просветительного уровня передач у нас диктуется целями политики в области культуры и тем, что одна из важнейших задач телевидения — воспитывать людей и общество в целом. В то же время, насколько мне известно, английская корпорация Би-би-си в своей практике последовательно и небезуспешно добивается сочетания популярности телепрограмм с их предельно высоким художественным уровнем.

Жизнь частная — жизнь общественная

В американских телепрограммах личная, частная жизнь занимает значительно больше места, чем в венгерских. Это типично не только для содержания фильмов и теле-

спектаклей, демонстрируемых в основное, вечернее время, но и практически для всех передач, идущих с раннего утра до глубокой ночи. В упомянутой выше танцевально-гимнастической программе ведущий, как вы помните, мимоходом и даже в отчасти шутливой манере, но все же рассуждает о повседневных, частных проблемах, заботящих и тех, кто танцует рядом с ним в студии, и тех, кто танцует вместе с ним у себя дома перед телевизором; причем проблемы затрагиваются не только материального, житейского плана, но и духовного. И это не исключение, а характернейшая черта всех подобных передач, начиная с утренних советов косметолога и кончая консультацией психолога или специалиста по проблемам семьи. В буквальном смысле слова гениально, на мой взгляд, организованы детские передачи, выходящие в эфир по утрам в субботу, где ненавязчиво, в игровой манере детей учат самостоятельному мышлению, культурному поведению, умению с честью выходить из трудных жизненных ситуаций, рационально использовать время и т. п.

Венгерское телевидение в основном ориентировано на жизнь общественную. Кому-то мои слова, быть может, покажутся странными, мы ведь привыкли жаловаться на то, что подлинной общественной жизни у нас как раз не хватает, остро не хватает, и что именно поэтому люди и замыкаются в рамках своей частной, семейной жизни. Да, все так и обстоит в действительности. Телеэкран, однако, рисует нам иную картину. Львиная доля передач посвящена общественным и политическим проблемам, они выносятся на первый план, вопросам же частной жизни внимания уделяется гораздо меньше. Как принято теперь говорить, «человеческий фактор» за последние двадцать—тридцать лет каким-то образом ускользнул из поля нашего зрения. Все интеллектуальные силы мы бросили на обсуждение дел общественных, жизнью же частной, судьбами человеческими, житейскими проблемами у нас не занимались, да и сейчас толком не занимаются ни школа, ни средства массовой информации, в том числе телевидение. По моему мнению, правда, пока ни в одной стране в телепрограммах не сумели добиться хотя бы относительного равновесия в освещении вопросов общественной и частной жизни.

Иллюзии и действительность

Мир американского телевидения на всем протяжении его круглосуточного вещания — это мир иллюзий. На них отчасти построены и те воспитательно-учебные передачи, о которых шла речь выше, но это иллюзии полезные, позитивные. Они, например, вселяют уверенность, скажем, в сорокалетних, но уже страдающих от излишнего веса людей, что в их силах снова стать стройными и пластичными, как в годы юности. Такие и подобные иллюзии, повторяю, полезны, позитивны как в чисто человеческом, так и в социальном плане. Другое дело, что действие значительного числа американских телеспектаклей и фильмов происходит либо в разукрашенном романтическими атрибутами преступном мире, либо в мире, порожденном безудержным воображением какого-нибудь далекого от науки фантаста, либо еще в каких-то невероятных условиях. Если бы телевидение действительно обладало такой силой воздействия, какую приписывают ему некоторые специалисты в области средств массовой информации, то американское общество за последние 20—25 лет должно было бы начисто лишиться чувства реальности.

То, что мы видим на венгерском телеэкране, в большинстве случаев (поскольку много еще и поверхностных, пустопорожних и обходящих острые углы передач) реалистично, а подчас даже натуралистично. Действительность предстает перед телезрителем такой, какова она есть; в наших программах немало содержащих критику общества документальных лент и спектаклей на документальной основе, хватает и критического характера художественных кино- и телефильмов. В Америке — если оставить в стороне прекрасно организованные информационные программы, а также более откровенные и деловые, чем у нас, интервью и дискуссии по социально-политико-экономическим вопросам — подобные общественно-политические документальные ленты демонстрируются крайне редко. Здесь стрелка весов уверенно отклоняется в направлении венгерского телевидения; правда, как уже говорилось выше, чрезмерные самобичевание и крен в сторону прошлого, горький реализм, «реализм безнадежности», по всей вероятности, способны оказывать на зрителя и негативное влияние.

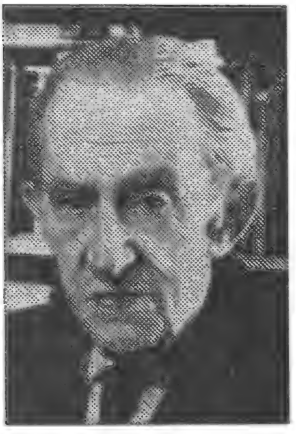
Такие вот и подобные особенности бросаются в глаза, когда после венгерского телевидения смотришь американское. Конечно, их стоило бы проанализировать более основательно, причем в первую очередь для того, чтобы выяснить: правдив ли тот наш портрет, который мы видим на отечественном телеэкране, в самом ли деле мы так равнодушны, пассивны, угрюмы, пессимистичны, утомлены настоящим и ищем отдушину в прошлом, или телевизор — кривое зеркало, в котором мы изо дня в день видим себя такими и, стало быть, учимся у себя таких?

Перевод с венгерского П. БОНДАРОВСКОГО

◆

Критика

Наши публикации



ДЁРДЬ ЛУКАЧ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 1917-го И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Предлагаемая вниманию читателей статья «Великий Октябрь и современная литература» выдающегося венгерского философа-марксиста и литературоведа Дёрдя Лукача впервые увидела свет более двадцати лет назад: сначала в сокращенном варианте, а позже полностью в журнале «Кюрбискерн» (ФРГ). В прошлом году ее опубликовал венгерский журнал «Надьвилаг».

Глубокая, публицистически заостренная статья Д. Лукача звучит в наши дни актуально — при том, что отдельные оценки и суждения автора могут вызвать несогласие.

Редакция предполагает в ближайших номерах вернуться к разговору об этой публикации.

1

Соединение этих двух понятий лишь в редких случаях и для очень немногих создает единую завершенную картину. Бесспорная, но абстрактная в своем непосредственном переживании истина, заключающаяся в том, что в настоящее время нет человека, основы существования и образ мышления которого не были бы решающим образом определены Октябрем и его последствиями, с трудом поддается конкретизации отдельным человеком именно из-за ее всеобъемлющей всеобщности. К тому же легенды, возникшие в среде его сторонников и противников, затемняют простые и вместе с тем чрезвычайно сложные события дней великого переворота и значение преисполненных переменами лет, которые необходимым образом за ними последовали. Именно поэтому совсем нелегко, особенно для тех, кто сам не пережил эти дни, конкретно установить их рационально признанную связь с собственными жизненными проблемами сегодняшнего дня.

Когда я, современник этих событий, сначала наблюдавший за ними издалека, затем принимавший в них активное, хотя и скромное участие, пытаюсь теперь восстановить в своей памяти их сущность и последствия и сопоставить полученный результат с современностью, то в качестве первого шага к конкретизации обращаюсь к образу Ленина, центра и движущей силы, вождя и мозга Революции, зримого воплощения наступившего переворота. И поразительно, что его образ кристаллизуется в неделимом единстве мощной воли к радикально новому, с одной стороны, и в клубке реальных противоречий — с другой; в их сочетании неотвратимо проявляется монументальность его дела и вместе с тем вся полнота обязательных эпохальных проблем, поставленных перед каждым человеком.

Максим Горький чрезвычайно метко охарактеризовал магнетическое воздействие Ленина, которое было одновременно и магнетизмом самой великой Революции,— причина, по которой то и другое вызывало яростную ненависть или вдохновенную любовь самых различных людей. Ленин, пишет Горький, мог, как никто до него, не позволять людям жить привычной для них жизнью. Не следует никогда забывать, что все это произошло в 1917 году, явилось событием громадной важности и для тех, кто не жил в России, что это произошло в разгар войны, уничтожившей якобы существовавшую до 1914 года воображаемую безопасность буржуазного мира, разбившей вдребезги прежние идеалы и заставившей каждого человека вновь поставить и для себя проблему смысла и бессмысленности как таковую. То, что Горький с такой точностью характеризует как сущность ленинской деятельности, как воздействие его дел, было сущностью самой эпохи, вопросом, обращенным к каждому человеку.

В самой общей и грубой интерпретации это вопрос о насилии или отказе от него, об утверждении или отрицании универсального права внутренне и внешне определять жизнь людей. Для Ленина его решение не вызывало сомнений. Последовательный марксист, он знал и учил, что каждый раз, когда человечество ломает старые формы жизни и приступает к построению совершенно новых, насилие неизбежно служит орудием совершаемого обновления. Здесь мы не будем рассматривать эту альтернативу в ее значении для философии истории. Само общественное бытие дало ответ, не приняв противоположных доводов (учение Ганди, например). Однако для большинства живших тогда людей этот вопрос носил не только исторически объективный характер. Перед каждым из нас, кто в своем развитии оказался на этом перепутье, вставал чисто личный вопрос, требующий внутреннего решения: как мне отнестись к этой альтернативе с точки зрения смысла моего собственного существования? Проявляющуюся в этом противоречивость очень отчетливо показал Горький в ряде фрагментов из бесед с Лениным. Писатель сетовал на жестокость революционных будней, на что Ленин, по его словам, возмущенно и гневно ответил: «Какой мерой измеряете Вы число необходимых и лишних ударов в драке?» В другой беседе того же времени Ленин сказал, что любит «Аппассионату» Бетховена, но старается не слишком часто слушать ее. По свидетельству Горького, он «невесело» прибавил: ведь тогда «хочется говорить милые глупости и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, способны создавать такую красоту». Между тем надобно, закончил он, «бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми».

В этом переплетении различных тенденций существует, конечно, путеводная нить: марксизм. Поэтому не стоит терять время, доказывая, как важно было всегда для Ленина подлинное марксистское учение. Во время войны, после победы революции, в первые годы Советской власти все его помыслы были направлены на то, чтобы представить это учение очищенным от всех упрощений и искажений, применить его в его истинном значении. Попытка рассматривать работу «Государство и революция» как точное изложение взглядов Маркса на весь круг этих проблем в их исторической последовательности — не карикатура, а просто выявление немаловажного аспекта самой сути дела. Практически Советская республика действительно предстает как реализованное завершение этой системы мыслей. Однако уже при введении нэпа Ленин характеризовал теоретическую ситуацию применительно к проблемам государственного капитализма при социализме следующим образом: «Даже Маркс не догадался написать ни одного слова по этому поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты и неопровержимых указаний. Поэтому нам сейчас приходится выкарабкиваться самим» [1]. Предшествовавший нэпу военный коммунизм, который теперь надлежало преодолеть, он также не рассматривает как осуществление марксовой теории. Военный коммунизм «был вынужден войной и разорением. Он не был... отвечающей задачам... пролетариата политикой» [2].

Подобная марксистская позиция — после десятилетий оппортунистически-догматического искажения и окостенения марксизма — казалась тогда очень многим парадоксальной. Сегодня — после десятилетий догматического искажения марксизма при Сталине — она также представляется парадоксальной. И эта парадоксальность еще усиливается, когда мы обращаемся к основной проблеме русской революции. Ортодоксальный марксист Ленин действовал прямо противоположно принципиально правильному теоретическому предвидению Маркса, согласно которому пролетарская революция разразится и победит сначала в тех развитых капиталистических странах, где в социальном строе уже уничтожены пережитки феодальной отсталости. В России в 1917 году сложилась революционная ситуация, причем, как правильно понял Ленин, и в объективном и в субъективном отношении. Великая альтернатива — капитализм или социализм — была властно поставлена не им, даже не его партией, а самой социальной действительностью. А Ленин всегда до конца и радикально додумывал альтернативы истории. Безвыходных положений, то есть механически фатальной «необходимости» развития не существует, говорил он. Развитие — результат человеческой деятельности, конечно, не только отдельных индивидов, а классов, масс. Поэтому революционная ситуация, по словам Ленина, существует только тогда, когда низы больше не хотят, а верхи не могут жить по-старому [3]. Империалистическая война создала в России подобную революционную ситуацию, и русские марксисты должны были в своих практических действиях реагировать на поставленную перед ними альтернативу.

Так они и поступили — прежде всего благодаря инициативе и страстному призыву Ленина,— действуя в противоречии с теоретическим предвидением Маркса. Тем самым Ленин возглавлял иррегулярную в строгом марксистском понимании социальную революцию. История его оправдала; мы ведь знаем, что на протяжении полувека эта революция определяла существование людей всего мира. Но можно ли считать, что Ленин в этом случае отрицал значение марксистской теории? Ни в коем случае. Он всегда знал, что русская революция была решающим по своему всемирно-историческому значению событием, которое следует безоговорочно принимать; но он знал также, что, несмотря на интернациональное воздействие последствий этой служащей примером инициативы, в революционной России на долгие времена сохранится экономическая отсталость, отличающая ее от высокоразвитых капиталистических стран. Следовательно, действуя вопреки теоретическому предвидению Маркса — и действуя правильно,— Ленин ни на мгновение не подвергал сомнению значе-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 84 *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Там же, т. 43, с. 220.

[3] Там же, т. 26, с. 218.

ние этого предвидения во всемирно-историческом масштабе. Поэтому он мог в 1920 году положительно оценить интернациональное значение русской революции. Однако он добавляет: «Точно так же было бы ошибочным упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран... Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в «советском» и социалистическом смысле) страной» [4].

Все эти соображения не могут дать даже приблизительно полной картины. Поэтому мы не продолжаем изложение этой темы; укажем лишь в качестве дополняющего завершения на то, что Ленин, бывший, как известно, теоретиком строгой партийной дисциплины, в том же 1920 году сказал о сохранении дисциплины и о контроле над ней: она поддерживается «правильностью политического руководства, осуществляемого... авангардом, правильностью его политической стратегии и тактики при условии, чтобы самые широкие массы **собственным опытом** убедились в этой правильности...» Без этих условий попытки создать дисциплину превращаются «в пустышку, в фразу, в кривлянье» [5]. Противоречие, которое могут ощутить в этом некоторые современные читатели, и составляет как раз ленинское единство партийной дисциплины и осуществленной пролетарской демократии.

Также и все то, что казалось в предыдущих примерах на первый взгляд противоречивым,— не что иное, как только отдельный аспект этого грандиозного по своей сложности, но все-таки грандиозного и по своему единству процесса. Именно потому, что это единство составляет ядро, сущность этого процесса, потому, что противоречивое в нем выражает лишь его всесторонность, его всеохватывающую, его всениспровергающую структуру, этот характер революции 1917 года, ее духовного центра, характер Ленина воздействовал столь неодолимо магнетически (или, в зависимости от классовой позиции,— резко отталкивающе). Кризис старого мира, подспудно ощущавшийся некоторыми в еще безопасные времена, вторгся как ураган в повседневную жизнь людей, поставил перед ними множество самых различных альтернатив, а старый мир был не способен даже сформулировать собственные вопросы, он беспомощно лепетал или сочинял мифы. Ему противостояло яркое, сияющее единство жизни, единство действий одной страны — революционной России. Неудивительно, что представители любой оппозиции, если в них была хоть искра стремления к справедливости, следили за событиями в этой стране. Вальтер Йенс, которого вряд ли кто-нибудь заподозрит в симпатии к коммунизму, однажды писал: «В конечном итоге никто не станет сомневаться в том, что Советский Союз наложил определенный отпечаток на искусство двадцатых годов».

2

А советское искусство? Начало кажется простым. Совокупность проблем, на которые здесь указывалось, сделала Маяковского лирическим трибуном первого революционного десятилетия. Но быть может, еще характернее появление «Двенадцати» Блока. Знаменитый лирический поэт был на протяжении всей своей жизни чужд подлинным идеям революции. Его потряс, придал его творчеству литературное величие в мировом масштабе пафос поднятых революцией проблем человеческой жизни, ви́дение нового мира, способного внести ясность в вопросы, неразрешимые в старом мире. То обстоятельство, что Блок говорит о пути, а не о его завершении, о стремлении, а не о его осуществлении, наиболее отчетливо свидетельствует об исключительности Блока, превращает его поэму в вечное выражение царившего в мире настроения тех дней.

Когда речь идет о влиянии Великой Октябрьской революции на литературу, нельзя, конечно, ограничиваться первыми днями и неделями после происшедшего переворота. Чтобы обрести мировое значение и сохранить его, литература должна дать значимые картины всего великого пути социалистической революции, превратившего ее в кумир или в кошмар для миллионов людей. Здесь также складывается двойственная, противоречивая и все-таки в конечном итоге единая ситуация. Уже на I конгрессе Коммунистического Интернационала Ленин высказал опасение, что развитие революции может пойти настолько быстро, что сознание людей окажется неспособным следовать за ним. Это предупреждение, если бы ему не было ничего противопоставлено, могло бы удовлетворить многих из тех, кто считал единственным критерием авангардизма в духовной жизни и искусстве просто способность следовать за поверхностным течением событий. Однако, выступая против подобных авангардистских упрощений, Ленин вновь обращается к марксизму, к его значению и при изменении, и при продолжении развития, указывая на то, что марксизм завоевал свое всемирно-историческое значение как идеология революционного пролетариата тем, что «усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» [6]. Вновь появляется противоречивое требование, объединяющее старое и новое, видеть новое в его существенно новом, не отставать от его конкретности, но так, чтобы при этом никогда не терять из виду другую сторону существа дела, которая превращает это новое в важный момент развития человечества.

Именно такую литературу и создало великое время. (Мы говорим здесь только о литературе. Однако невозможно хотя бы не упомянуть о фильмах той поры.) Правда, число значительных литературных произведений не очень велико. Однако если сравнить его с литературными произведениями предшествовавшего великого переворота — Французской революции,— то оно окажется достаточно внушительным. В то время не появилось ни одного литературного произведения, которое по

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 3—4.
[5] Там же, с. 7.
[6] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 337.

своей актуальности и всеобщности можно было бы сравнить с народными песнями, например, с «Карманьолой». Лишь десятилетия спустя величие людей той эпохи получило художественное воплощение у Бальзака и Стендаля. Напротив, в первый период русской революции появились — я привожу только яркие примеры, а не полный перечень — «Егор Булычев» и «Клим Самгин» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Педагогическая поэма» Макаренко. Вершины возвышаются над множеством хороших произведений, в которых, не всегда на высоком художественном уровне, но с человеческой и художнической честностью, описывается мир острых альтернатив, не позволяющих никому жить привычным образом. Все это подчас вело к трагическим крушениям, порой же к внутренним переменам, позволявшим жить в совершенно новых условиях, и произойти могло как в среде интеллигенции больших городов, так и в далеких селах, как в разгар вооруженных столкновений революционеров и контрреволюционеров, так и в кабинете ученого.

«Тихий Дон» сразу же выделяется из числа других произведений этих лет неудержимым потоком событий. Это — эпос, в котором речь идет об отношении крестьян Дона к старому миру царизма, к его краху, к борьбе не на жизнь, а на смерть между старым и новым. В этом произведении показано, какую значимость имеют преобразования Октября для каждого человека, как острая социальная противоположность пронизывает внутреннюю жизнь, превращая даже душу человека в арену борьбы. Это — эпос, преисполненный глубокой правдивости в описании психологии и судеб людей; в отдельных индивидах представлены общие классовые проблемы, а решения классового характера становятся судьбой своевольных людей. «За» и «против» в отношении многих крестьян к пролетарской революции воплощены в образе Григория Мелехова; все тенденции, сконцентрированные в его душе и судьбе, борются, изживая свою противоположность, и борьба эта завершается решением примириться с необходимостью неизбежных изменений. Старое никогда не вернется, новое же еще далеко не закончено, оно еще должно быть создано.

От такого всеобъемлющего универсализма далек молодой Фадеев; он описывает в «Разгроме» [7] судьбу активных солдат революции, убежденных большевиков. Именно потому, что подобные люди стали вследствие сталинской политики вызывать, быть может с достаточным основанием, сомнение — причем позже Фадеев лично немало тому способствовал,— мы считаем нужным подчеркнуть здесь эту редкую удачу. Молодой Фадеев создает образ убежденного героического коммуниста как результат его собственного становления, завершающегося гибелью. Его героизм тесно связан со временем, глубоко коренится в мировоззрении пролетариата и вместе с тем носит неискоренимо личный характер. То, как коммунист у Фадеева сознательно ищет конкретный выход в борьбе за дело справедливости и может лишь пасть за него смертью героя, делает его моральным представителем героического периода, типичным для времени, которое создавало подобных героев и за пределами России. Революционная литература не сумела увековечить в художественных образах таких людей, как Левинé [8] из Мюнхена, Отто Корвин [9] из Будапешта; Левинсон Фадеева воплощает в себе всю эпоху.

Но самым замечательным, зрелым и чистым отражением времени остается героическая повесть Макаренко о духовном и практическом зарождении воспитания в духе социализма. Отправным пунктом служат страшные бедствия гражданской войны: дети, которых она превратила в беспризорников, большей частью в преступников. Здесь невозможно даже кратко охарактеризовать педагогический метод Макаренко, разве что упомянуть о некоторых моментах в новом воспитании человека. Макаренко показывает тупик анархического индивидуализма, который неминуемо должен был возникнуть в душах мальчиков, вынужденных собственными силами обеспечивать физическое существование, но показывает также выход из этого тупика, показывает, как осознанная солидарность с коллективом, в котором каждому надлежит жить и действовать, в конкретном созидании которого должен участвовать каждый,— как все это способствует формированию более высокой личности. И в этом крайне сложном по своему возникновению, функционирующем посредством преодоления ряда конфликтов соединении общественного и личностного бытия рождается человеческая индивидуальность и свобода. В мире Макаренко дети, становящиеся людьми, обретают себя лишь в ходе альтернативных решений, часто связанных с возможностью крушения, катарсисом самокритики. Но именно таким образом этот мир оказывается миром подлинной новой свободы: катарсис ведет к внутреннему преображению, к обретению основы будущего поведения; вместе с тем это и объявление войны сожалениям, привязанности к прошлым заблуждениям, любой душевной ущербности, на всех уровнях: повседневном и мировоззренческом.

Эти примеры остаются только примерами. Они свидетельствуют о том, что подлинная, созданная Октябрем литература, рассматривавшая неизмеримое число проблем, вторгшихся в жизнь людей, искренне стремилась к возвышению той или иной стороны человеческого бытия во всей целостности до значимого художественного образа и достигала успеха. Если эта литература и не создала столь величавой картины эпохи, как та, что мы обнаруживаем у Данте или Шекспира, в «Человеческой комедии» или в великих романах Толстого, она все же является достойным ответом на призыв Октября и последующих лет.

[7] Немецкое название «Neunzehn» («Девятнадцать»).

[8] Евгений Левинé (1883—1919) — деятель германского рабочего движения, один из руководителей Баварской советской республики.

[9] Отто Корвин (1894—1919) — один из руководителей Венгерской советской республики 1919 года.

3

В 30-е годы всемирно-историческое значение русской литературы уменьшается. Конечно, время от времени — прежде всего в трудный начальный период второй мировой войны — еще появляются достаточно заметные произведения, но в целом то, что принято называть социалистическим реализмом, в действительности представляет собой явление, которое я некогда определил как казенный натурализм, обрамленный так называемой революционной романтикой, служащей для того, чтобы в принципе замазать всякую разницу между желанием, воображением, официальным сообщением и действительностью и предоставить полную свободу действий бюрократическому манипулированию.

Этот очевидный с определенной исторической дистанции внезапный спад является, без сомнения, неизбежным (?) следствием сталинского периода. Однако для правильного понимания необходимо обратиться к его существенным основам, к его общественной практике и лежащей в основе этой практики теории, что до сих пор, к сожалению, делалось очень редко. Несомненно важную роль играли крупные судебные процессы и последовавшие за ними массовые заключения в лагеря. Однако это были крайние проявления системы, а не сама система. Эксцессы практики можно было в значительной степени устранить, не уничтожая систему.

Мы видели: у Ленина не было иллюзий по поводу неклассически марксистского характера русской революции. Поэтому он стремился посредством нэпа произвести преобразование общества, чтобы постепенно устранить отсталость страны или во всяком случае смягчить ее последствия. В конце жизни Ленин уже не мог из-за болезни разработать план обширных реформ. Но его постоянный страх перед бюрократизацией советской государственной системы свидетельствует о том, что он хотел провести реформы, направленные на сохранение пролетарской демократии.

Теперь бессмысленно гадать, каковы были бы эти реформы и удалось ли бы Ленину их осуществить. Перед его преемниками — а завещание Ленина показывает, что он весьма скептически относился к ним, ко всем, не только к Сталину,— стояла теперь задача по возможности быстрей преодолеть экономическую отсталость России. К началу 30-х годов возникло новое обстоятельство, настойчиво требовавшее ускоренного решения этой задачи: возникновение гитлеризма, перспектива новой мировой войны, необходимость найти средства для обороны молодого Советского государства от немецкого милитаризма,— а это предполагало, конечно, развитие тяжелой промышленности. В нашу задачу отнюдь не входит давать здесь даже поверхностный социально-экономический или исторический анализ этого явления. Нам надлежит лишь показать, как методы, посредством которых Сталин совершал преобразование экономики России, влияли на идеологическое развитие страны, прежде всего на литературу.

Поскольку я неоднократно публично высказывал свое мнение об этих методах, я могу ограничиться здесь кратким изложением своих выводов. Прежде всего, противоположность политики Ленина и Сталина состоит в том, что Ленин по окончании острого периода гражданской войны сразу же попытался устранить его специфические методы и вернуться к нормальному способу правления; Сталин же, как только положение внутри партии слегка усложнялось, сразу же, невзирая на совершенно спокойную в социальном отношении ситуацию, применял методы гражданской войны, придавая им и при консолидировавшихся условиях характер «обычных» основ управления. Уже это превращало неизбежное зло гражданской войны в преобладающее господство центральной власти, подавление всякой автономии и демократии становилось нормой жизни.

Чтобы последовательно проводить подобную линию в стране, где марксизм — господствующее мировоззрение, Сталину приходилось, сохраняя марксистско-ленинскую терминологию, полностью изменять используемые в ней понятия, их связи, их иерархию и т. д. Для Маркса и Энгельса существовали твердо установленные научно-теоретические принципы общественного развития. С их помощью партия могла установить важные, длительные, господствующие тенденции эпохи и таким образом научно определить стратегию коммунистической партии и социалистического государства. Знание этих тенденций помогало найти правильные тактические решения внутри быстро меняющейся повседневности. Иерархия «принцип — стратегия — тактика» находит свое естественное выражение в том, чтобы от более высокой ступени переходить к более связанной с жизненной ситуацией, но этот переход никогда не должен носить дедуктивный характер, а всегда мыслиться как конкретный анализ каждой реально действующей конкретной тенденции. Сталин перевернул эту иерархию. Для него решающим было всегда только очередное тактическое мероприятие. В добавление к тактическому мероприятию в каждом отдельном случае «логически» конструировалась сохраняющая видимость соответствия ему стратегия и такая же система принципов, причем при изменении тактики они необходимым образом менялись вместе с ней.

Это поглощение тактикой принципов, перспектив и стратегии было направлено прежде всего на то, чтобы любое установление или решение стало асболютным, окончательным. Важный в теоретическом и практическом отношении марксистский вопрос: как следует принципиально и стратегически оценивать неизбежность того или иного тактического шага — совершенно отпадает, а тем самым и всякая подлинная самокритика революционного движения, в которой Маркс видел differentia specifica [10], отличающее его от движения буржуазного; пролетарские революции, говорил Маркс, постоянно сами себя критикуют. Но Ленин был с тех пор первым и последним, кто, как мы видели, открыто применил это на прак-

[10] Видовое отличие *(лат.)*.

тике в своем суждении о военном коммунизме. При Сталине существовала только часто вынужденно совершаемая под внешним нажимом самокритика тех индивидов, которые посмели высказать сомнения по поводу упомянутых безошибочных решений. Метод Маркса был искажен и принижен, превращен в метод грубого манипулирования.

Собственно, это было, если говорить открыто, полным разрывом с марксистским методом. И de facto [11] Сталин этот разрыв на практике совершил. Но он придал ему видимость защиты ортодоксального марксизма-ленинизма. Высказывания классиков сохранили свое значение, оно было даже усилено, догматизировано посредством официальной канонизации. Однако определяющей и упорядочивающей методикой считалось только что изложенное преобладание тактики. Все это произошло, конечно, не сразу. Сначала Маркс постепенно оттеснялся Лениным (правда, предпринятое Рязановым издание Полного собрания сочинений Ленина так и не было завершено), а затем и Ленин отошел на второй план, уступив место Сталину. Его, разумеется, признавали, его много цитировали, однако лишь в той мере, в которой его высказывания подтверждали актуальные тактические указания Сталина. Таким образом, полное изменение марксистско-ленинского метода производилось при сохранении терминологии классиков, а подобное методологическое изменение меняло, конечно, и содержание всех категорий, делало их, как правило, бюрократическими, манипулируемыми, абстрактными и закостенелыми.

Для литературы это переосмысление марксизма означало полное подчинение решениям партии (то есть Сталина). «Пишите правду»,— посоветовал он однажды писателям. Но правда практически означала следование последним решениям Центрального Комитета. Мы уже указывали на то, что все это методологическое изменение происходило не сразу, а шаг за шагом, и время от времени, хотя лишь эпизодически, раздавались протестующие голоса. Так, мужественный и умный литературный критик Елена Усиевич возражала против того, что для каждого писателя истина должна содержаться в решениях партии. В другой раз она указала на всю человеческую ничтожность официальной политической поэзии 30-х годов; ее тогдашнее обращение к Маяковскому является — невысказанным — обращением к богатству человеческого и общественного содержания великих первых лет Советской власти, столь отличного от схематизма и унижения человека в сталинское время. Я также, хотя и не столь непосредственно, участвовал в этих попытках протеста. Сталинская практика вела к тому, что между партийной теорией и содержанием художественных идей устанавливалась система обязательного соответствия, прямой зависимости. Если я в такой ситуации, интерпретируя характеристику Бальзака, данную Энгельсом, или ленинскую критику Толстого, указывал на сложность, противоречивость, неравномерность в отношении мировоззрения писателя к идейному содержанию его произведения, то это также было — правда, не полностью высказанным — протестом. Совершенно очевидно, что подобные попытки — а они были не единственными — встречали резкий отпор со стороны большинства критиков-сталинистов.

[11] Фактически *(лат.)*.

4

С 1956 года наметилось размежевание со сталинским учением. Но и здесь следует указать, что начавшаяся борьба против методов Сталина, так же как его господство, в конечном итоге обусловливалась социально-экономическими причинами. Сталину удалось — мы не касаемся здесь средств, которые он использовал,— создать в Советском Союзе развитую промышленность. Война и послевоенное время служат тому бесспорными доказательствами. А следствием этого была, в свою очередь, внутренняя социальная перегруппировка. Теперь в Советском Союзе существовал многочисленный и высококвалифицированный рабочий класс. В отличие от 30-х годов, когда специалисты в области экономики и техники еще главным образом были выходцами из буржуазных кругов и в значительной степени сознательными противниками советской системы, теперь развитие экономики привело к появлению широкого слоя советских специалистов. Как бы мы ни относились к сталинским методам «политических комиссаров», всеобщего контроля политической полиции над обществом и т. д., ясно одно: к моменту его смерти эти методы развития уже не соответствовали характеру исторического периода; они превратились в препятствие экономического развития, их необходимо было устранить.

Такова реальная социальная основа выступления Хрущева на XX съезде и последовавшей за ним политики реформ. Вряд ли здесь уместно даже кратко описывать подъемы и падения этого движения. Подытоживая, можно и следует, однако, сказать, что и Хрущев критиковал Сталина и выявлял ошибки его политики в значительной степени в сталинской манере, сталинскими методами, что с той поры в основу отношения к Сталину была положена критика, которой подвергался в сталинское время Троцкий. Едва ли могла и может идти речь о попытке подойти к критике Сталина с подлинно исторических, подлинно марксистских позиций. Поэтому в лагере сторонников реформ всегда ощущается нервозность, когда где-либо упоминается о положительных моментах сталинской деятельности; у них возникают опасения — и добавим от себя, не всегда без достаточного основания,— что делаются попытки вернуться к сталинской практике.

В идеологическом отношении самое важное заключалось в том, что сталинское переосмысление марксистско-ленинских методов и возникшее в связи с этим препятствие к дальнейшему развитию марксизма во имя «партийности» (также в сталинском, а не в ленинском понимании) по-прежнему сохранялось. Не имея возможности серьезно рассмотреть этот вопрос, мы считаем необходимым лишь заметить, что тем самым это, с одной стороны, серьезно затрудняло проведение подлинно марксист-

ского анализа изменений в мировой экономике за годы после смерти классиков, обнаружение новых явлений в экономике, а с другой — создавалась возможность для проникновения в марксизм «достижений» Запада и их некритическое усвоение. Вместо самокритики и действительно принципиальных реформ часто возникало сочетание консервативно-догматического бюрократизма с определенными новейшими лозунгами Запада. Достаточно упомянуть о предложениях преодолеть не соответствующие теории, чисто бюрократические основы планового хозяйства не посредством возврата к очищенному, освобожденному от догматизма, опирающемуся на подлинные факты марксизму, а посредством оснащения сохраняющейся в неизменном виде бюрократической системы кибернетическими машинами. Подобные тенденции свидетельствуют о желании приблизить грубую манипуляцию сталинского времени к «тонкому» манипулированию современного капитализма. И с этой точки зрения вполне понятны случаи, когда существующий еще сталинский бюрократизм предоставляет полную свободу действий любому авангардизму, подвергая жесткой цензуре сталинского типа попытки возрождения марксизма.

Конечно, это не может на долгое время задержать экономическое развитие. Становится все более ясным, что ликвидации абсолютного господства политической полиции, отстранения самых явных и неисправимых сталинистов недостаточно, чтобы наладить функционирование соответствующей требованиям времени социалистической экономики. Поэтому императивная сила экономической действительности приводит кое-где к реальным попыткам реформ, которые — еще вне зависимости от теоретической основы — направлены на то, чтобы освободить подлинные силы экономического обновления: победив, эти силы будут со временем вынуждены вызвать к жизни марксистскую теоретическую основу, если они действительно хотят осуществить то, что исторически необходимо.

Этот сложный узел острых жизненных проблем определяет и современные тенденции в литературе. Для литературы беспощадная, справедливая критика сталинского периода является в такой же мере вопросом жизни, как для экономики. Для действительного преодоления недостатков казенного натурализма необходимо обратиться к подлинной общественной и человеческой переоценке сталинского периода. Неотвратимость такой тематики достаточно ясна. Если писатель хочет дать подлинное отражение проблем современности, современных людей, он должен в своем творчестве показать, почему эти люди стали такими, какими мы их в настоящее время видим. Периодом их становления, их формирования является именно сталинский период; конфликты, которые привели живущих сегодня людей к стойкости или к внутреннему разладу, к падению, окостенению и т. п., и являются проблемами сталинского периода, правда, не в абстрактно-социалистическом смысле, а как пример положительного или отрицательного воздействия конкретных тенденций времени на развитие каждого человека. Без полной правдивости в этих вопросах казенный натурализм не может быть преодолен. Какими путями литература придет к этому, может показать лишь практика талантливых и честных писателей. Необходимо лишь понять, что речь здесь идет об определенной позиции по отношению к жизненным альтернативам, а не просто о выборе действенных форм выражения. Ибо вполне возможно создать апологию сталинского периода средствами внутренних монологов, смещения времени и культом абсурда, как это уже и делалось в 30-е годы во многих произведениях, поставивших на службу официальной литературе того времени «новую объективность», монтаж и другие модные приемы.

Начатки нового подлинного подъема, без сомнения, есть. Как в ряде стихотворений, появившихся недавно в социалистических странах, так и в прозаических произведениях, особенно в рассказах. Уже несколько лет тому назад я указывал на большое значение творчества Солженицына, именно потому, что он мужественно и талантливо ставит центральную проблему времени, показывает, как в борьбе со сталинской повседневностью — сюда относятся и концентрационные лагеря, хотя они и не являются единственной ареной борьбы,— люди сумели выстоять, сохранить свое человеческое достоинство, как в этой борьбе одни развивались, другие опускались и гибли. Бюрократия выдвигает против подобной оценки следующий упрек: незачем «ворошить» прошлое, лучше обратиться к вопросам настоящего. Прежде всего, надлежит возразить, что именно в прошлом — корень сегодняшних проблем. В официальной автобиографии, написанной для отдела кадров какого-либо учреждения, можно, конечно, манипулировать своим прошлым таким образом, чтобы оно оказалось приемлемым,— в действительности же сегодняшний день каждого из нас в значительной степени определен тем, какую позицию мы заняли по отношению к событиям сталинского времени. Одно без другого не может быть творчески аутентичным и обладать художественным достоинством. Во что превратилась бы драматургия Шекспира, если бы он не «ворошил» прошлое, события войны Алой и Белой розы? Солженицына и его соратников можно считать предтечами, которые, вероятно, когда-нибудь и обеспечат новый подъем социалистического реализма. При оценке новых тенденций надо быть очень осторожными. Сначала и здесь можно констатировать лишь негативное: то, что теперь обнадеживающе возникает, имеет стилистически очень мало общего с литературой, непосредственно порожденной Октябрем; правда, еще меньше — с господствующими направлениями в литературе Запада. Это свидетельствует о том, что зарождается нечто действительно новое по своей сущности. Это — начало нового искусства, возникающего для удовлетворения новых потребностей народа; его формы органически возникают из того социального заказа, которому они обязаны своим существованием в качестве исконно новых явлений. Подробно об этих эстетических проблемах можно будет говорить лишь тогда, когда новое искусство уже достигнет известного уровня.

Лишь тогда — post festum [12] — станет ясно, связывают ли его определенные нити с первым периодом и какой характер эти связи носят. Пока же можно с радостью и надеждой установить наличие нового искусства и приветствовать его.

5

Кризис и поиски выхода отнюдь не ограничены странами социализма. На Западе мы видим сегодня многократное крушение ложных представлений о мире, долгое время считавшихся прочной истиной. Сегодня часто говорят: «холодная война» приближается к своему концу. Однако то, что за этим действительно скрывается, есть нечто значительно большее, чем просто тактическое изменение внешней политики. Для США разрушена мечта о мировом значении «American way of life» [13]; для Англии — мечта о «Commonwealth» [14], как замене мирового господства; для ФРГ — мечта о «roll back» [15] как основе восстановления прежнего военного господства в Европе. Если к этому присовокупить, что именно тогда распались все колониальные империи, что «экономическое чудо» оказалось уже завершенным в период реконструкции (в последнем вопросе я опираюсь на исследования Ференца Яноши); если подумать о том, что проблемы людей общества потребления, столь совершенного по своей видимости, становятся все острее, то станет очевидным, что экономических, социальных, политических основ для общего идеологического кризиса более чем достаточно.

И здесь речь пойдет прежде всего о литературе. В. Йенс, об отношении которого к Октябрьской революции уже шла речь, говорит о разочаровании немецкой (и не только немецкой) интеллигенции, вызванном событиями 30-х годов: «Интеллигенция теперь навсегда лишена родины». То, что эта потеря родины в период капиталистически-империалистических иллюзий — при всем нарочитом скепсисе и пессимизме — находила свое выражение главным образом в самолюбовании, в данном случае значения не имеет. Не оправдавшие себя идеалы 1945 года, реакционные утопии периода «холодной войны» находятся в процессе разложения. Укажу лишь на один, правда важный, симптом этого кризиса. В течение десятилетий в кругах прогрессивной интеллигенции Запада было модным глубоко презирать марксизм как отсталую идеологию давно забытого XIX века. Теперь же идеологический кризис заставляет все больше интеллектуалов обращаться именно к марксизму в надежде найти в нем ключ к решению проблем, на которые «прогрессивное» буржуазное мышление не способно дать ответ.

Само собой разумеется, что постепенно должно меняться и отношение к социализму как к возможной перспективе. Именно реальное развитие в странах социализма определяло его притягательную силу как возможную перспективу для интеллигенции капиталистического Запада. Обаяние Октября и его непосредственных последствий заключалось в том, что они пробуждали надежду получить ответы, которые интеллигенция Запада собственными силами, вследствие социальных причин, не могла найти, а порой не могла даже поставить необходимые вопросы. Догматическая узость, окостенелость, грубо вульгаризованный характер того, что называли марксизмом в сталинское время, не способны были, конечно, оказать подобное воздействие или остановить антимарксистскую волну в мышлении Запада. Следовательно, для возникающего интереса, для растущей симпатии, которые теперь начинают ощущаться на Западе по отношению к марксизму, решающее значение имеет то, как коммунисты проявят себя в возрождении марксизма. До сих пор положение чрезвычайно сложно. С одной стороны, еще сильны пережитки сталинского периода, с другой — склонность слишком поддаваться предрассудкам и путаным представлениям собеседников, вплоть до отказа от основополагающих принципов марксизма. Однако в конечном итоге решающим является то, что само по себе, без подлинного возрождения марксизма невозможно: ответ, который дает сама жизненная мощь социализма. Сколь бы решающей ни была роль реформы экономики для внутреннего мира социализма, один только рост производства, жизненного уровня никогда не сможет стать для Запада притягательной силой. (Такова была одна из иллюзий Хрущева.) В настоящее время этот пробуждающий громадные надежды процесс находится еще на очень неопределенной стадии. Однако марксист, обладающий подлинной теоретической подготовкой, может с чистой совестью ожидать, что на основе реформ общественной жизни и экономики в мире социализма родится столь необходимая ясность мышления.

По названным причинам проблематика общества и человека, поставленная Октябрем, не может в настоящее время оказывать экстенсивное или интенсивное влияние на западную литературу. Как всегда, только жизненные проблемы сегодняшнего дня определяют, что писатель или читатель способен пережить как живое, служащее примером прошлое. К тому же западная литература еще далеко не освоила собственное настоящее, собственное непосредственное прошлое. Разрыв отчетливо проявляется в том, что еще сегодня непосредственно человеческие документы, свидетельства сопротивления фашизму — достаточно вспомнить последние письма казненных антифашистов, тюремные записи Фучика — лишь в исключительных случаях получили достойное отражение в литературе. Как подступы к этому можно рассматривать отдельные новеллы Веркора, «Бильярд в половине десятого» Бёлля, «Наместник» Хоххута, последние драмы Петера Вайса. Однако к подлинному отражению жизни действительно приближается только Хорхе Семпрун в своем «Большом путешествии».

Данная ситуация свидетельствует о нежелании Запада свести счеты с фашистским прошлым. Наиболее ярко это нежела-

[12] После праздника, то есть после свершившегося факта *(лат.)*.
[13] Американский образ жизни *(англ.)*.
[14] Британское содружество наций *(англ.)*.
[15] Движение вспять *(англ.)*.

ние ощущается в том, что общественное мнение ФРГ пытается ограничить проблему гитлеризма преследованием евреев: военные кредиты Израилю по существу прикрывают возможность использовать у себя дома прежних нацистов в качестве ведущих политиков, позволяют вновь вести грязную идеологическую конкуренцию — правда, замаскированную словесными оговорками — с крайне правыми наследниками немецкой реакции. Но и в других странах отсутствует решительное признание того, что только их долготерпение позволило Гитлеру превратиться в угрозу всей человеческой цивилизации. Подробное рассмотрение вопросов, связанных с этими фактами, также выходит за рамки данной работы. Нашей целью было лишь указать на вину нашего сегодняшнего дня, она — в том, что влияние Октября не служит в настоящее время живым прошлым для человечества.

Подобное новое «настоящее» еще очень далеко. Не следует, правда, недооценивать ту взрывчатую силу, которая накапливалась латентно или бурно проявилась в отдельных, не связанных друг с другом протестах. Здесь, конечно, идет речь не о том нонконформистском конформизме, который превращает элементарное неудовольствие людей в самодовольное, самоудовлетворенное, внутренне пассивное отчаяние, в котором элитарная публика видит престижность своего отчуждения. И противоположное всегда существовало: это и поздний период в творчестве О'Нила, и завершение жизненного пути Томаса Вулфа, и «Ложь и колдовство» Эльзы Моранте [16], Стайрон и многое другое. Эти протесты имеют большое общественное и художественное значение потому, что в них, в индивидуальных действиях отдельных людей, скрыто присутствует «в-себе-бытие» их общества. Важной и почетной задачей зрелого марксизма должно было бы стать превращение этого «в-себе-бытия» в «бытие-для-нас». Тем самым был бы проложен путь развития, на котором это «в-себе-бытие» протеста против отчуждения в манипулируемом мире возвысидось бы до собственного «для-себя-бытия».

На Западе формы человеческого отчуждения носят такой характер, что именно литература и искусство могут подтолкнуть к выходу из магического круга. Осознание самого себя, своего положения, собственных возможностей включает в себя самосознание человека, но именно себя как активно самодеятельного и неизменно общественного существа. Объективно он не «брошен» в отчужденный мир, а живет в мире, пусть даже враждебном, бытие которого все же никогда не может быть отделено от бытия его собственной внутренней жизни. Поэтому и сам человек в определенном смысле всегда виновен в собственном отчуждении, вследствие чего практически направленная самокритика входит в его отказ от окружающей среды так же, как критика объективной социальной действительности. Поэтому, уклоняясь от реальной диалектики субъекта и объекта, чисто субъективное, эмоциональное сопротивление отчуждению столь часто превращается в сопровождаемое лишь формальными оговорками приспособление к действительности. Только осознанная в своей практике диалектика двойных, взаимопереплетенных отрицаний дает субстанции человека силу сопротивления, ведет ее от просто непосредственного «в-себе-бытия» к самопознанию «бытия-для-себя». Эти формы проблемы возникли из специфических определений сегодняшнего общественного бытия. Поэтому их прямая связь с комплексом вопросов и ответов, который принес в мир Октябрь, очень слаба и многозначна. Но она реально существует. И если возрожденный марксизм склонит тех, кто создает литературу, и тех, кто ее читает, к такому сознанию, такому самосознанию, он объективно проложит мост между Октябрем и лучшей литературой сегодняшнего и завтрашнего дня.

Перевод с немецкого М. ЛЕВИНОЙ

[16] Раннее произведение Э. Моранте, автора известного антифашистского романа «История».

◆

ГЕННАДИЙ МУРАВИН

ЭЛЬВИ СИНЕРВО: «Я ТАК ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ НА ОБЛАКА...»

— Ничего не выйдет! Эльви не любит вспоминать прошлое,— говорит мне Дани, известный финский прозаик и драматург Даниэль Катц (его пьесы ставились и в Советском Союзе). Он ведет машину. Даниэль знает, что говорит: Эльви Синерво — его теща.

— Не любит, так не любит,— соглашаюсь я.— У меня есть к ней вопросы, касающиеся перевода ее стихов. Может, она прокомментирует кое-какие из них?

Летом 1985 года Дани и его жена Лийса Рюёмя, будучи в Таллине, рассказали, что переехали в новый дом в деревеньке Андерсбю, километрах в десяти от Ловисы, и взяли с меня слово непременно побывать у них.

— Заодно и с Эльви познакомишься, ты ведь давно хотел,— сказала мне Лийса.

На этой предстоящей встрече я надеялся показать Эльви Синерво новейший сборник издательства «Художественная литература» «Современная финская новелла» (1985), куда были включены и пять ее рассказов. Но мне не повезло: книга вышла лишь в самом конце декабря, когда я находился уже в Финляндии. Зато в моей дорожной сумке было несколько других книг с переводами произведений Эльви Синерво. Стихи и проза ее не раз издавались на русском языке и раньше, выходили отдельными книгами и в сборниках. Переводились они и на языки народов СССР.

Сворачиваем на проселок среди заснеженных полей и лесов. Телеграфные столбы стоят по колено в снегу, мачты высоковольтных линий, тянущихся от атомной электростанции в Ловисе,— по щиколотку. Кое-где из-под снега торчат серые шесты оград. У дороги попадаются столбики с яркими — зелеными, красными — ящиками для почты, на них адреса и фамилии получателей, хотя домов поблизости и не видно. Мелькают указатели со шведскими названиями деревень. Здесь, в юго-восточной Финляндии, живет особенно много финских шведов...

Въезжаем в негустой лесок и как-то неожиданно оказываемся перед одиноко стоящим старым хутором, вернее, перед двухэтажным деревянным домом, загораживающим вид с дороги на двор, старый каменный хлев, где явно уже давно нет никакой скотины, и маленькую бревенчатую клеть.

Дверь в холодные сени раскрыта, хотя мороз довольно крепкий.

Проходим по коридорчику и попадаем в большую комнату, правая треть которой служит кухней, а все остальное — нечто вроде гостиной или столовой. Кухонная часть отделена длинной и высокой, почти под самый потолок, полкой.

Рядом с дверью, на стене,— вешалка, на ней взрослые и детские пальто, куртки, шапки. Под вешалкой стоят и валяются резиновые и зимние сапоги, ботинки, туфли... У другой стены на диване сидит и читает диснеевский комикс десятилетний Калле. Финские издатели наладили массовый выпуск всевозможных комиксов — и отечественных и зарубежных. Диснеевские повторяют широко известные мультфильмы. Но значительная часть зарубежных, чаще американских, потрафляет самым низкопробным вкусам.

У Калле есть сестра Дуня. Она постарше. Сейчас ее нет дома — уехала в Порвоо на урок в музыкальную школу.

В дальнем углу тянется до самого окна книжный стеллаж. Посреди комнаты стоит простой длинный стол.

В «кухне» — большая крестьянская печь и рядом стиральная машина, электроплита, стол, шкафики для продуктов, посуды, кухонной утвари, холодильник... Лийса Рюёмя, известная переводчица со шведского, румынского, французского, удостоена нескольких премий. Помню, как на советско-финском семинаре в Петрозаводске она поразила всех своими переводами песен Бреля. В Финляндии концерт в двух отделениях, составленный из этих песен, чрезвычайно популярен уже несколько лет. Когда мы входим, Лийса на кухонной половине что-то готовит.

— Наконец-то! — говорит она, улыбаясь, здоровается со мной за руку и обещает напоить нас через пять минут кофе.

Достаю из сумки скромные подарки, чем привожу Лийсу в смущение.

— Но я же впервые в этом доме, а у вас новоселье было почти недавно,— оправдываюсь я.

— Какое там новоселье! Мы тут уже вторую зиму. Прошлый год ютились все здесь — единственное теплое помещение было. В другой комнате внизу, пол был совсем прогнивший, только минувшим летом настелили новый...

— Я все лето пилил, строгал, приколачивал, ездил за материалами... Вот в нынешнем году закончим ремонт, засяду писать роман,— мечтает вслух Дани.

Потом Лийса накрывает на стол, говорит:

— Надо позвать Эльви пить кофе.— И уходит.

Буквально минуту спустя она возвращается, а еще через несколько минут входит болезненно-худая женщина в серо-коричневых, каких-то линялых брюках и полосатом серо-красном пуловере, надетом поверх темно-коричневой водолазки. На очень худом и потому кажущемся длиннее обычного, морщинистом, бледном лице большие очки в темной тонкой оправе. Серые, прямые, коротко стриженные волосы. В костлявых пальцах зажата чашка.

Эльви Синерво?

Я представлял ее себе иной. Рассказывали, она была красавицей.

Нас знакомят. Но она стеснительно-неразговорчива, поглядывает на меня изучающе и, выпив кофе, сразу же уходит к себе наверх.

Затем Дани уезжает в Порвоо, чтобы привезти Дуню и ее виолончель.

А Лийса ведет меня на экскурсию по дому. Напротив кухни, через коридорчик, большая комната, которая служит и кабинетом и спальней. Вдоль стен — стеллажи. Кресло-качалка — непременная принадлежность почти каждого финского дома. Старинный большущий сундук, обитый медными полосами, доставшийся в наследство от бывших хозяев дома. Два письменных стола с машинками. В одной — недопечатанная страничка. Это Лийса переводит толстенную книгу, которую написала о популярнейшем в 70-х годах, рано умершем финском поэте и прозаике Пентти Саарикоски его жена, Мия Бернер, живущая в Швеции. Зимой Лийса и Дани работают в этой комнате вдвоем, но в теплое время Дани пишет в клети — он превратил ее в уютный кабинет.

На втором этаже над кабинетом-спальней находится детская, а комната Эльви над кухней. Внизу, в коридорчике, между комнатами, есть еще недостроенное пока помещение — сауна...

Вечереет... Вскоре Дани привозит из школы дочку.

Только за ужином Эльви Синерво постепенно перестает меня чуждаться, время от времени подключается к общему разговору и, когда мы с Дани и Лийсой перешучиваемся, улыбается, даже громко смеется. При этом лицо ее совершенно меняется, становится радостно-молодым, глаза — приветливыми, лучистыми, словно солнце выглядывает из-за тучки.

Время от времени я обращаюсь к Эльви Синерво, как подобает, почтительно, но вдруг она говорит мне неожиданно строго:

— Не выкай! Теперь в Финляндии все сразу переходят на «ты»! — И начинает расспрашивать о Таллине, где ей доводилось бывать не раз, и о своих таллинских знакомых, интересуется, как поживает Дебора Вааранди, которая переводила ее стихи, что пишет Ааду Хинт, ведь ему уже под восемьдесят...

Но едва я делаю попытку переключить разговор на нее, вернее, на ее творчество, улыбка сразу исчезает, она смотрит на меня сурово и говорит:

— Я бывшая писательница... Совершенно неудавшаяся писательница. Ничего я не добилась — ни как поэт, ни как прозаик, ни как драматург... В Финляндии меня уже никто не помнит, наверное, думают, что умерла... Я ведь уже давно молчу... После смерти Маури я убила в себе писателя. Только переводила...

(Муж Эльви Синерво, Маури Рюёмя, врач-психиатр, депутат парламента, член ЦК Компартии Финляндии, погиб осенью 1958 года в автокатастрофе.)

Эльви абсолютно искренна, и я ошеломлен: ведь это говорит известнейшая финская писательница, проза и поэзия которой переведены и изданы в разных странах. Она трижды удостаивалась Государственной премии Финляндии, ей присуждались и премия Общества Эйно Лейно (за поэзию), и премия М. Агриколы за переводческую деятельность — почетнейшие в стране награды литераторам. Некоторые ее стихи стали народными песнями. И ведь она не только писала. В 1936 году вместе с Арво Туртиайненом, Катри Вала, Пентти Хаанпяя и еще несколькими прогрессивными писателями и художниками Эльви Синерво организовала литературно-художественное общество «Кийла» («Клин») [1], активно выступавшее против фашизма, за социальные преобразования в Финляндии, а с 1951 по 1955 год сама была его председателем! Тюрьма, куда писательницу заточили в 1941 году за политические убеждения и симпатии к Советскому Союзу, не сломила ее. Она входила там в состав подпольного комитета политзаключенных, а выйдя на свободу, создала в 40 — 50-х годах свои лучшие произведения, проникнутые оптимизмом, верой в человека...

[1] «Кийла» существует и поныне. В 1986 году общественность Финляндии отметила его 50-летие. *(Здесь и далее прим. авт.)*

Хотя с другой стороны... В биобиблиографическом справочнике, составленном едва ли не самым авторитетным финским критиком и литературоведом Пеккой Тарккой, «Современные писатели Финляндии» (1980), где даны краткие обзоры творчества, биографии, сведения и фотопортреты примерно ста крупнейших финских прозаиков, поэтов, драматургов, Эльви Синерво нет... Есть, к примеру, умерший еще в 1965 году Лаури Вийта, есть умерший в 1973 году Тимо Мукка, есть и сравнительно молодой Даниэль Катц, а Эльви Синерво нет...

Все это проносится у меня в голове. Тянется пауза. Быстро достаю из сумки несколько выпущенных в Советском Союзе книг.

— Вот, посмотри: Синерво, Синерво... И здесь... И здесь... В этом томе «Библиотеки финской литературы» переводы твоих стихов, а в другом томе несколько рассказов. И в новом сборнике «Современная финская новелла», который только что вышел в Москве (об этом в январе 1986 сообщали крупнейшие финские газеты, радио и телевидение),— твои рассказы... Да и в Хельсинки издательство «Лове кирьят» выпустило шесть томов — почти полное собрание твоих сочинений. Директор издательства Хейкки Салоярви говорил мне, что они хорошо разошлись. Значит, твои книги по-прежнему интересуют читателей...

Эльви смотрит на меня как на бессовестного комплиментщика.

— Да-а,— говорит она,— спасибо Хейкки Салоярви. Но ведь это маленькое издательство, и тиражи у них маленькие... А другие-то, крупные, издательства не хотели меня переиздавать. И получила я за эти шесть книг всего... — Она называет действительно скромную сумму. — Дело вообще-то не в деньгах, я же получаю писательскую пенсию, просто сейчас, когда мы купили этот дом и пришлось его основательно ремонтировать... Ну да ладно! А что там, в «Библиотеке финской литературы»? Какие же мои стихи туда отобрали?

— Разве ты не знаешь?

— Нет. Впервые вижу эту книгу.

Том вышел в Москве в 1980 году, неужели никто не догадался до сих пор прислать или подарить Эльви эту книгу? — мелькает у меня в голове. Объясняю, какие именно стихи вошли в подборку.

Эльви владеет немецким, английским, шведским языками, а в 1953 году, будучи два месяца в Советском Союзе, выучила восемьсот русских слов, но все их уже давно перезабыла. Она просит прочесть некоторые переводы — ей интересно, как стихи звучат по-русски. И сама тут же начинает декламировать их по-фински, но сбивается, уходит на минутку к себе наверх и возвращается с книгой, вышедшей в 1984 году. На ста семидесяти шести ее страницах собраны лучшие стихи Эльви Синерво, написанные с 1941 по 1956 год.

Достаю диктофон, чтобы записать ее. Она соглашается далеко не сразу, но меня поддерживают Лийса и Дани — и Эльви все-таки уступает. Потом диктофон так и остается включенным...

Эльви не только читает стихи, но и рассказывает историю их создания.

— «Под майским небом» написано в тюрьме. Дело было вот как. Раз в неделю нас водили в сауну, и мы оказывались все вместе. На полчаса. Без охраны. А мы — нас еще называли политруками — пользовались сауной, чтобы проводить собрания, обмениваться информацией. Там-то нам и стало известно, что один товарищ казнен. Тойво Поутанен. Я на днях прочла о нем в книге Юкки Рислакки «В подполье» и впервые узнала подробности... Ты прочти, хорошая книга...

— Как раз дочитываю, — говорю я. — Между прочим, эпиграфом к ней автор взял твои стихи: «Все, что произойдет в эти дни и в дни, что за ними последуют, пусть пронзит нас насквозь, как железный поток, как огонь и как лед!»

Эльви останавливает меня жестом и продолжает:

— Подумать страшно, как мало значили тогда даже параграфы законов... Кто-то из женщин видел Поутанена случайно, когда его вели из суда, и он успел сказать, что ему дали три года. А его вскоре застрелили. То была первая казнь, о которой стало известно и нам. Я не была с ним знакома; должно быть, даже никогда не видела его. Хотя, возможно, он приходил до войны на собрания Общества дружбы с СССР, где и я, бывало, выступала, а он присутствовал там. Один из многих...

Тут выясняется, что в оригинале стихотворение написано от имени женщины-заключенной, обращающейся к жене казненного товарища, а в переводе — от лица мужчины. Перевод, вероятно, делался с подстрочника, а в финском языке грамматический род у абсолютного большинства слов отсутствует. При прямой речи обычно понятно, кому принадлежит та или иная реплика. И это определяет род при переводе на русский. Но в данном случае прямое указание — кто пишет — отсутствует. Однако уже сам по себе подбор слов, эмоциональная окраска, интонация характерны для женщины — финскому читателю это ясно. Видимо, все эти оттенки и особенности не были переданы в подстрочнике и, естественно, не могли быть учтены автором поэтической обработки текста. К тому же — полезно знать на будущее переводчикам поэзии Э. Синерво — в ее стихах в подавляющем большинстве случаев говорит или пишет лирическая героиня.

Мы какое-то время обсуждаем проблемы перевода — ведь у Эльви большой опыт переводческой работы, — затем она продолжает:

— В сорок первом году, когда Финляндия вступила в войну на стороне гитлеровской Германии, меня, как и многих других, упрятали в тюрьму за то, что мы активно участвовали в создании и работе Общества дружбы с Советским Союзом, основанного в 1940 году. Женщины, сидевшие со мной в тюрьме, простые, бедные финки, говорили мне: «Пиши! Пиши!» Но особенно настойчивой была моя подруга по камере Ауни Лаурикайнен. Она меня прямо-таки заставляла. И я ей очень благодарна. Писала я на туалетной бумаге. Нам выдавали

раз в месяц шестьдесят тоненьких желтоватых листочков размером в половину тетрадной странички. Женщины сохраняли их и отдавали мне: «Пиши!» Первый мой сборник стихов «Облака» (до войны я писала прозу) был «издан» в тюрьме в одном экземпляре. На туалетной бумаге. Стихи переписали печатными буквами, переплели. Одна женщина, мастер — она раздавала нам в тюрьме работу, — выносила мои рукописи на волю. Потом отдала их мне, когда я освободилась... — Помолчав, Эльви добавляет, словно ставит точку:— Если у меня и есть что-то стоящее, так это тюремная книга — «Облака».

В том «Библиотеки финской литературы» из «Облаков» вошли три стихотворения. Заглядываю в книгу и спрашиваю:

— А «Герой»? Тоже какой-то конкретный случай?

— Я думала об Аймо Рикке, когда пришло сообщение, что его приговорили к смертной казни. Потом, правда, он все же остался жив. Его спасла жена. Смерть заменили пожизненным заключением, а через три года, когда война кончилась, его выпустили. Было очень важно, чтобы на воле находились люди, которые бы хлопотали и боролись за осужденных. Жена Аймо Рикке, очень энергичная, ко всем обращалась, доказывала, настаивала, даже до тогдашнего президента Финляндии, Рюти, дошла... Понимаешь, перед теми, кто решает, вдруг возникает живой человек, а не просто бумажка с фамилией. И это может все изменить. Те, кто говорит: мол, нет смысла вмешиваться, бесполезно, — не правы. Всегда надо вмешиваться, чтобы отстоять хорошего человека. Эльви на миг замолкает и вдруг говорит с веселой улыбкой: — Что-то я разговорилась. Даже ни одной сигареты не выкурила.

Она с наслаждением затягивается и поглядывает на меня с улыбкой. Неожиданно для самого себя я вдруг спрашиваю:

— Зачем ты куришь?

Мой вопрос смешит ее.

— Это теперь основное мое занятие. Но я курю очень слабые сигареты.

В той же подборке, переводы которой мы обсуждали, есть и стихотворение из сборника Эльви «Девичий колодец», и я прошу ее прочесть его тоже по-фински.

— До чего же ужасно читать собственные стихи, да еще вслух! — Эльви вздыхает. — Ну да ладно. Только сперва необходимо сказать, что оно написано как бы в соавторстве с одной простой женщиной, далекой от литературы. Во времена «холодной войны», когда началось всемирное движение против атомной бомбы, я тоже активно участвовала в этой великой борьбе. И как сторонница мира, и как писатель. Но я всегда считала, что показывать мировые события нужно через образы и судьбы самых простых людей. Они мне ближе. Это мой принцип. Я не писала о «верхних этажах» — их в силу своего рабочего происхождения я и не знала как следует. Хотя потом познакомилась и с профессорами, и с академиками, и с горными советниками, и с министрами... Ну да, а в период сбора подписей под Стокгольмским воззванием я вела переписку со многими простыми людьми Финляндии. С женщинами. Демократический союз женщин предложил, чтобы я написала письмо, которое будет рассылаться во все концы страны. И я в том своем письме просила женщин, чтобы они, отвечая, рассказывали не только о том, как собирают подписи под воззванием, но и о своей жизни. Среди многих полученных мною писем было одно из Северной Похъянмаа, которое меня глубоко взволновало. Я представила себя на месте той матери и других женщин, живущих далеко, в захолустье. И во мне заговорил поэт. Много придумывать не пришлось. Я взяла прямо из письма некоторые фразы и образы, только сгустила текст. Однако поэт всегда должен быть честным, поэтому я поставила кавычки, как и полагается при цитировании.

Она берет книгу и читает:

Письмо из глуши.
«Что вы знаете?!
Что понимаете?
Снег не сходит,
не уступает зима.
Холодно здесь
и во всем недостаток.
Шест ограды серой
торчит из сугроба.
Сорока смеется.
Весна — наступит ли все же?»

Она читает очень просто, не декламирует, но удивительным образом каждое слово в ее устах обретает особую значимость, подтекст. Или это оттого, что теперь я знаю, как были созданы стихи? Холод — «холодная война»... Наступит ли весна? — потепление обстановки в мире... Стихи звучат весьма современно.

— Что это я взялась вспоминать старые истории, которых никогда не рассказывала, — вдруг останавливает себя Эльви. И говорит Даниэлю, глядящему на нее с нескрываемым удивлением:— Нашего гостя я ужасно утомила.

— Такими интересными историями меня не утомишь, — успокаиваю ее я.

— Тогда спрашивай еще, — предлагает она даже с некоторым вызовом.

— Почему бы тебе не написать обо всем... ну, о том, что ты сейчас мне рассказывала... как бы мемуары? — начинаю я осторожно, втайне надеясь, что, может быть, она пишет их потихоньку.

— После смерти Маури я убила в себе писателя, — уже во второй раз говорит она.— Он был надежный, как скала. Чтобы писать, очень важно иметь такую поддержку. Если бывало трудно, стоило прижаться к его груди — и сразу становилось легче, хотя он и молчал. Он вообще был молчаливый, но очень тонко все чувствовал...

— Пусть это были бы мемуары не писателя, а просто человека, свидетеля эпохи,— пытаюсь агитировать я.

— Не хочу, чтобы «Лове кирьят» обанкротилось, — отшучивается Эльви. Потом говорит серьезно:— Мне претит, что теперь многие писатели даже романы пишут о самих себе... И все теперь пишут воспоминания. Но ведь для этого нужна особая компетентность. К тому же эти новомодные течения, американизация... Ничего такого... Мне нечего им сказать...

Тут в разговор включаются Дани и Лийса, и мы принимаемся обсуждать проблемы современной финской литературы. Эльви умолкает и вскоре говорит:

— Устала я. Пойду к себе спать.

Воспоминания явно утомили ее и даже немного расстроили.

После ухода матери Лийса замечает:

— Ты не первый, кто агитировал ее насчет мемуаров. Анна Зегерс однажды чуть не поссорилась с нею из-за этого.

— Эльви переводила ее? — спрашиваю я.

— Да. И очень удачно.

— А еще кого?

— Многих. Брехта, Германа Гессе, Артура Миллера, Иво Андрича, Захарию Станку... — перечисляет Лийса.

— Эльви не в меру самокритична! — вдруг прорывается у Дани. — Неудавшаяся писательница! Как бы не так! А ты знаешь, например, что ее стихи сейчас популярны среди партизан и борцов сопротивления в Латинской Америке? Они превратились у них в песни борьбы. Их переводит там один человек, живущий не то в Аргентине, не то в Чили... Его псевдоним — Пертти. Он приезжал, показывал свои переводы, советовался. Еще приезжал один палестинец из Ливана. Они там тоже открыли для себя Эльви Синерво...

— А не помнишь, какие именно стихи там переводят?

— Многие. Ну... вот это — «Не знаю, где могила любимого»:

Человека, любимого моего они убили.
потому что он против глупости их боролся.

Где могила любимого, мне неизвестно,
ведь они погребли его как уголовника.

И теперь, когда землю я глажу,
глажу, как тело любимого моего.

Но живых мужчин как же мне не любить,
ведь кровь моя красная горяча и быстра.

Все же можешь быть уверен, любимый:
я люблю только таких, как ты,—
мудрых и бесстрашных,
братьев твоих по борьбе.

На другой день за завтраком мы уже не касаемся прошлого и литературы, разговор вертится в основном вокруг текущих событий.

А во дворе, залитом солнцем, дети лепят снежную бабу. Вскоре приходят, зовут нас взглянуть. Баба держит елку, на голове у нее настоящая черная старая шляпа, на носу солнцезащитные очки.

Эльви молодо смеется.

Потом Даниэль с детьми уезжает на машине в магазин за конфетами, которые полагаются им в конце каждой недели.

После их отъезда Лийса говорит:

— Вот бы завести лошадь! Ездить бы в магазин на дрожках! От нас туда километр, — поясняет она мне.

Я тут же пытаюсь представить себе Эльви на дрожках. Не получается. Она видится мне на простой телеге.

Немного погодя Эльви говорит:

— Пойдем ко мне. Я тебе надпишу книгу.

Комната Эльви поменьше тех, что внизу. В печке горит огонь. Светлые обои. Небольшой письменный стол стоит не под самым окном, а сдвинут к середине комнаты. Старое креслице. Стул. Половик. На стене портрет Сюльви-Кюлликки Кильпи.

Видя, что я разглядываю портрет, Эльви говорит:

— Она моя сестра, на 12 лет меня старше. Но главное, что мы близкие подруги. Я вчера о ней говорила... С 1934 года до 1946-го она была членом парламента от социал-демократов, а с 1946-го по 1958-й — от Демократического союза народа Финляндии. 15 лет подряд избирали ее председателем Общества дружбы «Финляндия — СССР». Написала несколько книг, и такую — «Ленин и финны». А во время войны она использовала свое положение известного политического деятеля, депутата парламента, чтобы выручать тех, кто боролся с войной и придерживался левых взглядов. Она была социал-демократом, как и Таннер, которого потом судили как одного из главных военных преступников. До чего же разные люди могут состоять в одной партии! Она многих спасла, хотя и злилась на них, не была согласна с их действиями. Она и на меня злилась, у нас с нею разные направления...[1]

На столе лежит сборник «Облака», тот самый, из которого Эльви вчера читала вслух. Она надписывает его и отдает мне, говоря:

— Хотела показать тебе ту, выпущенную в тюрьме книжку «Облака». Она ведь сохранилась и находится у меня. Но что-то не могу найти. После переезда сюда мы до сих пор еще не все ящики распаковали. Зато вот... Случайно нашла... — И протягивает мне тоненький пожелтевший листочек, заполненный от края до края текстом. Маленькие буковки. Чернила уже наполовину выцвели от времени.

— Что это? — недоумеваю я.

— Туалетная бумага. Та самая, из тюрьмы.— Пока я разглядываю листочек и пытаюсь прочесть, что там написано, Эльви подходит к окну: — Хорошо тут. Тихо. Красиво. Вот только не видно неба. Деревья заслоняют. А я так люблю смотреть на облака...

Отдаю ей листок. Она берет его и хочет скомкать.

— Эльви! — едва не кричу я.— Что ты делаешь?

— Да кому он нужен? — Она искренне удивлена, с чего это я всполошился.

— Нужен. Хотя бы мне.

— Неужели ты серьезно?

— Серьезно. И даже очень. Подари его мне.

— Если хочешь, пожалуйста.— Она переворачивает листок и пишет карандашом на обороте: «Геннадию Муравину на память о посещении нашей глуши. Андерсбю. 25.I.1986. Эльви Синерво».

Обрадованный, беру этот удивительный подарок и говорю:

— Интересно будет рассказать об этом листочке и о нашей встрече.

— По-моему, это никому не интересно,— возражает она.

— Ты не учитываешь многих обстоятельств...

— Каких?

[1] Сюльви-Кюлликки Кильпи умерла в 1987 году.

— После Геннадия Фиша, который умер двадцать пять лет назад, никто у нас, пожалуй, обстоятельно о Финляндии не писал...

— Я встречалась с Фишем, кажется, в начале пятидесятых, — вставляет Эльви.

— А интерес к тому, что происходит здесь, с тех пор возрос, — продолжаю я,— ведь финны строят у нас в разных местах: под Таллином — порт, в Тосно — вагоноремонтный завод, в Москве — новое здание Третьяковской галереи, реставрируют гостиницу «Метрополь»... множество финнов-туристов приезжает в Ленинград, Москву, Прибалтику, Среднюю Азию, на наши курорты в Крыму и на Кавказе... Вышло уже девять томов «Библиотеки финской литературы», издаются и отдельные произведения вне этой серии... Вот поэтому я и думаю, что рассказать об Эльви Синерво следовало...

— Тогда сделай это в юмористическом духе, — советует она. — А если приедешь еще в Финляндию, заверни и к нам, в глушь...

Вернувшись вскоре в Таллин, я передал приветы Эльви Синерво ее знакомым, но писать о ней сразу не стал, надеялся, что мы еще встретимся и тогда, может быть, рассказ получится более полным и, как ей хотелось, даже в юмористическом духе. Но случилось иначе. 29 августа 1986 года пришла скорбная весть: «Вчера умерла Эльви Синерво».

◆

Советская литература за рубежом

США

Избранная поэзия и проза АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Генри Холт».
Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». Издательство «Уильям Морроу».
«Время жить и время любить» и другие рассказы ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА. Издательство «Вангард».

ФИНЛЯНДИЯ

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Тамми».
Повесть ГАВРИИЛА ТРОЕПОЛЬСКОГО «Белый Бим Черное ухо». Издательство «Вернер Сёдерстрём».

ФРАНЦИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Мессидор».
Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». Издательство «Альбин Мишель».
Сборник статей МИХАИЛА БАХТИНА «Вопросы литературы и эстетики». Издательство «Галлимар».

ФРГ

Повесть АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА «Каратели». Издательство «Зуркамп».
Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Инзель».
Роман ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Сандро из Чегема». Издательство «Фишер».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар» и «Сибирские повествования». Издательство «Бертельсман».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Весенние перевертыши». Издательство «Зуркамп».
Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Обмен». Издательство «Пипер».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Игра». Издательство «Словенски списователь».
Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Фуку!» Издательство «Лидове накладателстви».
«Избранное» ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА. Издательство «Младе фронта».
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Крутые горы». Издательство «Альбатрос».
Повесть БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Бедный Авросимов». Издательство «Одеон».
Повесть РУВИМА ФРАЕРМАНА «Дикая собака Динго». Издательство Альбатрос».
Книга ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Люди, годы, жизнь». Издательство «Одеон».

ШВЕЙЦАРИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Унионсферлаг».
Повесть АЛЕКСАНДРА ГРИНА «Бегущая по волнам». Издательство «Л'аж д'ом».
Стихи и «Путешествие в Армению» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Ховег».
Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Пушкин». Издательство «Диогенес».

ЯПОНИЯ

Стихи ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА. Издательство «Дзюмоку».
Стихи ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА. То же издательство.
Книга ВЛАДИМИРА ПРОППА «Русская сказка». Издательство «Сэрика Сёбо».
Стихи МАКСИМА ТАНКА. Издательство «Дзюмоку».

Среди книг

Издано в СССР

МАНАВАКА, КОТОРОЙ НЕТ НА КАРТЕ

Маргарет Лоренс. Кудесники. Роман и рассказы. Перевод с английского. Составление и предисловие О. Федосюк. Москва, «Радуга», 1988.

Путь англоканадской литературы «к себе», к собственным духовным истокам был долгим и нелегким. Понадобились десятилетия напряженных поисков, заимствования и освоения чужого, в первую очередь европейского и американского, опыта, а впоследствии резкого отталкивания от него, доходящего до неприятия всего неканадского, чтобы слова писателей о своей стране прозвучали не как абстрактная декларация, а наполнились самобытным, выстраданным содержанием. «Откуда мы пришли и куда идем, глубоко ли пущены наши корни в родную почву?» — эти вопросы волновали и продолжают занимать многих прозаиков и поэтов, драматургов и публицистов — С. Росса, Р. Дейвиса, Э. Парди, М. Этвуд и других.

В прозе Маргарет Лоренс (1926—1987) они присутствовали постоянно, ставились то прямо, то незаметно, вплетались в ткань повествования. Некоторые рассказы М. Лоренс и раньше появлялись на страницах советской печати, включались в сборники канадских новелл, но вряд ли они давали представление о своеобразии мировосприятия и стиля писательницы. Дело в том, что ее романы, повести и рассказы прочно скреплены между собой и образами ведущих и второстепенных персонажей, и характерно лоренсовской лирико-эпической интонацией, и главное, «единством нравственного отношения» к происходящему. В сущности, она без малого четверть века писала одну и ту же книгу, создавая некую современную сагу о канадской глубинке.

Однотомник, подготовленный издательством «Радуга», знакомит советских читателей именно с такой Лоренс, неутомимой строительницей вымышленного города Манавака, заселявшей его все новыми и новыми жителями. Основное место в книге занял последний и, бесспорно, лучший роман писательницы «Кудесники» (1974).

Начиная с названия, которое переводится и как «кудесники», и как «предтечи», и как «люди, ищущие водные источники с помощью магической лозы», это произведение не поддается однозначной трактовке. По верному замечанию одного из первых рецензентов, «роман развивается в двух временных планах и на трех повествовательных уровнях». Но не сложность композиции, а смысловая насыщенность «Кудесников» явилась причиной напряженных дискуссий среди канадских критиков. Действительно, что перед нами — модернизированный «роман воспитания» или привычные для литературы XX века «поиски утраченного времени»; рассказ о женской судьбе и наследии многих поколений или еще одна проповедь феминистского толка; миф о Канаде или, напротив, демистификация, обнажение противоречий истории страны? Конечно, «Кудесники» — роман о связи времен: недаром символический образ реки, чьи воды текут и в прошедшее и в будущее, стал в нем главенствующим. Но роман также и о том, как тонка эта связь, рвущаяся под напором событий.

Отношения персонажей Лоренс с Манавакой, городом детства и юности, неизменно конфликтны, психологически обострены. В молодости они мечтают поскорее уехать отсюда, пока не засосало обывательское болото. И только пройдя через тяжелые испытания, они начинают понимать, насколько своим человеческим скла-

дом обязаны этому типичному для центральной Канады, как бы подернутому ряской патриархальности городку. Не составляет исключения и главная героиня «Кудесников» — известная писательница Мораг Ганн. Необходимо подчеркнуть, что, передоверив Мораг собственный жизненный опыт и одаренность, Маргарет Лоренс подразумевала не внешнее эмпирическое сходство с героиней, а душевное с ней родство.

Может показаться, что героиня романа не нуждалась в опеке, поддержке знаменитых и безвестных «предтеч», что благодаря незаурядной энергии и стойкости, умению идти наперекор обстоятельствам и в итоге побеждать их, она добилась всего сама. Но это впечатление поверхностно. Выработанный с годами «волевой имидж» Мораг не совпадает с ее непростой сущностью, по природе своей она гораздо мягче, эмоциональнее, простодушнее, растеряннее, наконец. Мораг по праву считает себя продолжательницей различных, совершенно несходных национальных культурных традиций Канады, которые она пытается сблизить и примирить в своем творчестве. Переосмысливая прожитую жизнь, Мораг различает в текущем вспять потоке времени образы людей, вольно или невольно сформировавших ее характер. Кто же помог раздвинуть границы внутреннего мира девочки из захолустного городка, кто пробудил в ней творческое воображение? Это не авторы прославленных книг (хотя Мораг с детства читала много и увлеченно), не учителя, а не слишком-то образованные, но обладавшие стихийным поэтическим талантом жители Манаваки, выходцы из самых что ни на есть городских низов.

Один из них — приемный отец Мораг, мусорщик Кристи Логан. Свалка на окраине Манаваки, в просторечии именуемая Избавиловкой, была для Кристи прямо-таки «островом сокровищ», откуда он частенько приносил домой старинные книги и украшения. Слушая вдохновенные рассказы Кристи, где быль неразрывно переплеталась с вымыслом, Мораг словно переносилась в край своих предков — Шотландию. Завороженная сказаниями о легендарном шотландце, Ганне-волынщике, она попробовала воспроизвести свои впечатления в стихах и прозе. Ее ранние опыты были, конечно, несовершенны, но можно считать что именно тогда родилась будущая писательница. Спустя десятилетия Мораг, автор уже нескольких повестей, посетила свою прародину и разочаровалась: Шотландия оказалась иной, чем в красочных описаниях Кристи. Однако фольклорно-книжный образ Шотландии разбудил когда-то ее воображение.

Воспоминания о другом, не «родовом», источнике вдохновения — индейских мифах и балладах о мужественном борце за права метисов Луи Риле — всегда доставляли Мораг душевную боль. Но не вспоминать она не может — сострадание трагическому уделу униженного народа с юности было неотделимо у нее от любви к бывшему соученику, метису Жюлю Тоннеру, ставшему впоследствии исполнителем индейских песен. Большинство белых обитателей Манаваки воспринимало и самого Жюля, и его незадачливую, полунищую семью, и тех «бунтовщиков», которым он вскоре посвятит свои баллады, враждебно и презрительно. Имя «мятежника» Луи Риля внушало ужас не одним лишь богатым горожанам. Даже неимущий Кристи был уверен, что «Риль со своей бандой полукровок захватил власть в Манитобе. Отважные шотландцы, потомки Ганна-волынщика пришли на помощь правительственным войскам, выступили против самозванца, разгромили его форт и спасли Канаду». Но для Мораг Жюль Тоннер — олицетворение внутренней свободы, поэзии протеста. Поэтому она полюбила его. Однако Жюль не смог, да и не захотел преодолеть врожденного недоверия к белым, истребившим и загнавшим в резервации его народ. Мораг останется одна с дочерью Пик, в которой со щемящей радостью будет находить черты непокорного музыканта. Собственно, роман Лоренс и о том, как естественное стремление лучшей части канадцев второй половины XX века к национальному и культурному единству все еще наталкивается на многолетний барьер национальных предубеждений и подозрений.

Еще пристальнее, чем к навсегда ушедшим, присматривается Мораг к тем, кто окружает ее сегодня. К тем, кто, как и она, старается понять, что ждет их страну в недалеком будущем, куда несет свои воды поток нового времени. Наивные заблуждения вчерашних горожан, молодых супругов Смит, собравшихся возродить образ жизни первопоселенцев и завести собственное натуральное хозяйство, очевидны, но их упорство и душевная чистота вызывают у Мораг неподдельное уважение. А может быть, человек, разгадавший тайны прошлого и настоящего,— это ее немногословный пожилой сосед Ройланд? Ведь не случайно он наделен редкой способностью «чуять» водные источники глубоко под землей. Ройланд откровенно признается Мораг, что всегда действовал по наитию и не может «научно» объяснить, как обнаружить подземные ключи. Однако само существование таких «кудесников», приносящих в дар людям надежно скрытое от постороннего взора, по мысли автора, должно означать, что творческая энергия канадцев не оскудела и их духовный потенциал вселяет надежды.

С редким умением Маргарет Лоренс удалось сочетать эпический размах и фиксацию тончайших, почти невыразимых на языке логических понятий подробностей душевной жизни героев. Переводчики романа А. Михалев и Ю. Жукова успешно справились со сложной задачей, найдя точный словесный эквивалент и озорным тирадам Кристи, и то печальной, то грубоватой иронии внутренних монологов Мораг.

В четырех рассказах, вошедших в сборник («Гагары», «Маска медведя», «Навести порядок в нашем доме», «Не спешите, кони ночи»), действие также происходит в Манаваке. Повествование в них ведется от лица девочки-подростка, дочери городского врача Ванессы Маклауд. Вдумчивостью и художественным складом натуры

она напоминает Мораг Ганн. Но Ванесса и Мораг изначально принадлежали к разным социальным и психологическим мирам — героиня рассказов выросла в зажиточной семье со строгими пуританскими правилами. Неудивительно, что события, потрясшие юную Мораг — пожар в долине, где ютились хибарки индейцев, и гибель сестры Жюля Тоннера Пикетты,— глухо отозвались в душе Ванессы («Гагары»). Обращение писательницы к одному и тому же трагическому происшествию в романе и рассказе придало изображению объемность, сделало его стереоскопически выпуклым.

За последние четыре года в Советском Союзе вышло в свет несколько сборников канадских новелл, опубликованы два романа и рассказы другой выдающейся писательницы страны Маргарет Этвуд. Количество «белых пятен» на литературной карте Канады ощутимо уменьшилось. Однако не секрет, что нашей критикой эти книги были встречены без особого энтузиазма и не получили должной аналитической оценки. В ряде рецензий проскользнули утверждения, что литература Канады вторична, малоинтересна, интеллектуально аморфна. Масштабное творчество Маргарет Лоренс наглядно опровергает эти поверхностные суждения. Мысленно погружаясь в прошлое родной страны, герои «Кудесников» пытались извлечь истину из-под напластований официозных версий, разобраться, что воодушевляло восставших метисов, на чью поддержку рассчитывал их предводитель Луи Риль. Пафос романа не может не быть близок нам, открывающим сейчас многие, полные драматизма, страницы отечественной истории.

Е. ЛЮБИМОВА

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПРУСТА

Марсель Пруст. В поисках утраченного времени: По направлению к Свану; Под сенью девушек в цвету; У Германтов; Содом и Гоморра. Перевод с французского Н. Любимова. Москва, «Художественная литература», 1973—1987.

Наконец, после значительного, семилетнего, перерыва возобновилось издание прославленного цикла романов Пруста «В поисках утраченного времени», предпринятое и осуществляемое во многом благодаря усилиям нашего знаменитого переводчика Н. М. Любимова. Создание новой русской версии «В поисках утраченного времени» потребовало не только полной отдачи всех возможностей литературного мастерства и гуманитарной культуры того, за чьими плечами стоят такие титанические труды, как переводы «Дон Кихота», «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Декамерона», но и его огромной энергии в разрушении тех видимых и невидимых преград, которые до недавнего времени стояли на пути издания русского Пруста.

Итак, к 1988 году советский читатель имеет заново переведенными четыре романа Пруста, опубликованные в 1934—1938 годах издательством «Время», а затем Гослитиздатом в Ленинграде. Прошло полвека — и каких полвека!.. Есть все основания для размышлений о том, как по-разному можно перевести Пруста, по-разному его прочесть, по-разному увидеть его место в истории литературы и в своей судьбе, ибо знакомство с этим писателем, смею сказать, ни для кого не проходит бесследно.

Пусть поначалу это будет то смешанное с полупониманием удивление, которое испытал я семнадцатилетним юнцом, когда в начале 50-х годов открыл для себя этот странный, сновидческий мир, пусть это будет отталкивание и неприязнь,— раз услышав, забыть неповторимый голос Пруста, не определить своего к нему отношения невозможно.

Для людей 20—30-х годов, когда только начиналось освоение прустовского материка, романы цикла «В поисках утраченного времени» были откровением, наваждением, частью их собственной биографии. «Читаю Пруста с ужасом и наслаждением,— писала Ахматова в 1937 году Н. Н. Пунину.— Думаю, что мы его любим так, как современники любили Байрона». Следующее десятилетие заметно поубавило это обожание. Мировые катаклизмы середины века, в которых человек представал песчинкой в стихии стихий, повлияли на формирование нового отношения к Прусту, если не как к чему-то не очень жизненному, насущному, то, во всяком случае, безусловно связанному с навсегда ушедшей эпохой и ограниченному ей. Та же Ахматова в 60-х годах, помню, противопоставляла мироощущению героя Пруста, защищенного со всех сторон устойчивым бытом, бабушкой, светскими знакомствами и т. п., как более современное мироощущение хемингуэевского Фредерика Генри, который все потерял, который один на всем белом свете. Можно умозаключить, что Пруст представлялся ей в это время некоей эстетической «суммой», той belle époque, из которой она сама когда-то вышла и рамками которой, естественно, не хотела себя замыкать.

О, эта знаменитая belle époque!.. Как обманчива зависимость от нее Пруста! Рискуя прибегнуть к парадоксу, можно сказать, что единственная бесспорная связь с этим временем состоит у Пруста в его уверенности, что всякий читатель может позволить себе роскошь с должным вниманием следовать с ним по его жизненному пути, исполненному в его представлении не меньшей символичности, чем путь Данте по потустороннему миру. Но, как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению: тот, кто не читал заключительного романа прустовской эпопеи «Обретенное время», свет которого окончательно проясняет весь ее замысел, Пруста не знает и обычно вычитывает в Прусте только близкое или доступное себе. Это может быть та сторона лирической прозы в «Поисках», где Пруст выступает выучеником и продолжателем А. Доде, А. Терье, Э. Рода,— и тогда читателю по душе кувшинки Вивоны, пирожное «мадлена», первозданная свежесть мира ребенка в первой части «Стороны Свана», но может быть и стендалевская линия анализа любви с соответствующим предпочтением «Любви Сва-

на», «Пленницы» и «Беглянки», и бальзаковская линия светского бытописательства (если не социальной критики) с «Германтом», и освещенная далекими отблесками огненного дождя, испепелившего Содом, развернутая «петрониевская» сюита второй половины эпопеи, и, наконец, найдет своих поклонников и Пруст-«талмудист», далеко перещеголявший в своих «опытах» Монтеня в части бесконечного нанизывания взаимодополняющих, а то и взаимоисключающих объяснений того или иного явления или поступка.

Но только «Обретенное время» открывает нам все карты Пруста, «конечный вывод» его мудрости: человек изначально и предельно одинок, не может выйти за пределы своего «я» и адекватно общаться с другими, блуждает в темном лесу умственных фикций, таких как различные виды социальной практики или любовь, являющаяся во всех формах — от «нормальной» до «девиантной» — своеобразным заболеванием. Человек мог бы записать всю свою жизнь на счет «потерянного времени», если бы не чудо искусства, способного преобразить любой сор земного существования в вечную, непреходящую ценность... Надо думать, сейчас уже мало кто согласится на отведение искусству такой провиденциальной роли, и тогда нельзя будет не признать, что одиночество прустовского героя более всеобъемлющее, чем хемингуэевского: Фредерик Генри потерял Кэтрин Баркли, но не веру в любовь — герой «Поисков утраченного времени» подводит читателя к мысли о бессмысленности любых «абстракций» человеческого сознания. При внимательном прочтении цикла до конца русская читательская публика без труда сможет убедиться в справедливости этой характеристики. Надо только пожелать труду Н. М. Любимова благополучного завершения и беспрепятственного обнародования.

А пока что издание четырех романов, занявшее в отнюдь не легкие 30-е четыре года, растянулось в 70—80-е на четырнадцать лет и, к тому же, не без мытарств. Достаточно сказать, что в «Содоме и Гоморре» целомудренное издательское око не потерпело комментария доктора Коттара по поводу вальсирующих Альбертины и Андреи в Бальбекском казино и знаменитого авторского отступления в связи с наблюдаемой им первой встречей барона де Шарлюса (в транскрипции Н. М. Любимова — де Шарлю) с жилетником Жюпьеном, отступления, для которого Пруст, по свидетельству Леона Доде, специально проштудировал работу Дарвина «О двигательной способности у растений» (в довоенном издании оба пассажа присутствовали, но там, правда, не стерпели такой детали, как резко обозначившийся к старости еврейский нос Свана).

Что касается перевода Н. М. Любимова, то он полностью подчинен тем принципам, которые изложены им в эссе «Перевод — искусство». Их можно принимать или не принимать, но сейчас эти принципы перевода переживают, пожалуй, эпоху своего наивысшего торжества, чем не в малой степени обязаны поэтическому гению самого крупного их приверженца — Б. Л. Пастернака. Н. М. Любимов, несколько обобщая, сформулировал их в своем эссе так: «Когда я перевожу какого-нибудь автора, я всегда стараюсь найти ему некое, хотя бы приблизительное, соответствие в русской литературе. Это вовсе не значит, что я призываю самого себя или кого-нибудь «делать под», я только ищу ориентир, я ищу точку опоры».[1] У Пастернака таким соответствием переводимым авторам были аналогичные пласты собственного творчества, опираясь на которые он иногда даже превосходил оригинал. Н. М. Любимов ищет нужную ему «стилевую атмосферу» вовне. Надо сказать, что даже отдаленного подобия стилистике Пруста в русской литературе нет. Думается, что из видных русских писателей лучше всех его мог бы перевести М. А. Кузмин, хотя, как у нас, к сожалению, водилось и водится, его этим заказом в свое время не удостоили, поручив переводить А. де Ренье; но даже и в послереволюционной, отмеченной чертами авангардных поветрий прозе Кузмина внешних примет прустовского стиля нет. Я затрудняюсь сказать, кто был выбран Н. М. Любимовым в качестве «приблизительного соответствия» Прусту, но бесспорным достоинством его перевода является удобочитаемость, непринужденность, естественность, достигаемые отнюдь не за счет упрощения или огрубления прустовского письма. Но... что-то неуловимое из «русского Пруста» в сравнении с довоенными переводами, при всей их порой с современной точки зрения неуклюжести, исчезло. Их «буквализм», их «скованность» были не только чертами определенного этапа в истории отечественной переводческой школы, но свидетельством бесконечной любви к Прусту поколения, читавшего его «с ужасом и наслаждением». Девизом этого поколения было: «Не прейдет и йота», и оно, конечно, при всех своих недостатках не позволило себе грешить словесной живописью, стилевой «избыточностью», от которых, увы, не всегда свободны мастерские переводы Н. М. Любимова.

М. В. ТОЛМАЧЕВ

ЧЕРНЫЙ ОРФЕЙ ТЕРЯЕТ ГОЛОС?

В нашей стране издается немало африканской литературы. Готовя эту статью, я составил для себя список книг, которые видел в продаже в последние год-полтора. Список получился не таким уж коротким. В него вошли романы (более двадцати), повести, сборники рассказов, поэтические подборки. Издательства «Художественная литература» и «Радуга» публикуют произведения африканских писателей регулярно. В первом выходит серия «Произведения писателей Африки», ежегодно издаются объемные выпуски альманаха «Африка». Издательства «Правда», «Молодая гвардия», «Детская литература» также обращаются к интересующему нас региону. Припоминаю даже воениздановскую книжку, выпущенную несколько лет назад. Не игнорирует африканцев и периодика.

[1] «Перевод — средство взаимного сближения народов». М., «Прогресс», 1987, с. 143.

Казалось бы, с африканской литературой у нас все в порядке. Особых проблем нет. Впрочем, возникни они — до них ли! Вокруг бушуют почти смертельные страсти по поводу изданий отечественных авторов. Другой вопрос — читает ли кто-нибудь книги африканцев?

«В силу объективных причин интерес к зарубежной культуре сейчас упал, о чем свидетельствует редакционная почта. Мало откликов на публикации произведений латиноамериканских авторов, писателей из стран Азии и Африки...» — сообщает в № 12 за 1987 год журнала «Иностранная литература» А. Николаевская. В последнее время приходится слышать: советская литература переживает бум, у рядового читателя не остается ни времени, ни сил, чтобы переварить одновременно и наше и чужое, поэтому предпочтение отдается своему.

Мне кажется, можно поспорить о падении интереса к зарубежной литературе. Вряд ли существует прямая зависимость: чем больше читают отечественных авторов, тем меньше — зарубежных.. Хорошие зарубежные писатели популярны у нас, как и прежде, хотя у советского читателя теперь появился большой выбор. Однако согласимся, что феноменальный рост тиражей «Нового мира», «Знамени», «Огонька» в какой-то степени вызван и тем, что эти журналы не отвернулись от романов Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», Марио Пьюзо «Крестный отец», Грэма Грина «Человеческий фактор». Достойным писателям разных национальностей в одной компании не тесно. Они высоко поднимают планку художественного уровня, которую не осилить посредственностям. Рыбаков с «Детьми Арбата» и Пастернак с «Доктором Живаго» вовсе не конкуренты Олдосу Хаксли с «Дивным новым миром» или Кафке с «Замком». Скорее, они дополняют друг друга, привносят в литературу столь ценимое нами разнообразие.

Ну хорошо, а как же все-таки с произведениями африканских писателей? Ведь разговор мы начали о них. По моим (и не только моим) наблюдениям, интерес наших читателей к африканской литературе действительно вял. Хотя утверждать, что его совсем нет, было бы неверно. В конце концов подавляющее большинство книг в магазинах раскупают. Правда, возразит скептик, преобладающий тираж для африканской беллетристики — пятьдесят тысяч экземпляров (речь, конечно, идет о прозе). А, как известно, в таких количествах у нас расходятся даже пособия по эксплуатации электрического утюга.

Объясняется ли относительное равнодушие публики к книгам африканцев скромными художественными достоинствами этих книг? Будем говорить без обиняков. Африканские писатели пока не лидируют в мировом литературном процессе. Объективная причина заключается в том, что художественная литература Африки начала активно развиваться всего лет тридцать назад. Маловато традиций. За редким исключением доныне здравствуют (и они довольно молоды) писатели первого поколения. Национальной школы беллетристики, подразумевающей значительный пласт культуры письма, накопляющейся не десятилетиями, а веками (никакая ускоренность развития здесь не поможет), в большинстве африканских стран нет. Но предвзятость, увы, наблюдающаяся у некоторых снобистски настроенных наших соотечественников («африканский автор — чего от него ждать...»), несправедлива. Репутация многих писателей из стран Африки высока. Достаточно назвать имена Чинуа Ачебе, Воле Шойинки, (оба из Нигерии), Алекса Ла Гумы, Андре Бринка, Атола Фугарда, Надин Гордимер (все из ЮАР), Айи Квеи Армы (Гана), Нгуги Ва Тхионго и Меджи Мванги (оба из Кении), Леопольда Седара Сенгора (Сенегал), Агостиньо Нето (Ангола)...

Свидетельством растущего международного признания африканской литературы стало присуждение Нобелевской премии в 1986 году Воле Шойинке. Его произведения не раз публиковались в Советском Союзе. Написана отличная монография Виктора Бейлиса о его творчестве. В конце прошлого года в серии «Мастера современной прозы» издательство «Радуга» выпустило внушительный том избранного Воле Шойинки. Его составили самый известный роман писателя «Интерпретаторы» о нигерийской интеллигенции 60-х годов, автобиографическая повесть «Аке, годы детства», впервые переведенная на русский язык пьеса «Смерть и конюший короля», а также представительная подборка стихотворений. Несмотря на весьма высокую цену (том стоит 3 рубля 50 копеек, дороговизна книг ныне заметно влияет на спрос), книга не залежалась на прилавках магазинов. Этот пример ставит под сомнение корректность рассуждений о читательском интересе к литературам целых географических регионов. Наверное, правильнее было бы говорить об отношении к конкретным авторам. Во всяком случае, Шойинку непопулярным автором не назовешь.

Как видим, успехи у африканской литературы есть, а учитывая ее молодость, успехи достаточно впечатляющие. Ее потенциал таков, что в один прекрасный день она вполне способна выдвинуть из своих рядов настоящего новатора, который удивит мир мощью своего таланта. Феномен Маркеса может повториться в Африке.

Пока же в литературе заметна тенденция к стремительному количественному росту. По данным справочника «Ридерс гайд ту африкэн литерачер», выпущенного английским издательством «Хайнеман», к 1983 году в странах Африки южнее Сахары было опубликовано свыше тысячи произведений, тогда как до 1972 года общее количество не составляло и пятидесяти. Особенно бурно издательское дело развивается в Нигерии, Кении и Сенегале. Кроме того, следует учитывать, что много новых книг африканских авторов выходит в странах Запада. Значит, количественные масштабы африканской литературы, вопреки бытующему мнению, не так уж малы. А вот средний качественный уровень произведений, похоже, стабилизировался. Его поддерживают прежде всего писатели, заявившие о себе в 60—70-е годы.

Некогда критика окрестила их бунтарями и прорицателями. Они поведали миру об Африке, увиденной изнутри; они разру-

шали колониалистские мифы о неполноценности африканских народов, восстанавливали правду о родной истории и культуре. Главной темой их творчества стала борьба за национальную независимость. Но не только жаждой свободы определяется пафос их книг. Реальности новой Африки, трудности, с которыми она столкнулась после ухода колонизаторов, показаны также со всей мерой искренности. Стремление приукрасить действительность, обмануть читателя недомолвками в целом африканским писателям несвойственно. Их книги с самого начала вызвали интерес у иностранного, в том числе и нашего, читателя. Ведь стереотипный образ Африки как «сердца тьмы», унаследованный европейским сознанием еще со времен Джозефа Конрада, уступал в них место многокрасочной, противоречивой и несравненно более жизненной картине незнакомого континента.

В письме В. Епифанова, процитированном в обзоре читательской почты в № 7 за 1987 год журнала «Иностранная литература», очень точно сказано: «В чужой далекий мир разных стран с устойчивым интересом смотришь, когда в своем доме многое наскучило или попросту отталкивает». В годы застоя зарубежная литература была интересна нам не только экзотикой своего материала. В ней поднимались и глубоко исследовались проблемы, имевшие непосредственное отношение к положению дел в нашем собственном доме. То, о чем молчали или о чем не слишком внятно говорили советские писатели, подчас получало актуальное освещение в книгах иностранных авторов, в том числе африканских. Приведу лишь один пример, хотя им далеко не исчерпывается аргументация в пользу вышесказанного.

В 1966 году Чинуа Ачебе опубликовал роман «Человек из народа» (рус. перев. 1969). Ироническое звучание названия становится очевидным, когда знакомишься с образом Нанги, главного «антигероя» этого произведения. Нанга — политический авантюрист, пройдоха, сумевший на волне антиколониальной борьбы вознестись к высотам власти. Бывший учитель сельской школы становится министром, одним из влиятельных деятелей правительства. Он спекулирует на своем социальном происхождении: для циничного карьериста то обстоятельство, что он выходец из народа, становится козырной картой. Нанга ловко ее разыгрывает. Очутившись на высоком посту, он претерпевает прямо-таки кафкианскую метаморфозу — перед нами новоиспеченный угнетатель, предающий народные интересы. Ачебе подчеркивает, что этот хапуга ничуть не лучше бывших колонизаторов. Он даже хуже, ибо грабит людей, оказавших ему доверие. Вывести его на чистую воду нелегко. Нанга набрал силу. Опытный демагог на словах ратует за народное благо.

Узнаете? Чем не персонаж разоблачительных очерков, с недавних пор появляющихся на страницах наших газет и журналов, мелькающих на экранах наших телевизоров. Так как же было нам не интересоваться африканской литературой, в которой тема политической коррупции, зиждущейся на извращении идеалов справедливости, давно заняла видное место? Многие писатели Африки бичуют произвол бюрократии, готовой в корне задушить любое полезное начинание, бдительно охраняющей свои привилегии, тормозящей общественный прогресс. Из недавних публикаций на русском языке назову роман ганского прозаика Аму Джолето «Шальные деньги». Думается, местом действия описываемых там мрачных событий могло бы стать иное отечественное ведомство, руководимое «способным» выдвиженцем-номенклатурщиком.

Как уже говорилось, положение на книжном рынке меняется. Учитывают ли изменения наши издатели? Ответить на этот вопрос категорическим «нет» я бы не решился. В новых экономических условиях хозяйствования читательский спрос им становится небезразличен. Пожалуй, наиболее оперативно на складывающуюся конъюнктуру реагирует «Радуга», затеявшая издание детективов. В 1987 году вышел сборник «Современный кенийский детектив». При хронически неутоленном голоде на остросюжетную литературу даже такие посредственные боевики, как «Люди из Преторию» Хилари Нгвено, «Смертельное сафари» Дэвида Дучи и «Синдикат дурмана» Фрэнка Саизи, составившие книгу, идут нарасхват. Чуть раньше в паре с превосходным романом Коле Омотосо «Воспоминания о недавнем буме», изображающем краткий период нефтяного процветания Нигерии в середине 70-х, издана слабая повесть того же автора «Фелла делает выбор» о приключениях нигерийского контрразведчика. Сейчас готовится к печати сборник нигерийских детективов. Среди наиболее удачных произведений этого жанра можно назвать повесть кенийца Меджи Мванги «Часовые саванны», где перед читателем разворачивается битва преданных своему делу егерей национального кенийского заповедника с бандой нанятых мафией браконьеров.

Но в общей массе выходящей на русском языке африканской литературы детективы составляют ничтожный процент. Совершенно отсутствует фантастика. Практически нет публицистики. А между тем ряд африканских писателей и политических деятелей выступили с интересными публицистическими работами, в которых глубоко раскрываются проблемы современного мира с точки зрения африканцев. Едва ли не первой ласточкой тут стал недавно опубликованный в «Иностранной литературе» перевод глав из книги Джона Я-Отто «Поле битвы — Намибия» [1]. Хотелось бы надеяться, что за первой ласточкой последуют и другие. Разнообразие порождает интерес.

Литература на местных африканских языках, к сожалению, почти выпадает из поля зрения издателей. Когда-то с суахили была переведена автобиографическая повесть Шабана Роберта «Моя жизнь». Относительно недавно вышли сборник «Из современной поэзии Эфиопии», романы эфиопского писателя Бэалю Гырма «Зов красной звезды» и «Писатель», а также сборник эфиопской прозы «Загляни за горизонт». По сути дела, это все. Конечно, мало специалистов-переводчиков, невелик выбор полноценных произведений. И все-таки имеет смысл вни-

[1] «ИЛ», 1987, № 12.

мательнее присмотреться к этой области литературы Африки.

А пока... В нынешней издательской практике четко прослеживаются две тенденции. Первая — связана с переизданием наиболее значительных, хорошо известных публике произведений. Это как бы путешествие по наезженной колее. Не мудрствуя лукаво издательство «Художественная литература» в 1987 году выпустило старые романы южноафриканцев Джека Коупа «Прекрасный дом» и «Золотая иволга», писателя из Сьерра-Леоне Уильяма Контона «Африканец», повести ганской писательницы Пегги Аппиа «Запах лука», «Хоронить еще рано». Ничего плохого в такой практике нет. Пока соблюдается чувство меры. Иначе даже славные имена могут примелькаться. Как это произошло с прекрасным писателем Алексом Ла Гумой.

Каждая его книга, будь то «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная...», «Каменная страна», «В конце сезона туманов» или «Время сорокопута», становилась событием в литературе ЮАР. Почти все им написанное переведено на русский язык и публиковалось множество раз. В 1975 году «Прогресс» издал толстый том его избранного. Спустя девять лет «Радуга» повторила это издание. Наконец, в 1985 году издательство «Правда», работающее по-крупному, выпустило еще один толстый том избранного Ла Гумы (но в мягкой обложке) трехсоттысячным тиражом. Книгу составили все те же повести «И нитка, втрое скрученная...», «Каменная страна», «В конце сезона туманов», рассказы и пьеса «Человек на дереве». На сей раз случился перебор. Даже спустя три года наблюдаются трудности со сбытом этой книги.

Не хочется быть мрачным предсказателем, но не постигнет ли та же участь готовящийся в «Художественной литературе» том произведений другого замечательного писателя — Нгуги Ва Тхионго? Ведь совсем недавно массовыми тиражами в разных изданиях публиковались его романы «Распятый дьявол» и «Пшеничное зерно».

Другую тенденцию в практике издательств можно обозначить присказкой: «по амбарам пометем, по сусекам поскребем». Сама по себе такая бережливость тоже не плоха. Она позволяет донести до читателя те произведения, которые в свое время по каким-либо причинам были упущены из виду, но внимания читателя заслуживают. Нельзя не приветствовать публикации таких книг, как «Тараканы» Чикайя У Тамси, «Новый романс» Анри Лопеса (оба из Конго), «Черный мальчик» Камара Лэя (Гвинея). Они расширяют представление об африканской литературе. Жаль, однако, что резерв тут небольшой. Видимо, следует внимательно приглядеться к раннему творчеству южноафриканца Андре Бринка, ганца Айи Квеи Армы, нигерийских писателей Сипрана Эквенси, Эдди Иро, Бучи Эмечеты.

Сколь ни похвально стремление переиздавать книги лучших писателей и публиковать некогда незамеченные произведения, в нынешних условиях этого недостаточно, чтобы поддерживать читательский интерес к африканской литературе, впрочем, как и к литературам других регионов мира. Нужно искать книги, рожденные именно нашим временем, в которых отражаются проблемы не вчерашнего, а сегодняшнего дня. Если преодолеть некоторые трудности (они подчас элементарны, но связаны с такой «мелочью», как несвоевременное поступление к нам международных библиографических изданий, отсутствием налаженного книгообмена с зарубежными издательствами и т. д.), то публикуемые у нас книги африканских авторов найдут своего заинтересованного читателя. Благо, сейчас, кажется, наступает долгожданная пора, когда читательская потребность сможет действенно влиять на книжный рынок.

М. ВОЛЬПЕ

Издано за рубежом

«АМЕРИКАНСКИЙ РЕЙС» АНТТИ ТУУРИ

Antti Tuuri. Amerikan raitti. Helsinki, Otava, 1986.

Антти Туури. Американский рейс. 1986.

Подробно представлять Антти Туури, пожалуй, не требуется: в томе «Библиотеки финской литературы» (1981), где опубликован «Эксперт» — один из лучших его рассказов, даны краткие биографические сведения об авторе. В 1985-м «Радуга» выпустила его роман «Река течет через город».

В том же году писателю была вручена в Рейкьявике одна из самых почетных литературных премий — Совета Северных стран, присужденная за роман «Похьянмаа» [1]. Переводы произведений А. Туури на другие европейские языки, как и названная премия,— свидетельство международного признания творчества одного из ведущих сейчас финских прозаиков.

Обойтись в данном случае без упоминания о романе «Похьянмаа» невозможно хотя бы потому, что в рекламной аннотации на суперобложке нового романа А. Туури «Американский рейс» говорится, что «эта книга продолжает серию романов, в которой автор замыслил дать многогранное изображение современной Похьянмаа» — существовавшей некогда в центральной части Финляндии большой провинции, разделенной теперь между несколькими губерниями. А. Туури, хорошо знающий эти места с детства, считает (и не без основания) историческую Похьянмаа наиболее финской частью Финляндии.

Темой романа «Американский рейс» послужило довольно широко распространен-

[1] «Похьянмаа» удостоена нескольких премий в самой Финляндии. *(Прим. автора.)*

ное среди скандинавов и финнов явление — эмиграция по экономическим мотивам. В Похьянмаа, пожалуй, не найдется рода, из которого кто-нибудь не попытался в нынешнем столетии искать счастья на чужбине. И в первую очередь в Соединенных Штатах. Но если 50—60 лет назад эмигрировали из бедной Финляндии, страны аграрно-лесоводческой, то теперь, когда Финляндию называют страной благоденствия, причины бегства совсем иные. И сравнение этих двух по существу разных эмиграций, художественно-литературное их исследование придает роману дополнительную остроту и глубину.

Повествование в романе ведется от лица Эркки Хакала, владельца небольшой фабрички по изготовлению половиков. (Похьянмаа славится своими половиками.) Упорным трудом Эркки сделал свое предприятие доходным и расширил его, но при этом запутался в налогах и задолжал немалую сумму налоговому управлению. Эркки считает, что единственный выход — удрать из Финляндии и отсидеться где-то до тех пор, пока не истечет срок давности на допущенные им нарушения закона о налогообложении. Прихватив с собой весьма крупную сумму денег — все свои сбережения (тем самым еще нарушив и закон, запрещающий вывоз более 10 тысяч марок без специального разрешения), Эркки и его беременная жена Кайсу направляются во Флориду, в Лейк-Уэрт, где образовалась небольшая колония похьянмаасцев. Вместе с Эркки и Кайсу в бега ударяется их приятель, мелкий предприниматель Тайсто, который тоже хочет скрыться от налогового инспектора и полиции.

После небольших приключений в Финляндии и Швеции вся троица прилетает в США и добирается до Лейк-Уэрта. Соотечественники встречают новичков с распростертыми объятиями. Эти ранее обосновавшиеся во Флориде беглецы от налогов уже имеют свой доходный бизнес и наладили необходимые связи.

Большую часть контрабандно вывезенных из Финляндии денег Эркки и Тайсто расходуют на приобретение жилья, мебели, машин и необходимого скарба, поэтому без заработков им долго не продержаться. Не имея разрешения на работу в США, они вынуждены наняться (в нарушение закона) к знакомому предпринимателю землекопами на строительство шоссе, но даже этого тяжелого и малооплачиваемого труда они вскоре лишаются: чиновники и профсоюзы следят, чтобы на работу не принимали людей без соответствующего разрешения.

С этого момента расходятся пути героев. Тайсто намерен и здесь, в США, пуститься в аферу вместе с другими финнами-ловкачами, удравшими во Флориду немного раньше. А Эркки подряжается вместе с Отто, американским финном второго поколения, доставить автопоезд-холодильник с омарами из Майами-Бич в Канаду. Позвонив с дороги в Лейк-Уэрт, Эркки узнает, что Кайсу улетела обратно в Финляндию: она должна скоро родить, а в Финляндии уход за роженицами лучший в мире и смертность новорожденных почти нулевая. Хотя Эркки обеспокоен, добьется ли Кайсу благополучно домой, он продолжает с Отто рейс и дает возможность читателю увидеть США и Канаду глазами финна, да еще похьянмаасца, впервые оказавшегося в этих краях. Отто рассказывает много интересного о жизни в Америке финнов, переселившихся сюда много десятилетий назад. Путешествие до канадской границы обходится без больших приключений, но приводит Эркки к убеждению, что, сбежав из Финляндии, он попал, как говорится, из огня да в полымя. Незадолго до конца пути выясняется, что в фургоне есть груз и подороже омаров — наркотики, которые Отто должен передать получателям в Канаде. Тогда, не доехав до пункта назначения и отказавшись от заработанных денег и бесплатного возвращения в Лейк-Уэрт, Эркки оставляет Отто с его опасным промыслом и начинает в одиночку свой путь по Канаде. Он направляется в Садбери, где жил в 20-х годах его дедушка, уехавший из Похьянмаа в Америку на заработки.

Эркки находит могилу деда, находит родственников, о существовании которых финские Хакала не подозревают. С канадскими Хакала у Эркки завязываются самые теплые и по-настоящему родственные отношения. Здесь же, в Канаде, Эркки узнает, что Кайсу в Финляндии благополучно родила дочку. Вернувшись в Лейк-Уэрт, Эркки помечает черным крестом все дни тех грядущих лет, которые ему предстоит провести в Америке, прежде чем он сможет вернуться в Похьянмаа.

Финская критика отмечала достоверность ситуаций, в которые попадают действующие лица, плавное и естественное развитие действия. Подкупают похьянмаасский юмор и самоирония Эркки, упругость фразы «авторского» текста, не засоренного жаргоном и бранными словами, что можно сказать далеко не о каждом современном финском романе. Экономно, но точно пользуясь словом, Антти Туури создает полнокровные образы и характеры героев.

М. ГЕНН
г. Таллин

ИСТОРИЯ СТРАННАЯ И ТАИНСТВЕННАЯ...

Tahar Ben Jelloun. La nuit sacrée. Paris. Aux editions du Seuil, 1987.

Тахар Бен Джеллун. Священная ночь. 1987.

Одну из самых престижных литературных наград Франции — Гонкуровскую премию — получил в 1987 году поэт, драматург, романист Тахар Бен Джеллун за роман «Священная ночь». Сорокатрехлетний марокканец, уроженец города Феса, он живет во Франции и пишет по-французски.

Имя этого литератора широко известно во Франции. После того как в 1973 году Тахар Бен Джеллун опубликовал в издательстве «Деноэль» сразу два своих романа

(«Харруда» и «Солнечное заточение»), в Париже стали одна за другой выходить его книги; некоторые из них по два-три раза переиздавались. У нас печатались по-русски стихи Бен Джеллуна из его сборников конца 70-х годов.

В своих стихах Тахар Бен Джеллун соединяет национальные поэтические традиции Магриба, корнями уходящие в средневековую арабскую философскую и любовную лирику, и опыт французской поэзии XX века. Ритмы, интонации, образную структуру таких разных поэтов, как Элюар, Шар, Превер, Гильвик, он наполняет своей тоской, своей любовью, своей ностальгией, своим мятежом. Густая, по-восточному витиеватая орнаментальность прекрасно уживается у него с броской, зорко подмеченной пейзажной или бытовой деталью и включается в сложную систему метафор и иносказаний, которая порой с трудом поддается расшифровке и то лишь с помощью такого ключа, как тексты Корана, или сказки и легенды арабской старины, или творчество аль-Маари и других классиков арабской лирики средних веков.

Некоторые из этих примет художественного мышления и стиля, отличающих индивидуальное своеобразие Бен Джеллуна как поэта, можно увидеть и в его последнем «гонкуровском» романе. Это, конечно, проза п о э т а, но именно п р о з а поэта, и стихия повествовательного жанра властно вовлекает в свое струение — и по-своему преобразует — поэтические приемы и интонации Бен Джеллуна.

Роман «Священная ночь» — произведение многоплановое, сложное, местами сумбурно построенное, но эта сумбурность скорее всего намеренна и нарочита. Перед нами роман, написанный великолепным французским языком, я бы сказал — классическим французским языком. Писатель отлично владеет романной пластикой, в его прозе сплетены и опыт европейского авантюрного романа прошлых веков (в частности, в «готическом», «черном» варианте), и традиции философской повести Просвещения, прежде всего Вольтера, и достижения французского театра абсурда нашего столетия, и философской эссеистики Сент-Экзюпери в его «Цитадели». И одновременно это яркая и цветистая восточная проза, с фольклорными реминисценциями, с отголосками «Тысячи и одной ночи». Здесь можно услышать и подхваченные у более старшего современника, алжирца Катеба Ясина, интонации его «Неджмы». Многие эпизоды решаются у Тахара Бен Джеллуна в стилистике фильмов Бергмана и Феллини, а то и Хичкока; ряд сцен исполнен сюрреалистической жути, словно транспонированные на прозу бредовые видения Сальвадора Дали; назойливый, болезненный эротизм перемежается то взлетами высокой романтики и патетики, то задушевностью лирических отступлений. Но книга не производит впечатления хаотического смешения приемов и стилей — и ощущение цельности и самобытности достигнуто прежде всего благодаря чистой и сильной любви писателя к родной земле и своему народу, которая так явственно звучит в его мастерски написанной прозе.

Эта странная, таинственная и горькая история начинается на одной из узких улочек некоего арабского города (ни город, ни страна, ни время действия автором не обозначены; скорее всего, это по многим приметам одна из стран Магриба в 40—60-е годы нашего века). За глухими стенами богатого дома гнездится царство террора. Глава семьи, ушедший от дел торговец, одержим стремлением иметь сына, которому он смог бы передать свой жизненный опыт и свое состояние. Но судьба не дает ему сына. Жена рожает только дочерей. И с каждым годом старик все яростнее мечтает о сыне — и все неистовее ненавидит жену и дочерей. Когда в шестой раз жена рожает девочку, маньяк уверяет себя, а заодно окружающих, что теперь у него родился сын. Начинается бредовая жизнь, долгие годы в семье растет существо, которое для всех — единственный сын хозяина, любимый отцом до безумия. Эта двусмысленная ситуация, в которой чувствуется привкус извращения, разрабатывается в романе основательно и детально. Потом, когда дочери (лжесыну) исполнится двадцать лет, отец умрет у нее на руках и попросит прощения за весь этот маскарад. Дочь почувствует, как с ее плеч спадает чудовищный гнет насилия и лжи, ей будет казаться, что отныне начнется новая жизнь. Но это ощущение свободы — обман. Иго нелепости, груз прошлого, предрассудков, несправедливости и насилия не так легко сбросить. Для героини лишь начинается вереница бед и несчастий.

При этом в романе, где действие прихотливо перебивается воспоминаниями, прозрениями, предчувствиями и галлюцинациями, сильно звучит мотив неприятия окружающего героиню общественного неустройства, несправедливости, социального зла. Впрямую — устами и мыслями героини — автор говорит о религиозном фанатизме, о собственничестве, об обывательском лицемерии, которых он не приемлет. Но, передвинутые в область метафизических построений, абсурдистских композиций, эротических кошмаров, извращений и бреда, картины жизни людей и реальных жизненных коллизий подернуты словно туманом, работают не в полную силу. Однако публицистическая, гражданственная, просто человеческая страстность писателя все же прорывается сквозь этот туман и звучит однозначно — ненавистью к тому, что мешает людям жить мирно и счастливо. И сочувствием к людям в их трудной судьбе.

...Было бы очень заманчиво в русском переводе издать эту необычную, эту столь непривычную для наших читателей книгу, к тому же увенчанную Гонкуровской премией. Но где тот переводчик, который сумел бы благополучно преодолеть барьер — преодолеть его прежде всего психологически,— который традиционно не позволяет нам, говорящим и пишущим по-русски, произносить и класть на бумагу иные слова и речения?

МОРИС ВАКСМАХЕР

Из месяца в месяц

Бельгия

ПО РОМАНУ МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Видный бельгийский кинорежиссер Андре Дельво завершил работу над фильмом «Философский камень» по одноименному роману Маргерит Юрсенар (1903—1987).

Съемки проходили в Брюгге, в старинной городской больнице св. Иоанна. «Под сводами здания XIX века разыгрывается драма XVI столетия, сочиненная в XX.— пишет критик Пьер Ажам на страницах журнала «Нувель обсерватёр».— Декораторы, осветители — в джинсах, монахи — в грубых рясах, Волонте — в белом стихаре». Главную роль ученого Зенона — «собирательный образ гуманиста эпохи Возрождения» — воссоздает на экране популярный итальянский актер Джан Мария Волонте. В трактовке Дельво, считает П. Ажам, история врача и алхимика Зенона, обвиняемого в колдовстве и потому вынужденного кочевать по дорогам Европы, удивительно напоминает «жизненный путь нашего современника, преследуемого властями нонконформиста в области политики, в вопросах религии и в эротике». Режиссер начал снимать картину еще при жизни М. Юрсенар (несколько месяцев назад она скончалась в американском городе Маунт-Дезерт, где провела последние годы), и его сценарий был полностью одобрен писательницей. Пришлось ей по душе и намерение Дельво вести съемки не в студийных павильонах, а в «естественных декорациях» — на улицах любимого ею Брюгге. Правда, у постановщика вряд ли был другой выход. «Наш фильм сделан на весьма скудные средства и обошелся продюсерам где-то в 10—12 раз дешевле, чем, к примеру, «Имя розы» — сказал он в интервью, данном П. Ажаму.— Конечно, для Бельгии и это неплохо, но

Маргерит Юрсенар.
(Журнал «Нувель обсерватёр»)

все же мы бедняки. Взгляните на эти старые стены, крыши, на эту келью, на наших статистов... Мне все время приходилось от чего-нибудь отказываться, выбрасывать «лишнее», с особой тщательностью отбирать материал».

Андре Дельво работал много, упорно в поисках «голоса вещей», чистоты и строгости линий, «правдивости киноэкранизации» романа, отмечает П. Ажам, и можно надеяться, что труды режиссера увенчаются успехом на будущем Канском фестивале, в программу которого войдет «Философский камень».

Великобритания

«ДОМ С ИЗНАНКИ»

«Установлено, что человеческий организм служит средой обитания для 90 миллионов микроорганизмов. В доме, где разворачивается действие новой детской книги Пенелопы Лайвли, живет лишь пять человек, девятнадцать животных и несколько тысяч насекомых, но, как и в первом случае, большинство из них — обитатели случайные и практически невидимые»,— таким необычным сравнением начинает свою рецензию обозреватель еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Э. Блишен.

Кадр из фильма «Философский камень».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

В новом телевизионном фильме «Белоснежка и семь гномов» по сказке братьев Гримм красивую, но гордую и надменную королеву, которая «терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотою» и часто спрашивала свое волшебное зеркальце: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» — играет известная английская актриса Диана Риг, сообщает журнал «Кино».

Диана Риг родилась в Донкастере в 1938 году. Сразу после окончания Королевской академии драматического искусства поступила в труппу Королевского шекспировского театра, в котором работали тогда выдающиеся актеры — Лоуренс Оливье, Чарльз Лоутон, Поль Робсон, Эдит Эванс. Молодая актриса играла Елену в спектакле «Сон в летнюю ночь», Корделию в «Короле Лире». Потом пришел черед воплотить на сцене образы героинь Г. Ибсена и А. П. Чехова. Журнал «Тайм» в те годы писал о Диане Риг: «Самая лучшая английская актриса». Немало ролей сыграла Д. Риг и в кино.

На снимке: Диана Риг — королева-мачеха в фильме «Белоснежка и семь гномов».

(Журнал «Кино»)

«Дом с изнанки» можно отнести к тем книгам, в которых поражает великолепие замысла, но не всегда — великолепие его воплощения. Главные действующие лица книги — из числа тех, кого принято считать второстепенными героями, отмечает рецензент. Это, например, мышонок Сэм, который проделывает головокружительные трюки на коленях заснувшего у телевизора хозяина дома. Сначала Сэм проделывает эти трюки, чтобы добраться до бутерброда с сыром, а затем — из удальства, на забаву «публике» на ковре — своим маленьким мышатам. Но если изобразить озорных мышей дело не столь уж сложное — и П. Лайвли неплохо справилась с ним,— то придать индивидуальные черты, к примеру, мокрице — гораздо труднее. Писательнице оказалась под силу и эта задача, а исходила она из того, что «живут мокрицы так же нескладно, как нескладны они сами». Мокрица Нэт из книги Лайвли — скромный герой, обладающий индивидуальностью, а также независимостью. Чертами человеческого характера наделены и остальные персонажи: бесшабашный пес Вилли, раздражительный паук, почтовый голубь, рассуждающий, как заправский летчик: «Переходишь на автопилот, а дальше жмешь на всю катушку».

Книжка «Дом с изнанки» — это «фарс, развлекательный сюжет, озорное веселье, но веселье, где каждая шутка уместна», где юные читатели постоянно ощущают хрупность и беззащитность мира маленьких существ перед миром гигантов. Иллюстрации художника Д. Паркинса, на которых укромные уголки «дома с изнанки» представлены в необычном ракурсе, с «точки зрения» ребенка, служат прекрасным дополнением к «словесным картинам» предметов обихода и портретам персонажей П. Лайвли, полагает «Таймс литерари сапплмент».

«ПУШКИН» НА СЦЕНЕ «БЛУМСБЕРИ»

Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» поместил рецензию на спектакль театра «Блумсбери» «Пушкин». (Автор пьесы — Ричард Крейн). На прошлогоднем фестивале в Эдинбурге он получил первую премию «Фриндж».

История жизни поэта намеренно упрощена, пишет рецензент Элейн Файнстайн. На протяжении всего спектакля доминирует тема его «политической оппозиции царю», а царь «боится поэта, ибо отождествляет его убеждения со взглядами декабристов». Конфликт между царем и поэтом — центральный в пьесе. Такой подход кажется рецензенту вполне оправданным.

Своеобразным «визуальным лейтмотивом» спектакля стала картина, изображающая тело Пушкина в санях на снегу. Ее видит зритель, входя в зал, она с самого начала как бы предсказывает роковую дуэль.

В ткань спектакля вплетены отрывки из стихов и прозы поэта. «В некоторых случаях тексты Пушкина используются довольно смело»,— отмечает Э. Файнстайн. Так, например, царь произносит отрывки из монолога Сальери, в уста убийцы поэта, Дантеса, вложены слова Евгения Онегина. Меньше возражений у рецензента вызывает письмо Татьяны, звучащее в сцене сватовства Пушкина к Наталье Гончаровой. Удачнее всего вписались в спектакль строфы из «Медного всадника», где говорится о любви Пушкина к Петербургу, считает рецензент. «Великолепно завершает спектакль стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» в переводе Р. Крейна»,— пишет в заключение Э. Файнстайн.

В рецензии отмечается также высокий уровень актерского мастерства, особенно исполнение Ричардом Крейном роли Пушкина.

Венгрия

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЬЕСА ЛИСТА

Одним из экспертов лондонского аукциона Сотби обнаружено музыкальное произведение венгерского классика Ференца Листа, долгие годы считавшееся утерянным, пишет французский журнал «Нувель обсерватёр». Это пятнадцатиминутная пьеса, представляющая собой «соло на тему популярной в те годы песни». По предположению специалистов, композитор создал пьесу около 1830 года (в письмах автора она упоминается всего один раз).

О творческой деятельности Листа в этот период известно немного, сетует критик Жак Дрийон на страницах «Нувель обсерватёр». Пос-

ле смерти отца молодой музыкант погрузился в меланхолию, страдания его лишь усиливало «дурно скрываемое пренебрежение к артисту, низводящее его до положения лакея» в блестящем парижском обществе. Снедаемый «горьким отвращением к искусству», Лист обратился было к религии, начал читать современных ему клерикальных философов, но не нашел в их трудах утешения. По слову матери, «пушки излечили его» — грянула июльская революция 1830 года...

В нотной рукописи Листа 36 страниц. По свидетельству английской газеты «Индепендент», она принадлежала любителю и на экспертизу попала случайно. Музыковеды считают, подчеркивает Жак Дрийон, что «прекрасное сочинение, проникнутое страстью, изобилующее виртуозными пассажами», отмечено печатью гения и предвещает зрелого Листа. Почитателям композитора, которые, разумеется, захотят как можно скорее познакомиться с бесценной находкой, французский критик напоминает: на сегодняшний день, кроме московского издания, не существует полного собрания его фортепьянных сочинений. Будапештскому издательству «Музыка», сокрушенно замечает Ж. Дрийон, вряд ли удастся в ближайшее время опубликовать это «большое соло», ведь осталось выпустить еще 15 томов венгерского собрания, а подготовка каждого тома к выходу в свет занимает почти два года.

ГДР

КНИГА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ...

Несколько лет назад Альфред Вельм выступил с чтением отрывков из нового романа «Мориско». Но только в конце прошлого года читатели смогли познакомиться с романом, выпущенным издательством «Ауфбау». В общей сложности писатель работал над ним около десяти лет (о Вельме см. «ИЛ», 1975, № 9; 1979, № 4; 1981, № 7).

Герой романа архитектор Андреас Ленк переживает глубокий кризис. Неудовлетворенность работой, распавшийся брак приводят к тому, что он круто меняет свою жизнь, уезжает на север, там занимается реставрацией старого замка — и наконец обретает уверенность в себе. Новое, глубокое чувство к работающей вместе с ним Юлиане захватывает его, хотя и приносит ему новые заботы...

Название роману дала кличка красавца коня Мориско. Мысли об этом свободолюбивом животном не оставляют Ленка, Мориско становится для него символом борьбы за собственную независимость

«Я не могу рассказать о романе в нескольких словах,— сказал Вельм в интервью газете «Нойес Дойчланд».— Над судьбой Андреаса Ленка я размышлял многие годы; Ленк — человек неуемный, ищущий, его отчаяние приводит к победе над собой, над косностью и застоем, его окружающими. Я старался также показать нравственные перемены, которые происходят в обществе».

Критики ГДР широко отозвались в печати на роман Вельма. «Я считаю, что эта книга — лучшее из созданного писателем»,— отмечает Руло Мельхерт в еженедельнике «Зонntаг».

«Мориско» — глубокая, многоплановая книга,— пишет Аннелиза Лёфлер в газете «Нойес Дойчланд».— Автор — прекрасный рассказчик, искусно сочетающий лаконизм с иронией и гротеском».

Рецензент журнала «Нойе дойче литература» Хельмут Бальдауф заключает подробный разбор романа такими словами: «Новый роман Вельма — непростая книга, она потребует от читателей серьезной работы, это безусловно заметное явление в современной литературе ГДР».

Китай

«ПУТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Под этим названием журнал «Чайниз литерачер» опубликовал статью Чжан Чжуна.

Китайская литература, пишет Чжан Чжун, переживает подлинный расцвет после тяжких лет «культурной революции». Писательский труд снова стал творческим, прежние политические установки канули в прошлое, литература из «образования» превратилась в искусство.

После революции 1949 года повсеместно распространился единственно разрешенный стиль, именовавшийся «социалистическим реализмом», который все щедрее сдабривался революционной романтикой. Тогда же появился «новый герой в новом сюжете», отмечает Чжан Чжун, и основным конфликтом оказался конфликт между общественными и личными интересами. Изображение личности все чаще подменялось «топорной» классовой характеристикой. Стирались различия между литературными школами, произведения разнились только авторским стилем или географией событий. В прозе доминировало описание то одного, то другого победоносного «политического движения», чаще всего — в ущерб художественности.

Падение «банды четырех» словно открыло путь лавине, пишет критик Почувствовав настоящую ответственность перед своим народом, писатели вернулись «к сложному восприятию жизни». Первой реакцией была так называемая «литература шрамов», сугубо ретроспективная. Несмотря на многообразие фабул, главенствующее место в ней заняли «больные» темы социальной жизни 1929—1966 годов.

«Литература шрамов» помогла выйти на арену, а затем уступила место «литературе размышлений». Непосредственное описание трагедии сменили размышления над ее причинами, подчеркивает Чжан Чжун. Эта литература тяготеет к более широкому историческому фону, множество произведений посвящено нелегкой судьбе китайского крестьянства.

В целом, отмечает критик, можно сказать, что «литература шрамов» и «литература размышлений» уже прошли высшие точки своего развития. Дальнейшее движение видится на пути их сближения, некоего синтеза. Китайское искусство бурно развивается, двигаясь от плоского объективизма к трехмерности, к подлинному писательскому мастерству, к высокой художественности. Новая литература, пишет Чжан Чжун, находится еще в своем детском возрасте, но то движение, которое представляют идущие впереди писатели, дает надежду на возрождение китайской литературы.

Колумбия

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ГАРСИА МАРКЕСА

О новой литературной работе Габриэля Гарсиа Маркеса сообщает кубинская «Гранма». Немногим более года назад, пишет газета, в одном из интервью писатель сказал: «Я хотел бы испытать себя в театре, он всегда привлекал мое внимание. В театре есть что-то очень притягательное. И что-то очень опасное. Он завораживает. В один прекрасный день я все-таки напишу пьесу. Меня буквально очаровывает мысль о том, что можно «пережить» свое произведение вместе со зрителями. Мне кажется, для писателя это ни с чем не сравнимое ощущение».

И вот первая пьеса Г. Гарсиа Маркеса написана. Она называется «Речь о любви, брошенная в лицо сидящему мужчине». «Гранма» рассказывает историю ее создания.

В конце 1986 года колумбийский писатель увидел спектакль «Волшебница». Главную и единственную роль в нем играла аргентинская актриса Грасиэла Дюффо. Решение написать пьесу специально для нее было принято в тот же вечер. Некоторое время спустя Гарсиа Маркес позвонил в Буэнос-Айрес и сообщил актрисе, что работа над текстом завершена. По странной случайности его звонок раздался в квартире Дюффо как раз в тот день,

Грасиэла Дюффо.

(Газета «Гранма»)

когда она объявила близким, что окончательно оставляет сцену. Однако предложение было настолько интересным, что Грасиэла Дюффо, не раздумывая, срочно вылетела в Гавану.

На Кубе сразу же началась напряженная работа. По словам актрисы, у нее с автором очень быстро установилось полное взаимопонимание: «Обычно я с трудом нахожу общий язык с драматургами. Габриэль — совсем иное дело. С ним легко, потому что он, хоть и большой мастер, умеет слушать других, анализировать ситуацию. К тому же он очень дисциплинирован, крайне пунктуален. Работать с таким человеком — наслаждение».

«Речь о любви...» — пьеса-монолог. Ее героиня — наша современница, жительница старинного колумбийского города Картахены. В день своей серебряной свадьбы она, обращаясь к мужу, вспоминает прожитые с ним годы. Внешне их супружество всегда выглядело счастливым, благополучным. И только сейчас женщина поняла, что так и не узнала настоящей любви. Грасиэле Дюффо, пишет газета, предстоит создать образ женщины с сильным и сложным характером. Героиня Дюффо несомненно обладает чувством собственного достоинства, она горда, легко ранима. Но ее жизненная позиция определяется прежде всего преданностью семье, верностью долгу.

Премьера спектакля, сообщает «Гранма», состоится летом в Буэнос-Айресе.

Куба

«КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС» — 88

Нынешней зимой в 29-й раз проводился в Гаване ежегодный литературный конкурс «Каса де лас Америкас». Об его итогах рассказала кубинская газета «Гранма».

Член жюри этого года костариканский писатель Хоакин Гутьеррес так определил особенности современной литературной ситуации на континенте: «Слово — одна из основных сил, способных спасти нас сегодня от ядерного апокалипсиса. Свидетельством тому может служить недавняя встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Именно слово должно открыть глаза нашим народам, организовать их, показать, кто является их главным врагом. И тогда мы могли бы действовать сообща...»

Премии «Каса де лас Америкас» за 1988 год присуждались по пяти разделам. В жанре рассказа лучшей была признана книга уругвайского писателя Ибера Контериса «Анонимная цифра». Автор, пишет газета, попытался дать художественное осмысление причин кризиса, охватившего революционное движение в Южной Америке в последние два десятилетия. На примере судеб своих героев И. Контерис показывает, какие последствия этот кризис имел для стран региона.

В конкурсе произведений для детей и юношества победителями стали кубинец Эмилио де Армас (поэтический сборник «Рядом с тополем») и аргентинец Рикардо Мариньо («Смешные рассказы»). Среди писателей стран Карибского бассейна, пишущих на английском и креольском языках, премией была отмечена книга Марлен Нурбес Филип из Тринидада и Тобаго «Она пробует говорить...». В решении жюри записано, что в ее работе дан глубокий анализ истоков исторического и культурного своеобразия этой части Латинской Америки.

Премию «Каса» получила также исследовательница из ГДР Кристин Бакхаузен за книгу «Правда и легенда о Тине Модотти». Ее героиня — известная итальянская революционерка - интернационалистка, чья биография неотделима от многих важнейших исторических событий нашего века. Жюри отметило, что К. Бакхаузен создала «правдивый и художественно убедительный портрет замечательной женщины, к сожалению незаслуженно забытой в наше время». Отличает книгу и то, что автор делает читателя участником своих поисков и исследований, ведет его за собой по дорогам, пройденным Тиной Модотти, дает возможность «побывать» в Италии, Германии, США, Мексике, СССР, Испании.

«Гранма» сообщает, что «вакантным» в этом году осталось место победителя в конкурсе стихотворных сборников. Несмотря на то, что на рассмотрение жюри было представлено 344 поэтических рукописи, ни одна из них не была признана достойной высокой премии.

ИНТЕРВЬЮ ТОМАСА ГУТЬЕРРЕСА АЛЕА

Газета «Паис» опубликовала интервью с известным кубинским режиссером Томасом Гутьерресом Алеа, пять фильмов которого недавно демонстрировались по испанскому телевидению.

Гутьеррес Алеа рассказал о том, как пришел в кинематограф. В юности Томас увлекался живописью, музыкой, литературой, цирковыми трюками, фокусами. Он долго не мог выбрать профессию, пока не понял, что всем своим увлечениям сразу найдет применение в кино. Но до революции 1959 года на Кубе негде было получить настоящую профессиональную подготовку в этой области. И Гутьеррес Алеа на два года едет учиться в Рим, в Экспериментальный киноцентр. Вернувшись на родину, молодой кинематографист приступил к работе на телевидении. «Я готовил репортажи, телезарисовки, документальные фильмы, занимался прежде всего кинопублицистикой, то есть тем, что обеспечивает самый тесный контакт с живой действительностью моей страны. Это было хорошей школой»,— говорит Гутьеррес Алеа.

За долгие годы работы в кино режиссер снял 9 фильмов — по его словам, много меньше того, что он хотел бы сделать. Он является автором документальных лент «Эта земля наша» и «Генеральная ассамблея», художественных — «Рассказы о революции», «Кумбите», «Смерть бюрократа», «Кубинское сражение против демонов». Газета отмечает, что в 1985 году фильм «Воспоминания об отсталости» вошел в число 150 лучших лент мирового кино. Критик Пилар Тордера на страницах газеты «Паис» назвала Томаса Гутьерреса Алеа одним из основоположников и ведущих мастеров направления, получившего название «новое латиноамериканское кино».

Мексика

САКАТЕКАС ПРИГЛАШАЕТ

«Настоящим фестивалем искусств» стала Неделя культуры, прошедшая в г. Сакатекас — столице одноименного мексиканского штата, сообщает журнал «Плюраль» (приложение по вопросам культуры к газете «Эксельсиор»). Неделя проводилась по инициативе властей штата и при поддержке Национального института изящных искусств, Института культуры, университета штата Сакатекас.

Программа мероприятий включала выступления театральных, танцевальных, музыкальных коллективов и солистов, представляющих различные жанры искусства.

Свое мастерство продемонстрировали Камерный балет Национальной танцевальной труппы, классический ансамбль гитаристов университета г. Веракрус, актеры театров мимики и жеста. Были показаны спектакли «Гимн» по пьесе Пилар Медины, «Корни новых песен» с участием Виолы Триго, «Декамерон» в постановке Германа Кастильо. Перед юными зрителями выступила группа исполнителей мексиканских детских песен и артисты театра «Фредерик». В концертах также участвовали гости фестиваля: Латиноамериканский струнный квартет, джазовый квартет из Детройта (США), группа «Ла Трупп», театр под руководством Роберто Д'Амико.

По мнению журнала «Плюраль», Сакатекас, отличающийся великолепной архитектурой, как нельзя лучше подходит для проведения подобного празднества: это город уникальных зданий и соборов, музеев и выставочных залов с интереснейшими коллекциями.

Организаторы Недели культуры, воодушевленные ее успешным дебютом, намечают сделать этот праздник традиционным и расширить рамки программы, включив в нее литературные диспуты, подготовив экспозиции скульптур.

Румыния

ТРЕХСОТЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Уже более четверти века радуют и специалистов, и широкую читательскую аудиторию страны публикации журнала по вопросам литературы и искусства «Секолул 20» («Двадцатый век»). Многие годы его работой руководит видный искусствовед Дан Хэуликэ — признанный авторитет в области современной культуры на родине и за ее пределами.

Недавно вышел в свет трехсотый номер журнала. По традиции, «Секолул 20» нередко посвящает бóльшую часть выпуска одной теме или творчеству одного автора: чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть библиографию наиболее интересных номеров, специально составленную членом редколлегии, сотрудничающим в журнале со дня его основания, литературоведом Джео Шербаном. Так, № 50 рассказывал о наследии Джеймса Джойса, № 77 был своеобразным «введением в структурализм», № 100 назывался «Достоевский: вечный современник», № 182 объединил исследования о Микеланджело.

Трехсотый, юбилейный номер, представляет читателю прозу и драматургию ирландца Сэмюэла Беккета. Здесь опубликованы в переводе на румынский язык отрывки из его пьес «Туда и обратно», «Не я», «В тот раз», «Огайо-экспромт», «Соло», «Слова и музыка», тексты бесед Беккета с постановщиком его произведений Аланом Шнайдером, «круглого стола» с участием крупнейших специалистов по проблемам современного западного театра Мартина Эсслина, Джона Колдера, Пьера Шабера и Джеймса Ноулсона. Панораму «беккетианы» удачно дополняют статьи и размышления о творчестве драматурга, принадлежащие режиссеру Питеру Бруку, актрисе Мадлен Рено, писателям Эмилу Чорану, Альфонсо Састре, Эжену Ионеско. В особые разделы вошли материалы о «самой блестящей и знаменитой» пьесе Беккета «В ожидании Годо», а также о нашумевшей пьесе «О, прекрасные дни». Как всегда, на страницах журнала воспроизведены только редкие иллюстрации — портреты Сэмюэла Беккета, пейзажи его родной Ирландии, фотография дома, где он родился и жил, многочисленные снимки мизансцен, придуманных режиссерами многих стран мира для его спектаклей.

«Неповторимая роль журнала, его участие в создании культурной атмосферы в стране» были отмечены Большой премией ЮНЕСКО — «за лучший в мире журнал по проблемам искусств». Вручение награды главному редактору «Секолул 20» Дану Хэуликэ, сообщила газета «Ромыния литерарэ», состоялось в Париже, в Международном центре искусств и культуры имени Жоржа Помпиду.

США

«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» ДЖОНА ХЬЮСТОНА

На экраны США вышел фильм «Мертвые» — последняя работа американского режиссера и актера Джона

Джон Хьюстон.

(Журнал «Тайм»)

Хьюстона (1906—1987), которую обозреватель еженедельника «Ньюсуик» назвал «лебединой песней». Действительно, этот фильм-завещание поражает красотой, теплым юмором и превосходной, волнующей музыкой. Снят он по одноименной новелле Джеймса Джойса, малоподходящей, по мнению рецензента. для экранизации. Однако Дж. Хьюстон прекрасно справился со столь нелегкой задачей.

Для съемок он пригласил замечательных ирландских актеров — Д. Доннелли, М. Кин, С. Макклори; роль Габриэля Конроя исполнил Донел Маккэнн, в роли его жены Греты снялась дочь режиссера Анжелика Хьюстон. Более часа длится сцена домашнего вечера, и все это время зрители буквально ловят каждое слово, каждый жест актеров. Звуки старинной ирландской баллады воскресили в памяти Греты образ некогда любившего ее юноши, который умер много лет назад. И Габриэль, узнав об этой неумирающей страсти своей жены, вдруг ощущает в себе новые чувства и представления о смерти, о любви, даже о самом себе... «Возможно, это одна из самых трогательных лент, когда-либо снятых Хьюстоном», — отмечает «Ньюсуик».

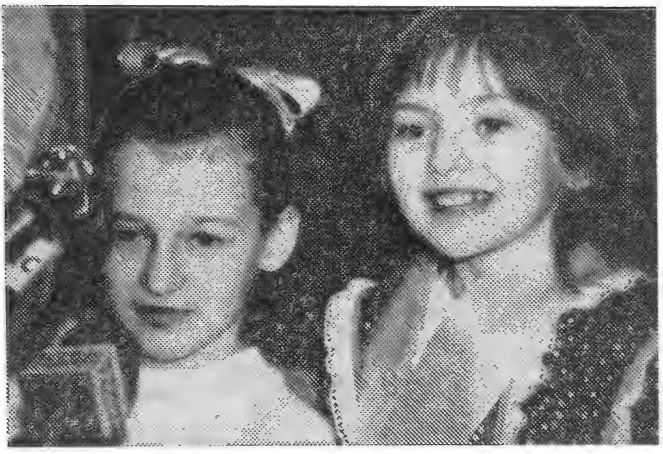
Кадр из фильма Дж. Хьюстона «Мертвые».

(Газета «Таймс»)

Журнал «Тайм» рассказывает о долгом творческом пути режиссера, начавшемся еще в 30-е годы в Голливуде, напоминает о ставших классикой американского кино фильмах Хьюстона «Мальтийский сокол» (1941), «Асфальтовые джунгли» (1950), «Африканская королева» (1952), «Человек, который хотел стать королем» (1975), а также о знаменитом телефильме «Фрейд. Тайная страсть». Во время войны Хьюстон снял три документальных фильма «о смерти и безумии солдат».

В своих фильмах режиссер пристально вглядывался в людей, в темные, даже низменные стороны их жизни, и фильмы эти принесли ему заслуженный успех и признание, став точкой отсчета для американского жанрового кинематографа, пишет «Тайм».

На вопрос корреспондента «Нью-Йорк таймс», почему он продолжает снимать фильмы, Хьюстон как-то ответил: «Да потому же, почему художник продолжает рисовать! Где это видано, чтобы художник уходил на пенсию?»



Стар Роу и Катя Лычева.

(Из книги «Будем друзьями»)

«ЭТА КНИГА И ДЛЯ ВАС...»

Одновременно в США, Канаде и СССР вышла книга-альбом «Будем друзьями». Издательская аннотация на суперобложке поясняет содержание: «Катя из Москвы и Стар из Сан-Франциско: две одиннадцатилетние девочки открывают Америку». Во время совместной поездки, которую подготовила организация «Дети как миротворцы», Катя Лычева и Стар Роу увидели Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анджелес, — и везде девочки оказывались в центре внимания. На фотографиях запечатлены их встречи со сверстниками, политическими деятелями и даже... с Марком Твеном (героем спектакля «Большая река», посвященного приключениям Гека Финна). Где только не побывали девочки: в школах, Космическом центре имени Линдона Джонсона, Белом доме, Детском музее, «Диснейленде»... Впечатление Кати и Стар от встреч, особенно запомнившихся событий дополняются фотографиями.

Однако книга эта больше чем иллюстрированная хроника путешествия — это и рассказ о желании и умении детей быстро находить общий язык. Две девочки из СССР и США без тени враждебности обсуждают самые разные проблемы. «Они преподали нам взрослым, урок оптимизма и доверия друг к другу, веры в будущее», — замечает в предисловии к книге американский врач Роберт Гейл, один из тех, кто самоотверженно боролся за спасение жизни людей, пострадавших во время аварии в Чернобыле. Книга создана не только для детей. Патриция Монтандон, основательница организации «Дети как миротворцы», обращается и к взрослым читателям: «Эта книга и для вас тоже, ведь в ваших силах помочь нам создать надежное и прекрасное будущее, о котором все мы мечтаем».

«ЖИВУЩИЙ РАДИ ИСКУССТВА»

Литературоведы и музыканты с огромным интересом встретили появление сразу двух книг о жизни и творчестве американского дирижера и композитора Леонарда Бернстайна. В них американский музыковед Джоан Пейзер и английский литератор Майкл Фридленд рассматривают «истоки гениальности» Бернстайна, особенности его сложной личности.

«Не скрою, честолюбие его непомерно, много у него странных и въедливых привычек», — пишет в «Санди таймс» Хамфри Бертон, сотрудничающий с Бернстайном с 1966 года (вместе они создали уже более 70 мюзиклов и записей к документальным фильмам). Обозреватель «Санди экспресс» Клайв Хиршхорн в своем отзыве напоминает о трудном пути Бернстайна к музыкальным вершинам, пройденном им благодаря тому, что в нем «счастливо сочетались талант и напористость». Критики отмечают такие характерные черты его творчества, как смелость, выразительность, виртуозность и «балетную» манеру дирижировать. «Среди дирижеров ему нет равных по широте музыкальных пристрастий, по способности выразить мудрость Гайдна или боль и страдание Малера. Среди композиторов он — единственный достойный преемник Гершвина», — таково мнение Хамфри Бертона. Он не одинок в своей оценке — действительно, творчество Бернстайна-композитора и Бернстайна-дирижера получило мировое признание.

В числе лучших работ музыканта — балет «Не влюбляющийся» (1944), ставший своеобразной «визитной карточкой» Американского театра балета и исполнявшийся в год премьеры более 160 раз, симфония «Иеремия» (1942), получившая премию критиков, относящийся к этому же триумфальному периоду мюзикл «По городу» (1944) и поныне не утративший свежести и привлекательности, а также мюзикл «Кандид» (1957). В Советском Союзе Л. Бернстайн известен, главным образом, по музыкальному фильму «Вестсайдская история».

Независимый, бунтарский характер Бернстайна вылился в отчаянное и яростное «восстание против бога» в оратории «Каддиш» (1963) и симфонии «Месса» (1971).

Личность Бернстайна, безусловно, заслуживает изучения и должной оценки, поэтому появление книг Дж. Пейзер и М. Фридленда вполне закономерно, отмечает «Санди экспресс». Если Дж. Пейзер пытается определить место Бернстайна в американской музыке XX века, то М. Фридленда больше интересуют проблемы личностного и религиозного плана в жизни музыканта. Однако, по мнению критики, обе эти книги грешат поверхностным анализом, в них упущены важные документальные подробности, изложение недостаточно ровно. «Описание жизни Бернстайна вне музыки не способно раскрыть во всей глубине душу человека, живущего ради искусства», — пишет в заключение «Санди таймс».

Франция

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА

Парижский журнал «Кензен литтерер» опубликовал статью, посвященную выходу в свет специального номера «Ревю дез этюд слав» о Пушкине. Этот номер, приуроченный к 150-летию со дня смерти поэта, подготовили 24 пушкиниста из разных стран под руководством Ефима Эткинда. В номере 34 статьи, из них — 15 на русском языке.

Выпуск «Ревю дез этюд слав» делится на пять разделов. В первом разделе идет речь о связях творчества Пушкина и французских поэтов XIX века. Здесь публикуется беседа Ефима Эткинда со швейцарским литературоведом Кембеллом и известным балетмейстером Сержем Лифарём, поделившимся воспоминаниями о «днях памяти Пушкина» в Париже (1937). Затем следуют статьи Андре Марковича (Париж), Кейла (Бонн) и Эткинда о реминисценциях у Пушкина из Сент-Бёва, Шенье, Флориана, Парни, Беранже.

Второй раздел объединяет биографические работы, наиболее интересна, по мнению «Кензен литтерер», статья Мишеля Тьери (Лимож), который собрал материалы об отношениях Пушкина с Александром Тургеневым. Ремон де Понфийи комментирует записные книжки А. Смирновой (1809—1882).

В третьем разделе помещены литературоведческие работы и интерпретации произведений Пушкина, внимание специалистов в основном привлекли поэмы «Медный всадник», «Бахчисарайский фонтан». Несколько работ американских пушкинистов посвящено «Пиковой даме», Луи Мартине (Экс-ан-Прованс) пишет о «категории времени» в «Евгении Онегине». В круг затронутых тем входят также отношение Пушкина и Мицкевича к польскому восстанию 1830 года и библейские мотивы в творчестве Пушкина (об этом пишет Луи Боске из Кана). Рецензент «Кензен литтерер» Фернан Рюд высоко оценивает статью Эткинда о Пушкине — издателе журнала «Современник». Особое место в сборнике занимают четыре статьи американских и французских пушкинистов о «Пиковой даме» — одном из наиболее признанных за рубежом произведений русского классика.

Четвертый раздел посвящен проблеме перевода Пушкина на иностранные языки. Элен Анри сопоставляет семь переводов «Пиковой дамы», существующих на французском языке, из которых наиболее известны переводы Мериме (1849) и Андре Жида (1923). Э. Анри отдает предпочтение переводу Андре Меньё (1953), представляющему собой удачное переложение перевода Мериме. В этом же разделе обсуждаются проблемы современного перевода стихов Пушкина. Фернан Рюд вступает в спор с Е. Эткиндом, утверждающим, что стихи русских классиков нужно переводить на французский язык, сохраняя рифму. Но для современных французских читателей, считает Ф. Рюд, такой перевод выглядит архаистически. По его мнению, недавно изданная Эткиндом «Антология русской поэзии» — досадная неудача.

В последнем разделе выпуска «Документы» публикуются новые материалы и автографы Пушкина из музея имени А. Мицкевича, Парижской библиотеки славистики. Любопытную публикацию предложил Режи Гейро — это колоритная речь, произнесенная в 1924 году футуристом Ильей Зданевичем против пушкинистов-педантов, паразитирующих на живой поэзии. Номер завершают библиографии работ известного пушкиниста Андре Меньё и работ о Пушкине, появившихся в восьми странах в последнее десятилетие, а также краткое сообщение о новой книге советского ученого Н. Эйдельмана «Пушкин: история и современность в сознании поэта» (1984), которую французы называют «ценным исследованием о Пушкине-историке».

Издательство «Каррер» выпустило в свет книгу воспоминаний известной французской актрисы Арлетти «Я такая, какая есть» (советскому зрителю она знакома по фильму Марселя Карне «Дети райка», где сыграла роль Гаранс). Название мемуарам дала строка из стихотворения друга Арлетт Леони Батиа (таково ее настоящее имя), поэта Жака Превера. В книге кроме записей бесед Арлетти с Мишелем Суве собраны эссе, посвященные ее жизни и творчеству. Их авторы — актеры Жан-Клод Бриали, Мишель Симон, крупный мастер прозы Франсуа Мориак.
На снимке: одна из многочисленных иллюстраций к книге «Я такая, какая есть» — Арлетти в фильме М. Карне «Вечерние посетители».

(Журнал «Ливр де Франс»)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ПРУСТУ

Во Франции широко отмечалось 65-летие со дня смерти Марселя Пруста (1871—1922) — одного из крупнейших писателей XX века. В периодической печати страны представлены многочисленные публикации о Прусте и его произведениях, критики единодушно отмечают настоящий издательский бум: книги прозаика выходят сейчас во Франции миллионными тиражами.

Журнал «Ливр де Франс» сообщает о выпуске многими французскими издательствами знаменитого цикла романов «В поисках утраченного времени» — этой «неисчерпаемой, необъятной книги», по определению газеты «Юманите». Журнал «Нувель обсерватёр» представляет серию материалов о Прусте и пишет о появлении все новых и новых изданий его книг, комментариев и литературоведческих статей к ним, указывает, что общее количество исследований уже достигло 10 тысяч. Огромный интерес вызвали новые страницы рукописей Пруста, обнаруженные в архивах Национальной библиотеки.

Почти целиком посвящен выдающемуся французскому прозаику один из номеров журнала «Магазин литтерер». Среди публикаций — описания новых изданий (в том числе впервые опубликованного окончательного варианта «Исчезнувшей Альбертины»), интервью и статьи редакторов и издателей, хронология основных событий жизни писателя, рецензии на выход в свет его переписки, статей и эссе. Особый интерес представляют материалы, в которых содержится оценка творчества Пруста писателями и критиками Англии и США и анализ переводов его книг на английский язык. Любопытен и помещенный в журнале очерк литературоведа Ио Ёсида о влиянии Пруста — одного из самых любимых французских писателей в Японии — на современную японскую литературу.

Газета «Юманите», описывая триумфальное шествие

Марсель Пруст на смертном одре. Рисунок А. Дюнуайе де Сегонзака.

(Журнал «Магазин литтерер»)

произведений Пруста по полкам книжных магазинов и библиотек Франции, напоминает о нелегком труде писателя и его требовательности к себе: Пруст 16 (!) раз переписывал начальные слова тома «По направлению к Свану» и в конце концов выбрал самую простую и короткую фразу. «Бессмертными» называет «Юманите» почти 500 персонажей романа «В поисках утраченного времени», живших на пяти тысячах страниц черновика. «Нувель обсерватёр» считает, что молодого человека, прочитавшего этот роман, можно сравнить с «окрепшим и закалившимся в испытаниях воином, добровольно пересекшим пустыню и не боящимся более ни жажды, ни жары...»

Подчеркивая огромное влияние Марселя Пруста на язык, литературу и культуру Франции, «Юманите» называет его «сыном классиков и отцом-основателем современной литературы». А «Магазин литтерер» приводит слова Джозефа Конрада о Прусте: «Во всей литературе еще не было такой глубины проникновения в суть человеческого бытия и, могу с полной уверенностью утверждать, уже не будет никогда».

СУДЬБЫ ПОЭЗИИ

Журнал «Магазин литтерер» собрал в одном из номеров «литературоведческие портреты» крупнейших французских мастеров стиха XX века. Если говорить точнее, замечает в редакционном предисловии известный критик Жан-Жак Брошье, современные ученые исследуют на страницах «Магазин литтерер» не только поэзию П. Клоделя, Г. Аполлинера, Сен-Жон Перса, П.-Ж. Жува, Л. Арагона, Ж. Сюпервьеля, Ж. Жене, А. Мишо, Р. Шара, Ф. Понжа: обстоятельные эссе рассказывают и о творчестве «отцов-основателей» — Ж. Лафорга и П. Валери, Рембо и Лотреамона.

«Строгий читатель мог бы, пожалуй, спросить: «Позвольте, а где же тогда статьи о Бодлере, например, или о Малларме?» — продолжает Ж.-Ж. Брошье. Но дело в том, что их слава — следовательно, и влияние на современных стихотворцев и потомков — не заставила себя ждать, тогда как широкое признание Рембо и Лотреамона было, увы, посмертным. Следует напомнить и о другом — «Магазин литтерер» уже посвящал отдельные «монографические» выпуски А. Бретону и его собратьям-сюрреалистам А. Арто, Б. Сандрару, Ж. Превер, Ж. Кокто, поэтому в № 247 речи о них не будет.

Критик приводит знаменитые слова Арагона: «Нужно быть безумцем, чтобы отважиться писать о поэзии. Стихи рождаются на свет, но при этом не поддаются объяснению. Говорить о поэзии может лишь безумец, ибо поэзия начинается там, где пролегает граница с непередаваемым». Комментируя афористичное высказывание, ставшее девизом номера, автор вступления к специальному выпуску «50 лет французской поэзии» заранее пытается отвести от составителей возможные упреки в «несправедливости выбора, пристрастности, наличии серьезных лакун»: подготовка столь обширного «литературного досье», по его мнению,—необходимость, но это также и безумство.

Артюр Рембо. Рисунок Поля Верлена.

(Журнал «Магазин литтерер»)

Интерес к французской поэзии, подчеркивает Жан-Жак Брошье, сегодня удивительно велик во всем мире, что не могло не вдохновлять создателей номера. Одной из его несомненных удач критик считает публикацию «Словаря поэтов», подготовленную Жаном Юртеном. Этот материал объединил краткие сведения о 55 современных поэтах и библиографию их важнейших произведений. А завершающие «досье» статьи Бернара Дельвая, Ги Дароля и Сержа Сафрана дают сжатую информацию о работе издательств, которые выпускают сборники и антологии стихотворений, о задачах «поэтической периодики» и о встречах поэтов с читателями в различных Центрах или Домах поэзии.

Выпуск «Магазин литтерер», осветивший полувековой путь французской поэзии, иллюстрирован подборкой редких фотографий и рисунков.

ФРГ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ: ЗАПИСКИ О ПЕРИОДЕ ЭМИГРАЦИИ

«Русский Берлин» начала 20-х годов. Около трехсот тысяч людей, живущих на чужбине. Жизнь «русской колонии» весьма обособлена, но здесь открыты школы всех ступеней, научно-исследовательский институт, литературные и художественные объединения, 87 русских издательств ежегодно выпускают около семисот названий книг, выходят 58 газет самых различных политических ориентаций. Весьма оживленна культурная жизнь: в Берлине живут и работают М. Цветаева, И. Эренбург, В. Набоков, В. Шкловский, Н. Бердяев, А. Ремизов, Д. Бурлюк, Эль Лисицкий, А. Толстой, Б. Пильняк. В 1921 году вслед за своей женой сюда приезжает крупный поэт, теоретик стиха и философ культуры Андрей Белый (1882—1934).

Два года, проведенных А. Белым в Германии, были необычайно плодотворны, отмечает западногерманский еженедельник «Цайт». Работая по двадцать часов в день, Белый опубликовал здесь шестнадцать книг, десятки статей и теоретических работ. В эти годы были созданы «Воспоминания о Блоке», сборник «Стихи о России». Уже в октябре 1923 года Белый возвращается в СССР. Год спустя в Ленинграде выходит в свет автобиографическая книга «В царстве теней. Берлин 1921—23 годов». Повествование, полное резких контрастов, удивительно напоминающее графические циклы Георга Гроса и «урбанистическую прозу» Аль-

Андрей Белый.

(Еженедельник «Цайт»)

фреда Дёблина, — так представляет еженедельник «Цайт» своим читателям немецкий перевод этой книги, опубликованный издательством «Инзель»; тоской по Москве проникнута каждая ее страница, презрением к «русскому Берлину», ставшему для поэта «организованным кошмаром». Поэту ненавистна «унифицированная ограниченность» этого города.

Издательство «Инзель», сообщает «Цайт», выпустило также перевод своеобразной «интеллектуальной автобиографии» Андрея Белого — «Я, символист». В полемичной публицистической форме, отмечает еженедельник, поэт стремится сформулировать основную идею символизма как «синкретического пути обобществления индивидуального опыта, преодоления раздвоенности субъективного и объективного начал» в жизни человека. В книге подробно описаны встречи с антропософом Рудольфом Штайнером в Кёльне, Мюнхене, Берлине и Дорнахе, значение которых для жизни и творчества А. Белого трудно переоценить. Несколько глав посвящено сложным отношениям с Александром Блоком, они оставили глубокий след в душе Белого.

В издательстве «Инзель», пишет газета «Франкфуртер альгемайне», вышли два романа Андрея Белого — «Петербург» и «Серебряный голубь» — в переводах Гизелы Дрола. Дав в своей прозе «призрачную картину растерзанной предреволюционной России», «классик русского модернизма» превосходит художественный метод «потока сознания» Джеймса Джойса, считает рецензент «Франкфуртер альгемайне».

Марка берлинского русского издательства «Геликон» работы Эль Лисицкого.

Кадр из мультфильма «Карлик Нос».

(Журнал «Культуркроник»)

«Я ПРЕДПОЧИТАЮ СКАЗКИ...»

Художница-мультипликатор из Франкфурта Эдельтрауд Энгельхардт наконец-то представляет на суд зрителей свою новую работу — 27-минутную ленту «Карлик Нос» по сказке Вильгельма Хауфа, сообщает журнал «Культуркроник». Ее предыдущий фильм «Рыбак и его жена» на сюжет, записанный братьями Гримм, с успехом прошел по экранам страны в 1977 году.

Пять лет, десять тысяч часов, Э. Энгельхард не выпускала ножниц из рук, ведь ее мультфильм — силуэтный. Все персонажи, от главных действующих лиц до случайных прохожих, вырезаны из засвеченной, черной фотобумаги. «Силуэт прихотлив и в достаточной степени далек от реальности, как, впрочем, и сама сказка, — поделилась этим наблюдением художница с корреспондентом «Райнишер Меркур» Сильвией Ленер.— Вот почему, работая в этой технике, я предпочитаю сказки...». Музыку к фильму — несколько пьес для клавесина — Эдельтрауд Энгельхардт также подобрала и исполнила сама.

Впереди художницу ждет новая работа — большая лента о приключениях барона Мюнхгаузена, сообщает «Культуркроник». «Бумажные актеры» уже проходят в студии Энгельхардт первые кинопробы.

Чехословакия

ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ

На III международном телефестивале в г. Саппоро «Гран-при» получил чехословацко-польский фильм «Кукушка в темном лесу» (см. о нем «ИЛ», 1985, № 9). Кинокартина, в основе которой лежат действительные события времен второй мировой войны, заслужила высшую оценку 350 японских деятелей культуры — одновременно и публики, и жюри фестиваля, — была признана лучшей из шести конкурсных художественных лент. Устроители фестиваля сами выбирали фильмы для участия в смотре, включив в программу 1987 года два английских фильма и по одному — из Китая, Зимбабве, Сенегала и ЧССР, причем главным критерием отбора была «степень эмоционального воздействия произведения на японского телезрителя».

«По-моему, это был фестиваль, не допускавший никаких «заранее принятых» решений, — сказал режиссер фильма-призера Антонин Москалик в своем интервью газете «Руде право». — Японцы оценили гуманизм нашего фильма, его антифашистскую направленность, художественное воплощение извечного «спора добра со злом» в душе человека и, конечно, прекрасные актерские работы, прежде всего — исполнение главной роли советским актером Олегом Табаковым. Японские деятели культуры констатировали, что анализ такого социально-политического явления, как нацизм, не может считаться завершенным в искусстве, и высоко оценили вклад создателей фильма «Кукушка в темном лесу» в интернациональную борьбу с фашизмом и милитаризмом».

Авторы этого номера

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (FRIEDRICH DÜRRENMATT; род. в 1921 г.) — швейцарский прозаик, драматург. Автор романов, повестей, рассказов, пьес, эссе. Лауреат международных и национальных литературных премий. «Иностранная литература» познакомила читателей с произведениями Ф. Дюрренматта разных жанров, опубликовав повести «Авария. Одна из еще возможных историй» (1961, № 7), «Обещание» (1966, № 5), пьесы «Визит старой дамы» (1958, № 3), «Метеор» (1967, № 2), «Играем Стриндберга» (1973, № 4), рассказы. На русском языке изданы также сборник «Комедии» (М., 1969), комедия в прозе «Грек ищет гречанку», роман «Судья и его палач», приключенческие повести «Операция Вега», «Подозрение» и др.

Роман «Правосудие» вышел в Цюрихе в 1985 г. («Jüstiz». Zürich, Diogenes Verlag, 1985).

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — советский переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы Г. Бёлля «Дом без хозяина», Э. Штриттматтера «Погонщик волов», «Оле Бинкоп», «Лавка», М. В. Шульца «Мы не пыль на ветру» и повесть «Солдат и женщина» («ИЛ», 1979, № 10), новеллы С. Цвейга, К. Гамсуна, А. Стриндберга, А. Зегерс, рассказы Й. Рединга («ИЛ», 1982, № 2) и др.

ЭРНЕСТО САБАТО (ERNESTO SÁBATO; род. в 1911 г.) — аргентинский прозаик, автор романов «О героях и могилах» («Sobre héroes y tumbas», 1961), «Аваддон Губитель» («Abaddón El Exterminador», 1974), книги дневниковых очерков «Единственный и Вселенная» («Uno y el Universo», 1945), «Инакомыслие» («Heterodoxia», 1953), ряда публицистических сборников «Писатель и его призраки» («El escritor y sus fantasmas», 1963), «Хвалы и отрицания» («Apologias y rechazos», 1979), «Роботизация человека» («Robotización del hombre», 1981) и др. Обладатель Национальной литературной премии Аргентины (1975), премии за лучшую иностранную книгу года (Франция, 1976), премии имени Габриэлы Мистраль (Вашингтон, 1984), премии Мигеля Сервантеса-и-Сааведры (Испания, 1984).

Повесть «Туннель» была опубликована в Аргентине в 1948 г. и многократно переиздавалась («El túnel», Biblioteca Universal Formentor, 1948).

ГЛУЩЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА — закончила в 1984 г филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Публикуемый перевод повести Э. Сабато — ее первая крупная работа.

АВЕРИНЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1937 г.) — советский литературовед, переводчик, член-корреспондент Академии наук. Автор работ по истории позднеантичной и средневековой литературы, по западной философии культуры XX в. (К. Г. Юнг, О. Шпенглер, К. Ясперс и др.). Ему принадлежат стихотворные и прозаические переводы «Книги Иова», Платона, Каллимаха, Плутарха, писателей средневековья, немецкоязычных авторов XIX—XX вв. (Гёльдерлина, Тракля, Гессе) и другие работы.

ЭЛЕМЕР ХАНКИШ (HANKISS ELEMÉR; род. в 1930 г.) — венгерский литературовед, социолог, доктор филологических наук. Автор книг «Воздействие литературного произведения» (1969), «Литературоведение и психология» (1970), «Социальные ловушки» (1979), «Диагнозы» (1982).

Статья «В кривом зеркале?» публикуется по тексту сборника «Диагнозы-2» («Diagnózisok 2». Budapest, Magvetö kiado, 1986).

ДЁРДЬ (ГЕОРГ) ЛУКАЧ (LUKÁCS GYÖRGY; 1885—1971) — венгерский философ, литературовед, эстетик, лауреат премий имени Кошута. Член венгерской Академии наук. Писал на немецком и венгерском языках. Автор трудов «Душа и форма» («A lélek és formák», 1910), «История развития современной драмы» («A modern dráma fejlödésének története», 1912), «Эстетическая культура» («Esztétikai kultúra», 1912), «Теория романа» («A regenyek elmélete», 1917). С 1933 по 1945 г. жил в Москве, где выпустил книги «Литературные теории XIX века и марксизм» (1937), «Исторический роман» (1937), «К истории реализма» (1939). В последующие годы опубликованы работы «Русский реализм в мировой литературе» («Der russische Realismus in der Weltliteratur», 1951), «Разрушение разума» («Die Zerstörung der Vernunft», 1954), «Эстетика» («Ästhetik», 1963).

Публикуемая статья была написана по-немецки, мы перепечатываем ее из журнала «Кюрбискерн» (1968, № 1).

МУРАВИН ГЕННАДИЙ ЛЬВОВИЧ (род. в 1931 г.) — советский писатель, переводчик с финского и эстонского языков. Переводил произведения Йоэля Лехтонена, Антти Туури Эйно Сяйся, Эвы-Лийсы Маннер, Айно Каллас.

В 1989 году

«Иностранная литература» предполагает опубликовать:

Художественная проза

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

Ни один роман, созданный в нашем столетии, не вызвал таких споров, как «Улисс», произведение, которое по праву называют «мифом XX века». Роман будет печататься полностью на протяжении всего года.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

Тошнота

У нас в стране известны пьесы Жан-Поля Сартра, автобиографическая повесть «Слова», рассказы. Продолжая знакомить читателей с творчеством Сартра, журнал напечатает его роман «Тошнота» (1938) — вершину художественной прозы писателя.

ЮКИО МИСИМА

Золотой храм

Первая публикация на русском языке из литературного наследия знаменитого японского писателя, чье харакири в 1970 году после неудавшегося государственного переворота наделало много шума. «Золотой храм» — лучшее из произведений писателя — философский роман, раскрывающий внутренний мир послушника дзэн-буддистской обители, который совершает чудовищное преступление.

ГРЭМ ГРИН

Монсеньор Кихот

Этот роман — произведение в известном смысле итоговое, вобравшее сумму идей, которые многие десятилетия волновали знаменитого писателя. Священник из Эль Тобосы и коммунист, бывший мэр городка, пускаются в путешествие по Испании. Их острый, но дружеский диалог затрагивает много актуальных вопросов современности и недавней истории.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

Камень, который был Христом

В этом романе-притче венесуэльский писатель, используя библейский сюжет — последние дни и часы жизни Христа,— поднимает животрепещущие проблемы современной жизни и политической борьбы.

ВЕРНЕР ГАЙДУЧЕК

Прегрешение

В центре повести — любовная драма. Героев разделяет граница между ГДР и ФРГ, граница, которая пролегла и в сознании окружающих их людей...

ДЖОН ФАУЛЗ

Даниэл Мартин

Роман крупного английского писателя, известного советским читателям по повести «Башня из черного дерева» и роману «Подруга французского лейтенанта». Его герой — литератор, который стремится к осмыслению философских, социальных и этических проблем окружающего его мира.

ИСМАИЛ КАДАРЕ

Генерал мертвой армии

Роман албанского писателя, переведенный во многих странах, рассказывает о том, как через много лет после войны итальянский генерал приезжает в Албанию разыскивать тела погибших солдат оккупационной армии.

РАЙМОНД ЧАНДЛЕР

Долгое прощание

Роман мастера американского детектива. В центре повествования — частный сыщик Филипп Марлоу.

В жанрах публицистики и документальной прозы

АРТУР МИЛЛЕР

В наплывах времени: история одной жизни

Несколько бурных десятилетий XX века, преломившихся в судьбе знаменитого американского драматурга, запечатлены на страницах его исповеди, автопортрета.

РЭЙ КОННОЛИ

Джон Леннон: 1940—1980. Биография

Страницы жизни одного из участников квартета «Битлз» Дж. Леннона и его жены Йоко Оно.

АКИО МОРИТА

Сделано в Японии

Фрагменты мемуаров одного из основателей и нынешнего президента корпорации «Сони». Это рассказ о становлении компании, о сложившихся в ней методах стимулирования научно-технического прогресса, анализ японской и американской моделей управления.

ИНГМАР БЕРГМАН

Laterna magica

Главы из новой книги — автобиографического повествования всемирно известного шведского кинорежиссера.

ДЖОНАТАН ЛИНН, ЭНТОНИ ДЖЕЙ

Да, премьер-министр

Герой сатирической книги английских авторов, знакомый советскому читателю по публикации «Да, министр» («ИЛ», 1983, № 8), на сей раз ведет свои дневники уже в качестве премьер-министра.

Редакция также рассматривает:

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Пнин

Роман. Четыре года жизни «перемещенного лица», русского филолога в американской академической среде.

ГЕРМАН ГЕССЕ

Нарцисс и Гольдмунд

Роман, синтезирующий идейные и поэтические искания знаменитого немецкого писателя в период его творческой зрелости.

ГОР ВИДАЛ

Линкольн

Роман из историко-политического цикла американского писателя Г. Видала посвящен фермерскому сыну, который в лихую пору общественного бедствия логикой обстоятельств стал президентом страны, и его великому делу.

МИХАЭЛЬ ЭНДЕ

История, которой нет конца

Роман-сказка западногерманского писателя. Путешествие в страну Фантазию одиннадцатилетнего Бастиана Букса и его трудное возвращение домой.

ЧИНУА АЧЕБЕ

Муравейники в саванне

Молодой, либерально настроенный офицер, в результате военного переворота пришедший к власти в вымышленной африканской стране Канган, постепенно превращается в кровавого диктатора, уничтожая своих вчерашних соратников и друзей — такова тема романа известного нигерийского писателя.

КЛОД СИМОН

Георгики

Роман, принесший автору, известному французскому писателю, Нобелевскую премию. Труды и дни мелкопоместного дворянина, осмысливаемые его дальним потомком, нашим современником.

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН

Священная ночь

Новый роман марокканского писателя, удостоенный Гонкуровской премии 1987 года.

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Хождение Джоэниса

Социально-фантастическая повесть знаменитого американского писателя о будущем, стилизованная под древние предания и легенды.

ПЕДРО ХОРХЕ ВЕРА

За деньги пляшет и собака

Роман о взлете и падении финансиста. Действие происходит в Эквадоре в наши дни.

КАРОЙ САКОНИ

Французская ферма

Повесть о судьбе молодого венгра, возвращающегося после плена на родину.

БОГУМИЛ ГРАБАЛ

Сатирические и юмористические рассказы одного из крупнейших писателей Чехословакии.

ЛУИ АРАГОН

Гибель всерьез

Лирико-экспериментальный роман, считающийся лучшим из последних произведений писателя.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Две повести ДЭШИЛА ХЭММЕТА, одного из основоположников американского «крутого» детектива.

«Тяжкое отрочество Адриана Моула» — фрагменты сатирического романа английской писательницы СЬЮ ТАУНСЕНД, знакомой читателям по публикации в «Иностранной литературе» в № 4 за 1986 год.

Книга ЛАСЛО ДЮРКО «1956» — размышления над фактами, документами, домыслами о трагических событиях в Венгрии. На протяжении тридцати лет автор собирал и систематизировал свидетельства и воспоминания очевидцев этих событий.

■

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.03.88. Подписано в печать 05.05.88. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 26,25.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 1033.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Андерсон Леннарт «Стычка. Уличная сценка»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394

С 1 августа открывается подписка
на книжное обозрение
«Современная художественная литература за рубежом»—
критико-библиографический вестник
иностранных новинок поэзии, прозы, драматургии,
критики и публицистики,
а также детской и юношеской литературы.

Год издания XXVIII

Цена годовой подписки 3 р. 60 коп. Индекс 70931

Выходит раз в два месяца